

В. И. ЧЕРНЫШЕВ

I. МЕТАФИЗИКА ЛЮБВИ

книга третья

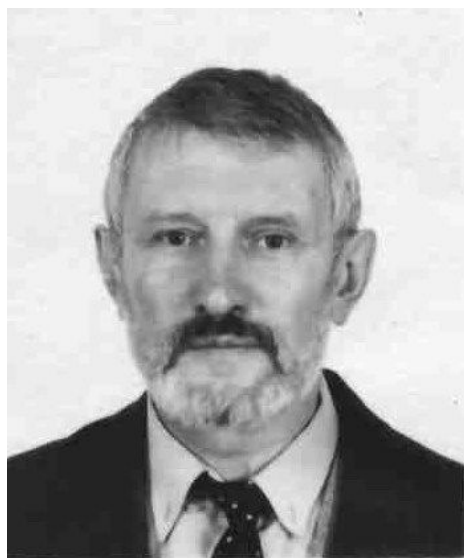
БОЛЬ И ЛЮБОВЬ

(роман)

*Тем, кто уязвлен
торжеством неправды*

Санкт-Петербург
2002-2017

ТРЕТЬЕ ИСПРАВЛЕННОЕ ИЗДАНИЕ



© В. И. Чернышев, Сочинения. 2002–2017

© А. И. Михайлов, Критическое исследование, 2002–2003

© «NAPISANO PEROM». 2017

**Бабушке Анастасии
и родителям моим Ивану да Марье**

БОЛЬ И ЛЮБОВЬ

роман

*Отпусти мне грехи! – я не помню молитв.
Если хочешь, стихами грехи замолю!
Объясни мне – люблю оттого, что болит?
Или это болит оттого что люблю?*

А. Башлачев

7 января 1999 г. — 27 августа 2017 г.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИСТОКИ

Глава первая

ДЕРЕВНЯ

1.

Я неосторожно повернулся во сне, и ссадину на ноге задел неосторожно – заныла и начала пощипывать – но не сильно, я не проснулся, и вновь покатилась вереница снов.

Что-то мне чудилось и накануне, но словно темная пелена заслонила от меня смутные образы.

Я повернулся на другую сторону, пелена осталась сзади, впереди белело окно с намерзшим слоем льда.

Вьюга за окном гудела и ухала, завывала и всхлипывала, но в жарко натопленном доме было не страшно – словно добрая бабушка, дышала теплом громадная печь, такая большая, что на нее и Петя и Толя забирались – а все не тесно было; горела еще смолистая листовичная лучина на *пріпечке*, то вспыхивая ярко, то ослабевающая, разбрасывая по дому таинственные тени.

Утром ходили мы лучину щепать с Иваном, тюкали по смолистому пню острым топором, и я тюкнул несколько раз, и свою лучинку *отщепнул*, сейчас она у меня была спрятана на печи в уголке под тряпьем про запас.

Если подышать на стекло, а потом пальчиком оттянуть дырочку, то из подо льда открывается маленькое окошечко для одного глаза на улицу... Всё заволокло снежной мглой, вихри катятся между домами, наметая сугробы, и скоро до крыши наметет, занесет и окно, и крыльцо, так что взрослые будут отгребать снег лопатой.

Все ушли к моей *крёстной*, тете Марусе, днем гудели и стонали голоса, *голосила* мама, и тетя Маруся, и белобрысый Васька забегал и шмыгал носом – на санях привезли его тятюку, а моего крестного отца дядю Ваню из Темной Дачи со вспоротым животом, зарезал его *чучмек*.

Они стоят в лагере на вышках и стреляют в тех, кто близко подойдет к проволоке, а в лагере сидит Костя с льняными волосами – “вор в законе”.

Я знал, что воровать – плохо, и вор – это было слово, обозначавшее изгой человеческого рода, но почему-то таинственное выражение “вор в законе” наполняло меня трепетом, казалось обозначением не низшего, а высшего... Вот вырасту, и тоже буду “вор в законе” – думал я, – но только чтобы в лагере не сидеть.

Мы, ребятишки, чучмеков боялись, и прыскали в сторону, завидев их. Осенью глубокой, когда вечера начинались рано, из нашей деревни пошли мы к лагерю смотреть кино, за три километра. Дождь шел три дня, дорога лесная раскисла, небо нависло темное так низко, что край тьмы шевелил мои волосы.

Я был самый маленький, путешествие мне казалось опасным и притягательным как темная кладовка ночью. Ребята набрали гнилушек-светлячков и держали их в ладонях, освещая дорогу.

Тихонько подобрались мы к краю проволочного ограждения и затаились, не дыша.

Длинное полóтнице было натянуто между двумя столбами, плотная толпа заключенных уселась на бревна с той стороны простыни, застрекотал проектор и побежали живые люди по белой простыне. Я видел первое в моей жизни кино, и смотрел его на воле, хотя показывали кино в *зоне*. Где-то на вышке затаился с ножом и винтовкой страшный *чучмек*, а в темной толпе эзков тихо сидел мой друг Костя, “вор в законе”.

Прошедшей зимой, вскоре после того как мне исполнилось шесть лет и мне подарили первые в моей жизни лыжи, я вышел за околицу на выгон (а по-деревенски – *поскотину*), веселое солнце зáлило ярким светом поляну, и первая свежая лыжня побежала за мною.

Лыжи мне смастерил Иван из двух красивых пахучих желтых драничин. Мокрые драничины положил он в горячую печь, потом, когда они распарились, носки осторожно загнул, плотно закрепил их палкой и веревкой и снова положил в печь для просушки. Сторону ту, что к снегу, Иван натер воском, на другой стороне костяным клеем приклеил две дощечки с завязками для валенок, обстругал и наждаком загладил носки и по всей длине заусеницы – и лыжи были готовы.

Позже я много думал о роковой силе случая, а тогда еще не знал, но уже смутно предчувствовал. По дальнему краю выгона шла санная дорога, и из-за леса вышла по ней веселая гурьба молодых парней, окруженных четырьмя автоматчиками.

Неожиданно они остановились, примяли широко снег и растянули на нем громадное светло-желтое красивое полотно. Словно волшебники колдовали над ним, оно то поднималось как парус, то опадало, и вдруг внезапно взметнулось ввысь, и появился сказочный круглый дом величиной почти с нашу избу.

Тогда-то я и увидел Костю в первый раз, на голове его не было шапки, желтые волосы развевались на ветру и телогрейка была лихо расстегнута. Казалось, он может снять и валенки и босиком побежать по снегу, а снег под его ногами растает.

Он сразу стал моим другом, хотя еще об этом не знал, и узнал много лет спустя, когда стал “бесконвойным”, и стал ходить в гости к моей младшей тете, которую я не называл тетей, такая она была молодая, а потом он *отбивал* ее в отчаянной схватке с ее прежним ухажером, а через несколько лет и вовсе стал вольным и переселился к ней жить насовсем, *родил* пять дочек, стал почти святым и последний стакан водки выпил со мной (когда я приезжал в Сибирь уже в гости), отпросившись на вечер из больницы. Все его ругали, уговаривали не пить, а он посмотрел на меня синими глазами и сказал тихо, но отчаянно весело – *мне уже не похужеет, а с другом Васькой я выпью, пока еще могу поднять полный стакан и не расплескать*.

И правда, стакан не расплескался, водка слегка пролилась только когда пил, и хуже тоже не стало, а через три дня не стало и лучше.

У моих крестных единственных в деревне была Библия, и мне разрешалось листать ее и смотреть картинки, а кое-что я пытался читать, и вот какие строки врезались мне в память на всю жизнь:

Искони бе слово, и слово бе у Бога, и Бог бе слово.

Окрестили меня бабушки, моя бабушка Анастасия Михайловна, и Васькина – баба Домна.

Отцы наши были оба Иваны, а матери обе Марии, и Васька ко мне относился снисходительно-покровительственно: мой отец уже погиб, а его был жив – и вот погиб и его отец, и мы уравнились.

А через пятнадцать лет мы встретились в последний раз на могиле его матери, а моей *крестной*, тети Маруси, ей не исполнилось еще и сорока, но сильно она пила в последние годы, как и почти все, кто из нашей деревни уехал в город, а наверное и все на Руси, кто из родных деревень отправился в чужие края.

Ссадина болела все сильнее, и я заплакал от боли и жалости к себе, и вдруг сухая шершавая ладонь погладила меня по голове и рядом на бревнышко сел дед Зеленек. Говорят, ему исполнилось сто лет, и белая борода его позеленела, отчего на деревне его и звали Зеленком.

– Не плачь, внучек, не плачь, я тебе гостинец дам и ножку твою сейчас вылечу.

Он снял котомку с плеча, достал хрустящий медовый сухарик – ах, не было вкуснее этого сухарика ничего на свете! – и старый вытертый кисет.

– Вот я тебе сейчас присыплю ранку куриным пометом, и завтра уже не вспомнишь, на какой ноге ссадина была.

Подул тихонечко, посыпал помет, мелкий как пепел, сорвал широкий лист подорожника, приложил к ссадине, и тесемочкой аккуратно завязал.

– Ну, вот, голубчик, твои горести уже и позади. А слух по деревне прошел, что ты сам читать научился и уже толстые книги читаешь – верно это?

– Да, верно, дедушка Зеленок, я про Коперника толстую книжку прочитал, он первый открыл, что наша Земля вокруг солнца вертится.

– Чудны дела твои, Господи! Сколько я на солнце ни глядел, все видел, что утром оно встает на востоке, а вечером садится на западе – а тут оказывается, что оно на месте стоит, а мы с тобой вокруг него вертимся. Но да, Васенька, я шибко этому не удивляюсь – когда тонкое облако месяц закрывает, тоже ведь кажется, будто оно на месте стоит, а месяц сквозь него мчится.

Я, Васенька, давно с тобой поговорить хотел. Отца твоего я хорошо знал, еще с малолетства, и на нем знак Божий был – да вот убили его, Господь не уберег. Душа у него была открытая и чистая как лесное озеро, ребятишки за ним гурьбой вились, да и девки тоже тянулись к нему, а он мало что был первый на деревне гармонист, ни одну не обидел. И гулянки без него не обходились, а выпьет в крайности полстакана вина красного, и больше – ни-ни... А белого совсем не пил.

И вот хочу тебе, Васенька, сказать, что тебе предстоит ношу нести, которую отец твой не донес. Вырастешь ты, и суждено тебе стать защитником народа русского, православного, который терпит унижения и угнетения от лютых врагов, нехристей.

Запомни мои слова, внучек, и что бы с тобой ни происходило, знай – настанет час, и призовет тебя Господь, возьмешь ты тяжкую ношу, сколько и поднять нельзя, а все одно – поднимешь и понесешь.

Помни же нашу деревню, наших баб несчастных – несчастней русской бабы никого нет на свете! – да и мужиков наших, войной покалеченных, не осуждай шибко! – и когда настанет час, заступись за всех несчастных и страдающих!

Дед Зеленок притянул меня к себе, прижал, поцеловал в голову, взъерошил волосы...

– Ну, теперь ступай с Богом, и меня не забудь, приди хоть раз на могилку, когда умру, я ждать тебя буду!

– Приду, дедушка Зеленок, и помнить буду!

Слова его сильно запали мне в душу. Я и сам что-то предчувствовал о себе, и каждую ночь видел во сне чертей, с которыми сражался неустанно своей игрушечной деревянной саблей.

А если заплачет, бывало, кто из родных, бабушка или мама, я все повторял – вот вырасту, все-все стану счастливыми!

И так я верил, что это неотвратимо, что оставалось только вырасти...

Пока же рос, всё другие заботы оказывались более важными, чем счастье ближних, а к тому же если бы и пытался, ничего не сумел бы – даже когда знал, что нужно сделать, чтобы сделать человека счастливым, еще лучше знал, что ничего из этого не получится, и поэтому ничего не делал и ни во что не вмешивался.

Лучина догорела, дом погрузился в плотную тьму. На ощупь добрался я до стола, на котором стояла “коптилка” – керосиновая лампа без стекла, которое должно было надеваться сверху, и тогда фитиль начинал гореть ровно, ярко и без копоти.

Но стекло в деревне было только у двух человек – у председателя колхоза и у учителя, Василя Михальча, остальные же обходились тусклым коптящим язычком пламени. С керосином тоже было туго, и зря лампу не зажигали, а мне не разрешали еще и потому, что зажигать было опасно, не дай Бог я мог устроить пожар.

Взрослые по-прежнему не возвращались, мне было скучно и страшно и тоскливо, я зажег от уголька в печи щепочку, от щепочки зажег коптилку и забрался в “берлогу”, которую устроил на широкой лавке у печи.

Полусидя, опираясь спиной о перегородку, лампу установив в ногах, сверху натянув одеяло, уютно я устроился с Коперником в руках и взялся за чтение. Не все было понятно, но другие книги, что были у учителя, я уже все прочитал, больше ни у кого в деревне, кажется, книг не было.

Как только на крыльце раздавался шум, коптилку я относил на стол и прятал книгу, и взрослые долго не знали, насколько меня захватила страсть к чтению.

...Некоторое время мне казалось, что мне и вправду семь лет и я живу в первый раз, но тут стали наплывать и другие дни...

Нога болела все сильнее, и начал болеть бок – я задрал штанину и посмотрел ссадину, которую лечил дед Зеленок – на ее месте ничего не было... Ах, так это же я упал с качели утром! – вспомнил я вдруг, и хотел успокоиться, но вспомнилось и другое страшное, и я снова заплакал.

Младшие ребяташки раскачивались на качели невысоко, а подростки и молодежь хвастались друг перед другом и крутились вниз головой.

Особенным же шиком было задержать качели в самой верхней точке и повиснуть вниз головой на несколько секунд.

Моему дяде Ивану было, наверно, в эту пору лет пятнадцать, и вертеться на качели он не мог и боялся, и вот отчаянные дурни, его дружки, привязали его ноги к нижней доске, на которой он стоял, и он стал раскачиваться...

Крови не было, изо рта шла пена, глаза закатились, он слабо хрипел.

Два дня лежал он тихий на лавке у печи под полушубками, и шептали над ним, и водой заговоренной окропляли, и священника из Суетихи привезли – но ничто не помогало... И вдруг в дом вошел страшный человек, *Челябинец*. Этот Челябинец уже ночевал в нашем доме до войны и прославился тем, что предсказал конец света в 41-ом году, но добавил – а если Господь смилостивится над нами и еще раз пожалеет, то мы спасемся, и война окончится в 45-ом. Был он сухой и черный, отдернул овчины, посмотрел, велел растолочь уголь и смешать со стаканом самогонки, потом еще долго болтал, зажав стакан ладонью, и влил Ивану в запекшийся рот. Иван два раза дернулся и затих, но не умер, а впал в еще большее забытье.

На третью ночь – уж Челябинец уехал в *Расею* – так сибиряки называли страну за Уралом – проснулся я среди ночи и вижу – луна в окне светила – стоит Иван посреди комнаты и ничего не понимает, и только мычит жалостливо – пить, пить, пить!..

Бабушка моя хотела уже спилить эти чертовы качели, да молодежь не дала, и так, говорят, радостей в жизни мало.

Качели те до войны поставил мой отец с дядькой Василём, который пропал без вести под Брестом. Они же и запруду сделали, куда бегали летом ребятишки купаться.

На улице послышался странный звук, я погасил коптилку и подошел к окну. Пока оттаивал дырочку, голос приблизился, и был он страшнее волчьего воя. То выла и кричала – *голосила* надрывно – Варька. Я ее часто видел бегающей по деревне, иногда в одном платье и без платка – даже зимой.

Или это было теперь в первый раз? Иначе почему же я так испугался сильно?

Бил ее и гонял по деревне муж ее, Лешка Микишонок, сын бабы Микишихи.

По праздникам напивался он до потери образа, ходил без шапки в одной рубахе, рвал рубаху на груди и кричал – *бесья моя голова!*

Тогда-то он и лупил свою Варьку, а в остальные дни был тихий и кроткий.

Под рваной рубахой на голой груди звенели медали, и говорили в деревне, что ходил на войне он в самую отчаянную разведку, и часто бывало, что тащит пленный немец его убитого напарника, а сам Лешка сзади ползет. Орденов не заработал он, потому что был до войны врагом народа и иностранным шпионом, и сгинул за то из деревни еще до финской войны, а Варька его терпеливо ждала и ни с кем из парней не гуляла.

Потом уже, когда немец до Волги дошел, получила его Варька весточку, что жив он и здоров, и фрицев зарезал столько, что на три тыщи жизней хватит. А когда война закончилась и вернулись – кто вернулся – целые или без рук-ног, наши мужики по домам (хотя какие же они *мужики* были? Я только потом, через немало лет, осознал, какие же они были еще молодые, наши *мужики и бабы* – и кто воевал, и кто ждал их с войны! Нашел я фотокарточку старую, я с пионерским галстуком, и мама рядом в платочке, улыбается – она еще молоденькая была, двадцать семь лет всего! – а я то тогда думал, что она уже старая, а молодые – это кто еще не замужем. Но и ходила мама моя в старом заплатанном полушубке зимой, и подшитых валенках, и шаль шерстяная до самых бровей, и то у печи с ухватом, в золе и саже, то в санках с дровами, тащит их по снегу вместо лошади, то сено в санках везет – когда уже дед отделил нас, отдал нам на избу стайку – хлев, по *расейски*, – и поселили мы в углу телочку) – Лешка еще не сразу вернулся.

Варька добежала до края деревни, повернула назад и заголосила еще пуще, надрывнее...

С того памятного жуткого зимнего вечера минули десятилетия. Вспоминал ли я деревню, или снилась она мне – но почти всегда вспоминалась или снилась Варька, и сжимала сердце тоскливая боль. Что с нею было, кому она жаловалась, какому небу посылала свой вопль – было неведомо мне. И так, думал я, никогда и не узнаю правды, не пойму чужой тоски. В последние годы редко бывал я на родине, и только телеграмма от тетки: *мать тяжело больна, приезжай попрощаться!* – заставила меня вырваться из тисков городской суеты, пренебречь спазмами в сердце и вернуться к истокам жизни. Родная деревня наша поросла мелким осинником, мать жила на краю поселка километрах в двадцати от нее, рядом поселились и другие наши деревенские, и казалось иногда, что это все та же наша деревня и старый дедовский дом. Никто на станции не встретил, и я уже не чаял увидиться, подходил к дому со страхом.

Но у калитки стояла костистая седая женщина, опираясь на палку, а под руку ее поддерживал сухонький тихонький старичок – ее младший брат и мой дядя, сорок лет плутовавший по обширной Российской Земле, растерявший жен и детей, не сохранивший “ни кола ни двора”, и бежавший к родной умирающей сестре из сумасшедшего дома, куда сдала его последняя “подруга жизни”.

Братья мои единоутробные за столом сидеть не стали, да они и деревню не помнили, сосед обещал подойти как подоит корову (вот тоже, на старости лет... да, впрочем, ладно... не так уж у него все плохо, и с войны вернулся целым, и огород есть, и пчелы, и жену взял из соседней деревни красавицу, и свадьбу гуляли три дня, и на санях с бубенчиком ездили из деревни в деревню, и стол ломился от закусок – и я почти все помню, что на столах было, потому что жили голодно, и иное я здесь в первый раз в жизни и попробовал – блины с творогом и сметаной, пироги с брусникой, горячие блины с медом, борщ украинский с мясом...).

Ну, вот и щеколда звякнула, и сосед подошел – налили мы по полстакана водки, хотя всем было нельзя (но всем эта стопка пошла на пользу!), и я предложил выпить не просто за встречу, а за нашу деревню и деревенских.

– Да сколько же нас уже и осталось?! – горестно вздохнула мать, и стала загибать пальцы.

– А помнишь Варьку, которая бегала по деревне и голосила страшно, а что с нею было тогда, я так и не знал никогда...

– Ну как же не помню? Да неужто ты и не слышал, отчего Варька по деревне бегала, и из петли ее вынули? Лешку-то ждала она целых семь лет, и уже засыхать стала в девках, и уж не чаял никто, что он вернется, ну и слюбилась она с землемером, а как Лешка вернулся и она с ним сошлась, то через полгода родила ребеночка. Бил-то ее Лешка, конечно, не без того, но не так уж шибко и бил, а по лицу и вовсе не бил никогда, а голосила она от того, что ребеночек ее на третий день как родился – помер. Вот в тот вечер ты и слышал ее, как ребеночек ее к ангелам отлетел.

И после она любила плакать и причитать, но не от того, что Лешка ее не жалел и *курвой* обзывал, а что ребеночка ее не пожалел и попрекал им. А уже на пятом десятке лет родила она и Лешке сына, да рос такой вредный и *фулоганистый*, что не дай Господь никому! Из дому пропадал, воровал из дома и от соседей, что плохо лежало, хотели его в Психколонию отвезти, да не успели – было ему еще пятнадцать годков, подпер ночью он двери, и окна ставнями закрыл и подпер, и подпалил дом с четырех углов!

И больше ли у Варьки с Лешкой было грехов, чем у других людей, но оставил их в чем мать родила родной сын.

Заросла наша деревня осинником, и осинником и бурьяном зарастает наша прошлая жизнь...

А как красиво было и пронзительно хорошо, когда в Рождественскую звездную ночь – небо польхало от звезд так, что глазам было больно! – ватага молодежи с вывороченными шапками и полушубками, привязанными козлиными бородами, ходила от избы к избе с мешками – *колядовали*, пели и плясали под окнами, и ребятишки вились тут же под ногами, путались – а потом собирались в одной избе, где уж заранее договорились погулять, и вытряхивали на стол из мешков, что насобирать удалось. Отчего-то меня и из взрослых, и из молодежных, и даже девчачьих компаний никогда не выгоняли, если уж я туда прошмыгнул, и не просто терпели, а – привечали! Если вдруг вздумается кому шугануть меня, то сразу кто-нибудь вступался – *Васеньку не трогать! Он со мной!*

Сидел я либо на печи, либо под столом, а перед “посиделками” изба мылась чисто, убиралась, обувь все снимали у порога и сидели босые либо в носках шерстяных вязаных, и под столом под жужжание веретён было таинственно и каждое слово хорошо слышно, даже шепотом сказанное. Полный стол снедью завалили, разбирают радостно и растолковывают: *А этот пряничек медовый – Васеньке!.. Ух ты, полный берестяник бруснички!* – это тетка Дарья подала, надо тусок ей вернуть... И картошечка рассыпчатая, завернутая в два капустных листа из кадки, и каравай хлеба подового, и лепешки белые сдобные, и пироги с картошкой, и пироги с грибами (*Васеньке вот этот, самый маленький!*.. Да как бы живот не заболел у него?.. *Ничего, дитя как собака, лишнего не съест!*)

А на Пасху? А на Троицу? А в Родительскую субботу! – И карусель сна покатилась и покатилась и дальше, но я уже знал, что снова вернется и к Пасхе, и к Троице, и к Родительскому дню.

Лежал я, видно, неудобно, ногу подвернул и бок затек, оттого и саднил, но сон словно компресс приложил к больным местам, вроде отпустило, и вновь сцена ожилá.

Вот уже я школу окончил, и нетерпеливо считал дни, когда на запад уеду, в Большую жизнь.

В сие время дед задумал женить Ивана. После того печального случая, когда разбил Иван на качелях, стал он человеком “бесхитростного ума”, и для удачного сватовства нужно было немалое искусство.

А тут и невесту предложили, которой по положению своему не слишком приставало быть разборчивой в женихах. Было ей около тридцати лет, имела она дочку шести лет, жила и работала в Псих-колонии нянечкой. Была не из несчастных, призреваемых в колонии, а простая русская баба, работающая ту работу, ниже которой уже и не было; и такие все женщины, как я потом смог заметить, были самые безответные, кроткие, простодушные.

Мужчин там почти не водилось, кроме психов, санитаров и врачей, но врачи были женаты на городских и до нянечек и уборщиц, кухарок и прочих простолюдинок не снисходили, санитаров же на всех не хватало, да и были они такие грубые, что хуже психов.

Пробыли мы в колонии три дня; в первый день ходили знакомиться, во второй – с формальным предложением, а в третий пришли за ответом.

В первый раз пили только чай, во второй принесли вина и пряников, а в третий я принес конфет Анечке, но за стол с угощением уже не садились.

Присели на стулья, обменялись двумя-тремя фразами, и наконец я приступил к делу.

– Что ж, уважаемая Матрена Петровна, ждем Вашего решения! Как говорится, ваш меч, наши головы с плеч.

– А мы тут с дочкой советовались, да так ни к чему и не пришли. Сходи Васек, погуляй с ней полчаса, мы с Ваней наедине поговорим, а то ты все соловьем разливаешься, а он отмалчивается.

Делать нечего, ушли мы с Анечкой гулять. Сколько вчера ни убеждал я Мотю, что в доме нужен работающий мужик, а Ане – заботливый отец, а не балагур-краснобай (с чем она соглашалась), Иванова простоватость отчего-то ее шибко удручала. “Значит, еще не до конца приперло девку!” – подумал я словами своего деда.

С Аней у нас получилась, можно сказать, любовь с первого взгляда. Она взяла меня за руку, и не выпускала – боялась будто, чтобы не убежал.

Повела меня по огороду, по всем грядкам, называла овощи и цветочки.

– А вот это моя собственная грядка, здесь я сама все сажала, сама поливаю и ухаживаю!

Грядка была чудная, буйно и тесно росли вместе цветы, морковь, огурцы, маки и горох.

– Значит, я так думаю – ты или на мамке женишься, или на мне, а Иван пусть к нам в гости приходит, он будет дрова колоть.

– Анечка, как же я на тебе женюсь, ты ж еще маленькая!

– Ну, тогда подожди, пока подрасту, я быстро подрасту, ты не бойся, вот свой *неверситет* закончишь, мы и поженимся, а пока на мамке женись!

– Так тоже нельзя, мамка ж плакать будет, когда я на тебе переживаться стану.

– Значит, ладно, сразу на мне женишься, когда я вырасту, я тебя ждать буду... Только поклянись, что приедешь на мне жениться!?

Я поклялся...

Клятвопреступник! Обманщик! Не так ли ты и других обманываешь? Золотые горы сулишь, да дворцы сказочные, жизнь впереди чудную, непостижимую, волшебной музыкой осиянную – а буераки да пустыри по краям, дорога в колдобинах, и впереди – темный провал! Ужо будет тебе за обманы твои, горячие слезы очи иссушат, тоска-кручина грудь раздерет, жернов тяжелый спину пригнет к земле, и отчаянье поцелует запекшиеся губы!

Господи! Да за что? Такой ли уж я грешник, Господи? Не сам ли я обманывался, когда манила жизнь цветами лазоревыми на шелковом лугу, родниками студеными, зорями ясными, звездным небом рассыпчатым, травой-муравой вдоль дороги лесной, веселыми летними борами, пропитанными смолистым сосновым духом, соловьиными трелями и шмелиным гудением? Я ли не искал жизни чудной, друзей преданных, любви возвышенной и подвигов чистых?

Я ли не пытался научиться не плетению лукавых слов, а *иноговоренью*?!

И тут словно пелена вновь задернулась, и я увидел себя в том блаженном мире *неведенья*, которое, не отменяя знания всей глубины правды, чужого горя, слез, радости, чистоты или замутненности, искренности или лжи, сострадания, участия, или жестокости – не замечало многих внешних частных, неважных ребенку в его переживании происходящего как светлой, осмысленной, исполненной высокого предназначения и судьбоносной для всего мироздания мистерии.

Россия была в центре Космоса, наша деревня – в центре России, события вокруг меня и во мне – центральный узел Бытия. Дед Зеленек только разъяснил мне мое назначение, но я уже и сам знал, что когда вырасту, тогда и мама моя не будет в санки с дровами впрягаться вместо лошади, и бабушка не будет плакать, и дед не будет сено косить ночью, при свете луны, и все несчастные станут счастливыми.

Правда, сам я деда не жалел за ночную косьбу, это мама и бабушка причитали, посылая Петю (и меня, чтоб Пете не было страшно) отнести деду бутылку квасу, краюшку свежее испеченного хлеба и два огурца. Месяц так ярко и красиво светил голубым волнистым светом, что я завидовал деду, размереннодвигающемуся вдоль леса по краю гречишного поля. Гречиха переливалась синим, голубым, фиолетовым, зеленым, темно-коричневым, дух шел такой сладкий и плотный, что закружилась голова, и я поплыл по полю как бумажный кораблик по ручью, и громадные осины наклонялись надо мною и качали ветвями. Шли по узкой тропиночке по самому краю, ладонь моя скользила по тугим колосьям, и аромат их впитывался в кожу.

– Что ж, потрапезуем! – спокойно сказал дед, сел на валёжину и расстелил платок. Мелко перекрестил рот, мы с Петей размашисто

напоказ перекрестились тоже, и приступили к трапезе вместе с дедом. Хлеб был еще горячий, запах его смешивался с запахом гречихи, отчего он еще был вкуснее, луна стояла высоко над лесом и смотрела на нас.

– Если умирать, то хорошо бы на полянке около гречихи! – подумал я.

А о смерти я задумался уже прошлой зимой, когда везли меня в санях с воспалением легких на станцию в медпункт, я лежал под тремя тулупами, горел в огне, задыхался, и так хотелось глотнуть хоть один глоток холодного морозного воздуха!

– Деда, деда, дай глоточек глотну маленький, я тихонечко, рот открывать не буду!

– Терпи внучек, терпи, родной, а то не довезем! Не вытерпишь – помрешь!

– Деда, деда, мочи терпеть нету!..

– Дай, дитятко, я тебе песню спою! – и дед запел дребезжащим, но приятным и красивым голосом (а у нас все в родне пели голосисто!):

После-е..дний noneший ден..ё..чек

Гуляю с вами я, друзья...

А потом спохватился, что песня жалостливая, и завел другую:

Эх, загулял, загулял!

Парень молодой, молодой!

В красной рубашоночке,

Хоро...шенький такой!

И стал приплясывать возле саней, притоптывать, хлопать себя рукавицами по бокам, а сосульки намерзали вокруг бороды, усов, брови заиндевели, и ресницы оделись в ледяную корку, из-под которой пробивались тоненькие горячие ручейки. Когда разворачивал он меня из овчин уже в медпункте, показалось мне его лицо похожим на снежное окно в избе с двумя проталинами для глаз.

– Ну и что я могу сделать? – тонко и упрекающе кричала тетка в белом халате.

– Он вот уже без сознания, а у меня и пенициллина нету (а я в сознании был, все слышал), все одно больше чем полчаса не протянет, а в город поезд только ночью!

– А счас разве никакого поезда нету?

– Да будет вот-вот, но у нас не останавливается...

– Ты вот что! Маруся, хватай мальчика, на станцию бежим, и ты милая, с нами! – и он схватил ее за руку как клещами. – Не остановится поезд, я тебя под колеса и брошу! Я всю Гражданскую!.. Я всю Отечественную... Я с самим Галушкой воевал!

Все замолчали, тетка не закрывала рта, но бежала молча, дежурный по станции стоял с красным флагом у переезда.

– Останавливай поезд! – скомандовал дед.

– Да вы, что, под трибунал меня подвести хотите?!

– Останавливай, антихрист! – вдруг завизжала тетка, – а то я сама под рельсы лягу!

И она плюхнулась на колени с намерением лечь на рельсы.

Дежурный засвистел в пронзительный свисток, опустил семафор и замахал крест накрест флажком.

Поезд остановился, мать мою посадили на крутые ступени паровоза, дед поднял меня на вытянутых руках, сверху свесился молодой парень, помощник машиниста, и мигом втащил в кабину. Положили меня на широкий ящик с углем, не так далеко зияла разверстая топка, загороженная от меня дверцей, и помощник швырял и швырял в топку жирные глянцевые куски угля. Остановок больше не было, и мы домчали раньше положенного. Я уже почти ничего не видел, смутно ощущал, как передают меня из рук в руки, а потом плотный туман стал меня колыхать тихо, как в зыбке. Все ли я помнил сам, или многое по рассказам?

В конце пути бежала моя мать по коридору, держа меня на руках, полущубок с меня свалился еще на крыльце, шаль ее держалась одним концом на плече и волочилась по полу, глаза горели безумием.

Навстречу по коридору шел высокий молодой врач, остановился, заглянул мне в лицо, вырвал безжизненное тело из материнских рук, сделал три прыжка и ворвался в чей-то кабинет.

– Ну, мамаша, молись Богу! На одну секунду бы ты позже прибежала, или я бы в коридор не вышел – дитя твое было бы уже не спасти!

Ах, Господи, вперед Тебе ли молиться (да я Тебе разве не молюсь!), или всем любящим меня? Перед ними-то я в неоплатном долгу! Одни заботы, одни огорчения, как над каменистым полем бьется крестьянин, так бьются надо мной близкие, уж сколько посеяно! – когда же урожай?

– Вот, – говорил я – *вырасту, всё верну, все долги оплачены будут!* – Когда же вырасту?

И *до сего дни* не вырос, и только больше долгов накопил. Бабушку обещал ошастливить – умерла бабушка от рака, когда я уже студентом был. А так жить хотела, так за жизнь боролась, какие только народные средства ни испробовала, и пчелы ее жалили, и в муравейник ногу опускала, и змеиным ядом мазалась – нет, не помогло ничто, так, сильную телом и крепкую духом, и в гроб ее положили. Волосы черные, без единой сединки, расчесали гладко, и льняным платочком подвязали, зубы были целы все, как жемчуга, лоб прямой и чистый, рубашку одели домотканую, что сама ткала, а кофточку и юбку от ее бабушки, приданое к свадьбе. На ноги черевички сафьяновые, и на шею – костяное ожерелье. Вот и открылась тайна сундука кованого, что в переднем углу под образами стоял, весь затейливыми заклепками изукрашен.

На поминках народу немало было, плакали и жалели – и плакали и жалели не потому только, что и над всяким умершим кто-нибудь да плачет, но словно в предпоследний раз остатки деревни нашей соединились вместе оплакать и самих себя тоже, горестную и трудную жизнь, и уходящую связующую серебряную нить, которою была наша бабушка в суровом домотканом *омофоре* деревни.

Когда остались только родные, и стали вспоминать прошлое, а дед сидел во главе стола и плакал, и сыновья утешали его, дочери вдруг приступили к нему с упреками, и тогда с огорчением узнал я впервые, что не одни согласие и любовь царили в нашем доме, и дед мой, чьи рассказы о подвигах слушал я в детстве восхищенно, не всё был героем и праведником, но и грешником бывал тоже, и бабушку в молодости поколачивал, и корову до войны со двора (тогда еще, правда, не убогого) проиграл в карты. Печально мне стало, и не стал я больше слушать, потому что незыблемы звезды на небе, а две голубые звезды всегда сияли мне рядом – заботливая и хлопочущая бабушка моя и героический дед.

Через семнадцать лет похоронили деда. Род наш был весь еще цел, кроме тех, кто не вернулся с войны, пришли и кое-кто из деревенских, хотя деревня уже начала зарастать осинником. Кладбище располагалось на южном склоне холма на веселом месте, поросшем березками, и когда опускали гроб, солнце провожало его вместе с нами.

Кто-то из младшей поросли принес фотоаппарат и встали мы плотной гурьбой, еще все здоровые, все крепкие, и все без седины, и мать моя стояла прямая и крепкая – вылитая бабушка, с густыми темными волосами, белозубая и без морщин. Стоял рядом Костя с льняными волосами, и младшая мамина сестра Нина – у них в доме и уходил в иной мир мой дед, медленно и неохотно, измучив всех в доме. Но ни жалобы, ни упрека не услышал он от своих, и умер в чистой постели.

На кладбище наливали всем, кто пришел, и всем прохожим, а поминки были вечером у Нины и Кости.

Собралась только родня.

Детей угостили сладким, дали печенье и конфет и прогнали из-за стола, за столом стало шумно и даже весело, смерть девяностолетнего старца уже не трагедия, только Иван плакал, но он уже так вжился в подлинные и воображаемые походы деда в Гражданскую с атаманом Галушкой, что провожал в последний путь словно не отца, а сослуживца по конной армии. Потом заплакали и дядя Костя, и Толя – “но это уже водка плачет” – сказала моя мать. Незнакомый молодой мужчина несколько раз поглядывал в мою сторону, и наконец решительно подошел с рюмкой водки.

– Ты меня не узнаешь?

– Нет...

– А я вот тебя сразу узнал! Мы же за одной партией сидели! И бегали друг к другу зимой без валенок! Тебе мамка нажарит картошки с салом (когда ты болел), а ты мне все сало и отдавал, не любил его почему-то...

– Гриша? Это ты?

– Ну, да...

Мы обнялись и выпили за встречу.

– А как ты на поминки попал?

– Дак мне телеграмму дали... Ты разве не знаешь ничего?

– Не-а...

– Ну, ты всегда не от нашего мира был! Так я же дедов сын, твой дядька, значит... Как мамка умирала, она мне во всем созналась, она же еще до бабушки твоей умерла. Сама пойти уже не смогла повиниться, а мне наказала, я сходил, а бабушка твоя тоже уже почти не вставала, я поклонился в пояс, и прощенья попросил, а она велит мне клюку подать – ну, думаю, попадет мне! Нет, оперлась о клюку, встала, подошла, обняла меня и заплакала...

Я, говорит, на тебя зла не имею, а мамке скажи, что когда будет умирать, тогда и прошу ее. Но в дом наш до смерти деда никому из ваших и тебе не разрешаю входить, а после – как дети мои решат.

Ну, вот, заново и познакомились.

– Василек! – закричала мягким добрым голосом уже подвыпившая младшая тетка, которую я всегда звал просто *Нина*. – Подойди-ка, рассуди меня с моим крокодилком, пока я ему все патлы не повыдергала. Вот он пеняет мне, что рисковал срок по новой получить, когда у старого моего ухажера с боем отбивал меня, весь забор мне переломали – (да я то ли разве не видел эту страшную битву Давида с Голиафом?!) – ну а я не рисковала, когда у поллюбовницы его отбивала?

– Чем же рисковала ты? Я на тебя руку когда поднял за тридцать лет? А ты меня ногами пинала.

– Дак разлегся вдоль порога, места другого не найти было?

– Василь, защити меня от этой баламутки, дай достойно деда твоего помянуть!

Я, видно, уже напоминался! Стол то приближался ко мне, то удалялся, словно через марево какое, и друг мой Костя, “вор в законе”, плотник и тракторист, с которым и я сам лежал у того злополучного порога – (проверяли, *уважат* его дочки или нет? Дочки то уважили, да жена – *не уважила!*) – друг мой Костя смотрел на меня удивленно-веселым взглядом с портрета в рамке. Был он другом половине зоны, имея свободный доступ, приносил ээкам чай, а то и покрепче чего, охрана его “шмонала” спустя рукава, потому что никогда за всю жизнь не взял он ни с кого копейки, ничего не продал ни со двора ни от себя, словно поклялся денег акромья как за тяжелую работу – не брать; и зарплату за него получала его завоеванная половина (но, однако, *заначка* у него за подкладкой рваной мазутной телогрейки всегда хранилась!)

Стекло замерзло сильнее, и потому виделось мне все плохо, я встал на скамейку, и стал дышать, скоблить ногтем и горячим пальцем оттаивать дырочку в другом месте, вот наконец дотаял до чистого стекла и увидел лица, да и звуки стали ясными и отчетливыми.

В другой, за окном, горнице, за большим столом, покрытым белой скатертью, сидела наша семья в сборе. Как это только во сне бывает, я ничему не удивлялся – ни тому, что мне только исполнилось восемь лет, я еще не совсем поправился после желтухи, ни тому, что собрались мы в горнице у тети Лены, средней маминой сестры, почти через пятьдесят лет... В те два года – с лета 48-го до лета 50-го – прожил я большую часть

своей жизни, и что ни собирал с тех пор, было посеяно еще тогда. Вот уже и она старушка, да и у меня борода седая – когда же золотая жатва, чтобы серпы сверкали на солнце, снопы желтые и голубые бежали, и бежали по полю, звонко кричали девичьи голоса, ржали кони, отвозя волокуши, мальчишки носились стремглав со жбанами кваса, степенные старики мерно работали *цепами*, намолачивая тяжелую янтарную рожь, бабы крутили веялки, мужики, кряхтя, укладывали в подводы пятипудовые мешки и везли их на мельницу, а в потаенном месте у ручья уже дымилась винокурня?

Когда же золотая жатва, когда гудит земля от звонкой песни натруженных работниц, возвращающихся с поля, и первым вечером первого дня урожая за веселым трехведерным самоваром разламываются горячие душистые лепешки из первой муки, смолотой моей бабушкой, Анастасией Михайловной, на старом каменном ручном жернове?! Пробовал я его покрутить, да не смог.

Тетя Лена сидит сухонькая и прямая, как солдат – и ее жизнь вместила горестей и радостей, что и в памяти не вместить, и к ним я почти ко всем прикоснулся. Сын Ивана да Марьи, я – пока не нарожали мои тети и дяди своих детей – был общим дитем, и шла за меня иногда ревнивая тяжба.

Самый страшный и самый памятный день из тети Лениной жизни – когда привезли ее с поля, где мужики валили березы и корчевали пни (а девки помогали обрубить сучья), еще шестнадцатилетнюю, еще не тетю, а просто Лену, со сломанным позвоночником, и положили на тот самый большой кованный сундук, что стоял в красном углу под образами, убранными льняными домоткаными, серебряной иглой вышитыми полотенцами, и вся родня стояла вокруг и плакала – не столько ужасаясь смерти, сколько тому, что будет, если она выживет и останется недвижимой. Рядом с тетей Леной сидит дядя Миша, бывший Бандеровский партизан, одичавший в лесах и тайных схронах за пять лет своей войны с Красной Армией, и так в диком виде и умиравший на лесоповале в далеком ОЛПе (особом лагерном пункте), в дальнем из восьмидесяти таких пунктов, разбросанных вдоль узкоколейки, которой и до сих пор нет на Российских картах. Тетя Лена работала в зоне по найму, поварихой, работала хорошо и честно, для себя ничего не заработала, вернулась через три года в той самой знаменитой плюшевой жакетке, в которой моя мама щеголяла до войны, и которую она подарила тете Лене – но при всей честности была она *не справедливой*, то есть не всегда делила все поровну, и не один доходяга был благодарен ее *несправедливости*.

В 56-ом грянула очередная амнистия, Бандеровец уехал к себе домой, женился, развелся, подрался, не ужился среди своих – а близких у него, правда, никого не оставалось, а эта ненавистная Россия, с которой он так страстно сражался, занозила его сердце, и через десять лет списался он со своим другом Костей, со своей поварихой тетей Леной, трижды бывавшей замужем, но родившей только раз, и приехал колотить ее,

безответную, но ждущую своего часа. И час этот настал и явился в образе голубоглазой Таньки, которая была немножко в отца, но больше в свою прабабку, а мою бабушку, как вся женская поросль в нашей удивительной семье, смысл которой я только теперь начинаю понимать.

Дед Миша, обьехав обширные российские пределы и ее разнообразными языками, вернулся в заснеженную Сибирь и рухнул под натиском кроткой, любящей, жертвенной, страдающей, несчастной, верной и преданной Русской души, думая, что покорила его только приемная внучка. Отец ее и мать волею обстоятельств оторвались от родного чада, у каждого из них завелась своя семья, и Таня стала принадлежать только бабушке Лене и дедушке Мише.

– Мать-то твоя еще ничего, – ворчал дядя Миша, – а папке твоему и делать здесь нечего, фармазоново семя!

Таня согласно кивала русой головкой – папку она и видела-то всего раза два, и в мамкиной семье, где она раньше жила, его тоже не жаловали.

Все, наконец, уселись за стол, кроме детей, которым был накрыт столик в соседней, полуотгороженной комнате, так что их было тоже видно.

Не было младших маминых братьев – Петя еще не закончил мытарства, и где-то за Байкалом готовился к сумасшедшему дому (не зная еще, правда, о том), а Толю не пустила жена, которую семья наша не жаловала и не пригласила.

Не было с нами и “дурня Ивана” – как его иногда в раздражении на его непонятливость называла родня, – который после неудачного моего сватовства так и не женился, жывал то у братьев, то у сестер, то уходил в тайгу и жил по нескольку лет в охотничьих избушках. Незадолго до нашей встречи он бестолково окончил дни свои под колесами автобуса, неожиданно выскочившего из-за поворота вдгон. Иван шел с базара рядом с тетей Соней, отцовой сестрой и женой дяди Кости, *старшего* маминого брата (не считая погибшего Василя). Всей его дурневой расторопности, когда, оглянувшись, увидел он приближающуюся смерть, хватило только на то, чтобы столкнугь растерявшуюся тетю Соню в кювет и бросить ей вдогонку ее сумку. О чем он думал в эту секунду? Скорее всего, ни о чем и не думал, а сделал то, что существовало в нем так же естественно, как зажмуривается глаз при ярком свете. *Дурень* сначала спасает ближнего, а потом – если успевает – задумывается о себе; *умный* – даже самый благонамеренный – хоть долю секунды, да промедлит, выбирая...

Итак, почти все были в сборе, Ивана помянули, и тетя Нина смахнула слезу – Иван в последний путь ушел тоже из ее дома.

Мать моя, болеющая в последние годы, от рюмки водки оживилась и, перебивая нестройные голоса, заговорила громко.

– Я что хочу сказать? Послушайте-ка меня! Может быть мы в последний раз и собрались почти всей семьей, а я уж точно с вами не посижу, свое уже отсидела. Вот смотрю на вас всех и думаю – как бы

бабушка, наша мама, порадовалась! Какая она была красавица да умница да певунья, и песни сочиняла, и пела, ей бы княгиней быть и в хоромах сидеть, а не у черных горшков, или тяжелый жернов вертеть. Была она певуньей и плакальщицей, да великой труженицей. Теперь с небес на нас смотрит и больше не плачет, а радуется. Разве в какой семье столько красавиц бывает? Вот Нина пятерых дочек родила, одна краше другой, одна только Галя в папку, а все – в мамку да в бабушку! Но Галя три дня и три ночи в больнице от меня не отходила, когда мне операцию сделали, значит, папка ее вправду святой был. А Наташа? Смотрю я по телевизору на конкурсы красоты – Наташиной они и подметки не стоят! И правнучки уже подросли, и праправнучки подрастают, две Настя уже петь пробуют, хотя только говорить научились, одна здесь, другая на краю света, в Петербурге. Но пусть теперь за меня Вася скажет, что я сказать хотела!

Я оглянулся на окно и увидел себя, восьмилетнего, глядящего с той стороны стекла...

– Почему за этим столом почти одни только женщины? Потому что у Руси – женская душа, а наша семья, и наша деревня – сама Русь. Были в нашей деревне и умные и глупые, и добрые и злые, и бедные и богатые, святые и юродивые, бессеребренники и лихоимцы. Но как семь колен Израилевых соединяли добродетели и пороки, так и в нашей деревне перемешались свет и тьма, словно два народа, враждебных друг другу, хотя и говорящих на одном языке. *Мой народ* – это род наш – святые и работающие, и все только такие до отдаленных пределов памяти, от наших прадедов и прапрадедов и дальних пращуров, до внуков и правнуков. *Их народ* – тоже от прадедов к правнукам – насильники, гольтьба, разрушители и алчные до богатства и власти.

Где выход, в чем исход – не знаю я! Когда закончится утеснение и поношение достойного и величание недостойного – не знаю я! Но одно твердо знаю – пока стоит наш род, наша семья на земле – не прервется нить и не погибнет русская земля.

Что такое Русь, в чем ее святость и предназначение, что такое русский народ и Россия, в чем красота русской земли – не смогу рассказать, ибо еще не настал мой час, и не могу ни вместить в душу то, что видят мои очи и слышат уши, ни выразить достойно.

Но час этот настанет, верю я и жду.

Я всхлипнул от бессилия, и виденье за стеклом растаяло.

Бухнула тяжелая дверь, впустив клубы холодного воздуха. Вошла мама с вязанкой дров.

– Что же ты у окна стоишь? Меня ли все в окошке высматриваешь? Ну вот мамка твоя живая и невредимая, и подарок тебе от зайчика принесла! – и она протянула мне кусочек мороженого хлеба, будто бы найденный в заячьей норе. Верил я или не верил в это, но хлеб был как сахар.

– Беги-ка под одеяло, пока я дров подброшу, ты еще слабенький, тебе еще лежать надо!

2.

Лежу я все-таки неудобно, и нога и бок то начинают сильно саднить, и что-то мрачное теснит душу, то отпускают, и тогда раскрываются светлые сны. Иногда мне кажется, что это желтуха мнет меня и колотит, и температура поднимается за сорок, и я спешу убежать в будущее, которое мне – снится. Детство видится ясным и отчетливым, а зрелость – тусклой. Иногда же, напротив, думаю я, что снится мне все – и детство и зрелость, но где я и что со мною – все еще неведомо мне.

Меня знобило, и я лежал близко к железной печке под ватным одеялом. Дрова гудели как ветер на улице, труба раскалилась докрасна, и незаметно для меня из дырочки, где неплотно соединились два колена, вылетела искорка и упала на одеяло.

Я задремал, и проснулся от того, что голый живот припекло тлеющей ватой. Хорошо, что рубашка на животе задралась и не загорелась.

Живо вылез я из-под одеяла, зачерпнул ковш воды и залил огонь. Дырка выгорела с ладонь и пахло горелым, жаль, мама узнает и не дай Бог будет плакать.

И вдруг радость меня пронзила – да я ведь самостоятельно встал с постели, я почти здоров, хотя ноги пока еще ватные, как одеяло.

Как не приходит беда одна, так радость, к счастью, не приходит одна тоже. Ворвалась заснеженная, в желтом сырмятном полушубке (*ух, метель какая воет! феераль-батюшка, венец зимы!*) крестная тетя Маруся с коробкой под мышкой.

– Очунял? Живой? Да ты, братец, сто лет теперь проживешь, никакая холера тебя не берет, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!

Пощупала лоб, поцеловала.

– Я тебе такую радость принесла, что плясать сейчас будешь! – и она положила возле меня коробку, обшитую белым полотном с сургучными печатями.

Тут же следом и мать вошла.

– Ты чего, Маруся, бежишь как на пожар, я тебе кричала, кричала...

– Так видишь, что?

На одеяло пока никто не обратил внимания, аккуратно вспороли на коробке нитки, чтоб не повредить холстину (из нее потом мама мне сшила красивую школьную сумку с ляжками через плечо), и рассыпали по постели целое богатство.

Конфеты в ярких цветных обертках, карамель и шоколадные (а я и не знал, что кроме липких подушечек с повидлом бывают другие конфеты), печенья, маленькие мандарины, обернутые каждая в папиросную бумагу, готовальня с "*рейсфедером*" (что это такое, я и до сих пор не знаю), цветные и простые карандаши, цветная и белая бумага (а мы в школе исписывали тетради мелко и даже обложки исписывали, а часто писали на полях газет!!!), томик стихов неизвестного поэта 19-го века *Костки*

Натурского, не то сербского, не то болгарского, где были стихи, посвященные Пушкину, руководство по стихосложению!, сборник стихов русских поэтов с потрясшими меня Пушкинским *Русланом и Людмилой*, и стихами Лермонтова, из которых запомнилось сразу и на всю жизнь “Выхожу один я на дорогу”.

И, наконец, аккуратно исписанное девчоночьим почерком длинное письмо, и фотокарточка.

В хате скоро стало не повернуться – прибежала запыхавшаяся тетя Соня (сестра моего папки), тетя Нина... и не помню остальных.

Письмо я читал вслух под пояснения тети Сони.

Написали мои двоюродные брат и сестра Эмма и Алик, дети старшего отцова брата дяди Миши, родившиеся в большом городе, о деревне не слышавшие и не знавшие, да и дядя Миша о ней забыл. В 29-ом году отвозил его отец, мой дед Иван, жмых на станцию, да по дороге и съел его толику, не утерпев с голодухи. На станцию лошадь добрела к вечеру, и дед мой уже остыл, сложив перед смертью руки на груди по православному. Осталась семья мал мала меньше, и старшим оставался дядя Миша, но встал он на колени перед любимым братом своим, и взмолился.

– Ваня, отпусти меня Бога ради в город учиться! Встану на ноги, всей семье помогу!

Учиться-то было голодно, и младший брат не оставил своей заботой ни пятерых младших, ни одного старшего брата, всех поднял на ноги, а урывками и сам учился, да успело пригодиться его учение только на войне.

На фотокарточке солидный полный мужчина в очках смотрел важно и строго, дама – высокомерно, но мальчик в матроске и девочка с бантиком, года на три или четыре старше меня, выглядели застенчивыми и доброжелательными.

Руководство по стихосложению вызубрил я наизусть – но не в коня корм! – и хотя заболел с тех пор сочинительством стихов, что в отличие от желтухи неизлечимо, но “*ямба от хоря*” отличать, увы, так и не научился! Правда, и лошадь не знает, что скачет галопом или идет иноходью, но невежество ей не помеха...

На второй день изучил я руководство, а на третий начал уже с поэмы, и к вечеру, когда вернулись домашние с работы и пришли меня навестить, она уже была готова и поразила не только их, но и всю деревню.

Правда, деревня уже чуть не привыкла поражаться. В шесть лет я был уже очень серьезен, поэтому отдали меня в школу – да и не хотелось дома одного бросать на весь день, а там все же был я под присмотром. Исправно вместе со всеми рисовал я палочки и закорючки, потом и буквы, бегло читал, повторяя за учителем, как *Рома поет Раму*, но премудрости превращения букв в звуки и сочетаний их в слова я

достигнуть не мог, и когда нечаянно перевернулся листок букваря, а я все так же бегло повторил за учителем очередное сообщение, вода пальчиком по неведомым словам, он остолбенел. Выяснилось, что я не только не складываю в слова буквы, но и самих букв не знаю ни одной.

Зиму 48-49-го годов я провел на свободе, предоставленный сам себе, и когда не болел (а жили мы тогда еще у деда), прибывался или к старшим ребятам, или к взрослым, и впитывал жадно жизнь как растения воду и солнечный свет. Наступил веселый апрель, побежали ручьи, я бегал искать подснежники, промочил ноги, и сидел дома с бронхитом. С тоски и скуки (и раскрывались подснежники и на проталинах пролески, лопались за окном почки и я чуть ли не слышал их оглушительные выстрелы, а мне дальше окна нельзя было ходить) – со скуки и тоски собрал я с комода книжки младших дядьев и стал их разглядывать.

Вот и УА, и АУ, и РОМА и РАМА, и МАМА и МЫЛО, и КОТ и МЫШИ... – и я не заметил, как кончился букварь. С разбегу взялся я за арифметику, пересчитал пальцы на руках и на ногах, поскладывал их и повычитал, пробежал первую сотню вперед и назад, заинтересовался сложением в столбик, осилил единицы, десятки и сотни, о тысячах сообразил, что это те же единицы, и взялся за таблицу умножения. Она запоминалась как сказка. Дальше я взялся за деление, легко догадался, что это разбиение на равные части и то же, что умножение, но десятичные дроби отложил на следующий день (сознаюсь, что простые дроби не давались мне две недели, но наконец сдались), а к концу бронхита – хотя я уже и бегал на улице с завязанным горлом и утепленной шалью грудью, – я дочитал *Родную речь* и взялся за учебник истории для четвертого класса.

Было три часа дня, воскресенье, 13 апреля 1949 года.

Я не испытывал ни восторга, ни удивления, подвиг свой воспринял как должное и не как подвиг, а – словно проснулся от сна.

Но тщеславию я был не чужд.

Чтобы себя проверить, взял я с комода газету Правда, в которую был завернут желтый огурец для семян, прочитал заголовки, а затем взялся за самый мелкий текст и прочитал и его без запинки вслух – с выражением, а потом про себя с той же скоростью, с которой говорил. Даже это меня не удивило, и особенно я не загордился – именно потому, что пережил все происшедшее как нечто естественное, словно до этого, по болезни, был в полусне, и вот – проснулся, и могу нормально говорить и читать.

Однако похвастаться мне страшно хотелось, и, на мою удачу, пришел дядя Костя, мамин брат, уже немного под хмельком.

Я взял молча газету и хитро спросил:

– Дядя Костя, а кто такие империалисты США?

– Ну, это такие враги народа, только в Америке. А с чего это ты вдруг про них спрашиваешь?

– Да тут пишут, что “империалисты США вместе с Акулами УОЛЛ-стрита хотят поставить на колени свободолюбивый корейский народ...”

– Где-где пишут?

Дядя Костя стал слегка заикаться.

– Да вот в газете...

И я стал читать и дальше, водя пальцем...

Ах, если бы дядя Костя не верил в меня еще с младенчества, как верит еще до сих пор, через пятьдесят лет, хотя пора бы разувериться!

Он вылетел стремглав из избы и побежал куда-то по улице. Через десять минут вошел улыбающийся скептически учитель Василь Михалыч и вездесущий сосед Федя Курдюк (страшный хвостун и балабол, неустанно повторяющий – *а вот еще говорят...*, пока Василь Михалыч не припечатал его однажды в сердцах – *да говорят что Кур доят!* – после чего его сначала звали Кур доят!, а потом уж как-то слепились эти два слова в *Курдюк*).

– Ну, где тут у нас Ломоносов, что газеты читает? Почитай-ка вот здесь!

Я бегло прочитал. – Смотри-ка, – изумился учитель. – А считать ты умеешь?

– Конечно!

Встрял дядя Костя.

– Сколько будет пять плюс пять?

– Десять.

– А пятьдесят плюс пятьдесят?

– Сто!

– А пять тысяч плюс пять тысяч?

– Десять тысяч!

– А миллион плюс миллион? – взвился Курдюк.

– Два миллиона! – гордо ответил я. – Да это что? Я могу и биллионы складывать, и секстильоны...

– Что-что? – В голос изумились проверяющие.

Я повторил. (Кстати, позже я забыл, что такое эти самые *секстильоны*).

Василь Михалыч и сам не решился меня про них экзаменовать, подошел ко мне и обнял. Ах, если бы он знал, какую змею пригрел у себя на груди!

Осенью пошел я в первый класс, но делать там мне было нечего. Учились мы в две смены, в первую – первый и третий класс вместе, во вторую – второй и четвертый, и конечно, пока я был первоклассником и лоботрясничал, старшая половина класса приспособила меня решать им задачки и подсказывать при трудных вопросах.

Помучился так Василь Михалыч два месяца и заявился он как-то в солнечный день к нам домой (мы уже с мамой жили отдельно) с дядей Костей и бутылью самогона решать мою судьбу. Решение скоро на дне бутылки было найдено сравнительно с неразумным разумное и пошел я на следующий день во вторую смену – то есть во второй класс.

Четвертый класс был поважнее третьего, и скоро Василь Михалыч понял, какого козленка пустил он на капустные грядки. Новое, более мудрое решение потребовало двух бутылей самогона, и хотя мой самозабвенно мне преданный дядя Костя настаивал на переводе меня сразу в четвертый класс, двух бутылей для самого правильного решения не хватило, отложили его до Нового Года, и стал я пока снова ходить в первую смену, но уже в третий класс.

А после Нового Года пошла скарлатина, потом корь, потом желтуха, потом я сочинил поэму, и так и закончил год в третьем классе.

Слушать поэму народу собралось что в клубе на выступление агитатора. Хвалили не все. Раздавались и трезвые голоса.

– Смотри, Маня, шибко уж твой Василек в науку да в книжки ударился. Головка-то у него еще не окрепла, как бы с ума не сошел.

Федя Курдюк убежал после первого четверостишья, а к концу чтения объявился торжественно с листком бумаги, исписанным коряво его Петькой, протолкался вперед и попросил внимания.

– Что-то вы на Василька больно много внимания обращаете! – начал он. – Парень, он, конечно, башковитый, в батьку пошел, но ведь и другие не лаптем щи хлебают! Вот мой Петька намедни тоже стих сочинил!

И он прочитал торжественно весьма складное стихотворение.

Память у меня тогда была отменная, а так как за год я прочитал каждое печатное слово, имеющееся в деревне, то в конце чтения я подошел к стене, снял настенный календарь, полистал немного, и вручил его дяде Косте. При гробовом молчании дядя Костя с запинкой стал повторять “Петины вирши”. Красный Федя выскочил из избы и сделался с тех пор моим ненавистником.

Фотография Алика и Эммы хранилась у меня много лет, но когда начала зарастать деревня наша с окраины – от поскотины – как и Русь заросла с окраин – потерялась и фотография, и руководство стихосложения, а потом и Алик и Эмма затерялись на бескрайних российских просторах и не вспомнили больше о “диком” брате своем, при свете лучины сочинявшем стихи.

С далекого запада донеслась однажды и еще весточка, удивительная и непостижимая, не разгаданная до сих пор.

Было мне двенадцать лет. В деревню пришел большой продолговатый конверт, адресованный Самсоновым (по фамилии бабушки), а в нем письмо и фотография очаровательной девочки с белокуроыми локонами, *Влади из Марианских Лазней*, у резного дубового кресла. Русский язык ее был безупречным, почерк напоминал старинные прописи, а бумага еще хранила аромат духов и девчоночьего дыхания.

– Мама моя умерла в прошлом году – писала девочка – так ничего и не рассказав о тайне моего рождения. Две ниточки вели меня в Сибирь – адрес деревни и русская фамилия, записанные на клочке бумаги без всяких объяснений, и русский язык, которому научила меня мама еще в детстве.

Теперь концы ниточек попали ко мне, началась переписка, затем романтическая любовь, поцелуи в письмах и жаркие любовные клятвы, пока и у нее и у меня в пятнадцать лет не появились новые увлечения.

– *Мой милый, мой добрый, мой никогда незабвенный друг!* – написала Владя в последнем письме. – Посылаю еще одну фотокарточку, ты видишь, я уже совсем взрослая, и у меня начинается новая взрослая жизнь. Я решила, что мы больше не будем писать друг другу, но за это наша любовь сохранится в нашей памяти навечно такой же юной, как первые весенние цветы, и через много лет в печальную минуту нам будет торжественно и радостно вспоминать друг друга.

Но, увы, я не всегда хранил верность Владе.

В то самое время, когда *“центрально-европейский роман”* только начинал разгораться, влюбился я в девочку Таню, стремительно и ошеломленно, как наводнение на равнинной реке, заливающей луга и ближний лес.

Родители ее появились в деревне вместе с нею в июне, что-то меряли и рисовали на планшетах в ближних окрестностях, не уходя далеко, и так же загадочно и внезапно в конце июля исчезли.

Поселились они в богатом доме кладовщицы Ньюшки, с отдельным входом, в чистой просторной горнице.

Я выбрал предвечерний час и в третий день пришел попросить книг для чтения.

– Детских-то книг у меня почти и нет, вот только у Тани одна, история одинокой кошки. Танечка, принеси-ка ее сюда!

Подошла девочка с синими глазами, распахнула их на меня и молча протянула книжку.

Пробормотав несколько раз спасибо, я вышел уже больной *еще смертельнее чем стихи*, и дома погрузился в книгу и сны, соединившие полудикую благородную кошку, кроткую девочку и меня, преданного и бесстрашного рыцаря. Через два дня пришел я снова, инженер растерянно перебрал стопку книг на тумбочке и вручил Мартина Идена. Таня стояла рядом молча и так же распахивала синие глаза. Через два дня пришел я снова.

– Ты не рассердишься, мой юный друг, если я тебя прозакламеную? – спросил инженер, загадочно улыбаясь.

– Что Вы, мне будет только приятно, что Вы равнодушны ко мне, – галантно ответил я.

– Ну, равнодушен ли я, выяснится после экзамена. Скажи мне, о чем роман, который ты только что прочитал?

– Наверное, одной формулой смысл романа выразить невозможно – начал я задумчиво и глубокомысленно, – автор пишет, скорее всего, о себе, о разочаровании в смысле жизни и творчества, о трагедии эгоистической и честолюбивой души...

– Ты так думаешь? – удивленно переспросил инженер – Может быть

ты и прав. Я бы даже сказал, что это трагедия эгоцентризма и себялюбия, а еще шире – крушение западного индивидуалистического сознания... Ну, этого ты еще просто не знаешь, но в общем, чувствуешь удивительно верно. Да, что же тебе еще дать? У меня и романов-то больше нет... Вот, попробуй почитать – не знаю, сможешь ли осилить и не будет ли скучно? – и он протянул мне старинный томик конца 19-го века – “Николай Полевой и северная Звезда.”

Когда через три дня я принес прочитанную книгу, меня пригласили к чаю. Таня не проронила ни слова, и я отвечал односложно.

Мечты мои и надежды связывались отныне с тайным свиданием наедине, я произносил в воображении безумные пылкие речи, стоял на коленях, похищал ее из застенков турецкого султана, отправлялся в Палестину на верном коне, повязав на шею ее маленький голубой шарфик, и Таня ждала меня тридцать лет, сидя у окна старинного готического замка.

Был в деревне клуб, куда ходили на политические беседы представителей района и на отвратительные свары, когда собирали общее колхозное собрание. Туда же еще сгоняли народ и на чтение газет, которые поручено было раз в неделю читать и комментировать мне, малолетнему народному трибуну, за что начислялся полновесный трудодень. Я был верноподанным и политически благонадежным, сын погибшего фронтовика и “беднейшей крестьянки” и единственный в деревне пионер, причем для приема меня в пионеры приезжал инструктор райкома комсомола с двумя инструкторшами и барабаном, барабан торжественно бил, бледный и растерянный инструктор произносил речь, инструкторши повязывали галстук, обалдевшие школьники – октябрята – стояли в почетном карауле. Я был самым маленьким, но я перед тем написал в Пионерскую правду верноподанный стих с негодованием в адрес Черчилля и выражением любви к Сталину и просьбой помочь в создании Пионерской организации. Отныне и навечно в истории нашей деревни я останусь первым и единственным пионером, единственным формально утвержденным проводником Ленинских идей – комсомольцев у нас почему-то не было, бывшие коммунисты-фронтовики, вернувшись в родную деревню, спрятали партийные билеты, чтобы не платить членские взносы, председателя и счетовода в партию принять не успели, так как они *пропили колхозную корову* и был из-за этого небольшой шум, который быстро замяли, но “хлебные книжки” им не выдали, учитель же в большевики не годился по причине своего мелкобуржуазного интеллигентского социального положения.

Заходил я к одноному счетоводу, по прозвищу Дрыганский, прослышав, что у него книжки имеются, и одну какую-то замусоленную он мне разыскал.

– А правда, дядя Дрыганский, что вы колхозную лошадь с председателем пропили?

– Не лошадь, а корову, – поправил он меня строго, – но это всё брехня! Ты мальчик умный, и наветам не верь. А не дома ли ты об этом слышал?

– Не-а, у колодца...

– Ну, там и не такое услышишь. Если еще кто будет обо мне что говорить, ты мне расскажи, я тебе еще книжек дам..

Итак, клуб в деревне имелся, но его обходили в неподъёмное время стороной, гулянки и танцульки молодежь устраивала на лужайке за колхозным амбаром.

Но был и подлинный клуб в деревне, хотя и под открытым небом, где обменивались новостями, ссорились и мирились, вели деловые переговоры, назначали любовные свидания – со скамеечкой и большим отполированным временем лиственничным столбом с медным кольцом, к которому привязывали лошадь, развозящую в телеге или в санях бочку с водой – в правление, председателю, учителю и изредка рядовым жителям, кои в обычное время таскали воду в ведрах и в бадьях на коромыслах.

С небольшим ведёрком ходил и я за водой для питья, а больше чтобы потолкаться в “клубе”. В знойные летние дни ребятишки и молодежь обливались у колодца студеной водой.

Колодец располагался в центре деревни на самой макушке холма, глубина колодца составляла тридцать метров, построили его в 36-ом году, когда председательствовал в колхозе с полгода мой дед, и рыли его мой дядька Василь и сыновья бабки Микишихи *Комарицкий* и *Ленский* (тогдашний деревенский учитель).

В самые жаркие дни лета толстая наледь начиналась со второго с верху венца и шла вниз, вода была прозрачной и изумительно вкусной, хотя и ломала зубы.

Вот к этому клубу и зачастил я с ведром, в надежде на долгожданную встречу, пока нежное облачко и вправду не подошло с еще меньшим ведром и не остановилось в смущении в двух шагах от меня. К счастью, никого в этот час не было. Мы стояли молча, опустив головы, иногда на мгновение взглядывая друг на друга, и тут же со страхом опуская головы вновь. Мы слышали дыхание и даже стук сердец, время остановилось и замерло, синие глаза ее, полные губы и лицо были прекрасны, маленькая фигурка, подчеркнутая изящным недеревенским нарядом, была словно драгоценный камень, любовно и тщательно заключенный в нежную оправу, платьице было чуть выше колен, ножки и гибкий стан намекали уже на пробуждающую женственность – более того, в облике ее чувствовалась некая тягучая роковая дисгармония, то, что я позже, далеко потом, понял и назвал – *женщина-дитя!*

Несколько минут мы стояли растерянно-радостные, потрясенные долгожданной встречей, и вдруг что-то изменилось, переменялось содержание времени, оно начало расширяться назад и вперед, обнимая

прошлое и будущее, оно перестало быть временем, которое протекает, теряя *преходящее*, а стало *временем – вечностью*, которое *пребывает* и связывает концы и начала. Время наполнилось счастьем и болью, оно утеряло светлую радость и стало трагедией. Принимая ведро из ее рук, я коснулся ее пальцев и не отдернул руки, мы перестали дышать, я почувствовал глубоко до рыдания, что она меня любит, источает любовь как цветок аромат, принадлежит мне как та, которая у окошка готического замка тридцать лет ждет своего рыцаря.

Мы любили друг друга не в том времени, в котором есть увядание, в котором разрушаются замки и ржавеют латы, а во времени, над которым не властно тление.

На мгновение она подняла голову, распахнула мне навстречу бесконечно синие глаза – и тут острая боль пронзила мою плоть и темная пелена заслонила и небо и землю.

3.

Ах, бедная моя мамочка! Как она бежала босиком по деревне с непокрытой головой и стонала как раненая тетерка, к этой проклятой запруде, которую соорудили до войны дядька Василь – двадцатидвухлетний красавец с большими серыми глазами, как у мамы, и мой отец.

– Василька утопили! – выкрикнула, прибежав, соседская Тоня, и больше не могла говорить, задохнувшись от бега.

Синее бездыханное тельце лежало на берегу, старшие ребяташки, столкнувшие меня в воду, чтобы научить плавать, попрятались по кустам, и мама моя, пришибленная войной и послевоенным лихолетьем, но когда-то, в пору счастливого отцовского жениховства, прошедшая курсы *молодого бойца* и не попавшая на войну только потому, что назначено было в мир явиться мне – отчаянная моя мама стала меня мять и трясти, давить на живот и ребра, и вдруг полилась вода изо рта и ушей и я сделал судорожный вздох и закричал.

Двое суток после того я был без сознания, ржавый железный гвоздь то забивали мне в уши, то вытаскивали, бабушка приделывала куделю, смоченную самогонкой, и укутывала шерстяной шалью, и на третий день я сел, слабый но живой, свесив ноги с лежанки у печи. В ушах стоял звон и я ничего не слышал, и вдруг сквозь звон донеслось до меня тихое пение.

Звон стих, краски и звуки вернулись, тихонечко, держась за стойку, вышел я на крыльцо и дошел до калитки. По деревне шла странная процессия, впереди белый слепой старец с холщовой сумкой на лямке через плечо и большой суковатой палкой, за ним гуськом, держась за руки, маленький мальчик одного со мною возраста, лет шести, и две такие же девочки. Старец пел *Лазаря*, дети ему подпевали. Дойдя до нашего дома, процессия остановилась. Мне стало страшно, я попытался по углу дома взобраться на выдающееся слегка

из угла бревно, но был еще очень слаб, и полубняв угол, смотрел на детей. Мальчик был страшно похож на меня, словно я сам на себя грустно смотрел, тоже с холщовой полупустой сумкой, как у их старца, и встретившись со мной взглядом, открыл мне ладонь и сказал тихонько – мальчик, дай мне хлеба, пожалуйста! – *Дай нам хлеба, мальчик!* – повторили девочки.

– Мы есть хотим, мамка наша опухла, не ходит... Дай нам хлеба, Бог тебя помилует за это!

Я бросился в дом. Хлеб новый сегодня не пекли, и из столешницы я выгреб в подол рубашки все куски, что оставались в доме, и стал рассовывать им по сумкам.

Неслышно с огорода подошла бабушка с небольшим огурчиком в руке, видно, первым в этом году на грядке, который она сорвала для большого дитятки.

– Возьмите огурчик, Божьи люди! – сказала она кротко. – Не прогневайтесь, что больше ничего не подаем, и сами хлеб с отрубями печем, да и в огороде все плохо спеет в этом году!

Да, нынешний год выдался и для нашей деревни тяжелый. Осень 47 года, с ее ливневыми нескончаемыми дождями по соседним районам, когда вымокла картошка в огородах, нас не тронула, поля у нас были большей частью по высоким местам и песчаные.

Зато настала осень 48 года, в начале октября ударил мороз и земля застыла. Мне было только шесть лет.

Бабушка причитала, что нынче недород, рожь попрела и картошки уродилось мало, и к весне мы начнем пухнуть с голоду. В поле спешили до холодов и рожь сжать, хотя все равно полегла рано, и картошку выкопать, да нечисто копали, а перекапывать для себя председатель запретил – пусть хоть ворогу достанется, только б не своему брату мужику! – в сердцах сказала бабушка.

Я взял котомочку, палочку с острым концом, и пошел за околицу.

До темноты бродил я по ближнему колхозному картофельному полю, выковыривая из мерзлой земли маленькие сморщенные картофелины – дома, оттаяв, они стали водянистыми, и я испугался, что никакой еды из них не получится, а тьма все сгущалась и сгущалась, а мамки все не было. Встал я на колени перед иконкой в углу, и начал молиться.

– Боженька миленький, Боженька родненький, пожалей мою мамку, не дай, чтоб волки ее съели или на поле в тюрьму забрали! Боженька миленький, и бабушку пожалей, и всех бедных и несчастных! Пресвятая Богородица, скажи Боженьке, чтоб мамку мою сохранил! Боженька...

Наконец тихонечко в сенях открылась дверь и крадучись вошла мать, не зажигая света.

– Неси-ка, Васенька, одеяло скорей, *что* я нам принесла!!

Она сняла штаны ватные и стала вытряхивать похулые, поломанные, обитые ветром и морозом, пропадающие на голых полях колоски, в каждом из которых оставалось по несколько только зерен.

– Повадились, антихристы, даже возле домов караулят, председатель с приспешниками, рожи то свои поотъели! Я уж через огород вокруг деревни обошла!

Вышелушили мы зерна в темноте, мякину бросили в печку, а зерна сложили в медную ступку, и тогда уж раздули огонь. Выдачу по трудовням задерживали до указания из райкома, ни у кого в деревне не было хлеба, даже картошку сэкономили, боясь не дотянуть до весны, и уж все тощать стали.

Истолкла мать зерна, размяла мои картофелины, смешала все вместе, плеснула скисшего *перегона* из крынки, посолила, достала из шкафчика старый сморщенный кусочек сала, которым уже две недели смазывала горячую сковородку – и начали мы печь *драники*.

Ах, какие драники я ел в музее Янки Купалы через пятьдесят лет – пышные, сочные, горячие, духовитые! – но наши с мамой драники были лучше! И когда попаду на небо, попрошу, чтобы теми драниками меня там угостили.

Но пережили мы зиму не так тяжело. Подождали ироды, пока сгноят, стало в амбаре артельное зерно преть, а тогда уж о мужике вспомнили! Что-то по трудовням все же выдали, когда уж план поставок выполнили, а дед заколол свинью, и хотя почти все пошло на налог, но что-то перепало и нам, свинья уж больно добрая оказалась. К концу октября засыпало землю толстым слоем снега, деревня успокоилась и стала готовиться к празднику. На Покров в дедовой избе наварили студню, начинили требуху кашей с кусочками сала, поставили на стол горячую картошку с квашеной капустой, огурчиками и груздями, и пригласили в гости *крёстную* тетю Марусю с бабкой Домной, и наша вся семья собралась, и еще прошлогоднюю самогонку поставили на стол.

И хотя в другие дни ели мы только пустые *шти*, но кажется сегодня, что всю зиму шел этот домашний пир со студнем и требухой.

У бабы Домны оставались последние в деревне “Кросны” – ткацкий станок, – с колокольчиками по сторонам, медными заклепками и точеными шишечками на столбиках.

– Хорошо, Настасьюшка, сотку я тебе половики, и хватит тебе их до самой смерти! Денег-то у тебя у самой нет, а народу у вас много, поможете весной огород посадить – и будем мы в расчете!

Настала благодатная весна 49-го года, картошки все же хватило, и еще немного крупной осталось, а мелкую выгребли до самой последней, и где много глазков было, разрезали на дольки, даже бабе Домне отнес я два ведерка!. Земля подсохла быстро, посадили наш и бабы Домны огород легко и дружно, и я тоже шел по борозде со взрослыми и картофельные дольки аккуратно укладывал срезом вниз.

В конце апреля бабушка сказала – теперь только ленивый с голоду умрет, было бы здоровье!

Но дети – не коровы, к обеду живот как барабан (опять дудок

наелись? – ругалась мать), а к вечеру набегаемся, и все как рукой снимет.

Когда стоял снег на лугах и полянах, двинулась дружно деревня в тайгу за *черемшой*.

Вдоль Павловского ручья в двух километрах от деревни узкая долина вся густо поросла красивыми зелеными стрелками, а если лечь на землю, и смотреть вдоль, то отливало синим и фиолетовым как море. Дух стоял пряный и густой, плотный, дурманящий, позже я полюбил запах Багульника за такой же дурман и купался в его волнах, вспоминая черемшу.

– Это вторая картошка! – приговаривала бабушка. Носили мы ее мешками. Толкли, солили и сушили на зиму, ели окрошку с хлебным квасом (а то бывало и яйцо и сметанка перепадали, слава Богу по весне и куры неслись и коровы доились! – но да вытаскивали их на первую рыжую оттаявшую траву дружно всей семьей за хвосты, коровы уже в стайках не вставали, в пойле уже не плавали корочки хлеба да и картофельные очистки тончали и тончали к весне!).

Но какова сила жизни! На второй день на солнышке жеребята и телята носились стремглав, задрав хвосты, ребятишки носились следом, и куры начинали кудахтать, а тощий петух уже важно и гордо ходил по двору и выискивал из прошлогоднего мусора сонных червячков.

Я нес свой мешок, туго набитый, и не разрешал мне помочь.

– Это я сам набрал! – гордо заявил я бабушке, – моя черемша самая вкусная, будем из нее окрошку делать.

Бабушка добавила в пахучую полную миску уксуса, положила каждому по две рассыпчатые картофелины (наша картошка на всю деревню славилась) и по тоненькому кусочку хлеба – и началось объедение!

На Кузнечном рынке через сорок лет искал я черемшу, нашел у одного грузина, с Кавказских гор – да разве это черемша?!

В конце июня черемша в лесу кончилась – но уже и беда отступала (самые трудные месяцы были апрель и май, кто в мае родился, говорили, всю жизнь будет *маяться*. Но я, правда, любил майские вечера за их мягкое тепло и волшебные полеты майских жуков). В конце июня в огороде появились перья лука, варилась первая ботвинья из свекольной ботвы, и если июнь был теплым, то в благодатный день пересекались первый огурчик и последняя черемша – бабушка моя устраивала ей проводы, кормилице, окрошка была густая и сытная, с яйцом и сметаной.

Я-то настоящего голода не переживал, и деревню нашу Бог миловал, и какое лихолетье ни проносилось над страной, таёжный наш остров выстаивал. Деды-основатели проехали пол-Сибири, от Забайкалья до Благовещенска, и вернулись в этот суровый край на границе губерний Иркутской и Енисейской, чтобы на высоком холме вдали от чугунки поставить мощные лиственничные срубы.

Время до колхозов вспоминалось как жизнь в раю – трудное, но радостное.

Корчевали поля и распахивали пашни, сеяли, боронили и жали серпами рожь, молотили снопы, косили сено, ставили стога на привольных лугах, торили тропинки в тайге и ставили первые охотничьи избушки, создавали промысловые артели, били зверя, добывали пушнину, собирали *живицу* (сосновую смолу), выгоняли деготь и пихтовое масло, солили и сушили грибы, гнали мед, варили варенье, солили огурцы и капусту, мочили бруснику и рыжики, драли лыко и кору, дубили овчину и выделявали полушубки, пряли и ткали, построили кузню и шорню, ковали и клепали железо, плели лапти из лыка и бересты, гнули дуги и бочки, курили вино и гнали самогон, трепали лен, молотили, чесали шерсть, били кедровые орехи, лушили шишки, горох и фасоль, жали и веяли, рубили амбары и бани, валили лес, нарезали доски, пилили дрова, драли дрань, крыли крыши, клали печи, рыли подвалы и погреба и срубили колодец, смолили шкуры и коптили сало, вялили мясо и рыбу, набивали колбасы, катали валенки и катанки, били пахту и масло, расписывали туеса и короба, вырезали ворота, наличники и коньки на крышах, ладили и правили инструмент всякий, лудили посуду, вышивали белье, наволочки и рушники, плели кружева, шили одежду и тачали сапоги.

И то, что на Руси издавна бывало уже самостоятельными ремеслами и промыслами, в нашей деревне должен был уметь всё каждый.

И потом в колхозе виды работ чередовались нередко, сегодня Иван конюх или шорник, а завтра пчеловод.

Какие же разнообразные ремесла, со своими тонкими секретами мастерства, не бывали у нас, и даже в одной нашей семье!

Ткачиха, портниха, закройщица (а по нынешнему *модельер*), швее и кружевница, а по тонким праздничным нарядам белошвейка – это была любая девка с пятнадцати лет; плотничали все мужики от мала до велика, столярничала треть, краснодеревщик был один, но тоже свой, мой крестный дядя Ваня, грубые скорняжные работы умел почти каждый крепкий хозяин, но дорогие шкурки выделявал и девичьи полушубки шил скорняк Федор, бобьель, с противоположного краю деревни; кузнец был тоже один, как водится, цыган, хотя цыганкой была видно в крайности его прабабка, а вот поди ж ты, помнили и называли (как и своя *мордва* у нас была, а даже старики Мордвиновы не знали, что это за народ такой жил на свете. Но называли не зря, посмотрел я скульптуры Эрзи и вспомнил Тоньку-мордвинку из их семьи, такое же скуластое лицо и хмурый лоб); валенки катать и сапоги шить было искусство, приходили из соседней деревни за 15 верст, хотя мама мне и сваяла валеночки из толстых шерстяных носков на удивление!

Пчелы давались не всякому, пасечником отменным был мой дед, в 35-ом избрали его заодно председателем, приехала из района комиссия

на утверждение во главе с секретарем, и всего-то надо было бочонок меда поставить, уважить высоких гостей, а дед заартачился, мед-то, говорит, не мой, а *общественный*, – дак не только не утвердили, а увезли сначала в район как врага народа, а потом в Иркутск, мама моя, шестнадцатилетняя, через две недели поехала на выручку, попала к прокурору, была она красавица на удивление, держалась словно княжна, глаза большие, серые, волосы длинные русые, тяжелой копной уложены на голове, нос прямой, взгляд гордый вызывающий, стан тонкий, шея белая – не зря говорили, что от Полоцких князей шел наш род – а тут как раз чистка прошла, прежнее начальство в тюрьму посадили, а новое в их кресла только что село... Восхитился прокурор такой красоте и гордости и повелел – *отпустить строптивого председателя домой!* (Да через год и этот прокурор пересел из кресла в тюрьму, а новый лютый оказался – но дед мой благоразумно из пасечников и председателей в конюхи пошел, а после войны и ранения – по общественной работе сторожем стал, а по частной – пастухом нанялся, деревенский скот пас).

Шорники тоже в деревне были, но это ремесло передавалось в основном по наследству; чтобы ладную сбрую изготовить, а особенно для праздничных поездок, для свадеб – нужно было высокое искусство, и когда Клаву Иван Семенов брал из Абалаков, уж такие были уздечки расписные, дуга резная с колокольчиками, вожжи плетеные сыромятные, сани наподобие ладьи речной, попоны кожаные, подковы с серебряными гвоздиками (это мой дед еще выделывал, говорила она, знаменитый шорник был!)

Печники и катальщики, гончары, кузнецы, лудильщики – это были особые профессии, и кроме кузнеца, призывались они из других деревень. Но все остальные ремесла и умения в нашей деревне имелись, и почти у всякого.

Правда, война подкосила не только страну, но и деревню. Железная посуда прохудилась, а лудить стало некому, и чугунок для варки картошки бабушка затыкала тряпкой (а то, бывает, выскочит затычка, и вся вода в печь и выливается). Собственных лудильщиков в большинстве деревень не было, ходили они как коробейники от деревни к деревне и чинили посуду. Так же и гончары. Колодцы рубили тоже, как правило, особые артели, да дядя Василь не стал их дожидаться, и первый в жизни колодец построил с друзьями такой, что про нашу воду за сто километров чудеса рассказывали.

Но давно уже завалился тот колодец, и темный лес стоит – шумит на высоком холме, и даже печной трубы не найти в крапиве и чертополохе.

Ушли и забылись красота и романтика той лесной, луговой, пашенной и избяной жизни, забылись и, казалось, ушли навек и все те невзгоды, вызванные войной и злой властью – безотцовщина, сиротство, голод, притеснение, угнетение, моления Христа ради кусочка хлеба – а

через пятьдесят лет, без войны, засухи и мора нашло лихолетье на Русскую Землю – согбенные бабушки у метро, стыдливо таясь в уголочках, собирают пивные бутылки (их скудной пенсии не хватает даже на самую скудную жизнь), девятилетние девочки спуют от одной пьяной компании к другой, перебивая хлеб у старушек, встречаая в скабрзные пьяные разговоры, дети не видят молока и фруктов, и на углу гостиницы Октябрьская несчастная иссохшая старуха протягивает раскрытую ладонь и в отчаянии молит равнодушных прохожих – *Есть хочу! Детки, есть хочу! Пожалуйста, дайте кусочек хлеба, Бога – Христа ради, деточки!*

4.

Медленно смугная догадка забрезжила в сознании – я сплю тяжелым сном, и детство мне только снится. Невозможно, чтобы в детстве мне снилось будущее. Но где я и что со мною – я не понимаю.

Настоящего я не знал и оно мне не снилось, и было ли оно тяжелым или легким, я не ведал. Я не понимал, есть ли у меня дом, семья, дети, друзья и работа, зима или лето, в городе ли я или в деревне – и отчего-то не хотелось мне узнать правду и было страшно. Иногда вдруг словно решимость появлялась, я подходил к двери и пытался ее открыть – со страхом – но дверь была плотно заперта и не поддавалась усилиям. Неясные звуки доносились оттуда, но не складывались в слова, а словно обрывки слов, восклицания... Там кто-то был – друг или недруг? По неведомым причинам не пытался мне сообщить... или я не мог услышать?

Вдруг словно ручка двери закричала и щекотла звякнула, тихонько приоткрылась дверь, за нею было темно. Я сел на кровати... ужасная слабость, голова кружится... Кровать плотно придвинута к задней стене печи, идущей до потолка – или это перегородка? Но отчего-то знал я точно, что это деревенская печь – только я не в деревне.

А вдруг я уже умер, и оттуда вспоминаю свою жизнь, или мне показывают ее, пытаются что-то сообщить или объяснить?

Холодный ужас сдвинул душу, я попытался закричать, но дыхания не было... Бьется ли сердце? Нет, не осмелюсь поднести руку к груди... И вдруг вспомнил – только что, полчаса назад, приходила ко мне *смерть*, и что-то говорила... Я снова лег, повернулся к стене и закрыл глаза. Вот она... Вижу, стоит в углу, оскалилась, коса на плече, выщербленная, пятка сломана, обломан и носок, ручка покосилась и еле держится... такого и один прокос не сделать, и голову не снести, пожалуй... но все же...

– Уходи! – Закричал я ей. – Я уже не боюсь тебя, я сильнее!

– Щенок! Силы-то у тебя, что у цыпленка, я шею бы тебе вмиг сломала!

– А что ж не получилось? Приморилась поди, пока шла, или надорвалась по дороге?

– Тьфу! Мне с тобой и говорить неохота... Если б не Он... И что Он в тебе нашел? Для чего бережет? Была б хоть душа в теле, а то и ни тела, и ни души!

– Врешь ты все! Были бы кости, а мясо нарастет! А кости у меня целы, и душа на месте.

– Да только что она у тебя в пятках была! А это Он, заступничек твой, опекун, не трожь, говорит, мальчишку, у него *миссия*... Или *юдоль*? Что же за слово Он мне сказал? Нет, *миссия*, кажется...

– Да ты Его и не видела, Он тебя и близко к себе не подпустит!

– Глупый ты еще! Он надо мною не хозяин, не приказчик... А просто другой раз преграду воздвигает... Ну и ладно, что мне, работы мало, времени девать некуда, чтобы Его преграды преодолевать? Иной раз бывает, что как на лугу, только косою успевай махать!

– А вот я сейчас узнаю, видела ли ты Его... Отвечай – кто Он, каков?

– Прямо я не могу сказать, мне не велено... Вот я покажу...

Она достала из-за подола колоду карт и вытащила одну... – Видишь, Он – король крестовый...

Я увидел Его, словно сквозь окно... очень смутно... и окно закрылось...

– Просто удивительно... Как это? на *такой* высоте! – о тебе могут знать? Кто только за тебя попросить мог? Но горе тебе, если ты разочаруешь Его ожидания!

– Зачем же приходила, если тебе запрещено?

– Почему же запрещено? Приходить – не запрещено, я еще не раз к тебе приду, еще побеседуем.. Вдруг и сам не удержишься, переступишь черту, которую пока не переступить мне? Уж я тебя тогда не выпущу, голубчик, и Он – не поможет! Я уж у тебя бывала, но ты тогда больно мал был, не видел меня, а вот сегодня – увидел наконец! Вот теперь и знаешь, что Я – ЕСТЬ, и ТЫ – СМЕРТЕН! Время не бесконечно будет течь, а – в какой-то миг остановится, и – обрушится мир, ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ! Теперь с тобою всегда будет это знание и страх.

Старуха с косою исчезла, ровная, белая, тупая стена поднималась вверх и соединялась с потолком. Я был один, одинок, комната покачивалась вокруг.

Вновь я сел на кровати, босыми ногами коснулся пола. Теперь сердце бухало часто и сильно, дыхание было тяжелым.

Я снова болел, кажется тяжело и надолго, и мог умереть, но – смерть отступила.

Я заплакал – и от горя и от радости, маленький десятилетний мальчик, впервые понявший до конца, что он – не всегда – *будет*, а когда-то – *закончится* – так же как отец, которого я ни разу не увидел наяву; как крестный; как другая бабушка, папина мама, которую видел только раз – в гробу...

Дверь снова закрипела, приоткрылась шире и вошел длинный,

тонкий как жердь, с крючковатым носом, пронзительными глазами, мрачный и опасный человек.

– Не бойся, я тебя не трону, я только познакомиться пришел, мы позже поговорим обстоятельнее.... Читал, читал я твои сочинения, все до корочки прочел, особенно про *бабу Шуру*... Кто, думаю, такой, опять рай в деревне нашел, надеется, наверное, и весь народ уговорить туда вернуться, в этот “идиотизм деревенской жизни”, по выражению Горького. Снова домотканые портки носить, на лошадях пахать, серпами жать?

А нет, вижу, не так ты прост! Ты не народ туда тащишь, ты сам спасаешься, бежишь туда от жизни, хочешь от *нас* спрятаться. Да мы тебя на краю света найдем! (В дверь заглядывал еще один – большой, жирный, толстый, немного туповатый, и поэтому может быть не такой опасный).

Не усидишь ты в своем Корневище, высунешь нос наружу, а тут-то мы тебя и прихлопнем. Вот уже ты и со смертью познакомился, а дальше еще хуже будет. Через полгода границу неведения перейдешь, закончится пора невинного детства, и станешь ты, брат, грешным человеком, как все... А пока – да, ты – дитя, хотя и не по годам смышленное, но – чистое, почти как святой, или – юродивый? Но – начнешь о себе думать, о себе заботиться, для себя жить, и станет всё – как у людей...

А деревня ваша через полгодика покачнется, скособочится – а потом и осинником порастет!

Я увидел круг, вокруг которого было сияние, края светились как край облака, зарумянившийся солнцем, снаружи солнце садилось, и чем дальше, тем тени длиннее, сумерки все гуще и наконец ночная тьма обнимала землю. Я знал, что там, внутри, я пробуду недолго, от лета 48-го до лета пятьдесят третьего года, но все главное, важное, основное свершится там... но неправда, что потом и я буду частью тьмы, которая снаружи, и чем дальше от детства, тем темнее.

Я должен буду познать тьму и впустить ее в себя, потому что иначе я не узнаю Природу Света – но я не стану тьмою.

– Постой! – вскричал мрачный человек. – Это же воображаемый только свет, ну нет же там ничего светлого, нет и не было, одна работа до одурения, пьянки, драки, невежество, у дворян в поместьях еще хоть на фортепьянах играли и романы крутили да стихи сочиняли, а у крестьян ведь ничего-о-о ж! не было!

– Это клевета и ложь! – и я одной ногой ступил внутрь золотого круга.

– Ну, ладно, ладно, посмотрим, ты нам показаньца потом напишешь, а мы протокольчик тебе дадим, ты подпишешь...

– Какие “показаньца”?

...он еще спит.. – донеслось из бесконечной тревожной дали. – Надолго ли? У нас уже почти ничего не осталось, а девочке все хуже.

... – Да пусть еще поспит! – вдруг близко зазвенел голос тети Нины. – Не буди ты его, Маня!

– Выспится еще, жизнь длинная! А то всю Пасху проспит. Вот уже и мать наша от бабы Домны идет, они уже помолились, и яички святой водой окропили.

– Да я уже совсем проснулся! – весело закричал я, вставая.

– Подожди, пока помолчи, ничего не говори, сейчас бабушка войдет.

Вошла бабушка, побрызгала вокруг водой из бутылочки, поставила лукошко с яичками на стол, и подошла к нам.

– Ну, с праздничком, родные мои! *Христос воскресе из мертвых!*

– *Воистину воскрес!*

Мы поцеловались трижды.

– Васятка, беги-ка во двор созывать всех к столу, будем встречать светлое Христово Воскресение!

Меня-то больше уже и не стол, и не праздничное угощение волновали, а скорее выбрать разноцветных желтых, кремовых, розовых, малиновых яичек и бежать с ребятами играть в битки. Целую неделю предвкушал я эту минуту, обсуждал с дедом, как выбирать яйца, как бить, попробовать ли на зуб...

И вот настала она, эта долгожданная минута. Опасливо обходя ребят постарше (они могли и стукнуть по карману, злыдни, чтобы обидеть, расшибить самый верный биток), присоединился я к младшим, и на пригорке, недалеко от колодца захватила нас страсть. Били мы и с руки, и катали по желобу, и спорили на *интерес* – чье яйцо побеждало, тот забирал у соперника битое.

Подошел дядя Леша, пьяненький, все лицо мне облюнявил, целуя, стал плакать, клянясь в любви к моему отцу.

– Да папку твоего на сто верст в округе знали, он же топографом одно время был – да кем только не перебивал, хотя нигде не учился! Даже собаки его любили, не лаяли, а какой гармонист он был, песенник, детей любил, царство ему вечное, со святыми упокой его Боже!

Я за папку твоего на колени перед тобой стану, любил я его не знаю как!

– Дядь Леш, ну что Вы, ну пожалуйста!..

Еле мы его подняли, погрузневшего, с колен.

– А я тебе, Васятка, яичко принес, непобедимое, из всех его выбрал, для тебя! А ты мне битое дай, я тут с мужиками выпью малость, закусить надо!

Вскоре стеклоь много народу, гармошка появилась, потом Дрыганский подошел с мандолиной, девки хороводы закружили, и тетя Нина, голосистая, завела что-то протяжное, в надрыв, на всю деревню голос потелет, и подружки ее встали, а тут и бабы *разошлись*...

– Спой, Маня, чему тебя мамка наша учила, про Христа и Деву Марию! – и мама запела то густым, то звонким голосом – замолчали все, и когда кончила, заплакали.

– Володя, ну-ка Камаринскую ударь!

И Володя, по прозвищу “Камаринский мужик”, младший из братьев, пошел в пляс, приседая, и на руках карусель крутил, и в такт отбивал ладонями.

До поздней ночи шумела, плясала, пела, плакала, пила и целовалась деревня – а ни слова ни одного охального, ни обид, ни тем паче драки.

Только Лешка разодрал свою рубаху по обыкновению, отвели его на травку и уложили отдохнуть.

Зато душу отводили в Покров, на “седьмое”, и в День Победы. Фронтовики били не фронтовиков, били председателя и кладовщика (в этот день они не смели прятаться за политику), а потом и между собой схватывались, думая, что продолжают бить ненавистных фрицев. Потом плакали, пили мировую, и бесчувственных растаскивали их по домам бабы.

Нежный и тихий, без веселья надрывного, более домашний, был праздник Троицы. Только на кладбище выпивали всей деревней, но всяк на своей могилке, поминая родных, а дома старались уж не выпивать больше.

Накануне ходили в лес рубить березки. Перед каждым домом у окошка ставили две-три тонких березки вровень с крышей, горницу украшали пахучими березовыми ветками по всей округности, за портретами, за божницей, над окошками, и везде, где можно ветку воткнуть. Листочки были еще маленькие, клейкие, и дух плыл по деревне такой, что казалось – звенит он! Дети наносили в дом цветов, еще белые *пролески* не отошли, фиолетовые мохнатые *прострелы*, желтые тяжелые головки *купанниц*.

Нина и Лена два дня мыли полы и скамьи кипятком со щелоком, и голиками каждую половицу с песком терли, пока наконец деревянные некрашенные полы не начинали светиться и сиять как молодая вощина или янтарный мед.

Церкви в нашей деревне не было, но в Троицу казалось, что плывет над деревней березовый колокольный звон.

В гости ходили только к самым близким, или степенно небольшими группами гуляли по улице. Вечером пекли пироги и усаживались за самовар с чаем.

У нас семья была большая, и самовар полутораведерный. В трубу самоварную закладывались вначале угольки из печи, затем смолистые щепочки, сверху одевался старый сапог с голенищем гармошкой, и сжимая и разжимая сапог, раздували в самоваре веселый огонь. Через десять минут кипяток был готов, самовар ставился на стол на деревянный праздничный расписной поднос, покрытый вышитым рушником, вокруг громоздилась гора пирогов – с картошкой и кислой капустой, если еще оставались, с зеленым луком или черемшой, с творогом, с молодой земляникой, с прошлогодней брусникой, а еще ставились треугольные или четырехугольные сдобные сухарики,

обсыпанные сверху сахаром и подрумяненные затем в печи, и медовые разнообразные крендели, с затейливыми завитушками, сушки, баранки и много другого чего.

Уже в 51-ом, 52-ом годах жилось в нашей стороне не стесненно, все довоенные уже повзростали, и сена заготавливали вдоволь, и грибов и ягод наготавливали общими усилиями – как говорила бабушка – целую прорву.

Запивали чай подушечками, одной конфетки хватало на две эмалированные кружки, иногда перепали кусочки пиленого сахара, а то и медком удавалось побаловаться. На Троицу уж мед был непременно, если нового еще не успевали пчелы наносить, то и старые зимние рамки вставлялись в пахучую железную гулку медогонку, раскручивалась ручка, и тяжелый густой мед медленно стекал по ее круглым бокам.

Пот заливал как дождь, чистые белые полотенца и тяжелые с сероватыми отливами рушники освежали лицо и шею, и вновь бежал из самоварного крана веселый кипяток. Полусонного относил меня на печь, но если начинались рассказы о таинственном, я готов был слушать их до утра, перемешивая со снами.

5.

Страшные и таинственные рассказы велись чаще в длинные зимние ночи; неведомыми путями забредали в деревню, стоящую с краю обитаемого мира, вдали от торных дорог, тракта и чугунки – странники, Божьи люди, бродяги и беглые. Отчего-то втекали эти ручейки чаще всего в наш дом, долго горемычный оправдывался за свое вторжение, боясь отказа, но бабушка обрывала решительно – *на голодный живот разговор не идет*, вот лавка свободная, бросайте тряпье свое, располагайтесь, отдохните с дороги, а там, коли надо починить что, скажите – дадим и иголку, и шило, и дратву, и лыко, и заплаточка найдется в доме. Может постирать что надо? Мыла нету, стираем-то сами в щёлке, но водичка горячая найдется!

Гость смелел, смотришь, заплаточку пришивает, в обносах ковыряет шилом, в шайке почерневшую рубаху плещет. Если же попадал он на субботу, то после всех его посылали в баню, снимал он все с себя, и наскоро пополоскав, развешивал над каменкой.

Пока мылся и парился, одежда вся и просыхала, и приходил он чистый и благоустный.

Семья уже сидела за столом, но есть не начинали, ждали чужого человека.

– Пожалуйте к столу! – приглашала бабушка. – Богатыми уже не быть, а беднее не станем!

Гость суетливо начинал развязывать котомку... – Оставь! – вмешивался уже и дед. – Тебе еще поди не в ближний свет идти, пригодится кусок хлеба.

Обычный ужин был – картошка рассыпчатая, хлеб, соленые огурцы, грузди соленые, реже капуста квашеная – ее берегли на щи. Детям бывал и молочный кисель – конечно, молока лили только чтоб забелить – а то и на всех кисело давали.

Память хранит ведь не каждый день, а что из ряда вон выдавалось – праздники, свадьбы, крестины, поминки – и иногда кажется, что столы от закусок ломились – а то или на Клавкиной свадьбе гуляли, или провожали в армию новобранцев, так последнее на стол ставилось, или на Покров свиной резали.

Дед до страсти любил со странниками поговорить – тот сидит у печи, косточки греет, дед старый валенок у печи подшивает – и течет рассказ – о святых, о Киеве, о чудесах, о разбойниках, о леших и чертях.

Глаза мои давно закрылись, печь уплыла, и горница странно изменилась – и вместо странника “гражданин начальник” – худой, длинный как жердь, с крючковатым носом, а у двери – стражник, толстый и добродушный.

– Так-с... Вот мы и снова встретились! Я ведь предупреждал – от нас никуда не денетесь. Показаньица приготовили?

– Я не понимаю, какие показания Вам нужны?

– Ну, это вы скоро поймете... Хотя мы не спешим, спешить некуда, у нас впереди – вечность, это вам надо оглядываться и пытаться задержать “опыты быстротекущей жизни” – хе-хе... мы, кстати, вовсе не чужды образованности, напрасно вы нас за *чучмек*ов каких числите...

Итак – *Фамилия! Имя! Отчество!*

– Русский. Сын воина и крестьянки.

– Хм, *русский*... Русских больше нет... И земля твоя прахом скоро пойдет, вся, от Тихого океана до моря Черного, которое, кстати, уже – тю-тю!! И деревня твоя, последний твой рубеж, вот-вот закончится, одни лопухи на ее месте останутся, и в Тайгу не убежишь, уже ее под корень изводят, буреломом да ольхой старые боры и леса кедровые зарастут.

Вы же сами, русские, страну свою и народ свой ненавидите, это козлоногие ли кричат при каждом разговоре, что и дурнее вас нет, и ленивее, и невежественнее, и беднее, что жить вы не умеете, техника у вас *ни к черту*...гм, гм,.. не годится? (Хотя, между нами, черти много чего позаимствовали у вас в преисподнюю!)

Бабы ваши рожать перестали, мужики кроме *выпить и опохмелиться* уже ни о чем не думают, правят вами проходимцы, воры, лихоимцы, неизвестно откуда нахлынувшая шваль без роду и племени – снова Чингис-хан, снова Золотая Орда, только у вас уже ни Сергия Радонежского, ни Дмитрия Донского! Не только деревня, вся Русь твоя, как поле, зарастает с окраин, всё прахом пошло, все ваши традиции, ваша история, воинские достижения, – кровь ваших дедов и отцов пролита, как оказалось, была зря! Иноземцы рвут Русь на части – но кто ее иноземцам предал и продал, как не вы – русские?

Кто их нашел, избрал, ввел во власть, горло за них драл на митингах, на баррикадах за них сражался?

Вы, вы – русские! Русь свою послали к *черту* – гм, – и мечтаете теперь об одном – вместо своей страны организовать какие-нибудь западные штаты, и вместо своего народа населить здесь чужой.

Долго же нужно было искать по затхлым углам, чтобы выискать в реформаторы таких тупых безграмотных экономистов, таких жуликоватых приватизаторов, юристов на уровне дворового суда, хозяйственников на уровне директора бани, министров, ворующих мерседесы, моющихся принародно в бане с девицами, клянувшихся в любви чужой стране и вражеским интересам!

Ты обречен, сын Ивана да Марьи, остаться последним могиканином на родной земле. Кровь отца твоего к памяти вопиет напрасно, муки матери твоей, измученной непосильной работой, обманутой в желании любить – никто не утешит.

Осмеяны детьми и внуками Подвиги и Жертвы сорока поколений русских людей, создавших величайшую в мире страну, с непревзойденной песенной и музыкальной культурой, тончайшей философией духа, красотой крестьянского быта в предыдущих веках, вершинной воинской доблестью и честью, приязнью и терпимостью к другим народам, глубочайшей литературой!

Родные песни не поют и не слушают, книги не читают даже чужие, язык родной исковеркали и говорят косноязычно даже правители (и чем выше, тем хуже), ученых заставили торговать пивом, дочерей – торговать телом, матерей – собирать пивные бутылки и просить подавания.

ТЬфу! Странников, бродяг в дом пускали, а теперь брата родного редко кто впустит! И ты еще на что-то надеешься, за что-то борешься?

Да и твоего духа надолго не хватит, не прижимала тебя жизнь еще как следует. Мы ведь каждого можем сделать своим, заставить служить нам! Одного купим деньгами, другого прельстим славой, третьего соблазним властью, четвертого *придавим* страхом, пятого *раздавим* болью. Никто не устоит! Ну-с, начнем!

– Что, деньги предлагать будете?

– Не знаю, не знаю пока... Впрочем, ты ведь не первый год живешь на свете, мы же с тобою давно знакомы, друзья почти, начало-то уж не знаю когда положено было, помнишь, помнишь, у *белой стены*? Теперь нас интересует еще кое-что... Ну, в свое время все узнаешь...

А пока продолжай показаньица-то! Если еще не сдался... Ты ведь уже все потерял, не так ли? И Россию ты потерял, тем паче Святую Русь! Погибла она, не воскреснет! Так стоит ли тебе жить без нее? Да ты уже ответил когда-то, что – не стоит! Ну и поразмысли, с чем остался, а потом я тебя еще вызову, еще побеседуем. Я уже говорил, что мы скоро начнем *работать*, имея в виду наши *новые* отношения. В

прошлом это все мелочи были, не считая, конечно, детства, определенный период детства, когда формируется судьба. После ты нам мало был интересен, а в последние двадцать пять лет о тебе и совсем забыли, и вдруг, разбирая архивы, я кое-что раскопал любопытное... стал спрашивать – никто ничего не помнит... Прихожу к тебе, присматриваюсь, осторожноенько выясываю – нет, смотри, тоже ничего не помнит! Однако, документам я верю. Так что мы с тобой еще поработаем, поможем друг другу... Ну, отдохни пока! Кундиныч, отведи его! Встретимся попозже...

– Простите, последний вопрос... Что со мной, где я – в тюрьме?

– В некотором смысле... но не совсем... хуже!..

– В преисподней?

– Ну, отчасти – да... впрочем, я и сам не знаю...

6.

Ах, тяжело! Ничего не понимаю, не знаю, у кого спросить, чему и кому верить, во всем усомнился, и мое ли это детство, и подлинно я ли, наивный, растерянный, восторженный, доверчивый и любящий, стою на поляне у края зимнего леса, на легких стремительных лыжах, и сияющее солнце в холодный прозрачный сверкающий огонь одело снежную поляну, верхушки деревьев, края облаков на западном склоне неба?

Зачарованный, боюсь вспугнуть волшебное сиянье, тонко похрустывает снег, переливающийся голубым и белым в тишине неподвижного воздуха, ветви не колышутся, кусты, как часовые в белых шубах, стоят у зубчатой стены лесного замка, изредка падает с тонкой прогнувшейся ветви белая варежка – и снова все беззвучно.

Я не решился прочертить лыжный след на ровной чистой поверхности поляны, обошел ее по краю, с неохотой повернул к деревне и, часто оглядываясь, вышел из леса. Этот лес тянулся на километр от деревни, затем начиналась тайга, Павловский ручей, куда весною мы ходили за черемшой, дальше стояла первая охотничья избушка, а затем тайга без конца и без края, только в ближние пределы которой заходили самые отчаянные охотники из нашей деревни. Рассказывали, что кто-то однажды дошел до горы Верблюд и даже поднялся на ее вершину. Сплошная нехоженная тайга лежала за нею на тысячи километров до Алтая или даже до далеких Уральских гор, и в этом море наша деревня была последней.

Солнце садилось, сияние слабело, но облака на западе разгорались ярче. Вот и деревня. Только что хозяйки затопили печи, и неподвижные столбы дымов поднялись над высокими крышами. Собаки ленились лаять. Коровы ожидали теплого пахучего поила и готовились подставить тугие сосцы с молоком под крепкие женские руки. Пахнуло блинами и горячим хлебом. Наша изба была вторая с краю, дедова стояла недалеко от колодца почти в середине деревенской улицы, и я направился к ней.

Сегодня суббота, бани затопили часов с двенадцати, дрова уже прогорели и горячие угли полыхали голубыми огоньками. Тетя Лена собрала задубевшее исподнее белье, висевшее на морозе на веревках, и только оно чуть размягчело, на широком столе стала его прокатывать тяжелой круглой каталкой. Ах, как приятно было одевать после бани мягкую, пахнущую свежим морозцем холщовую рубашку, охлаждающую разгоряченное тело!

Через полчаса закроют вьюшки, сдадут первый тяжелый пар, выпустят клубы его в предбанник, прикроют плотные тяжелые двери и парная будет еще около получаса томиться, прогревая и высушивая воздух, стены, скамейки, полók. Первыми шли париться дед, дядя Костя и Иван, и когда сходил самый жаркий пар, и они высказывались, раскаленные, в предбанник или за баню, чтобы остыть, повалившись в снег, тогда звали Толю, меня и Петю. Я забивался в уголок на полкё, подальше от раскаленного зева каменки, но спускаться вниз не спешил – с младенчества я уже был парильщиком отчаянным. Старшие поднимались париться еще не раз, и мы с Петей возвращались из бани первыми.

Женщины приходили в баню сразу все, толкались, охали, вскрикивали, парили друг друга, молодежь тоже вылетала из бани на снег, и, наконец, умолкшие и задумчивые приходили они в дом. Баня была такой жаркой, что даже и около полуночи, когда случалось кому запоздать, пропаривались до малиновой кожи.

Наконец, мы сидим за столом, самовар уж поспел и стоит на лавке в углу, ожидая.

– Может, нальем мужикам по стопочке? – спрашивает робко тетя Соня.

– А что же только мужикам? Да и я бы выпила! – весело откликается мама. – Ивану не наливайте, рано его еще приучать. Давай, Сонька, тебе налью и Лене капну немножко. Нине тоже еще рано!

Мы, дети, смотрим с завистью как наливаются стопки.

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа! – скороговоркой произносит дед, мы все встаем, дед мелко и часто крестится, мы тоже крестимся, наконец, он вздыхает, подносит стакан к густой бороде, опрокидывает его в рот единым махом, крикает, вытирает слезу рукавом, минуту стоит молча, достает из миски огурец, с хрустом его разгрызает, вытирает рот ладонью и садится, протяжно выдыхая – у-ух!

Вслед за ним и все выпивают, уже не так картинно, женщины, как правило, кашляют, и, наконец, мы приступаем к картошке, закусывая ее огурчиками и груздями. К чаю в субботу моченая брусника с морошкой и медом, блины-налистники, тонкие, прозрачные, так, чтобы легко закатывалась в них брусника.

Ах, грибы-ягоды, лесное изобилие!

С четырех лет ходил я уже с бабушкой за подосиновиками за

поскотину, а в восемь лет взяли меня в ближнюю тайгу на "гари" за красной смородиной (кислицей) и за черной по тамошним ручьям. В пятьдесят первом году дед снова завел лошадь, и по хоженой таежной тропе ехал в тайгу я важно верхом, а назад мы вели лошадь под уздцы с двумя мешками красной смородины. Гарь в июле – это труднопроходимые завалы, покрытые сплошь густыми зарослями смородиновых кустов, словно громадный альпийский плат, оброненный пролетающим духом тайги, сочная таежная гроздь, млеющая под жарким летним солнцем.

Черная смородина бежит вдоль холодного тенистого ручья, терпкий густой аромат ее вплетается в неповторимый таежный запах, в котором струятся оттенки кислого, сладкого, горького, пряного, и опьяняющий мистический дурман тысячелетней дремы.

О тайге напоминают запахи старой медогонки весной, осенней прелой хвои, смолистых кедровых шишек.

Но внятного представления о ней не получишь, пока не затеряешься в ее бескрайних просторах, когда и не знаешь, где дым жилья, пока не станешь ее неотделимой частью, тождественный ее запахам, шорохам, дуновениям, тишине или буре, увалам и кручам, чистым борам и глухим пихтачам и ельникам, маленьким болотцам, звонким, чистым, студеным ключам, цветочным полянам, затерянным в глухой чаще, буйным ягодным зарослям в узких долинах ручьев, стройным звонким кедрочкам, гудящим под ударами колотушек как колокол на храме, лиственничным рощам с высющимися там и сям вековыми неохватными "листвяками", неожиданным осиновым рощам на вершинах увалов, сентябрьской таежной музыке с пожаром разноцветной листвы и рядами подосиновиков, гарям и буреломам, поросшим малиной и смородиной, с ленивыми толстыми рябчиками и тетерками, и добродушным любопытным *Топтыгиным*, удивленно вглядывающимся в незнакомого двуногого зверя; круглым плоскогорьям с каменными осыпями и фантастическим нагромождением скал на вершинах; и утомительному чернолесью в длинных бесконечных долинах, куда не достигает солнце и только в далеких вершинах гудит верховой ветер...

Тайга – это роковая страсть, отвечающая взаимностью, но не отпускающая на свободу... Это – последний духовный рубеж России, принимающий ее гонимых и неприкаянных детей.

В первый раз взяли меня в тайгу в восемь лет, в конце августа пятидесятого года. Сравнительно большая компания, человек девять, отправилась километров за пять от деревни за кедровыми орехами; шишки еще не до конца поспели, от удара колотушки падало на землю не больше половины, поэтому ребяташек отправляли на высокие кедры ползать по стволу и толстым сучьям, срывать крупные шишки или сшибать их палкой на землю. Кажется, старшему в нашей компании было лет семнадцать, поэтому не было благоразумных, а я был самым

легким, и мог забраться и на более тонкие ветви, на которых висели самые крупные шишки. И восьмилетний ребенок взбирался на восьмидесятиметровую высоту, то есть выше двадцатипятиэтажного дома, и отползал от ствола, повисая над землей, на два-три метра. Земля оттуда казалась маленькой и далекой, а попутчики мои были похожи на крошечных муравьев. Облака проплывали совсем рядом, почти задевая меня своими краями, до них было ближе, чем до земли, и даже теперь, когда я вспоминаю себя, взобравшегося так высоко, у меня начинает кружиться голова. Я слазил, кажется, на семь таежных красавцев, и день склонился к вечеру. Мы взобрались чуть повыше по склону холма, выбрались из кедрача и расположились на небольшой прогалине в разнолесье. Младшие собирали сосновые шишки и небольшие сучья и ветки, старшие рубили лапник и тащили тяжелые валежины. Сначала мы разожгли широкий легкий костер, чтобы приготовить место для ночлега, потом по краям его положили под углом два больших толстых бревна, сгребли к ним все угли, навалили сучьев и древесного сору, а сами расположились посередине. Огонь снаружи горел ровно всю ночь, нам было тепло и уютно. Правда, до глубокой ночи лущили мы орехи из тех шишек, что попадали от колотушки, укладывали и завязывали мешки, а потом рассказывали и слушали страшные таежные истории.

Серьезные артели отправлялись в тайгу на целую неделю и выходили из нее, заросшие бородами и пропахшие острым таежным запахом, сгибаясь под тяжестью мешков с темно-коричневыми крупными орехами, вылущенными и провянными. Для гостинцев ребятишкам приносились громадные шишки, испеченные в золе.

Зимой тайга безлюдна. До войны охотники и промысловики на широких охотничьих лыжах, подбитых мехом, уходили в отдаленные края, куда летом не добирались даже на лошади, и пропадали в тайге по месяцу и два, но война разорила деревню и погубила промыслы, а злая власть сторожила охотников, весьма неохотно отпуская их на вольную промысловую работу.

Но и в окрестностях деревни хватало зверья и дичи, и ставились капканы на лисицу и зайца, промышлялась белка и бурундук, а в двенадцать лет по сентябрьскому облетающему лесу бродил и я с дробовиком шестнадцатого калибра, вспугивая рябчиков и тетерок.

Зимой хватало и крестьянской работы, заготовливались бревна, жерди и колья, доски, дранка, а в конце марта лес наполнялся визгом пилы и стуком топора – начиналась пилка дров.

Восемь и девять лет – это уже помощник в мужской работе, и я ходил пилить дрова на все время заготовок, исключая первый день, когда валились березы и обрубались толстые сучья. Пилили дед и дядя Костя, верхушки берез распиливали младшие дядья, иногда и я тягал тяжелую пилу, но это оказалось страшно утомительным занятием, и мы с Петей собирали и складывали сучья и ветки в костер, и помогали относить поленья и тонкие чурки к поленнице.

Одновременно ставились большие бочки под громадные ветвистые березы для сбора березового сока, и за неделю, пока рубились дрова, бочки наполнялись до краев. В них плавали кусочки коры и бересты, почки, маленькие веточки, дед делал из бересты коврик, и какое это было наслаждение – зачерпнуть холодного резкого сладковатого сока и пить его после тяжелой работы!

Из березового сока ставили хлебный квас, и был он вкуснее обычного, а квас в доме не переводился никогда, пили его круглый год, и зимой и летом, делали окрошку, добавляли в щи и ботвинью, ставили на березовом соке и бражку.

Наступил, наконец, последний день, дед приехал на лошади, бочку с березовым соком закатали в сани, загрузили до верха дровами, взяли еще по чурбачку и двинулись в путь, оставив поленницы до первого зимнего снега.

Взял и я маленький чурбачок, и оглянулся на истоптанную поляну, усыпанную щепками, опилками, кусочками веток и бересты, окаймленную тремя громадными поленницами, залитую ярким мартовским солнцем и напоенную ароматом опилок, снежного наста, березового сока и пробуждающихся березовых почек. Я так уже с нею сжился, словно она стала моим новым лесным домом.

Прощай, милая поляна, белоснежные березы, сладкий березовый сок, нежная, гладкая береста, любопытные сойки на верхушках деревьев, сосульки и хрустящие льдинки наста!

Прощай, свежий пахучий воздух, прозрачное высокое небо, яркое слепящее солнце! Поздней осенью я вернусь сюда, но здесь будет хмуро, холодно, неудобно.

Закончилась моя первая в жизни полная трудовая неделя, впервые я испытал не только минутную усталость, но усталость ежедневную, когда вечером приятно гудят косточки, и подражая взрослым, с работы иду я чуть вразвалочку.

Ах, хорошо и сладко многое, но слаще тяжелого физического труда, результат которого видишь и осязаешь, труда, вплетенного в повседневный быт – нет ничего! Жизнь, лишенная такого труда – неполноценна. Человек, духовное развитие которого не основано на этом труде – ущербен. Но если хотя бы одно звено из него выпало, теряется его цельность и полнота.

Крестьянин должен провеять и просушить зерно, вспахать пашню, бросить зерно в землю и заборонить его, слышать его рост, как женщина слышит движения младенца во чреве своем, сжать и смолотить, на тяжелом жернове намолоть из него мягкой муки и в горячей печи на капустном листе испечь душистый хлеб – один или вместе с женой, и тогда он узнает, зачем он живет на свете, и увидит, что все, что он сделал, чтобы вынуть, наконец из печи круглый мягкий каравай – *главная молитва к Господу*; и преломляя хлеб и оделяя им домочадцев своих, он знает, что Сам Господь вкушает вместе с ними.

– Ну, Васятка, с какой березы начнем? – спросил меня дед.

– Вот с этой, дедушка... хотя мне ее и жалко, уж больно она красивая!

– Так и пусть поживет еще! Давай тогда хоть вот с этой начнем, на пригорочке! Иван, отведи-ка ребят подальше, чтоб, не дай Бог, не снулись под дерево!

Тонкие верхушки берез и я пилил, вот только полено удалось отколоть всего одно, руки еще не справлялись с топором, и я торжественно нес его с собою.

Сегодня было воскресенье, в субботу лошадь не дали, и поэтому баню тоже сегодня топили. Ворчала бабушка – грех работать в воскресенье, не пойдет работа впрок!

– Ну, дак разве ты в воскресенье не топишь печь и не варишь щи? – возразил дед.

Бочку закатили в сени, а дрова свалили во двор кое как.

– Ладно, до завтра и так полежат, а то баня переспеет... Ну, Василь, иди со мной париться, ты мужиком стал, я тебя попарю!

И я, счастливый, пошел за дедом по тропке, шагая степенно и размеренно, прижимая к груди невиданное сокровище – пахучий кусочек банного мыла.

Осенью наступила другая страда – копка картошки. Огород у деда был самый большой в деревне, да и семья самая большая, он протянулся за баней вниз по южному склону холма до самого ручья, текущего внизу вдоль леса; за ним начиналась пологая длинная гора почти до неба – я думал, что же там, на самом верху, и какая даль открывается с него? А за холмом, мне казалось – таинственные и диковинные страны, не похожие на нашу Россию. Там, говорила бабушка, Монголия и Китай. Иногда мне становилось страшно, я боялся, чтоб монголы не пришли в нашу деревню, как пришли они в далекий сказочный Киев.

Картошку было легче копать, чем пилить дрова, да и работа была разнообразная. Кусты сначала подрывались вилами и ребятишки шли вдоль борозды, собирая клубни, а затем шла тетя Нина и копалась глубоко в земле, выскивая картофелины и там. Собранную картошку сносили в большие кучи, где ее сортировали, складывали в мешки и относили в дом, и там ссыпали в подполье, разделенное досками на отсеки. Я относил битую картошку, сколько было взять по силам. Ходил за ручей за сучьями для костра. Но самое сладкое и пьянящее – распалить костер и следить за картошкой, которая пеклась в золе, чтобы она не подгорела. Испекшиеся картофелины мы выкатывали поодаль от углей на теплую золу, и когда она испеклась вся, копальщики собрались вокруг костра и приступили к трапезе. Соль насыпали горкой на белую тряпочку, горячую картофелину разламывали пополам, дули на нее, макали в соль (синеватые крупные кристаллики ее скрипели на зубах) и, закусывая луком и хлебом, блаженствовали. Особенно вкусны были хрустящие поджаренные корочки.

Сухую ботву складывали в кучки и сжигали, зеленую частью разбрасывали по огороду между бороздами, частью относили на зады хозяйственного двора в перегнойную кучу.

К вечеру сладкий дымок от множества костров поплыл над всеми огородами и по улице деревни... Как, бывает, встрепенешься от звуков баяна и мелодий вальсов "На сопках Манчжурии" и "Амурские волны" и сердце запоет, так и от запаха огородного дыма до сих пор бьется мое сердце и в нем оживает сентябрьский огород, бурая сухая картофельная ботва, бабушка, торопливо снующая между копальщиками и порывающаяся схватить и нести тяжелый мешок, два белобрысых мальчика, мои младшие дяди, теперь уже опаленные, обугленные, сокрушенные неудавшейся жизнью и заливающие сокрушение водкой, но тогда еще не подозревающие о коварстве судеб, молодые тетки, достойно несущие и ныне ношу жизни к неведомым для всех нас вершинам, моя молодая мама... вот она стоит с клюкой у ворот, чтобы встретить меня, приехавшего повидать ее в последний раз... а уже не вставала...

– Васенька, сыночек! Боялась, что уже и не доведется свидеться – тебе плохо, сыночек мой? Чем же мне помочь тебе? Картошка не уродилась нынче, сначала дожди лили, а потом жара ударила и посохло все. А огурцов много, и капуста хорошая, да и грибов ребята много наносили.

Все я надеялась, вот-вот наладится твоя жизнь, да видно не дожидаться уже мне... Ты обо мне не переживай сильно, вот я увидела тебя, дак еще и поживу, а только бы у тебя все хорошо было! Бабушку твою нынче во сне видала, спрашивала про тебя, а потом и говорит будто – Ты, Маня, о Васе не беспокойся, ему уже свернуть некуда, все одно прямо идти... «Да сколько можно идти-то еще! И кому же беспокоиться, как не мне?» А она будто запела в ответ, что в старину на поминках пели, и так-то протяжно, так печально, что я заплакала, и проснулась, а тут и телеграмму от тебя приносят. И к чему это снилось, не случилось бы чего, думаю... Может быть, опять не стерпел, опять не покорился, теперь уже с новой властью воевать стал – а слухи-то доходят, один страшнее другого, да я уже не слушаю никого... Сыночек мой, да когда же такое время бывало, чтоб там не разбойники были, не супротивники народу? А все одно, народ за них и пойдет, а не за тобой!

– Нет, мама, ты ошибаешься... Подлинный народ – это бабушка наша и род ее, это те, кто слагали наши песни и наши сказки, а тот народ, который за разбойниками идет – он и сам разбойного роду и племени.

– Ох, сыночек, их-то большинство, сила-то на их стороне, а правда, сколько я живу на свете, одна против силы не выстаивала. Как я родила тебя, так и бегу все из огня да в полымя, то болезни на тебя напустились, сколько раз до смерти помирал, то завели маленького тебя в тайгу да и блудили вы там голые да босые чуть не с неделю, то в

речку тебя бросили, то тебя понапрасну из школы исключили и на весь свет позорили за дневник и детские стихи, то опять исключили и опять позорили, что влюбился не в ту, то ты в Южную Америку какую-то убежать надумал, я чуть с ума не сошла, как письмо твое получила, потом, наконец, ты в *ученые* пошел, и ангела небесного в спутницы Господь послал – ну, думаю, слава Тебе, Господи, может быть и правду говорил дед Зеленок, что было ему видение, что родится дитя из самой середины русской земли в глухой деревушке, где ходят еще в домотканом, где ни спичек нет, ни гвоздя железного, где посуда из дерева да бересты (а ведь гвоздей-то покупных у нас и не было, и даже после, когда уже они не в диковинку стали, мы их в кузне ковали, и дом-то без единого гвоздя построен был!); и возьмет дите это малую лучину с печки, зажжет ее от уголька и пойдет с ней по свету искать *небесный свет*! Что-то еще говорил он, да и непонятно было и жутко, и не хотела я слушать и помнить, и забыла все, а что *свет* искать будет – запомнила. Ну, думаю, в науке сынок мой и найдет этот *свет небесный*, а тут вызывают меня к большому начальству – я уж обрадовалась, не орден ли тебе дают, – и говорят мне, что дана мне большая милость, и разрешили мне свидание с тобой в тюрьме! А все же Господь сберег тебя, и хоть не богатством да почетом наградил, но послал жену преданную, сына верного, а потом и небесный колокольчик прислал, я все жду, когда хоть одним глазком взгляну на нее – тогда и успокоюсь, и не стану за жизнь цепляться.

Куда же тебе идти еще, и сколько еще тебе идти осталось, вот ведь и борода уже седая, и силы-то поди не те, а власть сатанинская все крепче, да все хуже, да все супротивнее!

Чем же мне помочь тебе, как же мне защитить тебя? Если уж крайняя нужда – разве я не схороню тебя от ворогов? А в доме у нас все есть, и грузди твои любимые, и капуста на шти насолела я, а нынче и просо я сеяла, и будем мы из проса хлеб печь!..

И согбенная моя мать стала перебирать руками по клюке, поднимая их выше, упершись клюкою в землю, и медленно распрямляя спину.

Вот и не вставала уже, вот уже и склонилась к земле, догорала лучина, да вспыхнула вдруг светло и ярко!

Глава вторая

ГОРДАЯ ЛАРА

1.

Зимой 55-го – 56-го годов я учился в седьмом классе. Дело в том, что хотя и перескочил я из первого класса сначала во второй, а потом в третий в течение первого школьного года, но, во-первых, надо и горькую правду напомнить – из первого класса, когда я в *первый раз* в нем учился, меня вышибли за *неспособность*, и потому даже после перескакиваний я опережал сверстников только на год, а потом в пятом классе заболел и попал в Сибирскую Швейцарию, потеряв год, а когда вернулся – уже в Решоты, столицу обширной империи Красноярских лагерей – то взяли меня с трудом снова только в пятый класс. Школа была лучшая в городке, она была “средней”, учились в ней дети начальников лагерей и других высокопоставленных работников Краслага, а другие школы были семилетками, там всякий *сброд* из народа учился.

Я, правда, тоже из *сброда* произошел, но уж как-то так получалось, что все время к верхам примазывался, и некоторые из них потом, через сорок лет, даже водку со мной пили (особенно, если я угощал), но денег на мои книги не давали и своим не считали.

В нашем классе из народа были только двое (из тридцати школьников) – я, из деревни Корневище, в двадцати километрах от городка, если идти к Саянским горам (а дальше уже ничего не было!), и Оля Анд-шина – правда, мама ее в городском универмаге работала продавщицей, и Оля была совсем не из *сброда*, ее отец был офицер и Львовский университет окончил – но он был расстрелян доблестными русскими освободителями Европы, потому что воевал не за тех – сначала, правда, с немцами воевал, когда они Польшу оккупировали, а потом с русскими воевал, когда они Западную Украину оккупировали... мама ее тоже Львовский университет окончила и потом была сослана как *жена врага народа* (*нашего народа*; *своему* народу он не был враг), и по тогдашней табели о рангах стала принадлежать к *сброду*.

Бабушка ее тоже Львовский университет окончила в 1918 г. и была сослана как *мать жены врага народа*; а дети уж были сосланы за компанию. Но что они были ссыльные, это тщательно скрывалось.

Все же она без папы, мама – продавщица. Я тоже без папы, а мама “заведовала” ГСМ – так я говорил. Это было правдой, она отпускала солярку шоферам в леспромхозе, но поскольку была единственной работницей, то была и кладовщицей, и сторожем, и, конечно, “заведующей” – другой ведь заведующей у бака с соляжкой, наполовину врытого в землю, не было!..

Дети продавщицы и “заведующей” Горюче-Смазочными Материалами – то есть *дитя народа* и *дитя врагов народа* – растворились среди детей *борцов с врагами народа* – начальников охраны, оперуполномоченных, *особистов*, следователей и так далее – капитанов, майоров, подполковников.

Перед новым, 1956-м годом, произошли два значительных события моей жизни: во-первых, я влюбился в девочку шестиклассницу, провожал ее после школы, и в конце ноября, теплым снежным вечером (снежинки медленно порхали в воздухе, падали нам на шапки и щеки, были теплыми и сладкими) мы сели на скамеечку на холме над старинным сибирским трактом около деревянного здания деревенской семилетней школы (эта старинная деревня влилась в столицу Краслага в качестве ее сельскохозяйственной части) и тринадцатилетняя Юля начала потихоньку ко мне приближаться. Со мною случился нервный озноб, я не мог вымолвить ни слова, так ясно помню и теперь каждое мгновение ее рокового приближения – Юля вдруг обняла меня и поцеловала в губы – первая. И это был первый в моей жизни поцелуй!

Может быть, махнуть рукой на то, что жизнь не сложилась, что из меня не получился ни великий ученый, ни великий писатель, что я не могу вразумить свой народ, и даже малые замыслы никак не удаются – строятся дачи на Канарах и в Подмоскowie, крутится рулетка в казино на тыщи долларов, течет золотым потоком нефть в Европу, но ни новые русские, ни старые чиновники не находят денег на осуществление прекрасного замысла об Энциклопедии Российских Храмов! – да и Бог с ними, с замыслами, и перестать страдать, и махнуть рукою на Энциклопедию и Россию, уехать в глухую деревню, копать землю, учить детей, не читать газет, не смотреть телевизор, не знать, не помнить – и быть счастливым теми происшествиями и радостями, которые рядом со мной в повседневной жизни?!

Все равно никогда не будет ничего слаще и удивительнее первого поцелуя – а он ведь уже был у меня! И что же теперь житейские горести? Разве они зачеркнут, разве отменяют тот нервный озноб на заснеженной скамейке на холме над Сибирским Трактом, и прикосновенье Юлиных губ?

Удивительно и то, что через сорок с лишним лет задумал я построить часовню в память невинных жертв Краслага, приехал в Решоты для предварительных о ней переговоров, договорился обо всем с мэром, он и место для часовни отвел, рядом с недавно восстановленным храмом, и пошли мы его смотреть, пришли на знакомый холм, и оказалось, что та семилетняя школа и была старым сельским храмом, а теперь снова вернулась к прежнему состоянию.

А вот и то место, где я поцеловался впервые в жизни – на нем-то и надлежало строить часовню!

Воистину, дивны пути Господни! – но понял я Господа так, что

угодно Ему, чтобы Дом, в который человек приходит для встречи с Ним, был домом не только печали, но и радости!

А хмурые умом и сердцем, которые создали из Пришествия Христа и Его проповедей учение о страхе и трепете и ожидании мрака и скрежета зубного – вместо Учения о Духовном Освобождении, Преображении и Радости – не любили женщину, ребенка, гречишное поле; не целовались, не пели колыбельную, не копали землю!

Но вернусь к учебной поре 55-56-го годов. О первом поцелуе я уже рассказал, а еще, уже после него, уже перед самым Новым Годом, пережил я предательство и несправедливый позор.

Вел я отроческий дневник. Душа, может быть, в 13-14 лет чаще всего и больше всего страдает от разлада между идеальным представлением о том, каким должен быть мир, и его грубой и грязной реальностью.

Вот и писал я про этот разлад – горестно. Да задел и школу, написал и о том, что *учитель* проповедует возвышенное, а сам лицемерит, не говорит правду, и несколько примеров привел; что вот *школьники* красивые галстуки повязали, поклялись служить добру и справедливости, а в туалете украдкой курят и сквернословят; что и все *взрослые* говорят одно, а делают другое. Жил я в школьном общежитии, в комнате нас было четверо, под кроватью у меня стоял чемоданчик, и в нем я хранил заветную тетрадку. Как вдруг по неведомым причинам сосед мой вытащил ее и отнес к директору.

Хотя среди преподавателей у нас были даже бывшие выпускники Петербургского Университета, но может быть и их уже лагерная жизнь “перековала” – отчего же, прочитав вслух в учительской мой дневник, не нашли эти *сеятели просвещения* ничего умнее, как собрать в актовом зале общее школьное собрание и объявить принародно, что я будущий человеконенавистник и враг народа, что хотя еще по малолетству не выкристаллизовались все необходимые его черты, но скоро выкристаллизуются, и тогда затмлю я самого Гитлера?!

А ведь предвидели истинно – ныне то я не *враг ли народа!*?

Да уже и через три месяца после казни прилюдной начал я распоясываться, посягать на святое, а дальше все больше, и чему народ ни поклонялся, всё я охаивал – пока не схватили меня через пятнадцать лет снова *за ухо да на солнышко*, и не посадили в тюрьму.

Ну а тогда по малолетству еще пощадили, только из общежития школьного выгнали, маму мою пристыдили, что такого изверга воспитала, и как уже наступал Новый Год – распустили всех на каникулы.

Я не знал, что со мной еще будут делать, но никак не мог представить, что снова смогу как ни в чем не бывало бегать по коридору, тянуть руку на уроках, чтобы ответить на вопрос учителя, и смотреть на девочек. Хотя и не был я ни в чем виноват, *поименование меня человеконенавистником* ошеломило меня в буквальном смысле этого

слова, я жил в течение некоторого времени призрачной жизнью. Мне было до того невыносимо стыдно – даже своих близких (хотя не сделал и не написал я ничего плохого, это был дневник Идеалиста и Романтика, быть может, будущего Дон-Кихота, но уж никак не злодея!), что я никому не мог смотреть в глаза, ни с кем не мог разговаривать. Обедал я отдельно, после всех. Если был дома, то сидел на стуле неподвижно, уставившись в угол, или же уходил на улицу и бродил где-нибудь так, чтобы не встречать с людьми.

Иногда говорят про такое оцепенение, что сердце превращается в камень – может быть и так это было, но камень был раскаленным и жег мучительно!

Каникулы окончились, вернулся я в Решоты с сумкой напеченных мамой в дорогу сухариков (ах, какие же это были сухарики – сладкие, хрустящие, пахучие!), определился на жительство к дальнему родственнику, путевому обходчику, у которого были две дочки-красавицы лет по 18-19, и вечером после чаю лег спать и обдумать будущее житье. Утром, уходя в школу, наплел я своему дядьке, что на три дня должен уехать, а сам направился напрямик... в Южную Америку! Но доехал только до Красноярска, испытал чудные приключения, и так же порывом, как уехал, вскочил в поезд, следующий назад, спрятался на третьей полке, и вернулся в Решоты.

Стал ходить в школу, сидел на первой парте сбоку от учителя, на соучеников не смотрел, на учителя – тоже, к доске меня не вызывали, и никто не делал попыток со мною заговорить – я молчал так “инобытийно”, что заговаривать боялись.

Но в конце января наваждение исчезло, рухнуло оцепенение души, из *несуществования* я вернулся в жизнь.

А случилось это вот как.

На перемене, как обычно, я остался в классе, сидя все так же неподвижно и глядя строго вперед, на классную доску – но чуть-чуть позволял себе смотреть немного вбок, вздрагивая и оцепеневая при каждом шорохе и скрипе двери.

В класс вошла новенькая, которая появилась у нас три дня назад, сегодня она дежурила, и в обязанности ее входило прогнать всех в коридор, проветрить классную комнату, вытереть доску, вымыть тряпку, приготовить мел.

– А ты почему сидишь? – строго она спросила. Я молчал.

– Не трогай его, его нельзя трогать! – зашептала другая девчонка от двери.

Лара подошла ко мне ближе. (Она сама попросила, чтобы ее так звали, потому что, как она сказала, так ее называл папа. На распросе о папе ответила непонятно – *за разъяснениями обращайтесь к Порфирию Петровичу, и не задавайте больше глупых вопросов*. Почему-то ее в классе невзлюбили, хотя она была равна со всеми, и кроме меня, дружба с нею водила только Оля Ан--на. Правда, оказалось, что мама ее

музыкант, имеет пианино, многие из местного начальства повели к ней учиться своих детей, и поэтому, несмотря на нелюбовь, относились к ней завистливо-уважительно).

– Тебя сильно обидели? – спросила Лара. – Я знаю, с тобой поступили очень несправедливо, но мужчина должен быть храбрым, благородным и гордым.

Посмотри на себя – ты же стоишь на коленях, опустив глаза в землю! – а должен смотреть на всех сверху вниз, если прав. Ты скатывался с крутой горы?

Я кивнул.

– Так вот, если не решишься полететь сразу, то уже никогда не полетишь. И еще – я хочу с тобой дружить. Ты не против?

– Не против... – неожиданно ответил я вслух и встал. – Ладно, я пошел *скатываться*, – от двери я оглянулся, страшась выйти в мир, Лара ободряюще улыбнулась.

В течение нескольких секунд произошло преобразование моего характера.

Я всегда был тихим, скромным, самоуглубленным мальчиком, не участвовал в общих играх, не набивался в друзья, время проводил больше в чтении, почти в заглазывании бесчисленного количества книг, учился на одни пятерки, меня никто не обижал, но *тихость* меня уже тяготила, я жаждал бури... И вот, стоя на пороге, как будто воскресая после смерти, начиная заново жить, я понял, что могу выбрать себе по собственному желанию характер и способ жить – и или остаться тихим, или стать буйным. Зазвенел звонок, в коридоре около соседнего класса была куча-мала, я в нее ринулся с диким воплем.

На урок я опоздал, вошел с помятой физиономией, потрясенная собственным поступком учительница поставила меня в угол, и оттуда победно, как предводитель, оглядел я класс. Я знал, что отныне хочу и буду царствовать.

И действительно, поцарствовать пришлось, но мне еще надо о многом рассказать, и потому о царствовании – как-нибудь потом.

Детство моё опалено было войной, и в ушах моих и сегодня звенят медали безногих калек, пробирающихся с трудом по вагонам поезда Красноярск-Иркутск и поющих грубоватые баллады о *батальном разведчике*... и слышу я звон пятаков, которые им в шапку бросали сердобольные слушатели; одного такого певца видел я уже пьяного, лежал он где-то в уголке на платформе железнодорожного вокзала в Тайшете... Но не меньше я его жалел из-за того, что наши пятаки он пропивал, да и собирал их, чтобы напиться...

И рассказываю о том, как меня жизнь самого обижала, и как сидел я, тринадцатилетний, неподвижно глядя в угол подряд две недели, и в груди невыносимо пекло, и иногда скатывалась слезинка по щеке – не для того, чтобы сегодня меня кто-нибудь пожалел – тысячу миллионов

лет назад я об этом уже и забыл, и простил, и тот сапог, который прошелся по моему лицу, уже давно не печет в моем сердце. Да и подарки от людей получал я и до того и потом такие, что мне ли быть злопамятным?!

Через двадцать лет, уже я с трудом вспомнил имя того глупого мальчика, который вытащил мой дневник из чемодана и отдал учителям (а после того столько всего произошло, что детские ли огорчения вспоминать? – и арест, и тюрьма, и предательство!) – нашла меня в Ленинграде девочка, в которую когда-то был я влюблен, и которая очень меня хотела увидеть, мы просидели с нею несколько часов, вспоминая весну нашей жизни, апрель ее... или даже март... волшебное очарование встреч без единого поцелуя... И на следующий день она пришла снова, а с нею незнакомый мужчина, который, оказывается, тоже давно искал со мной встречи; он стоял на пороге, смущенно вертел в руках бутылку коньяку и не решался сказать... И вдруг я его вспомнил, хотя прошло целых двадцать лет с тех пор!

– Я хотел, чтобы ты узнал, – сказал он мне, когда уже и эта бутылка была выпита, и сбегали еще за одной, – не о том, что я переживал о случившемся и раскаялся и прошу у тебя прощения – нет, я мечтал только когда-нибудь сказать тебе о том, как я тебе благодарен. Надеюсь, сегодня я хоть немножко лучше, чем был тогда – но если бы я тебя тогда не предал, уверен, ничего хорошего из меня не получилось бы. Ты ведь знаешь, в какой семье я рос, отец мой в конце концов спился и умер, а я ушел из отчего дома и даже изменил фамилию... И вот видишь, я здесь...

– Я тоже рад, что ты пришел, и хорошо, что так долго спустя, и та боль уже забыта. Вознаграждение, которое я получил, неизмеримо больше, чем прежние мои огорчения, – сказал я ему на прощанье.

2.

Но отчего же из меня ничего не получилось, хотя было столько задатков? Не оттого ли, что я слишком много был занят собой? Своими бедами? И хотя не был безучастен к миру, напротив, даже очень близко принимал к сердцу все, что в нем происходило плохого, но собственное затмевало мир. Моё было второстепенным только пока я был маленький, пока мама, бабушка, героический дед, дядьки и тетки, жизнь деревни, лес, цветы, петли зайца на снежной поляне – было самым важным, и я этот мир любил, за него страдал, а собственные неурядицы, даже постоянные болезни, чуть не до смерти, проходили как во сне.

Но в одиннадцать лет в душу вошли новые идеи и чувства, и заполнили ее. Во-первых, засмотрелся я на девочек, и некогда стало думать о маме и бабушке, во-вторых, тщеславие и честолюбие уязвили меня и сделали менее внимательным к другим. Я научился играть в шахматы, и захотелось стать чемпионом мира – к счастью, эта болезнь

пронеслась стремительно, пока я лечился в санатории от туберкулеза, и прошла вместе с ним. В двенадцать я начал писать роман, потом злополучный дневник, и теперь думаю, что если бы я был менее эгоистичен, то и оценки мои и осуждения были мягче, и не произошло бы того судилища надо мною. Но оно случилось, к счастью, и я стал лучше.

Червь славолюбия меня не раз поражал, а когда я начал писать рассказы и, к несчастью, их стали печатать в местных изданиях, отчего разразился тоже скандал, то с меня уже была как с гуся вода, я стал купаться в славе, и чем она была скандальнее, тем слаще.

С ужасом понимаю только теперь, что то, что принимал я (и другие) за гениальность, было только ранним развитием, – воспитанный женщинами, я развивался как девочка, и сверстников опережал на два-три года, потому думал, что умнее всех, а меня, как картошку, просто раньше высадили, раньше и взошел. Но когда пришла пора собирать урожай, многие из тех, кто взошли позже, опередили меня вдесятеро, а у меня – ничего! Увы!

И девочки-одноклассницы меня любили и дружили со мною потому, что ровесники для них были дети, а я единственный был ровесник, потому что и они на три года раньше всходят.

Что же теперь делать?

Не знаю.

Все же до семнадцати лет я был счастлив, только плохо понимал это, думал, что счастье – потом, вместе с властью, славой, богатством.

Так теперь хотя бы приникну к прошлому, как к чистой родниковой воде.

В шестом классе девочки меня жалели и защищали. В седьмом начали дружить. Кроме мгновенно вспыхнувшей дружбы с Ларой, вдружился я и в Олю Ан--ну, которая тоже держалась отчужденно от всех, но к ней в классе не относились так враждебно, как к Ларе.

Преображение мое свершилось в конце января, за февраль стремительно меня прежнего забыли (как и царапины в детстве зарастают быстро, так и происшествия), и уже естественным казалось, что я общительный и отчаянный, и чуть ли не всегда был таким.

С Олей особенно подружились мы из-за моей любимой рубашки. Дело в том, что воротник на ней обветшал, и я пытался его заштопать.

Конечно, я был бедным, но в нашей деревне были и гораздо беднее меня, ведь мне, единственному, платили пенсию за погибшего отца.

Правда, жить и учиться приходилось от дома далеко, и потому затраты на меня возрастали, но и кроме этого я стыдился того, чтобы на меня была истрачена лишняя копейка, каждая из которых доставалась таким тяжелым крестьянским трудом и потом, а пенсионные – еще и омочены были отцовской кровью. Брюки, рубашки – донашивал я до крайности, и как иные канючат у родителей обновки, я, напротив, все

спорил, что еще и старая одежда сойдет. И хотя мама для меня ничего не жалела, но уговаривалась повременить и пока новое не покупать. Вот так и случилось, что на любимой рубашке воротник обветшал (а я и теперь неохотно что-нибудь покупаю, к тому же при нынешней разрухе в стране и мне и другим поневоле приходится быть бережливыми).

Оля заметила беспорядок в моей рубашке; была она хотя и добрая, но строгая и прямая, ходила и говорила и одевалась как по струнке.

– У тебя, что ли, нет другой рубашки?

– Ну, почему же?.. Но эта мне больше нравится.

– Воротничок на ней уже совсем прохудился.

– Я починю его.

– Нет, ты чинить не умеешь, тут нужно штопать. Можешь завтра хотя бы на один день надеть что-нибудь другое?

Пришлось покориться, целых два дня в неудобной и нелюбимой пробить, но зато я был потрясен.

– Вообще-то это бабушка штопала, и, кстати, она приглашает тебя в гости.

Бабушку звали Агриппина Андреевна, была она совсем не строгая, веселая, простая, смешливая.

У нее была еще одна внучка, старшая, которая училась в Львовском университете – она окончила школу в 55-ом году, и именно в этот год впервые детям ссыльных разрешили учиться на западе страны.

Вскоре уже не совсем ясно было, с кем же я на самом деле дружу – с внучкой или бабушкой; хотя я старался не злоупотреблять дружбой, но приходил почти через день. Сначала меня поразила библиотека, было множество книг, изданных в двадцатые и тридцатые годы, хранящих, казалось мне, аромат старины, маленькие томики Роллановского Жана-Кристофа, изящные академические издания Дон-Кихота и Путешествий Гулливера, Робинзон Крузо, так поразительно отличающийся от сокращенного детского издания; потом меня поразили бабушкины рассказы.

3.

«Зимой 18-го-19-го годов после окончания Львовского университета я работала в глухом селе на Вольни учительницей.

Зима хотя была мягкая, но удивительно снежная, временами заносило так, что по неделе никто не мог проехать через наше село, и мы ничего не слышали, что в мире делается, да и не хотелось слышать, кругом воевали, и кто с кем и за что, было уже непонятно.

Вдруг перед Рождеством, чуть раньше полудня, слышу залиvistый звон колокольчиков, и прямо к моему дому подкатывает тройка лошадей, запряженных в роскошные сани-розвальни, и стучатся ко мне два хлопца, опоясанных пулеметными лентами.

– Это ты панёнка-учителька?

– Да, я.

– Собирайся, батька Махно тебя требует!

– А если я откажусь?

– Ха-ха, откажется она! Та хiba ж мы такие дурни, што какую-то задрипанную учителку до батьки привезти не сможем? Вот всыпем тебе пятьдесят горячих по одному месту (они поиграли плетками), да и свяжем вожжами.

Я было еще поартачилась, но как они не на шутку за меня хватать стали, решила пока не рыпаться, а там посмотреть, что там за батька, такой же разбойник, как его хлопцы или еще хуже?

Оделась я как могла лучше, брови угольком подвела, чтоб почерней были, шубу на себя набросила, шапку из сибирского песка – если уж погибать, тогда Бог с нею, шубой и шапкой!

И привозят они меня в штаб, недалеко, верст десять было, и прямо под руки пред батькины очи подводят.

– Вот, батька, тебе подарок к Рождеству.

Заломила я шапку набок, подбоченилась, шубка моя нараспашку, глаза сверкают, смотрю на батьку, а черты лица у него тонкие, лицо нервное, чуть вздрагивает щека, вид озабоченный, – и говорю гневно, – что ж, вы, говорю, народный герой, человек культурный, умный, не атаман разбойников, а ведете себя так, что за вас краснеть приходится! А я-то, дура, думала, что, наконец, на нашей Украине появился истинный *рыцарь без страха и упрека*, защитник обиженных и страдающих – так нет же, как какой-нибудь бродяга кур с чужого двора ворует, так он девок послал воровать по окрестным хуторам и селам!

"Рыцарем" я пронзила его сердце, а он и вправду человек был образованный, аж передернуло его всего. Отошел он от меня молча, что-то сказал помощникам своим, смотрю, подходят те к хлопцам, снимают с них ремни и куда-то ведут за угол.

– Куда это их? – спрашиваю.

– *В расход*. У нас народная армия, а не шайка экспроприаторов.

Тут я прямо и повалилась ему в ноги.

– Батька, – заплакала я, – пощади дурней! Они же просто от гонору, повыставляться захотелось перед молодой дивчиной, а хлопцы ж не грубые, не обижали меня, а только попугали малость.

– Ну и то добре, и мы ж их попугаем да *непредставляемся* перед ними. Пальните в них холостыми, – говорит помощнику, – да ведите сюда.

Привели, стоят, понутив головы.

– Ну, кланяйтесь панночке в ножки, она плакала, чтоб пощадил. Ее только и уважил. Так чтоб и сами помнили и другим заповедали – у нас народная освободительная армия, армия – защитница, а не притеснительница. Учителка детей учила, а вы ее как эксплуататора экспроприировать вздумали.

С той поры крепко подружилась я с батькой, а хлопцы те стали моими верными телохранителями, и готовы были за меня и в огонь и в воду.

Вот ведь, почти сорок лет прошло с той поры, и ни батьки нет, ни хлопцев тех нет уж на этом свете, а как заметет метель, так я словно слышу звон бубенчиков в ее завываниях.»

4.

С Ларой я разговаривал мало, она была строго молчаливой и словно бы надменной, это-то и вызвало нелюбовь к ней в классе, но я знал, что несправедливость и чужие слезы трогали ее сильнее, чем других, а, значит, она была не надменной, а только замкнутой, закрытой от посягательств враждебного мира, которого она опасалась.

Я ее провожал изредка после школы, она молчала, я начинал что-нибудь рассказывать, вдруг она переспрашивала, будто бы ничего не слышала...

– Ты прости меня, я просто задумалась.

Юля перевелась в другую школу, мы больше не встречались, и только уже в десятом классе пересеклись на мгновение, но помнил и вспоминал и до сих пор помню я только первые встречи нашей любви и первый поцелуй на скамеечке. С Олей была чистая дружба, теперь бы я назвал ее интеллектуальной. А что же связывало нас с Ларой? Я даже руки ее коснуться боялся, однажды сказал ей: ты – гордая полячка Марина Мнишек!

– Нет! – резко она ответила, – ты ведь не Лжедмитрий.

– А кто же я?

– Может быть, станешь Аввакумом, если на костре сожгут.

– А до костра не стану?

– Нет, останешься *василёчком*, полевым цветочком... – пропела она.

Четвертого марта произошло знаменательное событие. Накануне мы шли с Ларой после школы, было тепло, только что снег выпал, я расстегнул полупальто (называлось оно тогда "Москвичка" и школа самым нуждающимся выдала их за полцены, в числе других – и мне, а я не отказывался, я не был – гордым).

– Оля на меня смотрит холодно, – спросила утвердительно Лара.

– С чего ты взяла?

– Ну, я же вижу, чувствую... Это она тебе воротник заштопала?

– Нет, ее бабушка.

– Ну, я тоже штопать умею... Я хотела тебе предложить, но постеснялась... Я бы хотела дружить с Олей, – добавила она, помолчав. – У меня ведь никого больше нет, кроме мамы... и тебя... и Оли...

Четвертого была суббота, уроки закончились рано, в шесть часов вечера (а мы учились во вторую смену), Лара сказала мне и Оле, чтобы мы ее ждали, и ушла. Через пятнадцать минут она вернулась в сопровождении другой девочки (ученицы ее мамы) и гитары.

– Сегодня у нас – праздничный концерт! – торжественно и радостно возгласила она. – Я договорилась с уборщицей, тетей Мотей, она сегодня закрывает школу, мы можем сидеть допоздна. Она потом тоже придет послушать.

Я, к сожалению, петь не мог, зато был благодарный слушатель. Музыка и песню любил всегда, но теперь, впервые, на меня обрушился мир романса – и жальче всего на земле покидать будет его.

"Для меня ты – все, ты – любовь моя!" – пели девочки, стараясь, чтобы голоса их звучали ниже, как у Обуховой.

Наверное, я больше ничем в жизни не занимался, кроме того, что влюблялся, точнее сказать, все остальные занятия были для меня второстепенными, подсобными.

Правда, содержанием моей влюбленности была нежность и почти религиозное поклонение женственному как музыкальной стихии мира.

Не прав тот, кто думает, что, например, в огне есть и другое, помимо. Другое преходяще, оно существует, пока перегорает, а бытием огня является только пламя.

Вот так же и духом и плотью моих влюбленностей была нежность – все, что было сверх этого, сгорало в нежности, как мусор в огне.

В Олю я не был влюблен (хотя и ее не забыл до сих пор). А был ли влюблен я в Лару? Как ни кажется это удивительным, но тоже – нет. Она была слишком холодной, а в снег нельзя влюбиться, хотя и снег, и то, что связано с снегом, эстетически русского человека формируют больше, чем вода.

Но холодность снега преодолевается в метели, и душа русская метели постоянно жаждет, и в ней жаждет исчезнуть.

Вероятно, наши молчаливые прогулки после школы были ожиданием восхода – посеяно было зернышко, когда-то оно должно было проклюнуться...

Но...

5.

Следующее событие, во многом предопределившее мою будущую жизнь, произошло через неделю, 11 марта.

Класс собрали на общее собрание, приехал из Ингашей инструктор райкома комсомола, наш бывший ученик, и священнодействие началось.

Оля была первой по списку, но она и везде и всегда в нашей классной жизни была первой, и училась только на пятерки, и участвовала в самодеятельности, и выпускала классную стенгазету. Я учился на пятерки тоже, но со мною происходили *происшествия* (и совсем недавнее) и я не был первым.

Ничто не предвещало бури, по ожиданиям учителей и инструктора.

– Итак, Ольга, готова ли ты вступить в славные ряды ВЛКСМ?

– Готова... – прошептала Оля.

- Так, отлично! Где твое заявление?
- У меня его нет.
- Как-то есть, нет? Всем же было сказано подготовиться, и образец с доски списывали! Нехорошо. Ну, ладно, пиши скорее, а мы пока продолжим прием.
- Я не могу его писать.
- Как, то есть, не можешь? Почему?
- У меня бабушка... Она темная... старорежимная... она в Бога верит!
- Ну, так то бабушка!
- Я бабушку не могу расстраивать. Она больна. Она сказала, что умрет. Вы ведь не хотите смерти моей бабушки?
- Послушайте! – взвился инструктор. – Я знаю эту бабушку, она еще нас переживет! Она с Махно на тачанке разъезжала, может, в нашу армию из пулемета стреляла?
- Когда моя бабушка на тачанке ездила, Махно был героем Гражданской войны. Об этом в энциклопедии сказано.
- Какой энциклопедии?
- Энциклопедии братьев Гранат!
- Знаю я эту энциклопедию! – опять взвился инструктор. – Она запрещена. Да и к тому же, с какой стати твоя бабушка темная? Она ведь окончила Львовский университет!
- Так это до революции было, а тогда было сплошное мракобесие! И вообще, я вам процитирую Маяковского: *я знал крестьянина, он был безграмотный, не разжевал даже азбуки соль! Но он слышал, что говорил Ленин, и он знал все!*
- Вот-вот! Ленин! А ты не хочешь в Ленинский комсомол вступать?!
- Вы меня неправильно понимаете. Я хочу вступить, но бабушка больна, у нее сердце, и она верит в Бога. Я буду над ней работать, пока она не исправится, честное пионерское!
- Вот-вот, ты ведь пионерка? А как же бабушка?
- Пионеры были еще во времена Тутанхамона!
- Кто это тебе сказал?
- Моя бабушка.
- Откуда же она знает?
- Она историк. Она университет с золотой медалью окончила. И вообще она с директором разговаривала. Он ей обещал.
- Завуч прошептала что-то инструктору на ухо, тот развел руками.
- У Оли были крепкие позиции. Ее мама работала продавщицей в главном универсаме Краслаговской столицы, и если не начальники, то жены начальников искали ее расположения.
- Хорошо, Оля, перевоспитывай пока свою бабушку, ты девочка умная, надеюсь, успеешь ее перевоспитать прежде, чем окончишь школу. Имей в виду, что в университет не комсомолок не принимают.

– Принимают, – добила инструктора Оля. – Мою сестру приняли.

– Ну, это в качестве исключения. Ладно, переходим к следующим кандидатурам.

Я оглянулся на Лару; она сидела бледная и сосредоточенная. Я ей улынулся ободряюще, она кивнула мне в ответ. Наши фамилии стояли в списке последними.

– Василий! – обратилась ко мне наша историчка и класная руководительница (она одна из трех была против прошлого судилища надо мною, а после выкрала мой дневник и необдуманно уничтожила, о чем потом сожалела). – Мы специально говорили про тебя на комитете комсомола, и единогласно решили, что недавнее... мм... недоразумение... не может быть препятствием для твоего вступления в комсомол, тем более, что и Оля, и ты – одни из лучших учеников школы.

Надеюсь, ты хочешь быть комсомольцем?

– Конечно!

– Ну, вот и *чуденько!* – вступил в разговор инструктор.

– Но дело в том, – добавил я, – что вступать в комсомол я не могу.

– Вот те раз! – всплеснул руками инструктор. – То одно, то другое...

Да вы прямо сговорились!

(Бедный инструктор... Через полтора года был напечатан в газете мой первый рассказ, и это уже было "*ЧП районного масштаба*". "Ну как же мы тебя в зародыше не раздавили?" – кричал он тогда, уверенный, что и впрямь можно было давить, даже после смерти Сталина).

– У нас причины совершенно разные. Правда, моя бабушка тоже верит в Бога, но я не могу вступать в комсомол потому, что еще не достоин этого. Дело в том, что – как сказано в Евангелии – "кто смотрит на жену ближнего своего с вожделением, тот уже прелюбодей". А я смотрю. И пока ничего не могу с этим поделать.

– Так мы же тебя не в секту принимаем, а в комсомол. Там рядом будут твои друзья, они помогут тебе исправиться.

– Но я думаю *такое*, что не смогу рассказать комсомольцам. А тем более комсомолкам.

– И не надо говорить. А за мысли у нас пока еще не привлекают... Так что садись и пиши заявление.

– Хорошо. Но с одним условием. Я сначала напишу, о чем я думаю, когда смотрю на чужих жен, а вы напишете внизу, что и с такими мыслями я могу смело шагать в комсомол, что комсомолу мой моральный облик не важен.

[Читатель, не спеши вскричать, что этого не могло быть, что автор все выдумал. Через четыре года учился я на первом курсе университета, и как был, вероятно, единственным из 250-ти студентов нашего курса *некомсомольцем*, то усиленное охмурение мое началось с первого же дня поступления и продолжалось аж до третьего курса, пока, наконец, не был я исключен из университета по не зависящим от молодой ленинской

гвардии обстоятельствам – хотя всё же некая юная *ленинка* и была тому причиной.

Но это еще пустяки. Прошло двадцать лет, уж борода моя белеть начала, работал я во Всесоюзном Научно-Исследовательском институте, одном из крупнейших в стране, с пятью тысячами сотрудников, а тут вздумалось советским людям принять *моральный кодекс строителя коммунизма*. В нашей лаборатории, где я был даже старшим научным сотрудником или что-то вроде этого, торжественно подписывали этот кодекс, и, конечно, *все как один*... Но, увы, и в советской семье не без уродов, и два отщепенца испортили обедню. Приятель мой заявил, что поскольку он *выпивает* (а выпивали мы с ним вместе, каюсь), – то он недостойн быть в славных рядах, тем более, что даже пьяный напивается, и чтобы он мог подвести строителей, обязавшись, а потом нарушив обязательства?! Наконец, его вроде бы сломали – а две недели лихорадило весь институт, заседал партком, завлаб схлопотал выговор, даже первому секретарю Обкома о *вопиющем безобразии* доложили! – и торжественное собрание (для подписания кодекса) определили на шесть часов вечера (по его просьбе), в нерабочее время.

На собрание явился он вовремя, сознался честно, что немного выпил, для храбрости – и вдруг начал катастрофически пьянеть. Сначала выпала ручка, потом "Кодекс", потом и сам он "выпал в осадок", упал и заснул. Так и остался за бортом всенародного движения, даже 13-ой зарплаты не лишился, поскольку *выпил в нерабочее время*.

Я же ссылался на свой всегдашний порок – неравнодушие к прекрасному полу. И поскольку, сказал я, "Моральный кодекс" предусматривает, чтобы *строитель светлого будущего* не имел предосудительных намерений относительно жен, а тем паче дочерей ближних своих, а я их имею, то недостойн я ни морального кодекса, ни светлого будущего.]

Возвращаюсь, однако, к событиям почти полувековой давности.

Взбешенный инструктор вскричал, что надо проверить, не поповское ли я отродье, и тогда, может быть, не только не надо меня уговаривать, но даже, наоборот, на версту подпускать к комсомолу.

– Это вы в запальчивости на моих родителей наговариваете. Всем известно, что мой дед был ординарцем у Ворошилова и служил в Первой Конной, а до этого был правой рукой самого атамана Галушки! (Я благоразумно умолчал, что, напротив того, *прадед мой* чуть не разгромил этого самого Галушку, в надежде добраться до своего *непутевого сына*). Отец мой был боевой офицер, а пращур основал Сибирь. Анна Петровна, не вы ли нашли исторические документы (обратился я к историчке), подтверждающие этот замечательный факт? Следовательно, пращур мой был *пионером* чуть ли не при Тутанхамоне! С другой стороны, бабушка моя не умела читать – многие ли могут похвастаться такой бабушкой?

Инструктор от меня отстал, пообещав после заняться мною *персонально* (обещание свое через полтора года он исполнил).

Последней в списке была Лара.

Она стояла ни жива, ни мертва. Перед тем она шепнула мне, что уже три дня ломает голову, как ей спастись, но придумать ничего не может.

– Ну, Ларисочка! – приступила к ней Анна Петровна, молодая учительница истории, – надеюсь, с тобой все в порядке. Мама твоя, как я слышала, с самим Нейгаузом играла в четыре руки, да и ты подаешь большие надежды. Конечно, может быть, твое увлечение Тутанхамоном и излишне, но, надеюсь, не является препятствием для вступления в комсомол.

– Анна Петровна! – ухватила за нее, как за соломинку, Лара. – Я думаю, я искренне надеюсь, что вы меня поймете, как женщина женщину.

– Ну какая ты женщина, Ларочка?! Ты ведь почти ребенок. Тебе еще предстоит ею стать.

– Один поэт сказал, что женщиной либо рождаются, либо уже никогда не становятся...

– Так это же поэтическое преувеличение... Поэты ведь не совсем обычные люди, и их нельзя мерить на общий аршин, и к словам их нельзя относиться так, как к словам, например, историка. Я думаю, ты это понимаешь.

– Да, Анна Петровна, и очень хорошо Вы это сказали, значит, вы меня понимаете тоже, и поддержите!

– В чем поддержу?

– Вы ведь знаете, что мы с Василием дружим? А он ведь поэт, романтик, он совершенно оторван от мира, а тут еще эти нехорошие мысли... Но это все из-за меня, пока он со мною не подружился, таких мыслей у него не было. Не зря говорят, что в тихом омуте черти водятся. Вот он даже про поцелуй стихотворение написал, вместо того, чтобы думать о комсомоле...

– Вы что, целовались?

– Анна Петровна, ну как это вы могли так подумать? Вы что, меня не знаете? Мы же с вами вместе будем изучать древнеегипетские рукописи! Мы даже не прикасались друг к другу, я дала обет... Но в мыслях... А это еще хуже, как сказал *главный учитель*. И вот, так как все эти мысли из-за меня, и у меня самой они тоже есть, то я не могу бросить товарища в беде. Я обещаю, что буду на него влиять, и потом, когда мы исправимся, мы придем, *взявшись за руки*...

Инструктор встал и начал ходить вдоль доски.

– Это всё вы, Анна Петровна, ваше влияние. Заразу надо с корнем вырывать, это даже ваш блаженный Христосик сказал, я могу процитировать. Как видите, историю изучают не только историки. Вопрос в том, – с какой целью!

– А я думаю, – встала Анна Петровна, – что ситуацию не надо излишне драматизировать. Ребята проявляют серьезное, можно сказать, философское понимание... если же здесь и присутствует некоторый элемент... э... не фрондерства, а... я бы сказала... *своемыслия* – то это даже надо приветствовать, это всегда было свойственно молодости. Надо было, по моему мнению, предложить им заранее серьезно подумать над этим первым важным шагом в их жизни, и чтобы каждый ответил себе и нам – готов уже он, созрел – или еще нет. Тогда одни бы сказали, что уже чувствуют себя достаточно взрослыми, чтобы присоединиться к более старшим товарищам, другие же – что им еще требуется время для повзреления. Сама собою отпала бы необходимость в уговорах и столкновении позиций. Более того, некоторым школьникам мы и сами предложили бы не спешить со вступлением, подтянуть сначала дисциплину и успеваемость, то есть, еще заработать право назваться комсомольцем.

Так что ничего дурного в том, что Лара верна дружбе – нет. Напротив, это прекрасно!

– Спасибо, Анна Петровна! – со слезами на глазах воскликнула Лара и выскочила из класса.

6.

В этот вечер мы бродили долго, и молчание, разделяющее нас, наконец рухнуло, нам было так хорошо, словно мы летели на легком воздушном облаке над землей, и все, что бывало в жизни тяжелого, оставалось там, внизу.

– Ты знаешь, сколько лет было Джульетте? Всего тринадцать, – сказала Лара. – Я уже старше ее на целый год.

Взрослые думают, что мы дети, а мы, может быть, живем даже более сложной жизнью, чем они. Во-первых, мы все время узнаем что-то новое и хотим узнавать, а они приобретают житейский опыт, а духовный из них улетучивается.

Младшая мамина сестра в 18 лет вышла замуж, через год родился ребенок, я пришла к ней, попыталась поговорить... я понимаю, у нее много забот, но ведь бывают же свободные минуты! И, тем не менее, она ничего не читает, не интересуется ничем, что происходит в мире, не размышляет над истиной, добром, красотой, смыслом жизни. Для нее все уже закончилось, все решилось, от высоких идей остались только слова, да и те постепенно забываются.

Вообще, я думаю, у девушки духовное развитие заканчивается лет в пятнадцать, когда ее внимание сосредоточивается на любви и всем, что с нею связано. Когда ей читать Канта, когда ей уже надо думать о мальчиках? Кстати, ты Канта читал?

– Нет, но я прочитал "Развитие капитализма в России" Ленина и все 10 томов сочинений Сталина!

– И что ты о них думаешь?

– Ничего не думаю, там не о чем думать. Это как передовица газеты "Правда" – только что прочитал, пытаешься вспомнить, о чем было написано, и невозможно повторить ни одной мысли, ни одной фразы... Абсолютный вакуум, Торичеллиева пустота!

– Это хорошо, что ты так думаешь. Мне Анна Петровна сказала, чтобы я была осторожна, и не делилась с другими ребятами нашими разговорами... Она очень тонкая, она умница! Я, говорит, знаю, что ни о чем плохом вы не будете разговаривать, но другие не всегда поймут и хорошее, а не поняв – извратят. К тому же, хотя вопиющая несправедливость потихоньку и исправляется, но осуждения ее, ясного, внятного – все еще нет, и главенствуют пока демагоги и злые люди.

Ну ладно, Бог с ней, с политикой, мне о ней тяжело говорить...

Я чувствую, что все еще душно, как перед грозой, дышать еще тяжело... поэтому будем говорить о том, что нас не угнетает... а все же тревожит...

Мы никогда не говорили с тобой о любви. Знаешь, любви я – боюсь. Мне кажется, в чем-то Христос прав, когда он говорит, что истинно – не жениться и не выходить замуж.

Я ведь еще ни с одним мальчиком не целовалась, и даже за руку ни с кем не гуляла... Но кто может знать, какие мысли и образы могут бродить в моем сердце? Кто может знать, холодное ли оно?

Ты сказал, что думаешь всякое... о девочках... Ты вправду такое думаешь, чего нельзя сказать?

Я покраснел.

– Ты о ком-нибудь определенно думаешь или так, вообще? Обо мне ты что-нибудь думаешь?

– Думаю, но другое...

– Что же?

– Ты мне напоминаешь дерево, одетое в серебристый иней... Часто это бывает так красиво, что хочется плакать... Но страшно дотронуться... да и не хочется... а хочется только смотреть и смотреть!

– На дерево? Или на меня?

– На дерево... и на тебя...

Глаза ее распахнулись, будто два месяца вышли из-за облаков. Я смотрел в ее глаза и подумал, что дальше жить и не обязательно.

– Как ни странно, – продолжала Лара, – но я не хочу, чтобы ты думал, что я льдинка... мне просто пришлось *заморозиться*, чтобы легче было защищаться от враждебного мира, но я не такая уж и холодная... во мне бродят такие фантазии... что я тебе о них рассказывать и не буду. Дай мне руку!

Я подал руку, она сняла варежку, сжала мои пальцы и отпустила.

– Но это все! И больше не будем вспоминать про этот разговор. Ты ведь не такой, как другие мальчики, поэтому у меня и подруг нет ближе, чем ты, даже Оля – дальше. Но чтобы так оставалось всегда, чтобы ты и подругой моею был, между нами всегда должна быть граница, как меч между Тристаном и Изольдой.

Для меня всех мужчин на свете заменял мой отец, я о нем постоянно вспоминаю. Но теперь его нет рядом, и ты – самый близкий... Если бы ты знал всё, ты бы меня понял.

– Я тебя понимаю... Я даже знаю, что ты одинока, и как только ты со мною расстаешься, остаешься совсем одна, словно далекая звездочка, которую отделяет от Млечного Пути половина Вселенной, и она тоскует, думая, что не хватит жизни, чтобы преодолеть это расстояние.

Я это знаю, потому что читал о Копернике, он хранил рукопись своей книги втайне 25 лет, никому не показывал, и только умирая, отдал в типографию... Каково ему было сознавать, что он один во всем мире знает истину, но вынужден ее скрывать?!

Но все же помни, что я всегда рядом, даже когда ты идешь по пустынному небу, или я иду рядом с Олей.

Два дня после этого Лара меня избегала, потом было воскресенье, а в понедельник, 16 марта, мы вместе провожали Олю после уроков и зашли на минутку к ней в гости, Оля познакомила Лару с бабушкой и мамой. Оставалась еще неделя до следующих знаменательных событий, одно из которых переменяло мою жизнь, а другое – жизнь всей страны.

7. Аля

Но мне так скверно, что прежде, чем продолжить рассказ о событиях пятьдесят шестого года, я припомню одно светлое апрельское утро год спустя. В то утро я гулял вдоль ручья, протекающего по окраине нашего городка, с той самой девочкой Алей, которая двадцать лет спустя пришла ко мне в городскую квартиру.

В истории, которая случилась в марте 56 года в нашем классе, Аля непосредственного участия не принимала – и все же и она росла в саду моего отрочества....

Вначале я влюбился в ее младшую сестру, учившуюся в параллельном классе, а Алю видел издали, но подходить боялся, поглядывать же на нее осмелился только весной следующего года, заканчивая восьмой класс.

Раны сердечные предыдущего года к тому времени уже заросли (как и телесные в детстве зарастают быстро). *(Почему же через сорок лет они открылись и кровоточат?)*.

Апрель пятьдесят седьмого года был ранним и теплым, солнце уже с десяти утра припекало так, что приходилось снимать телогрейку и носить на плече. Алиной сестре я назначил свидание у ручья, около небольшой рощи, разделяющей два района города, *Краслаг* и *Военстрой*.

На литературное поприще я еще только готовился войти, первые серьезные рассказы начал писать только через два месяца, так что в апреле 57-го года, пятнадцатилетний мальчик, я еще не слишком выделялся на фоне нашей школьной молодежи, и потому не был уверен, что свидание состоится.

И вдруг я вижу, что ко мне направляется с моим письмом сама

красавица Аля, мечта и грёза десятиклассников; а из мелкоты мечтать о ней отваживался только я, да и то, скрывая это даже от самого себя.

– Так! – грозно сказала она. – И давно вы, сударь, изволили обратить внимание на мою сестру?

– Не очень... – пробормотал я. – С новогоднего бала...

– Чем же это она заслужила такую милость?

– Если зажмуриться, и решиться, и сказать всю правду... вот решиться-то и не хватает смелости... следовательно, главная причина – в моей трусости...

– Я что-то ничего не понимаю...

Я смотрел в гневные Алины глаза и не мог поверить, что они так близко.

Мне бы только глядеть на тебя,

Видеть глаз темно-синий омут...

Есенина только что издали, после почти двадцатилетнего перерыва, и неделю назад он появился в нашей библиотеке.

Аля начала краснеть. Я продолжал смотреть в блаженном оцепенении.

Я мечтаю бродить по дорогам,

Там, где ветер гуляет на воле,

Я такой же, как ты, недодрога,

И вопросов боюсь, как боли.

Пусть глаза твои ближе придвинутся!

Все, что нужно, скажу в молчании.

Два дыхания вдруг обнимутся...

Сборник Есенина был небольшой, все, кто читал, проглотили его за два дня.

– По-моему, такого стихотворения в книге я не встречала, – заметила Аля.

– Это уже мои стихи... Это еще навеяно Есениным, но я чувствую, что скоро буду писать самостоятельно!

– Это кому стихи? Сестре?

– Нет. Другой. Которой мне страшно сказать об этом...

– Ага... А ты можешь прочесть еще что-нибудь? И давай на "ты", хорошо?

Мы пошли по дорожке, я читал стихи... Я их теперь не помню, но Алю они приводили в восторг. Ах, доверчивые девочки! Слово, даже не прожигающее сердца, не оставляет вас безучастными. Что бы делали поэты на Руси, если бы не мягкое, как воск, женское сердце?

При нашей следующей встрече, через двадцать лет, когда уже вторая бутылка коньяка была выпита, мы постояли с Алей на кухне одни... Она была изящной, хрупкой, красивой, и большие темно-синие глаза её так же загадочно мерцали, как и в далеком прошлом.

– О тебе в нашей школе до сих пор помнят (а я ни там больше не был и ни с кем не встречался, как уехал в 17 лет, так отрезал напрочь всю

прежнюю жизнь, казалось, что навсегда... А вот поди ж ты!). На вечере встречи с выпускниками школы и тебя вспоминали, говорили, будто была у тебя единственная рубашка, и девочки по очереди ее штопали...

После этой встречи прошло еще двадцать лет, и прошлое снова придвинулось вдруг и стало близко. Почему? Быть может, в том дело, что я уже дошел до последней черты (но дошел ли?), пожаловаться некому, а ожидания, которые согревали так долго – не исполнились... Да я бы еще продолжал верить в будущее, которого все меньше, но повседневная жизнь стиснула на мне свои зубы, как волкодав, и не отпускает. Ну, словно иду я в дождь по раскисшей дороге, пудовые гири на ногах, и некуда присесть, все мокро, грязно, уныло... И с каждым днем всё хуже... Куда бежать? Некуда.

И как же я убегу, когда без меня будет еще хуже; и как же убегу, когда и Россия пропадает, как я сам, а самое страшное, что все нравственные понятия сместились, и азбука нравственного долга уже невятна не только дальним, но и ближним!?

У англичан их дом – их крепость. Увы! Я словно генерал, брошенный на поле боя своею армией; да, армия потерпела поражение вместе со мною, но неужели надо только винить, а не утешать и поддерживать?

Но довольно, не нужно подробностей! И более об этом не скажу ни слова и теперь на миг лишь открыл свои раны, чтобы быть понятым – иначе почему не иду я с достоинством по дороге всеобщего унижения, по которой еще миллионы идут – писатели, которых не печатают и не читают; ученые, продающие "сникерсы"; актеры, занятые в рекламе вместо Шекспира, музыканты, скрипки которых не нужны потребителям шоу-бизнеса; рабочие, станки которых давно заржавели?

Я бегу от сегодняшних невзгод и капкана, который меня сжимает, к тем далеким горестям, от которых тоже болело сердце, к тем ледяным дуновениям ветра, от которых тоже съезживалась душа, но о которых мы знали, что это предутренний холод.

Сегодня заря горит на небе, как и сорок лет назад – но тогда я знал, что скоро встанет солнце, а нынче не ждет ли меня еще более холодная ночь?

Впрочем, разве не убежден я был всегда, что в несправедном мире философ или поэт должны окончить дни свои на плахе или в канаве, и лучшие проповеди и стихи написать в тюрьме? Так я ли сегодня уже не в канаве? Хотя еще, кажется, не в тюрьме...

8.

19 марта был четверг, день *"сиял и смеялся"*, и ничто не предвещало тупой и пошлой мести оскорбленного партийного самолюбия. Из нас троих для мести выбрали Лару – несмотря на кажущееся высокомерие, заносчивость, высоко поднятую голову – она была самой уязвимой. Во мне была слишком сильна жажда жизни, я легче притирался к внешнему миру, "подлизывался к нему" – упрекала меня Лара. Она же была бескомпромиссна, и даже клоунату нашу во время приема в "славные ряды" горько переживала – противно, что приходится врать, а невозможно

сказать, что *по личным* причинам не можешь вступать в эти ряды. Потребуют же объяснений, что это за личные причины – а какое право они имеют требовать, если причины **личные**, значит, они касаются только меня.

Перед последним уроком нам объявили, что теперь состоится расширенное классное собрание, и в классную комнату вошли члены школьного ученического совета, комитета ВЛКСМ, преподаватель военного дела и еще двое неизвестных. Нашу классную руководительницу посадили на заднюю парту, велели помалкивать, и очередное судилище началось. Спектакль был подготовлен втайне. Выступали девчонки из нашего класса и яростно набрасывались на Лару: она всех презирает, ни с кем не разговаривает, противопоставила себя *коллективу* ... и тому подобные обвинения, которые в то время казенного коллективизма воспринимались очень болезненно. Двойки, битье стекол, курение – были проступками более извинительными. Лара сидела как сфинкс, но слезы уже блестели на ее глазах. В защиту выступила Оля, но ей не дали договорить.

Замысел моего выступления состоял в том, чтобы хоть часть гнева перевести на себя; лихорадочно перелистал я Маяковского, которым тогда увлекался (а его никто в школе не любил, несмотря на незапятнанный большевистский пафос его стихов), и начал с обширных цитат. Начали было шикать, но я, сделав эффектную паузу, простер руку к классу и возгласил – вот так шикала на Маяковского мешанская серость! Вчера вы травили Маяковского, а сегодня травите тех, кто хоть немного возвышается над средним уровнем. Всякий выдающийся человек кажется противостоящим большинству, потому что не сливается с ним. Так и более крупный цветок на цветочной поляне как будто свысока смотрит, хоть и качается на ветру вместе со всеми.

Увы, хотя половину гнева я перевел на себя, но гнев учетверился, Лара разрыдалась и выскочила из класса. Я было побежал за нею, но остановился в нерешительности, и оглянулся на Анну Петровну. Взгляд ее меня словно ударил, я выскочил из класса, но Лары уже не было видно.

Отчего я остановился? Меня и так часто называли *девичьим пастухом*, и перед всеми побежать за девчонкой, хотя бы и для того, чтобы утешить, поддержать, мне было стыдно.

... А девчонки бежали без колебаний и ничего не боялись, когда им действительно было меня жалко. Например, когда я учился на четвертом курсе, я однажды попал в студенческую компанию, где царствовала поразительной красоты девятнадцатилетняя девушка, и рой льстецов и угодников окружал ее. На чужака ополчились все, после нескольких же фраз меня подняли на смех, и я, оскорбленный, покинул несправедное ристалище. И что же? Она сбежала с трона, она покинула поклонников и побежала за мною, – а кто я был для нее? – случайный знакомый...

Лара почувствовала мое замешательство, и ей стало еще горше. Весь

следующий вечер оправдывался я в своем малодушии, и, наконец, прибеж, в отчаянии, к самому сильному средству.

- Ты помнишь, что я боюсь высоты?
- Помню... – сквозь всхлипывания она отвечала.
- Ну, так вот...

Я вернулся к двухэтажному зданию школы и взобрался на козырек фронтона. Кажется, до меня туда не забирался никто.

Когда я спустился на землю, Лара стояла бледная и молчала. Я испугался.

– А ты знаешь, что у меня большое сердце? Ну вот, теперь знай. Я ведь не думаю, что ты трус, и не надо мне ничего доказывать таким детским способом... Если бы у меня было сейчас что-нибудь тяжелое, я бы тебя убила!

И вдруг она снова заплакала и начала бить меня кулаками по груди. Теперь Лара казалась мне маленькой, беззащитной, слабой девочкой... А я-то думал, что она сильная, гордая, неприступная...

- Уйду я лучше в монастырь от всех, чтобы вы меня больше не мучили!
- А кто еще, кроме меня?
- Я тебе пока сказать не могу. Это не только моя тайна.

9.

23 марта был понедельник, Лару после уроков неожиданно вызвали в учительскую. Мы с Олей остались в классе ее ждать, но Лара за нами не зашла. Оказывается, ее повели на плаху – мы этого не знали, но смутно чувствовали, что это не обычная выволочка. Да и обстояла казнь внешне благопристойно, на нее не топали ногами, не повышали голоса.

Выступил представитель Краслага, специально надзирающий над нашей школой, *оперуполномоченный майор Вахров*, и зачитал выписку из архивного дела подполковника Генерального штаба Т., подготовленную сотрудниками *Управления* по просьбе райкома ВЛКСМ. Из выписки следовало, что зимой 52-53-го года при попытке ареста подполковник Т. оказал вооруженное сопротивление сотрудникам МГБ, в результате чего двое сотрудников погибли, подполковник был ранен и позднее скончался от ран в следственном изоляторе. В 53-54-ом сестра и мать Т. обращались в компетентные органы с просьбами о пересмотре дела, но, учитывая, что еще ранее на подполковника Т. были наложены взыскания, в частности, он был разжалован во время войны и лишен воинских наград за неказание помощи сотрудникам СМЕРШа при аресте своего командира, кассационная коллегия в пересмотре дела отказала.

В январе нынешнего года его жена с дочерью переехали на жительство в наш поселок с целью помогать брату, который также был осужден, но в отношении которого в настоящее время дело пересматривается.

Формальных оснований для привлечения жены подполковника Т. к

ответственности не имеется, однако, учитывая, что при представлении анкетных данных учащаяся Лариса Ш--ва скрыла сведения о своем отце, возможно представление в Рono *об исключении указанной учащейся из школы.*

Тут Анна Петровна потеряла самообладание и закричала: Ларочка, не плачь! Это гестаповцы! Они еще ответят за свои поступки!

(Разумеется, никто никогда за поступки свои не ответит!)

Вслед за этим обе они выбежали из учительской, и представитель райкома рекомендовал школьному комитету исключить Анну Петровну из рядов ВЛКСМ.

Но да не брошу я камень в родную школу!

Кое-какие грехи надо простить и нашим учителям, они все находились под Дамокловым мечом. Разве даже через десять лет, когда я сам был учителем, и прошлая эпоха, казалось, ушла в небытие, не присутствовал я при истерической речи директора, в которой он кричал, распекая учеников – *каждая ваша двойка – это пуля, выпущенная врагом в нашу спину!?* – но слова эти уже вызывали смех...

В течение следующего года жизнь нашего поселка изменилась чрезвычайно. Многие важные чины Управления куда-то потихоньку исчезли, и жены их, занимавшие *интеллигентные должности*, исчезли тоже. Их место заняли удивительные люди.

Помощник учителя химии, заботившийся о сохранности колб и пробирок, стал вдруг преподавать математику в старших классах (как оказалось, он окончил Петроградский университет еще в 16-ом году); немецкий язык начала преподавать одна из близких подруг Есенина, от которой мы узнали много интересного о поэтической жизни в столицах в двадцатые годы; а любовь к русской словесности, напротив, стала прививать нам чистокровная немка, из ссыльных, и любила она ее так, что за неосторожные высказывания мои о Чехове она однажды погналась за мной по коридору с целью *догнать и уничтожить!*

Да, через год мы жили в другой стране. Когда осенью 57 года (я уже учился в 9-ом классе) был напечатан мой первый рассказ – знаменитый рассказ "Рюмочка", прославивший меня не столько среди пьяниц нашего медвежьего угла, сколько среди поборников трезвости – меня сгоряча опять исключили из школы – но через две недели "немка" ходила меня уговаривать вернуться в класс, и всего-то должен был я признать, что герои моего рассказа – *нетитичны* – разве это было *Галилеево отречение?*

Нет, не брошу я камень в нашу школу, в ту, которую она неожиданно стала после потрясений весны 56-го года; словно наводнение бушевало, унесло старый мусор, подмыло кое-где берега, унесло заодно и иные прибрежные домики, но когда улеглась вода и засияло апрельское солнце, помолодевший мир, мгновенно забыв о понесенных жертвах, задышал радостно и легко.

Много хочется мне рассказать о тех школьных годах и о том опыте бесценном, который современные русские писатели знают плохо. Живя на воле, будучи "вольняшками" (среди эзков так презрительно называли глупых *вольных*, людей наивных и духовно слепых), – правды они не видели и не хотели видеть; конечно, попадая в лагерь, они прозревали, но увидеть им удавалось чаще всего только одну сторону жизни, самую страшную. А я, проживший десять лет – с семи до семнадцати – хотя и с вольной стороны колючей проволоки, но *впритык* к ней – видел и часовых, и начальников – в быту, видел и *быт, пронизанный лагерем*, как организм пронизывается флюидами раковой опухоли.

Лагерное начальство – начальники лагерей, оперуполномоченные – жило и держалось по царски.

В небольшом поселке, где я жил, и откуда ездил еженедельно в Краслаговскую школу, главным был майор – небольшой, казалось бы, чин – но всё трепетало вокруг него, и трава и деревья. Самой выдающейся стороной его натуры был живот, воистину необъятных размеров, и носил он его так, как царь носит корону.

Были в этом поселке казаки, жандармы, третье отделение, псари и псарня, холопы, рабы и крепостные крестьяне.. разбойников, жаль, не было!... Впрочем, вернусь к событиям в нашей школе..

10

Лара пришла домой поздно, уже в одиннадцатом часу вечера, и где бродила, не помнила, словно в беспамятстве, обошла вокруг стадиона, проехалась на ботинках по катку, где уже никого не было, спускалась к речке...

Мама изволновалась, уже у двери стояла, и только слышала шаги на крыльце, открыла дверь.

Молча сели ужинать, молча чай пили, наконец мама спросила – ты на меня сердись?

– Да!

– За что же? Я то в чем виновата?

– Не знаю... Может быть, в том виновата, что покорно все сносишь, терпишь...

– Да что же делать-то?

– Ну хоть бы камень взять, пойти в Управление и стекла побить!

– И что? Пустят собак по следу, найдут и в лагерь посадят!

– А теперь мы не в лагере?

– Нет, теперь не в лагере!

– Слово сказать боимся, бабушка на икону крестилась, а мы на конопатого изверга! Да и она, наверное, боялась, и крестилась, и постилась, и молилась со страху, вдруг после смерти заломают руки за спину, два *вертухая* по бокам станут, и учинят допрос.

– В церковь ходила? – спросят.

– Редко...

– Всыпать розог, да побольней!

Пост соблюдала?

– Не строго...

– Кипящего масла подлить, да поболее!

Бога любила?

– Боялась больше...

– В смолу горючую, пока не полюбишь!

– Вот-вот! – робко возразила мама. – А *вождь* все таки тем светом не пугал нас!

– Ему и этого света хватало для мучительства. На том, поди, вместе поджариваться на сковородках будем, на одной сковородочке следователь, который папе ребра сломал, на другой – папа, за то, что щеку вторую не подставил покорно.

– Ох, Ларочка, пропадешь ты, если одна против всего света бунтовать будешь!

– Да что ж это за свет за такой, что либо сам подлый, либо защищает подлость, либо против нее слова не скажет в осуждение, взгляда не бросит хотя бы косога, если на прямой взгляд мужества не хватает!

Надо ли на таком свете *не пропадать*? Может уж лучше сразу пропасть, чем жить, пресмыкаясь?

– Это я-то пресмыкалась? Ну, может, и пресмыкалась, а иначе бы ты не на пианино играла, а в бараке вместе со мной сидела!

– Ага, значит на воле я только ценою подлости!

Мама всплеснула руками, заплакала, ушла к себе в комнату и плотно закрыла дверь.

Лара осталась одна.

Подошла к окну, долго стояла молча. Начиналась метель. В такие минуты душа ее улетала в неведомые края, она ни о чем не думала, но словно протекали долгие недели путешествия, она становилась старше и опытнее.

"Я уже прожила тысячелетия", – написала она в письме, которое начала писать еще неделю назад. – "Что мне прибавят двадцать или пятьдесят лет жизни? Новые унижения? Сказал Христос – не женитесь и не выходите замуж, не заводите детей, не цепляйтесь за жизнь временную, когда у вас впереди жизнь вечная! Что Он имел в виду? Почему не велел Он жениться? Ценил ли он жизнь, считал ли, что жить – так важно, что можно платить любую цену за право жить? Нет, кажется, что Он и Сам не стремился жить, и ученикам Своим говорил, чтобы они жизнью не дорожили... Не только не заботило Его, будет ли жизнь продолжаться после нас, но и будем ли мы живы – Его не заботило.

Жизнь имеет смысл только как поиск истины, и как только истина найдена, необходимости в жизни больше нет. Нет смысла в жизни ради нее самой. Тем более нехорошо цепляться за жизнь так, чтобы только жить – любой ценой!

Тогда можно предать товарища, если будет поставлен выбор – жизнь в обмен на предательство?

Ну а унижение – разве не предательство?

Человек предает честь, предает память предков, предает даже детей своих, если обменивает жизнь на унижение.

Не надо!

Вот Пушкин вступился за честь жены и потерял жизнь – разве мы не гордимся им?

А если бы он встал на колени перед Дантесом или Геккереном, и просил, чтобы они его пощадили? Мы это можем себе представить?

Но ведь сами почти каждый день стоим на коленях... Неужели это нужно?

Каких же детей мы рожали бы, если бы не гордились нашими предками, которые предпочли смерть унижению?

Возможно, мне возразят, что если все честные предпочтут умереть, а не согласиться на бесчестье, то в мире останутся одни бесчестные – ну и пусть! Если Богу такой мир будет угоден, пусть Он остается с ним, или пусть что-то делает с этим миром. Призывал же Он не заводить семью – а ведь тоже можно сказать, что если бы все последовали Его совету, то прекратилась бы жизнь?! И в первые века христианства, когда у тысяч требовали отречения от веры, не вера ли, не Бог ли вдохновляли верующих пойти на смерть, но не отречься от веры?

Тогда было много достойных и много избранных, и все они пошли на муки и смерть, но не оскудела земля христианами, напротив, христианство завоевало сердца всех тех, кто вначале предпочитал Жизнь Истине – многие из них позже так же пошли на смертные муки во имя Истины.

Мне так же скажут, что я еще не жила, я еще ребенок, я еще многое не знаю и не испытала – ну, что ж, раз у взрослых недостаточно мужества, чтобы бросить, как Поэт, перчатку бесчестью и умереть гордо во славу чести, значит именно ребенок и должен устыдить желающих жить любой ценой – в хлеву, на коленях, у миски с чечевичной похлебкой, отрекаясь от всего, что дорого, прославляя все, что низко.

Оставьте со своей похлебкой, но не жалеите меня. Каждому из вас предстоит подойти к тому краю, к которому я подошла, но я шагну за край в чистой одежде, и ни единой капельки грязи не пристанет ко мне – а каково будет вам оглядываться на себя? Не будете ли вы тогда плакать горькими слезами стыда и проклинать свое малодушие, свою трусость, свою низость? Нам предложили жить привязанными к позорному столбу, и вы согласились, а я отказалась. Я единственная не стала предательницей, не оскорбила вереницу предков, которые стоят за мною. Я смотрю на них, и их лица сияют. Вот мой отец, не покорившийся тирану и умерший в камере пыток. Вот мой дед, расстрелянный в Крыму комиссарами. Вот мой прадед, умерший в Шлиссельбургской крепости,

вот его дядя, погибший в народном ополчении за освобождение болгар, вот наш легендарный предок, боярин Кольчуга, погибший на поле Куликовом!"

Лара подошла к печке, положила в неё два полена, долго смотрела на разгорающееся пламя, потом оставила дверцу открытой и потушила свет.

В комнате было достаточно светло. В углу стояло старинное трюмо – кроме Беккеровского пианино это была еще одна важная вещь, не принадлежащая этому пошлому миру.

11.

В четверг, 24 марта 1956 года с утра было солнечно и прохладно. По неясной причине в странном возбуждении я находился все утро, и когда в два часа дня мой дядька Михаил принес газеты (он служил на станции, и получал самые первые газеты в нашем городке), я будто предчувствуя судьбу, выхватил у него из рук Правду и лихорадочно стал листать.

Вот третья страница, где печатались статьи на политические или общественно-значимые темы или постановления правительства.

Жирный черный заголовок бросился мне в глаза – **"О культе личности Сталина. Постановление XX-ого съезда ЦК КПСС"**.

За три минуты я проглотил полустраничную статью и меня забило как в лихорадке. В школу надо было идти во вторую смену, к трем часам. Мигом я оделся, схватил сумку и помчался в школу. В класс влетел в половине третьего, до урока было полчаса. В классе уже было кроме меня трое или четверо школьников, один – мой товарищ Феликс, парень медлительный, но сильный и смелый, второй мальчик робкий, но легко уступающий чужой воле, и кажется еще две девочки, но кто именно, я не помню.

Большая классная доска была чисто вымыта, мокрая тряпка лежала на нужном месте, над доской висел громадный портрет Сталина в тяжелой раме, покрашенной бронзовой краской.

Решительно я придвинул учительский стол к доске, влез на него и попытался снять Портрет.

– Ты что собираешься делать? – заинтересованно спросил Феликс.

– Пойдем сейчас во дворе портрет *врага народа* сжигать!

– А что, он тоже враг народа? – не слишком удивившись, спросил Феликс. – Ну, давай я сниму, ты не сумеешь.

Робкому мальчику тоже довелось участвовать в этом историческом действии, он подал нам стул, а потом принимал из наших рук тяжелый портрет, а затем собирал щепки для костра.

Во дворе собралась скоро большая толпа, костер разгорался плохо, всем сомневающимся я совал в лицо газету, и они замолкали, близко подходить к месту казни боялись, но и со двора не уходили.

Прозвенел звонок на урок, через пять минут прозвенел снова, но никто не расходился, высыпали во двор и те, кто уже был в классах.

Вдруг притащили еще четыре портрета, среди них Молотова и Ворошилова – но, каюсь, рука у меня дрогнула, отставил я в сторону бывшего дедова командира.

Почему-то не вспоминали мы наших учителей, и не удивлялись тому, что не выходят они к нам, все происходило словно во сне или в бреду. Но ведь удивительно и то еще, что помимо меня казнь вершили дети сотрудников Управления и начальников лагерей. Мы были словно пьяные, бегали, кричали, хохотали, толкали друг друга, обнимались, провозглашали какие-то лозунги и даже закричали *Ура*, когда наконец разгорелся костер и вспыхнуло и заполыхало пламя.

Мне было четырнадцать лет и два месяца, с фотографии того времени смотрит на меня привлекательный грустный мальчик с зачесанными назад темно-русскими волосами.. (а вот еще что удивительно, только что вспомнил – в седьмом классе мне единственному позволялось иметь взрослую прическу, остальным мальчикам разрешен был только небольшой *чубчик*; и учителя почему-то обращались ко мне на *вы*. Упоминаю об этом потому, что и сам пытаюсь понять свое прошлое, и не исказить его, рассматривая из сорокапятилетней дали. За два года до этих роковых событий ведь печатали в учительской на пишущей машинке мой роман о.. войне, читали его всерьез и обсуждали, в какой журнал послать – взрослые люди.. Ну а через год с небольшим не такие же ли взрослые люди создали мне литературную славу в нашем маленьком мире – но ведь был этот мир столицей громадной лагерной империи, и была в нем и своя интеллектуальная элита!?).

Я не только вспоминаю, я пытаюсь что-то понять...

Когда мне было четырнадцать лет (но и раньше, и позже), я совершенно ясно знал, что мне предстоит изменить жизнь моего народа. Я знал, что если не буду иметь знаний, умений и талантов, то мне они будут даны. Я был только воином, которому поручено важное дело.

И когда настанет час, кто-то мне скажет:

– Вот, солдат, твой конь, доспехи, оружие, верные товарищи, иди и возвращайся с победой!

Но где же мой конь? Где мое оружие? Где мои верные товарищи?

Я один, у меня нет знаний, умений, талантов.. Не гожусь я на подвиг. Но нет и другого, вместо меня, который способен спасти мой народ. Бог нас оставил.

...Уже выгорела половина портрета, и вдруг я услышал, что кричит Анна Петровна. Она кричала уже давно, а я никак не мог услышать..

Она подошла совсем близко и промокшим от слез голосом прошептала.. И тогда я услышал..

.....

12.

Лара смотрела в темное зеркало и видела себя словно на старинной постели. Красивая рано взрослеющая девочка, но еще не девушка, с длинными густыми светлыми волосами, с очень правильными чертами лица и большими печальными синими глазами.

Всё, что она после этого делала, уже не принадлежало ей и не подчинялось её воле.

Она сняла свое школьное платье и нижнее белье и внимательно оглядела себя перед зеркалом.

Фигура почти сформировалась, во всяком случае не могла стать менее изящной. Грудь была еще небольшой, Лара прикоснулась кончиком мизинца к сосочку и подумала – зато никто другой не прикоснется.

Ни сожаления, ни страха не было, а только любопытство.

Какая я красивая! – думала Лара, продолжая оглядывать себя, поворачиваясь, изгибая стан и наклоняясь в стороны.

– Изъяна ни в чем, и лопатки не торчат, и спина прямая, и плечи ровные, а ножки-то – прелесть!

– Вот и думай теперь, что же важнее в человеке, в девушке, по крайней мере, внешнее или внутреннее?

Она провела пальцем по губам, ресницам, заглянула в глаза.

– Может быть, тело – это светильник, а душа – то, что наполняет его светом, что осмысливает его существование? Тогда нет сомнения, что о светильнике Бог тоже должен был позаботиться, прежде чем засветить его.

И вот светильник, выточенный из драгоценных камней, вносят в хлев, и он освещает грязь и нечистоты – если у него есть воля, он должен погаснуть, чтобы не унижить не только себя, но и Бога!

Лару охватило возбуждение и восторг, по телу прошла дрожь, и стало жарко.

– Я понимаю, зачем смотрю на себя. Теперь я буду наряжаться, а потом пойду под венец. На улице, кажется, метель разыгралась – вот это будет музыка на мою свадьбу!

Лара одела тонкое белье, новое, только раз надеванное платье, и подпоясалась тонким пояском с серебряной пряжкой – несмотря на бедствия, постигшие их семью, бедности им испытать не довелось.

Пальто ее было городское, тонкое, не по сибирским холодам – но это и хорошо, думала Лара, свадьба не будет слишком долгой и не наскучит.

Она осторожно открыла дверь на улицу. Мама спала, шел пятый час ночи.

У стадиона (они жили неподалеку) начиналась укатанная широкая лыжня, по которой вся школа бегала на лыжах, она по ней быстро пошла, и уже почти ни о чем не думала. Врач говорил ей, страшая, что у ее сердечка фитилек слабенький, чуть-чуть посильнее дунет, и пламя заколеблется, и не велел ей даже быстро ходить.

“Все хорошо, и важно, чтобы свадьба не затянулась”.

Она все ждала, когда устанет, и захочется спать, но возбуждение не проходило.

Уже в девятом только часу истомы стала её охватывать, Лара села на валежину и прислонилась спиной к ели.

“То ли я делаю? – еще смутно явилась мысль в полусне. – А вдруг там никто меня не встретит, или не поймут меня, да и осудят? Нет, этого не может быть, это будет несправедливо. Папа, по крайней мере, встретит меня и поймет. А потом и мама придет к нам..”

13. Сон во сне или последнее слово.

15 марта текущего года. Иногда кажется, что борьба еще не окончена.

Ах, и воистину, как много прекрасного, и Млечный Путь сияет как хрустальная небесная дорога, и дитя смеется звонко как лесной ручей, и лесной ручей журчит и освежает в знойный летний полдень, и цветы благоухают в садах и лесах, и взоры блещут и оболещают и наполняют сердце истомой и надеждой, и чудные звуки Скрябинской симфонии каплями росы падают с ресниц, и даже суровые слова сурового Аввакума наполняют душу восторгом – ах, как красива густая и текучая русская речь!

Но – отчаянье превозмогает всякую надежду.

Если бы я был слеп и ничего не видел!

Если бы я был туп и ничего не понимал!

Если бы я был беспамятен и не помнил зла!

Если бы кожа моя была шкурой носорога, и не чувствовал я боль и несправедливость, повсеместно разлитые по русской земле; если бы я не слышал и не отличал ложь от правды – а правду не говорит уже никто; если бы чувство красоты во мне уже притупилось; если бы к Истине я стал глух и равнодушен; если бы перестал я любить красоту и добро и возлюбил корыстолюбивую и злую власть, жестокую и неумелую армию, погрязший в неправде народ!

Все спят, и сплю я сам, – или это в полусне подвожу итоги, саван шью, что ли? Завещание пишу, оправдываюсь перед близкими или потомками? Или судьями? Или сам обвиняю?

В последнее время почти постоянно разговариваю с Ларой, и не пытаюсь от нее освободиться... Или это настали последние времена?

Я хочу понять, что мне делать, как жить дальше... Или – никак...

Что ждет меня, к чему я склоняюсь, на какой результат надеюсь? Погонят ли меня по этапу, оставят в покое (или я сам, наконец, стану жить как все, оцепенеет та сверхъбыденная часть моего я, которая мешает жить нормально и мне и моим близким), или я преодолею страх ухода, сойду с поезда, который меня хотя и со всеми везет, но не туда, где я мог бы сказать – *Вот, хорошо! Да, родиться стоило, и жизнь прошла не зря!* – и отдам билет, по которому еду, и хотя неудобное место занимаю, в самом конце вагона, но – законно!?

К кому я обращаюсь, и слышит ли меня кто-нибудь, слушает ли, замечает ли присутствие? И к кому я могу обратиться? К пастухам, не знающим, куда и зачем они нас гонят? К бредущему по бескормице стаду? Или к Господу всех, и пастухов и овец?

Что пастухи не все одинаковы, что стадо тоже, что есть старшие, есть приближенные – не буду входить в эти частности, не это важно.

Каково должно быть отношение пастухов к овцам и баранам, нагуливающим шерсть и жир на зеленых привольных пастбищах? Кажется, должно бы пастухам охранять свое стадо, лелеять его, изредка стричь, а временами из молодых жирных барашков готовить жаркое – но бродят вокруг волки хищные, и стадо редеет и тощает, да так, что скоро и пастухам не достанет, а они, вместо того, чтобы защищать своих кормильцев, либо спят, либо пьют заодно с волками, закусывая из одной миски!..

И живут так, что после них – хоть трава не расти!

Да пастухи ли это? А не волки ли в пастушьей шкуре? Посему, хотя мои речи и обращены бываю к этим фальшивым поводырям и охранникам, но понимания с ними я уже не ищу. Не нужны мои объяснения ни им, давно продавшим и совесть, и Родину, и стадо, которое должны они пасти; ни мне, *всё понявшему и ничего не простившему!*

Обращаюсь ли я к мучимому стаду, пытаюсь ли его вразумить и ему помочь?

Целую жизнь только то и делал, что распинался, просвещал, усовещал, пытался объяснить, растолковать правду, призвать к освобождению от рабства.

*Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды.*

Тщетно.

И остается повторить горестно, вслед за Поэтом –

*Паситесь, мирные народы,
Вас не разбудит чести клич!
Наследство вас из рода в роды –
Ярмо с гремушками, да бич!*

Не нужны мои речи моему народу.

С кем же мне тогда говорить?

Мог ли я когда-нибудь представить, что и после падения советской власти я останусь неугоден правящему сословию в России? Что установится странная солидарность прошлых и нынешних моих обличителей? "Научное мировоззрение" видело во мне сторонника "религиозного мракобесия", противника прогресса и светлого будущего, сегодня же меня упрекают в том, что речи мои богохульны, что слушать их грех! – Да не одни ли и те же люди меня обличают?

Так не слушайте меня, господа обличители!

"Речи твои выдают отступника. – продолжают они. – Ты отступился от Бога"

Да я ли от Него отступился?

А не Он меня бросил?

Обращался ли я к Нему с суетными и эгоистичными просьбами? Спрашивал, как стать богатым?

Или как получить власть и славу?

Нет.

Или просил за своих близких, что было бы извинительно?

Или хотя бы для народа своего просил льгот и милостей?

Нет, нет и нет!

Будешь ли слушать меня Ты, Господи?

По крайней мере разреши написать Тебе письмо, я выскажусь письменно, а будешь ли Ты читать – как хочешь...

Вот я и пишу.. Может быть, кто-нибудь прочитает.. или не прочитает никто.. случайный порыв ветра вырвет листки из моих рук, когда буду доставать их из портфеля на остановке автобуса, или меня завтра арестуют, бумаги мои у меня отберут, а потом как ненужные выбросят в мусорную корзину.

Да и сам я, к несчастью, слишком хорошо понимаю, что если бы мне удалось написать сильно, горячо, убедительно, найти такую литературную форму для своих мыслей, что читательское любопытство было бы задето, то меня захотели бы слушать, даже если бы в словах моих не было ни грана правды, и наоборот, если каждое моё слово – правда, но сказано косноязычно, коряво, путано – брезгливо записки мои отодвинет всяк!

Разве невинных не осуждали, а не пытались они доказать правоту свою? Увы, вина их в том, что не умели краснó говорить!

И разве не ревели от восторга толпы, когда *красноречивый* громила призывал к погромам?

Да, ничто не изменится от моих слов, я знаю. Камни не расступятся, папоротник не зацветет..

Но – ночь на дворе, все спят, налью последний стакан, буду его пить понемногу, и напишу что успею.

А утром – приму решение, оставаться ли в поезде, который везет меня не туда, куда надо, или вернуть билет.

Или и без моего решения сердце само остановится, мне иногда кажется, что оно еще продолжает биться только по моей просьбе. Я так с ним плохо обращался, а оно как верная женщина все мне прощало и тянет меня на себе из последних сил.

Или – ничего не случится, обойдется. Ужас протащит меня по ступенькам ада, но – выживу... И никто не узнает, что злой коршун прилетал не печень мою клевать, а сердце, и хуже, чем боль!

И всё же, Господи, выслушай меня, попробую с Тобой объясниться.

Те, которые к Тебе безразличны, меня не понимают и не хотят слушать – Ты для них не существуешь, и мой разговор с Тобою кажется им чепухой, нелепостью, или бредом.

Те же, кто в Тебя верит, от Тебя еще дальше – их преклонение перед Тобою, их благоговение так сильно! Или их страх? Их трепет? Их вера в Тебя, их любовь к Тебе – такое исступленное Преклонение, что оскорбительно для любви этот восторг, апофеоз, экстаз самозамаления, уничтожения, пресмыкания, ненависти к себе самому называть любовью!

Это экстаз раба, на которого посмотрел восточный сатрап. И никого другого в Тебе, кроме восточного сатрапа, они не способны увидеть.

Впрочем, стоит ли спорить? Ну, верят... Ну, любят... Я для таких верующих хуже, чем инакомыслящий или даже антисоветчик, когда советский народ был как один. Или даже хуже того негодяя, который в день смерти Сталина, когда вся страна захлебывалась рыданиями – не плакал!

Господи, да пусть они любят Тебя как хотят и умеют, только пока мы с Тобою будем объясняться, скажи им, чтобы не забросали меня в священном негодовании камнями, чтобы не растерзали, не замучили, не сожгли – они это любят! Они так Тебя любят, что готовы по стене размазать, или в асфальт закатать всякого, кто любит тебя не так!

Пусть подождут, пока мы с Тобою договорим! Пусть правосудие потом свершат!

Итак, не с кем мне, Господи, разговаривать, кроме как с Тобою, и я прошу Тебя – выслушай мои жалкие речи!

Но подозреваю, что слушать не будешь...

Разве не пытался я объясниться с теми девицами, которые меня отвергали? Я говорил им – выслушайте мое последнее слово!

– Не хотим слушать! – кричали они мне.

Даже когда я ничего не требовал, ничего не просил, ни в чем не упрекал.

5 марта Всеобщего года. Кажется, уже сто лет, как умер Сталин. Или вчера? Мне было в то время одиннадцать лет, незадолго до того я прочитал несколько томов его сочинений – небольшие аккуратные книжки с темно-красной обложкой – и мне понравились простота и доходчивость вождя.

Правда, я не был ни глухонемым, ни слепым, и мне не нужно было узнавать неизвестную правду жизни – я с нею вместе жил всегда, поэтому даже в одиннадцать лет я не был полностью подчинен лжи.

А через три года, в марте 56-го, когда мне было 14 лет, я освободился от лжи полностью.

Не могу понять, почему многие верят лжи, защищают ее, а когда меняется всеобщее настроение, когда и власть изменяет точку зрения, клянцуются, что до этого *ничего не знали*?

Жизнь и *правда жизни* – разве это не одно и то же?

Вот человек выходит на улицу, идет дождь, он промокает – неужели он осмелится сказать, что никакого дождя не заметил, так как по радио сказали, что сегодня – солнечный день?

И что же – возможно было, обладая глазами, ушами, руками и ногами, и хотя бы половинкой мозга, верить, что мы живем в самой свободной и самой счастливой стране мира?

В двенадцать лет я как-то сказал своей бабушке, что неграм в Америке очень плохо живется – она встала на колени перед иконой и начала молиться. – Господи, неужели кому-нибудь на свете еще хуже, чем нам? Господи, пожалей их, несчастных!

Но четырнадцатилетний мальчик уже не заблуждался ни о волках ни о ягнятах – неужели возможно, что кто-нибудь из взрослых жил в мире в здравом уме и не знал, в каком мире живет? Не видел, идет ли дождь или снег? Лжет или ворует тот или иной министр, политик, генерал.

Все высечено в словах и лицах.

Не надо слушать БиБиСи или Голос Америки, чтобы знать, в какой стране мы живем, хорошо ли вокруг нас.

И если сегодня многие говорят, что они *не знали*, в какой стране, при каком режиме жили, свободны были или нет, справедлива ли была власть или несла людям горе и зло – я в их *незнание* не могу поверить.. Если это так, то может быть они все умалишенные? Но как же тогда они учились в школах и в университетах, дарили цветы любовницам, слушали музыку, сочиняли стихи и *смеялись*? – умалишенные слишком серьезны, чтобы смеяться!

Ну, пусть.. Прошлое тускнеет, настоящее наполняет новой болью и безысходностью.

Каждый день убивают сегодня – делят деньги, делят интересы, или *отбирают луковицу у пенсионера* – а заодно с луковицей и жизнь, и так это стало привычно, что уже и душа не содрогается, ни у меня, ни у других... Но, во всяком случае, мы не виноваты в этом.

Чеченцы воруют людей и требуют за них выкуп, а теперь уже и наши солдаты и офицеры берут в плен чеченцев и отпускают за выкуп, а без денег пытаются и расстреливают. Но пытаются и убивают не только чеченцев, но и собственных солдат, и даже офицеров, и по сообщениям газет две трети наших солдат в Чечне гибнет от рук своих же.

Виноват ли я в этом? Виноваты ли другие, не солдаты?

В некоторой степени мы все виноваты – армия существует за наш счет, и на наши деньги служили те, кого уже убили, на наши деньги продолжают служить те, кто их убил.

Мы оплатили убийства уже совершенные, мы разрешили убивать и дальше. Не бойся, убивай, говорим мы убийце, мы тебя не выдадим, мы тебя защитим, мы не позволим таким, как *отщепенец*, призвать нас к ответу!

Господи, выслушай мои упреки, а потом уже решай, выдать ли меня защитникам Твоей чести на расправу и суд – сначала на *расправу*, потом уже на *суд*, как и всегда бывало, когда *бесчестные, смиренные*, честь объявившие *гордыней*, берутся защищать Твою собственную честь, на которую якобы я посягаю (будто бы Ты нуждаешься в их защите?).

Пеняю ли я Тебе на то, что существуют жестокие, алчные, находящие удовольствие в мучительстве и в убийствах? Такие ведь во все времена существовали и будут всегда, пока не наступит царствие Твое!

И я их хорошо *понимаю*, и не слишком возмущен. Как не возмущен холодом зимой и жарою летом, вьюгой в феврале и ливнем в июле; как не возмущен морскими штормами и лесными пожарами, существованием болот и неприступных гор, пустынями и зыбучими песками, гадами морскими и лесными зверьями...

Я понимаю злого бандита, который ждет меня за углом, чтобы отнять кошелек, как и гиену, подстерегающую добычу.

Я понимаю тупого министра, который вечером награждает спившегося офицера, утром от нечего делать убившего солдата, не отдавшего ему честь как положено.

Я понимаю немецкого солдата, который убил моего отца.

Я понимаю леди Макбет. Понимаю Яго. Понимаю англичан, которые сожгли Жанну Д-Арк, французских священников, которые приговорили ее к сожжению, и бургундцев, которые продали ее англичанам.

Я их понимаю, потому что и не ждал от них другого.

Но я не пойму зрителей в театре, которые будут смеяться над Дездемоной и рукоплескать Яго; которые посочувствуют Кошону и обвинят Жанну; прольют слезы над Иудой и глядя на Христа, несущего крест, закричат – Распни его!

Такую великую войну наш народ вынес, с таким сильным врагом сражался и одолел его, так много жертв принес для победы и пришел, наконец, на территорию врага – мстил ли он за погибших? Насиловал немецких девушек? Убивал ли и грабил мирных жителей?

И вот дети и внуки солдат, победивших в Отечественной Войне – привели к власти пьяницу и мародера, разодрали на части собственную страну, ограбили народ, растлили армию, растлили государство, растлили все, что можно и что нельзя растлить, пять миллионов наших девушек отправили в бордели Турции и Европы, разрушили три четверти заводов и фабрик, продолжительность жизни довели до самого низкого в мире уровня – и как же относятся к тому, что хорошо и что плохо дети и внуки солдат, погибших в Великой Войне?

Я их спрашиваю – русский офицер, одуревший от безнаказанности, убивает своего же солдата – надо ли сказать об этом правду, надо ли наказывать его? И почти все отвечают – НЕТ!

Общественное мнение (а 85% населения поддерживает нынешний режим) говорит – *сказать правду нельзя*, ибо это подрывает престиж армии, престиж власти, престиж государства, престиж России!!

Общество платит налоги и содержит ту армию, ту милицию, которые завтра убьют еще других невинных – безнаказанность поощряет к продолжению убийств.

Зло царствует не потому, что за ним сила, а потому, что с ним соглашается большинство.

Кто не возражает злу – хотя бы мысленно – тот его благословляет.

Поддерживает веревку, которую затягивают на шее невинных.

Если река выходит из берегов, а мы льем в нее воду, то помогаем ей подняться – хоть на микрон. Но если сто миллионов выльют в нее по ведру, то она уже поднимется на метр. И не исключено, что именно ты породил то зло, которое ударит по твоим близким.

Твоего сына или брата завтра замучает маньяк-командир (а ты молчал или поддерживал вчера того, кто мучил чужого ребенка); твою дочь завтра изнасилует солдат, озверевший в Чечне (а ты молчал, когда насильовали чужих дочерей). Ты поддерживал насилие и безнаказанность милиции; продажность и безнаказанность прокуроров и судей; жестокость и безнаказанность власти в России, которая всегда мучила человека – но потому и мучила, что *именно ты* против того, чтобы она отчитывалась перед народом, ты против того, чтобы должностные преступления становились известными народу и виновные были наказаны. Власть всегда защищала честь своего мундира и попирала добро, правду и свободу – а ты, гражданин, Богу ли служил, Которого ты сейчас от меня защищаешь, или ты служил верноподданно только власти, и всегда был ее рабом, ее холуём, и не Бог, а только Власть была твоею религией?!

Но, Господи, не буду больше унижаться до разговоров с чернью, а обращаюсь к Тебе!

Хочешь ли Ты, чтобы я еще хотел жить?

Для этого я должен знать, что Ты даешь мне возможность не только смотреть, как Зло торжествует, растет и бесчинствует – но и – противодействовать!

Мой спор с Тобою, Господи, не о том, что в мире существует зло, что оно имеет силу и власть совершаться – *необходимо было придти в мир соблазну и злу*, и необходимо было, чтобы история человечества стала полем битвы Добра и Зла – битвы, которая идет с переменным успехом вот уже тысячелетия.

И болезни одолевают, но борется дух и исцеляет. И пожары губят наш дом, но строитель отстраивает его еще краше. И краски осыпаются с картин, и разбиваются изваяния, и ветшают книги – но нетленно творчество, и мы пишем новые книги, и лепим и рисуем, и восстанавливаем созданное старыми мастерами, и храним и преумножаем. Идет борьба Света и Тьмы – но крепок и неустрасим воин Света, пока есть меч или резец, перо или голос и не закованы руки в кандалы. Даже предательство не устрашает нас, пока существует Любовь, и мы знаем, что нас любят за доброе наше, и нам есть кого любить, и мы любим во всю мощь нашего духа. Даже смерть – конец всего – не устрашает нас,

пока видим мы, что сделанное нами передаем продолжателям, пока знаем, что на засеянное нами поле придет жнец из нашего лагеря и пожнет доброе.

Я пеняю Тебе, Господи, о том, почему Ты отнял у меня возможность сопротивления *тлению*; почему отнял всякое средство борьбы – или не дал их изначально? Изъял смысл из моего существования?

Я же не прошу – помоги одолеть! – а только – *дай возможность бороться!* Разреши рукам двигаться, голосу звучать, мысли проникать, чувству возвышаться!

Пусть даже одолевает нас противник, но чтобы еще битва не прекращалась, и оставалась надежда!

Вот, Господи, обращаюсь к Тебе, выслушай и пойми, почему стыдно мне дальше влачить бессмысленное существование...

Мне было одиннадцать лет, когда умер Сталин. Народ моей страны плакал. Эти слезы падали на тела и души невинно замученных. Эти слезы мистически преображались в палящий огонь, который жег души – изнасилованных в лагере детей (а таких было немало!); искалеченных на допросах девушек (и таких было немало); умерших от голода старцев и младенцев (таких были миллионы); убитого на войне моего отца!

Почему они не оплакивали замученных, почему не плакали над моей матерью, которая по сугробам ночью волокла на себе санки с соломой (вместо лошади), почему не оплакали шестилетнюю девочку, которая присила меня, так же шестилетнего – *мальчик, дай кусочек хлеба!*

Почему оплакали тирана, душегуба, изверга, палача?

Где эти плакальщики? Многие из них живы. Стало ли кому-нибудь из них стыдно хоть раз в жизни за свои преступные слезы? Или они не **знали?!?**

А через тридцать лет, когда мы все повзрослели, когда прошли через многие открытия правд и разоблачений – не весь ли наш народ виноват в войне в Афганистане? Кто-нибудь кроме меня негодовал? Если афганцев не жалко, то наших пятьдесят тысяч мой народ не собственными ли руками в чужих горах придушил?!

Разве, голосуя за несправедное правительство, не отвечает народ за его действия?!

Господи! Прошу Тебя – на страшном суде не суди душегубов! – Приведи на эшафот тех, кто *оправдывал* их! *Они – хуже!* Я хочу услышать, как они будут оправдывать свои оправдания!

Приговоди их осуждением! Скажи им, что они – убийцы!

Да, если немцы стреляют, мне все понятно – они враги, у них зло, с нами Бог и Правда. И за нашу правду можно и умереть.

Но если стреляют в меня здесь – смысл жизни исчезает. Армия, которая мародерствует и растлевается в Чечне, убивает вновь всех убитых в войне Отечественной. Моего отца убивают вновь столько раз, сколько лгут пропагандисты и телекомментаторы; сколько бездействует власть или даже покрывает бесчинства или совершает их сама.

Ну почему, Господи, прежде чем я умру, Ты не дашь мне хоть что-нибудь сделать, чтобы хоть немного потеснить зло, чтобы хоть одного из ста миллионов верноподданных устыдить?

Поблудай меня еще! Я объясню, почему моя жизнь не только бессмысленна, но и оскорбительна, и унижает Прошлое.

Итак, дело не в том, что сегодня Зло могущественнее чем вчера – во вчерашней стране моя жизнь была бы оправдана, в сегодняшней – нет!

Представим себе, что живу я в середине 19-го века. Было ли царствие Божие? Нет. Пушкин был застрелен, Лермонтов был застрелен, на Кавказе шла бесконечная война, Акакий Акакиевич был унижен, Герасим был унижен, и солдат били шпицрутенами, и крепостных продавали.

Но крестьянки рожали детей, и помещицы жены рожали детей, Исаакиевский Собор уже воздвигли, Пастер искал *вакцину* против болезней, Достоевский готовился написать *Записки из мертвого Дома*, а Лев Толстой – *Войну и Мир*, учились те инженеры и архитекторы, которые должны были построить Транссибирскую магистраль и мосты и здания вокзалов, Почту и Телеграф, и написать *Каменную книгу* по городам и весям, в которой в камне был запечатлен Дух и Гений. Родились уже Мусоргский и Римский-Корсаков и ничто не препятствовало родиться Скрябину. И если бы даже мои родители были крепостными крестьянами, то в их семье мог из меня народиться Сытин, или участник Тамбовского восстания против большевиков, или трудолюбивый отец крестьянского семейства.

Страна, которую я люблю и которой горжусь, *созидалась*, а страны, которую я ненавижу и которой стыжусь – еще не предвиделось.

Пушкин и Лермонтов погибли на дуэли, но успели сказать все, что вмещал их Гений. Более того, они утвердили и скрепили смертью своей, что **честь и гордость** выше славы, выше жизни, даже выше истины!

Невозможно после них *оставаться русским*, но *быть* прежде всего *христианином*, то есть презирать честь, и в трепете, смирении, богобоязненности видеть идеал человека; в верноподданности, послушании, подчинении, слепой вере, слепой преданности, благостной тихости, голубиной кротости, самоумалении, бичевании плоти, смирении страстей, отвращении к женщинам, робости, слезоточивости, покорности начальству, потуплении взора, еженощной молитве, ежедневном посте, власянице, рубище, веригах, раздирании кожи до язв, посыпание пеплом, умиленности в голосе, взоре, словах, в возвышении над миром – то есть над строительством дворцов, театров и музеев, над любовью к балету и балеринам.

Невозможно *оставаться христианином* и *быть* – поэтом, философом, революционером (не скажу, что быть революционером только плохо!), офицером, архитектором, композитором, художником, историком, ученым, землепашцем, невозможно быть русской женщиной и родить хотя бы пятеро детей и иметь трёх мужей и семерых любовников, и вызывать восхищенные взоры и страсть и желание у

семидесяти семи мужчин (да почему бы и нет, черт побери!?) – или уже только заутреня, обедня, всенощная и заупокойная, уже только умиление, успокоение, утешение, утишение, чистая как чистый лист бумаги душа, изсохшая как разбитое молнией дерево плоть, смиренный как у холодного пепла дух?!

Ладно, ладно, увлекся, занесло, страсти и скорбь кипят и не успевают слова...

Еще не всё сказал и ничего не объяснил.

Представь, мой Господин, что гордой невинной девице представили женихов на выбор, или гордому жениху – невест.. и вот таковы они, что похоть в очах, грязные мысли, слюнявые рты, косноязычна речь, бесноваты повадки, колченога походка, кожа в струпьях, живот колесом и даже нос крив! О, богиня моя, женщина, неужто не бросишься ты в прорубь, из окна, под поезд, или даже пеньковой веревкой вместо фаты не обовьешь свою белую шею?!

А что же сделал бы я, если бы невесты мои были только косы и щербаты, хромы и убоги и умом и чувством, плёски как стиральная доска и невыразительны и непахучи как отцветший чертополох?!

Я – последний романтик в России! (Еще немного терпения, и я все объясню!)

Родился я не в худшем месте на земле, окружала меня густая, душистая и величественная сибирская Тайга, я был ее ребенком не в меньшей степени, чем ребенок русской литературы (которая еще в семь лет пришла, соблазнила и усыновила). Но что стало с моею Тайгой? Какой вертеп, какое пепелище, какое рубище, позорище и гноище на месте ее?! Уже из-за одного этого стоило бы повеситься на последнем сибирском кедре, если еще найду его в глухом распадке! А *Иваны не помнящие родства* искоренили мою тайгу, угнали ее за границу, а на вырученные деньги построили *социалистический лагерь*, тупой и безобразный! И не утешат меня в потере даже последние храмы и Иисус Христос не утешит! И только может быть, если русские вымрут, а японцы и китайцы еще не успеют добраться, засеет последний кедр из глухого распадка окрестные буреломы и пустоши, и вырастет через семьдесят лет в потаенном месте могучий кедрач?! Надежда еще жива!

Но судьба не случайно звала меня в Петербург, у стен которого погиб и отец мой. Не перестав быть сибиряком, стал я по национальности еще и Петербуржцем, но всмотрелся, вжился, влюбился и врос в этот город как в женщину, которую полюбляешь как страсть, и без которой не можешь жить! Мы встречались почти каждый день, и я полюбил бродить с нею под руку. Я обошел все набережные и спускался на всех их спусках. Я прошел по всем садам и паркам и всем аллеям и тропинкам, останавливался перед памятниками и деревьями, вдыхал аромат цветов и листьев. Вместе с городом ходил я по его улицам, и даже когда не глядел на дома, впивал их облик кожей своей – их фронтоны, лепку на карнизах,

украшения ворот и крылец, наличники на окнах, крыши и мансарды, статуи у входов, внутреннее убранство; я видел эти дома так, как видишь женщину – всю – даже в абсолютной тьме – по шорохам и дыханию.

Город, его улицы, его дома, его дворы, руины фонтанов в дворах, покосившиеся решётки со следами бывшего изящества, кое где сохранившаяся брусчатка, лепка и каминны в подъездах, парадные лестницы, цветные оконные витражи, шпили над крышей и флюгера – но только остатки, кусочки, объедки, оставшиеся после зверя, сожравшего Россию и не успевшего ещё сожрать Петербург – этот город никто не любил как я! И как я был несчастлив, за сорок лет не сумев никому из тысяч, среди которых жил, и которые жили на этих же улицах, объяснить, что невозможно любить отдельные здания, не любя целое!

Нельзя любить женщину, если допускаешь, что можно отрезать прядь ее волос и прикрутить вместо них ржавую проволоку, или на платье – пусть даже ветхом, не выходящем и не роскошном – пришить холщовую крепкую новую заплату!

Нельзя любить Петербург, если позволяешь вместо ужасных громоздких и неудобных *доходных домов* строить новые, удобные – ну с чем это сравнить? Ну, конечно, в женщине не равноценны детали, и очи блещут, и уста волнуют, и перси волнуются – а что же, к щекам можно прилепить кусок пластилина? И мочку ушка обезобразить? А уж от совсем (до поры до времени) невидимой части тела (например, от попки) можно отрезать кусочек? А лицо моего города обезображено шрамами больше чем у погибшего от увечий воина! На каждой улице в ряду зданий, соединенных в ансамбль, зияют бреши, *запломбированные* грязным цементом – и щеки, и шея, и уста и чело! Каждое здание надстроено – причем без учета облика целого и в нарушение пропорций самого здания, почти все элементы внешнего убранства снесены начисто, или исковерканы! Перечислять тяжело и долго, город прошел тюрьмы, пытки и эшафот, его убивали почти целое столетие, и если сегодня еще говорят о нем, что он красив, то даже те, кто восторгается его красотой, не имеют права ею восторгаться – они вначале должны вмести в себя скорбь за его утраты – а утратил он три четверти своего бывшего великоления! Посмотрите хотя бы старые фотографии не только парадных видов, но и рядовых улиц – все было красивее! Красивее настолько – с внешней стороны – насколько юная красавица красивее сморщенной и беззубой старухи. А город не может до конца выдерживать сравнение с человеком, в нем внешнее и является его внутренним, облик города и есть его Дух, и дух всего народа и всей страны!

Тайга, быть может, вырастет, если мы, русские варвары, перемрем – но город уже не вырастет сам!

Говорит мне утешающий якобы голос – посмотри, как еще много вокруг садов и парков и прекрасных строений, возведенных талантливыми зодчими!

Но ведь построены они в предыдущие века, а при моей жизни только ветшали, рушились и уничтожались, и из десяти помещичьих усадеб едва ли не все десять сожжены; и из десяти храмов девять уничтожены бесследно или в руинах; и из десяти дворцов девять уподобились уже постоялому двору или древнеегипетским гробницам, в которых побывали уже орды грабителей!

Построено ли хотя бы одно строение, достойное того, что осталось нам в наследство?

Я все надеялся – сначала в детстве, потом в юности, потом в зрелости, что Ты, Господи, на моей стороне и мне поможешь или по крайней мере оставишь у меня способности состязаться с вырождением и убийством того, что мне дорого! Я не хочу жить междометием в бездарном стихотворении, я не хочу жить в разгромленном городе и внутри разгромленной культуры, я хотел и мечтал и думал о том, что и как сделать, чтобы сделать мир приемлемым для моей жизни. Да, я последний романтик! Меня не заботит так восстановление свободы и справедливости и сытой жизни, как восстановление красоты, вне красоты я отказываюсь жить! Если за десять веков в России было построено сто тысяч храмов, то я надеялся и верил, что их следует и возможно **все** восстановить, и восстановление их станет национальной задачей! Если за триста лет в России было построено сто тысяч дворянских усадеб, то я надеялся и верил, что их так же следует и возможно **все** восстановить, ибо без них облик сельской России будет не духовен, и восстановление их так же станет национальной задачей!

Но есть ли надежда, что будут восстановлены дворцы и храмы, сады и парки вдали от столиц, что хотя бы некоторые усадьбы отстроены, что очищены реки, боры и поля?

Необходимо восстановить разрушенные города, и первый и самый лучший город – Петербург! Иначе не будем и не станем мы великим во всемирном значении этого слова народом! *Зодчество народнее* (хотя зодчие часто *инороднее*), чем литература, живопись и музыка, в облике городов и сел душа народа вмещена в наибольшей степени, без их возрождения возрождение России невозможно! Но смог ли я за сорок лет внушить это чувство хотя бы одному человеку? И вот я сознаю, что единственная достойная для жизни цель – остановить исчезновение духовной России и повернуть время вспять – неосуществима, и даже самого малого сделать я не могу. Для этого нужна или абсолютная власть, или уста мои, Господи, Ты должен был раскалить так, чтобы слова мои прожигали сердца! Мой Бог, Бог России, Ты обязан был это сделать, если Тебе Россия дорога – а если не дорога, то Ты – не наш Бог!

Не говорю, что именно мне суждено было стать Пророком – пусть другому, и я бы с радостью понес ниточку от одежды его! Но – нет пророков в отечестве моем!

Вот, Господи, почему я думаю вернуть билет – поезд, на котором еду, идет не туда, через двадцать лет страна станет еще более чужой, эрзя и

зыряне построят свои государства, чукчи и алеуты, корелы и пермь на территории великой империи – и ничего не имею против мордвы и карел, но распадется и исчезнет Русь. Ведь и я не только русский, но Русь – мое главное! Не нужно забывать культуру *малой* родины, но Русь и для карела – главное, а если не будет главным, то пропадет всё! Мы русские не потому, что единоплеменники, а потому что соединены культурой и духом; итальянец или немец, строившие Петербург – более русские, чем те кто его губил; финн Маннергейм, сражавшийся в рядах русской армии в Первую Отечественную войну, более русский, чем большевики, какая бы в их жилах ни текла кровь, искоренявшие Россию.

У нас – великороссов, малороссов, белорусов, славян или угров, бывших половцев и новых печенегов, татар, соединенных из двенадцати народов как и русские из ста, поволжских немцев, потомков старых монгол и недавних пришельцев – отечество одно – Россия, и разодрание Отечества на лоскуты – моя вторая боль. Но могу ли противостоять я один против лживого потока местничества, племенного национализма тех, кто из-за кровной особенности не ощущает единой с Россией истории, могу ли противостоять равнодушию тех, кто имеет русских родителей, но не имеет ни рода ни племени!

О, как ненавижу я отступников России! Разве потому я ненавижу Коха, что он немец? – и Колчак – немец! – но матерьяльные богатства – отечество Коха, а Россию он презирает! Разве потому я ненавижу Чубайса, что он еврей? – и Христос – еврей, и недавний кумир всех российских языков Высоцкий – еврей! – но матерьяльные богатства – отечество Чубайса, а Россию он презирает! Разве потому я ненавижу Ельцина, что он не любит русских? – и Чаадаев не любил русских! – но власть – отечество Ельцина, а Россию он предал!

А Ты, Господи, не дал мне ни одного таланта. Ты унизил меня, сделал меня заурядным, неизвестным, презираемым даже среди близких, не авторитетным, не убедительным и во имя чего мне жить? Как я могу хотя бы на грамм или миллиметр приблизить торжество моей правоты? Чтобы я мог влиять на судьбу моей страны, я должен был стать хоть кем-нибудь – а Ты сделал меня никем! Мне даже жить не на что (хотя это не самое главное), и на пропитание не могу найти работы – а ведь я согласен работать и грузчиком, и сторожем, и уборщицей, и землекопом. Но что делать, если я не нужен моей России? – нужен ли я Тебе, Господи?!

Ну да ладно, какая теперь разница...

Только...

.....

14.

..И наконец я услышал, что говорила мне Анна Петровна.

– Лара.. Лара.. Нашей Лары больше нет с нами!

Глава третья

ДОЗНАНИЕ

1.

Спать было тяжело и неудобно, рука затекла, и все тело ломило, и хлопала гулко как будто железная крыша под порывами ветра. Звук становился все резче, что-то железное ударяло о железо, так бьет по железной двери большой железный ключ, нехотя я приоткрыл один глаз, еще не понимая ничего. Ключ поворачивался и скрипел, как весло в уключине, и заскрипела массивная дверь, открываясь.

В проеме двери стояли два вертухая, и один поигрывал ключом – точно такие продавали в сувенирных отделах как ключи от Новгорода или от Пскова.

– На выход! – резко скомандовал второй. – Руки за спину!

Еще не проснувшись окончательно, я вышел из камеры, где сидел в это время один, но было четыре нары, и должны были сидеть четверо, но однажды в такую же точно камеру поставили еще топчан, и нас стало пятеро.

В 46-47 годах, когда хлынула волна *врагов народа* с Запада из бывших бандеровцев, полицейав, карателей, власовцев, старых эмигрантов времен гражданской войны из Югославии, Болгарии, Румынии, Чехии и других освобожденных стран, из наших солдат, сидевших в немецком плену, или из угнанных в Германию на работы, а то и просто из жителей оккупированных территорий, в камеры эти сажали по 17 человек, а был случай, когда стояли в ней, прижатые друг к другу, около семидесяти человек.

Я еще не знал и не понимал многого, и вместо того, чтобы наслаждаться свободой одиночества, уютом добротной царской тюрьмы, я переживал перипетии допроса и дрожал от неизвестности и страха.

Меня ввели в большой шикарно обставленный кабинет, вертухан вышли, плотно закрыв дверь, из кабинета вела еще одна дверь во внутреннее помещение, и там стоял плотный безразличный человек, скусающий от безделья.

За дубовым столом у стены сидел желчный ястребиного вида длинный и тощий мужчина в зеленом полувоенном френче без знаков различия. Меня посадили вполоборота напротив за выдвижную тумбу, сидеть было неудобно. Где-то я его уже видел, я вгляделся...

– Не узнаете разве? – раздался резкий визгливый голос. – Мы ведь уже не раз встречались, короткая же у вас память.

Да вы погружены в житейские наслаждения, неприятные впечатления

и воспоминания гоните от себя, стараетесь забыть, и часто вам это удается. Ну-с, теперь мы продолжим. Как я говорил уже, меня интересуют показаньца по одному деликатному вопросу, но вы ведь *ни черта* не помните (прости меня, нечистая сила, в сердцах вырвалось), так вот, вы ничего не помните, и нам приходится забрасывать чрезмерно широкий бредень, чтобы не пропустить ту рыбку, которую мы хотим выловить. Так что панорама ваших показаний будет довольно широковата – но, как я уже сказал, у меня-то времени много, это у вас его все меньше, и не в ваших интересах медлить.

– Я по-прежнему ничего не понимаю. Что вас интересует?

– То, что меня интересует, вы узнаете позже, я подведу вас к этому исподволь, постепенно, потому что теперь вы еще не готовы к ответам на мои вопросы – вы не знаете эти ответы, не поймете и вопросы. Я и сам ведь двигаюсь пока ощупью, опираюсь на интуицию... да на некий любопытный архивный документик.

Представьте себе, что вы пишете статью, положим, о Хомякове. Естественно, для того, чтобы представление ваше о нем было ясным, точным, полным, вы принуждены будете погрузиться во весь круг его знакомств и интересов, более того, изучить ту историческую панораму, на фоне которой ваш герой живет и... гм... "*плодоносит*". Точно так же, интересуясь некоторой частью вашей биографии, я ничего не узнаю и не пойму, если не изучу эту частность на фоне более широком, даже, возможно, на фоне всей вашей жизни. Конечно, не все в ней мне интересно, отдельные периоды ее вообще довольно пусты, и их можно опустить. Но есть периоды чрезвычайно важные, например, детство. Тогда создавался проект и чертеж здания, то есть вашей личности, закладывался фундамент, строился первый этаж.

Последующие этажи надстраивались уже почти автоматически, в соответствии с общим замыслом, сформировавшимся в детстве. В нем же определилась и *судьба*, то есть направление жизни, и хотя вы от нее довольно успешно бегали, но совсем убежать, естественно, не смогли... Как у Пушкина в повести "Выстрел"... Роковая пуля уже находилась в пистолете, выстрел должен был грянуть – но немедленно, или через несколько лет – это уже решал тот, за кем оставался последний выстрел.

Итак, в детстве вашем любопытного много, оно наметило для меня ориентиры поиска, и во внимании повышенном к нему мы с вами сходимся, только цели несколько различны. Отчасти вы, как и я, хотите понять, кто вы такой, зачем явились, о чем мечтали и на что надеялись, но вы не хотите узнать, что с вами случилось, почему же не исполнили вы свое предназначенье. Более того, я подозреваю, что вы пытаетесь в детство укрыться – и от жизни, и от судьбы, и от *замысла* о вас – и собственного вашего, и неких... гм... *сил*.

Да, кстати, я не представился. Вы, конечно, догадываетесь, что я

человек военный, но это не главное, у меня в этом ведомстве совершенно независимый отдел, так что я не буду представляться по званию, это чистая формальность. На самом деле я ученый, *доктор парапсихологии* Индиан Поликарпович Гоммель-Контышкин, а там вон – в дверях – ассистент мой, товарищ Фундыкин Кундин Кундиныч.

– Такое впечатление, что это у вас клички или псевдонимы...

– Что делать? Разведчик не может иначе...

– А вы сказали – ученый!

– Разведчик – по совместительству, *разведчик Прошлого*, как вот есть *разведчики будущего*, разные там *передовики труда*...

– Кроме того, парапсихология ведь не признана советской наукой, так что вы не можете быть доктором того, чего нет...

– Могу-с, могу-с... Это для вас – не признана, для нас – признана, и даже план по диссертациям есть! Фундыкин – мой первый кандидат, перспективный, я вам скажу, ученый, со своей оригинальной методикой дознания. Тут у нас лаборатория, а в соседней комнате мы проводим исследования...

– Там кто-то кричал, как будто ребенок...

– Фундыкин, дверь плотнее прикрой! Вот изверг! Между нами – зверь, а не человек, такому ничего не стоит... девица там одна, в *несознанке*... пытаемся... разбудить память... Фундыкин, ты там помягче с нею, понежнее, смотри, чтобы ей не так больно было!

Итак, итак... мы отвлеклись. Вернемся к сути.

Работаем с вами мы по трем направлениям: во-первых, общие биографические сведения: родился, крестился, женился, спился... (шучу, шучу!..) и тому подобное... Далее – детство и судьба – это нам гораздо важнее, мы не мешаем вам возвращаться в детство, но, предупреждаю, остаться там мы вам не разрешим! Словно с фронта отпустили съездить на побывку домой после ранения, отдохнули – и пожалуйте-ка на фронт, в окопы, под пули и снаряды!

– Какого ранения?

– Метафора, метафора-с... Не перебивайте! А теперь поговорим о ваших взглядах на мир и их преломлении через важнейшие события вашей жизни.

Я внимательно прочитал ваши путаные сочинения, вы противоречивы не менее, чем священное Писание, хотя именно поэтому убедительны. Однако, из-за их противоречивости, понять главное в них, их суть, лейтмотив, фокус, к которому они сходятся, весьма трудно.

Прежде всего вас занимает *время*, и вы догадываетесь, что представление его в виде математической числовой оси, точки которой упорядочены так, что каждые две связаны единственным образом, именно – одна из них предыдущая, другая – последующая, и отношение это во-первых, неизменно, во-вторых, не содержит в себе *взаимовлияния* – неверно.

Точки числовой оси *расположены* в определенном неизменном порядке, а события жизни, следующие во времени друг за другом, не только *расположены*, но и *связаны*, входят друг в друга, последующее порождается предыдущим, и в предыдущем уже хотя бы отчасти содержится последующее, следовательно, *прошлое не остается тождественно себе, но изменяется* под влиянием будущего...

Коротко вы сказали однажды об этом так: *в настоящем содержится и будущее, и прошлое, и они протекают одновременно.*

Вы спрашиваете себя – снится ли вам детство, или вы в нем действительно живете и видите сон о будущем?

Конечно, детство вам не только снится или снится только отчасти, вы проживаете его заново, одновременно находясь и в том времени, в котором живете сегодня. Но проживаете детство вы *преображенно*, и время в нем другое, и события протекают несколько иначе, однако, все правдиво, только это *правда в высшем смысле*. Самому себе вы тождественны, а другие могли бы себя и не узнать, они таковы, какими *должны были бы быть*. Они не лучше и не хуже тех, что были, но – *действительнее*, подлиннее.

Вы спрашиваете меня – ибо уже окончательно запутались – в каком времени вы живете сегодня... Но уже и я отчасти запутался из-за вас, вы словно автомобиль, потерявший управление на скользкой дороге. Сталкиваясь, переворачиваясь, сбивая боковое ограждение, несетесь вы между жизнью и смертью и всеми датами календаря.

Боюсь, что мы слишком поздно узнаем, в какое время вас занесло – и меня вместе с вами. Время вас занимало всегда, но не слишком ли пристально и упорно вы всматриваетесь в него в эту минуту? Помедлите! Еще не время истечь вам ни временем, ни кровью, переведите дух – вам предстоят слишком важные показания!

Итак, я продолжаю. В различных комбинациях и вариантах задаете себе вы один и тот же вопрос: зачем жить, в чем смысл жизни, каковы ее высшие ценности?

Вы уже не раз отвечали на него, и в своих сочинениях тоже. Но спрашиваете себя вновь и вновь, словно сомневаетесь, словно ждете чего-то *сверхубедительного*, не доверяя очевидному.

Что ж, раз вы сомневаетесь, не поверим прежним показаниям и мы, и заново вас допросим.

И вы скажете нам всю правду, и одну только правду, и ничего, кроме правды, и этот ответ будет окончательным. Мы умеем спрашивать. Умеем слушать. И мы услышим.

И, наконец, последняя тема ваших размышлений, хотя и неотделимая от первых двух – Бог, Россия, женщина.. Женщина, Бог, Россия.

Впрочем, я выразился неточно.. Суть не в том, что вы о них постоянно *думаете*, а в том, что они как раз и являются содержанием вашей жизни, вы их *переживаете*...

С женщинами вам и везло и не везло – то есть, они не оставались к вам равнодушными и с радостью соглашались вас терзать, чтобы в конце концов отвергнуть. Но вы с удвоенной силой влюблялись в новую мучительницу, оболщались, страдали, сгорали от любви, оказывались на пепелище и, сокрушенный, обращались с упреками к Богу. И он терпел ваши несправедливые упреки. Таким вы остались до сего дня. Что я могу на это сказать?

Я вам завидую. Никого не любили больше, чем вас, ибо женщина любила вас бескорыстно. Она покидала вас ради любовника – Боже, как это незначительно! Но она терпела, как Бог, ваши безумства – годами; не любя в вас любовника, привязанная к вам странной привязанностью, так долго от вас не уходила... Терзала – но еще более терзалась сама.

И разве хоть одна из них бросила вас окончательно? Тело ее принадлежало другому, но с вами она – *единодушна!*

И как вы их, жестоких мучительниц, обожаете, не забывая, так ни одна и вас не забыла.

И как вы их вспоминаете с нежностью – хотя сколько раз проклинали! – с нежностью вспоминают и они вас.

Да, я вам мучительно завидую. Если бы я мог так любить! Но, увы!..

Зато вы познали и подлинное страдание – неизбывное, неутомимое, сокрушающее Дух.

Причиной его так же является женщина, и *она* – единственная, которая не ответила вам взаимностью, а вы ее любили больше, чем всех остальных женщин, вместе взятых... *Эта женщина – Россия.* Она вас отвергла, хотя вы только хотели ее спасти. Она вас предала, безумного влюбленного, и бросила свою страстную мятущуюся душу и свое прекрасное тело словно под колеса ханской колесницы – нелепо, постыдно, смешно, унижительно и, вероятно, погибельно. Пытаясь еще ее спасти, вы обречены погибнуть вместе с нею.

До конца понять вас я не в силах, потому что у меня нет Родины, я – гражданин Мира. С русским я – русский, с итальянцем – итальянец, с французом – француз, и с каждым из них я с радостью пойду в кабак, но ни с одним на гильотину. Я вам сочувствую, но не способен понять вашу боль, и не буду вас больше мучить о России вопросами, хотя, если захотите что-нибудь сообщить о ней новое, я приобщу к делу. Может быть, пригодится.

Теперь перехожу к вашим запутанным отношениям с Богом. О них жду самых точных и самых тщательных показаний. Надеюсь, вы убедились уже, что я вам друг. Во многом я на вашей стороне. Мне вас очень жаль. Вы мне нравитесь.

Однако (раскрою уж свои последние карты) – я на службе у правительства и именно мне поручено вести ваше дело. Вы обвиняетесь в государственном преступлении по статье № 676-а-прим. Преступление весьма тяжкое и, при отсутствии смягчающих обстоятельств, грозит за

него весьма суровое наказание, вплоть до *вышей меры*. Так что оснований для шуток мало.

Я почти вжился в вас, и поэтому отнюдь вам не враг. Дело свое, разумеется, я делаю добросовестно – и не могу иначе, в противном случае меня бы от него отстранили, – но я не стараюсь вам вредить, а объективно исследую все обстоятельства и когда находится что-либо, говорящее в вашу пользу, не пропускаю, не утаиваю, а, напротив, приобщаю к делу с пометкой "обратить серьезное внимание".

Ну-с, теперь вам понятнее происходящее?

– Отчасти да... Однако странно, что вы раскрываете мне так много и так тщательно разъясняете темные места...

– Отнюдь! Я не открываю тайн, и говорю лишь то, что вы знаете или могли бы узнать и без меня, но или внимание ваше рассеяно, или знания эти слегка запылились, поистерлись в памяти... Да ведь и все, что я знаю о вас, я знаю только от вас, исключая некоторые архивные сведения – но о них я пока молчу!

– Еще один вопрос можно?

– Пожалуйста...

– В чем я все-таки обвиняюсь?

– Обвинительное заключение еще не готово, в свое время я его вам сообщу. Сейчас же идет *дознание*. Ставится следственный эксперимент. Кое-что вас может шокировать, и чтобы вы не были разочарованы и потрясены и, не дай Бог, не впали в отчаяние, сообщу заранее одну весьма для вас неприятную вещь – да и для меня – приговор придется приводить в исполнение в нашей лаборатории! Так что не обманывайтесь о степени моего к вам сочувствия – хотя оно воистину громадно, значительно больше, чем сочувствие многих, кого вы считаете своими друзьями, но, тем не менее, мы, как любят выражаться идеологи "светлого будущего", находимся "по разные стороны баррикад". С вашей точки зрения мы представляем силы **зла**, а вы (как вы полагаете) находитесь среди сил **добра**.

Только разрешите небольшой комментарий к последнему замечанию (а многое из того, что я вам сейчас скажу, я вычитал в ваших сочинениях) – будучи *абсолютным злом*, противоположностью добра (не отрицанием Добра, а именно его *противоположностью*), противостоя Добру на всех поприщах нравственной деятельности, везде, где речь идет о волеизъявлении личности, о нравственном выборе и голосе совести, мы (и то, что я скажу, объяснит отчасти, почему я способен вам сочувствовать), – не упущение (по недоразумению, оплошности, невнимательности или легкомыслию), не равнодушие, не отсутствие Добра, не недостаток Добра, мы – противостояние, оппозиция, соперник, полемист, *противник* – но так долго сражаясь с вами, мы уже в чем-то сроднились с вами, не отделены от вас пропастью, а отчасти вас продолжаем!

Следовательно, мы не так плохи, мы – не самое худшее...

– Что же худшее?

– Бытие, вовсе лишенное нравственной идеи, отсутствие и Добра и Зла, то есть отсутствие Действительности, тупое, темное бытие, Духовная Энтропия. Иногда мне это кажется даже хуже Ничто, Небытия.

– А есть и такое?

– Увы, да... Только я о нем почти ничего не знаю, и у вас о нем ничего не вычитал. Надеюсь, правда, что нам с вами оно не грозит... Ну-с, приятно было побеседовать, возможно, завтра я сообщу вам *предварительное заключение* по обвинению. До свиданья. Кундиныч, проводи подследственного!..

Вразвалку подошел Кундиныч.

– Руки за спину!

Я повиновался.

– Пожалуйте в лабораторию на санобработку!

– Какая санобработка? Разве я уже полный арестант?

– Ну, полный там или частичный – это неважно... Правила одни для всех. Сказано же вам – *предварительное заключение!*

Он втолкнул меня во вторую комнату, поменьше, без окна, без стола, со скудной мебелью – ряда стульев вдоль одной стены, привинченных к полу, громадного кресла напротив, подвижного, однако, поднять его мог разве только циклоп, и двух закрытых шкафов, почти вмурованных в стену. Была еще одна узкая дверь, почти незаметная, без ручки. В комнате стоял сильный запах лекарств, мужского пота и почти неуловимый тонкий запах духов... где-то я их уже слышал...

Я стоял неподвижно, Кундиныч стоял в трех шагах от меня, добродушно усмехаясь, и вдруг поманил пальцем. Я не двинулся. Он сделал шаг навстречу и вдруг, все так же улыбаясь, нанес удар в солнечное сплетение. Дыхание прервалось, тело мое сложилось, и тут же последовал удар снизу, изо рта побежала кровь; обхватив меня рукой сзади за пояс, он закрыл мне рот громадной потной ладонью и спросил ласковым шопотом:

– Ну, как, будешь рыпаться?

Я помотал головой.

– Будешь слушаться Кундиныча?

Он ослабил хватку, и я прохрипел:

– Буду!

– Ну и чудненько! Хороший мальчик, понятливый. А теперь ложись на пол...

Я слегка помедлил, не совсем понимая, чего от меня хотят, и тут же последовал страшный удар кулаком по шее, тело как будто отделилось от души и я рухнул лицом вниз, из брови, носа и губ побежала кровь...

Вслед за эти я словно бы разделился надвое, и смотрел на себя, лежащего на полу, откуда-то сверху. "Умер?" – вспыхнула страшная мысль, и безумный, неуправляемый ужас сдавил душу. "Но ведь если бы

я умер, то мне уже не было бы так страшно, – явилось спасительное рассуждение, – человек боится умереть, а когда умрет, то чего же он будет бояться?"

– Ну-ка, помогай головой!

Голова моя подвигалась.

– Вот черт, чуть шею тебе не сломал! Мне от Индиана житья бы тогда не было! Надо поосторожней. А ты, падла, слушай команды и выполняй их вовремя. В армии не служил, что ли?

Лениво, словно нехотя, громадный сапог пхнул меня в бок, тело мое перевалилось на спину. Теперь сапог целил в пах, я успел подогнуть ноги, затем подтянул голову к животу, закрыв руками, потому что следующий удар сапогом пришелся в голову. Ударив без азарта еще раз два, Кундиныч скомандовал: "Вставай!"

Я встал, шатаюсь...

– Смотри-ка, живуч ты, однако, другой бы и не встал. Помоешься в камере.

Он нажал кнопку, вошел давешний вертухай.

– Отведи этого в камеру! И пусть перья почистит, завтра на допрос. Смотри, падла, если у Поликарпыча твой внешний вид вызовет подозрения – по команде уже **не** встанешь. *Понял?*

Я помотал головой.

– ...не по..нял!..

– Да, гражданин начальник!

– Ну, то-то же, отвечать четко, как положено!

В камере, приведя себя, насколько смог, в порядок, я забылся тревожным сном. Тело тупо болело и ныло от кончиков пяток до кончиков волос. Проносились странные видения, которые я не мог осмыслить. Со мною встречались и разговаривали какие-то люди, но я не узнавал никого, хотя они вели себя как знакомые. Вдруг появился некто значительный и *повелевающий*, меня погрузили на палубу корабля, я был такой большой, что еле-еле на ней умещался. Корабль плыл, покачиваясь, между двумя скалами или между стенами тоннеля, *повелевающий* был где-то рядом, и от него веяло успокоением, я хотел сказать, что верю ему, но не успел, мы уже прибыли в гавань. Солнце зашло внезапно и плотная тьма заполнила все, что было вне меня.

– Забудь! – прошептал кто-то рядом.

– Что забыть? – спросил я тоже шопотом.

– Всё!

Я начал забывать. Тьма становилась мягкой и упругой и начала заполнять меня, забывая. Когда забылось последнее, я ничего не знал, и шопот был непонятен. Не стало времени, и вначале это было недолго, потом не стало "*недолго*", а затем не стало всего, что было, но я уже не знал и об этом. Рождалось новое время, и вспышка боли на мгновение осветила мир, но исчезла в небытие вместе со всем тем, что осветила.

Я проснулся.

2.

Стояла глубокая бесконечная ночь. В доме было тепло и тихо, сквозь плотные занавески с трудом проникал слабый свет. Тихонько, стараясь никого не разбудить, я оделся, набросил чей-то тяжелый полушубок, шапку, просторные сухие валенки с печки, и вышел на крыльцо. Что-то меня звало и манило, свет или звук, что-то тревожное и таинственное, непостижимое, грозное, заполняющее все то в моем я, что было в нем природного, и подчиняющее себе.

Оставалась неделя до Нового года, и лето и осень казались страшно далекими, далеки даже были первые снега и метели и морозы начала ноября, а о весне не думалось и не грезилось. Зима в этом году была поразительной, снежные кручи летели и летели со всех сторон, выли и хлопали, перемешивали землю и небо, засыпали дорогу и улицу, и грозились засыпать дома. Впервые три дня было тихо, тревожное ожидание наполняло тишину.

Взошла и повисла над миром полная луна, заливающая пронзительным блеском бесконечные снежные пространства. Искрилась и светилась каждая снежинка, и только воздух был стуженным пепельным светом, смягчающим и гасящим блеск снега.

То, что находилось рядом, казалось расплывчатым и зыбким, не было четких очертаний ни у дома, ни у построек во дворе, ни у забора, деревня за моей спиной была залита непрозрачным молоком; но далекие предметы странно приблизились и казались почти рядом.

Громадная длинная пологая гора, которая простиралась за ручьем и листовым лесом, лежащим позади огорода, и уходила в небо, теперь словно начиналась в двух шагах от крыльца, и я видел сугробы, наметенные у елей на ее склоне, и звериные тропы, уходящие на ее вершину. Звук, разбудивший меня, все усиливался, начиная с очень тихого. Сначала зазвенела свирель, затем загудел охотничий рог, и воздух начал дрожать и гудеть так, что было больно ушам.

И вдруг я узнал и услышал, словно знал и слышал всегда – жалобный, молящий, рыдающий, зовущий и требующий, грозный и повелевающий вопреки безнадежной тоске и обреченности, когда отчаяние становится победной и побеждающей силой – *стонала и рыдала волчья песнь.*

Приблизилась вершина горы, так что я уже мог коснуться ее, вытянув руки, и я схватился за столб крыльца, чтобы не упасть. Она была видима вся от чудных петель зайца до маленьких следов мыши, пробежавшей утром. На чудной ровной и чистой поляне на самой вершине горы стояли два громадных волка. Они подняли оскаленные морды к луне, сияющей над моей головой, и вновь раздался трубный и дикий волчий вой. Содрогнулось пространство и замедлилось время. Красные огненные глаза их встретились с моими, они заглянули в меня, пытаясь со мною заговорить. Они приближались ко мне, и всё ближе были зрачки их глаз.

Что-то, названия чему я не знал, должно было случиться. Луна светила иначе. Звезды сверкали так, словно зажглось и разгоралось небо. Оставаясь на крыльце нашего деревенского дома, я поднимался все выше. Ослепительный звенящий ночной свет залил все вокруг – безоглядную даль, бесконечность тайги, засыпанной сверкающим снегом, поляны и холмы, плоскогорья и скалы, долины между гор, взметенные ввысь сугробы, мрачные ущелья – и остался только ниспадающий ледяной свет, в котором соединилось и то, что вверху – летящий звездный пожар, и то, что внизу – застывший снежный вихрь – в единую симфонию без конца и без края.

Время остановилось. Ничто не могло шелохнуться. Живыми оставались только трое – волчья пара в *сверхбытии*, и шестилетнее дитя, в центре времени и мироздания.

Уже свершалось *погибельное*...

Я оторвал свой взгляд от немигающих волчьих зрачков и ночная зимняя таежная красота лунным сиянием хлынула в мою душу и затопила ее.

Я задохнулся от восторга и рванулся вперед, и вдруг словно колокольчик зазвенел, нежный голос что-то сказал неразборчиво, сдвинулось время и остановилось *погибельное*, легкий ветерок взметнул маленький снежный вихрь около дома. Протяжный волчий вой пронесся над тайгой и деревней, замирая.

Большой красоты в дикой природе не дано увидеть человеку – подумал и узнал я без слов, и потерял сознание, освобождаясь от власти темной силы. Увы, эта красота не может явиться иначе, чем на грани жизни, и сомнительно, чтобы ее было возможно пережить дважды.

Падающего, подхватили меня чьи-то руки, внесли, бесчувственного, в дом, и трое суток я бредил, не приходя в сознание.

– Это они! – кричал я, – Волки снова пришли, они зовут меня! Они хотят взять меня с собой!

Но эту бездну я не вспомнил позже. Очнулся я внезапно и сказал – *я хочу снова сидеть на лавке за столом у окна и есть горячий молочный кисель с лепешкой, только не надо разбавлять молоко водой.*

Мне приснилось, пока я был в бреду, что мы ели кисель, а я не успел его съесть.

Был поздний вечер. Оконное стекло казалось мне зеленым. За окном кто-то был, но семья была рядом и я не боялся. Сидели вокруг стола дедушка, бабушка, мама, дядя Костя с тетей Соней, тетя Лена, тетя Нина, Иван, Толя, Петя и я. У меня была отдельная миска и в ней горячий молочный кисель. Большая общая миска стояла посреди стола, и торжественно по очереди все ели кисель, закусывая лепешкой. Молоко не разбавляли водой. Молока нам принесла тетя Даша, она накануне плакала с горя – все коровы в деревне были стельными, и только у нее яловая, и поэтому единственная ее корова доилась.

Воистину удивительно все это, Господи!

3.

В "Ночь на Ивана Купала" ребяташки и молодежь не ложились спать долго. Что-то таинственное веяло в воздухе, мы то собирались вместе и начинали рассказывать жуткие истории – о домовых, леших, русалках и ведьмах, "*петушином слове*" и колдовстве, то снова разбивались на небольшие группы и затевали игры или бегали вперегонки.

На главную улицу спускалась с горки боковая небольшая улочка, на которой стоял всего один дом, а выше шли хозяйственные постройки, а еще дальше колхозная ферма, несколько от них в стороне. От последнего сарая мы устраивали гонки на двух небольших двухколесных тележках, к оглоблям которых приладили еще одно колесо, которое стало рулевым. Иногда попадались полосы песка, тогда тележка замедляла ход, но в деревенскую улицу она всё же въезжала и, проехав метров пятьдесят, останавливалась.

Когда уже все утомились и все страшные истории были рассказаны, решили мы спуститься с горки в последний раз, померяться дальностью пробега импровизированных колесниц. Разогнали тележки, пронеслись резво с горки, свернули в улицу, проехали немного, соперник вильнул вбок и остановился, а я еще продолжал ехать, болельщики бежали рядом, и вдруг я почувствовал, словно в оглобли впрягся кто-то невидимый, и моя тележка начала разгоняться. Пробежав по инерции еще метров сто, ребята вдруг почувствовали страх, кажется, Петя закричал – Вася, прыгай! – но я продолжал ехать, испытывая одновременно и ужас и пьянящее ликование. Вдруг колесо налетело на камень, колесница перевернулась, я полетел в канаву и ободрал ногу. Тот, невидимый, упал тоже, ушибся и стал удаляться, потирая бок и грозя мне кулаком. Перепуганные, решили мы об этом случае молчать, и действительно, в деревне никто ничего не узнал о проделках *нечистой силы*.

Но в остальное время игры наши были под покровительством сил *чистых*. Мы играли в городки, в лапту, в прятки, в пятнашки, в "а мы просо сеяли, сеяли!", в войну... и множество игр еще сочиняли сами.

Таинственный мир лежал вокруг деревни, совсем рядом с нею. На Глинянках квакали лягушки, и мы ходили их слушать. Лес вокруг пруда был необыкновенно красив, в сентябре одевался в разноцветный убор, и оттуда мы наносили в дома охапки листьев – желтых, красных, оранжевых, бурых, малиновых и даже черных.

Единственная дорога во внешний мир пересекала в полукилометре от деревни ручей, долина которого поросла бесчисленным количеством разнообразных цветов. Особенно любил я нежные кремовые цветки, которые называл "туфельками" по их внешнему виду, а что они назывались и на самом деле "*Венерин баимачок*", я тогда не знал. Возможно, что только мне они и являлись.

В начале лета луга зарастали морем диких пионов – *Марьиных кореньев*. А однажды я даже нашел дикую розу.

4.

Темная тоска, пустота и безысходность вновь сдавили сердце... Я продирался сквозь бесконечный колючий кустарник и когда, наконец, изодранный, выбрался, как казалось мне, на поляну, четко и резко проступили стены тюремной камеры. Голые каменные стены. Нары вдоль боковых стен. В дальнем левом углу каменное сиденье отхожего места. Напротив входа – окно, забранное решеткой и закрытое жалюзи так, что только рассеянный свет мог проникнуть в камеру, ничто же из того, что снаружи, невозможно было увидеть.

Вновь раздался металлический стук ключа, я заложил руки за спину, и меня повели на допрос.

Индиан Поликарпович радостно бросился ко мне чуть ли не с объятиями и протянул руку. С отвращением и со страхом я ее пожал. Кундин Кундиныч Рвов-Завалетов, он же Фундыкин, выглянул в дверь, погрозил пальцем и скрылся.

– Как спалось?

– Спасибо, спал я крепко.

– Что-то вы выглядите плохо, синяки под глазами... Вас, случайно, не били?

– Кто? – вздрогнул я.

– Ну, соседи по камере...

– У меня нет соседей, я один...

– Да-да... Так, может быть, Кундиныч?

– Что вы?!

– Ну, я пошутил, Кундиныч у нас *гуманист*, мухи не обидит, он не в состоянии поднять на человека руку, даже если надо... Как говорится, *бить человека по лицу* не может он с детства. Надеюсь, вы подружились?

Я содрогнулся и промолчал, хотя Кундиныч снова подавал мне знаки из-за двери.

– Ну-с, продолжим. Порадую я вас, молодой человек, готов уже проектец обвинительного заключения, иные десятилетиями ждут, сгнивают заживо, а для вас – все вне очереди. Разумеется, проектец далек от завершения, многое еще придется подравнять, подправить, но главное, по-видимому, схвачено верно, суть отражена. Итак, читаю.

«Господин, имярек... родившийся... и так далее... обвиняется в том, что в мыслях своих, беседах, сочинениях и образе жизни исповедует дерзновенную и хулительную для неба и земли и *вседержащих сил* идею о *богоподобии человека* и о сходстве человеческих путей путям Архистратига Вселенной, каковое сходство усматривает сей, о котором сказано было "прах ты и во прах возвратишься" – как в истории Христа, так и в истории человечества, и не в последнюю очередь в истории собственной жизни. Обвиняется далее в том, что: первое, пытался сей, преисполненный гордыни, создать собственное учение "О Достоинстве

мира и человека" и противопоставил смирению – честь; кротости – гордость; представлению о скверне и греховности плоти и мирской жизни – представление о красоте природы и человека; умерщвлению плоти – творчество и Духовное преображение мира; подчинению ветхозаветному закону, десяти заповедям Моисея и новозаветным заповедям – совесть, чувство долга и личное знание, данное в откровении; слепому подчинению Авторитету – доверие, любовь и сострадание, которые не слепы!

Греховна не плоть, возмущается он, грешным может быть только *отдельный* человек; изгнаны из рая Адам и Ева, но даже если они пали, то в них *не пала и не проклята природа человека*. Правда, *она* болит и страдает – это главная тайна её бытия, но разве из-за этого надо её отвергнуть, а не понять и помочь, и спасти, преображая?...

Сей, возмнивший себя пророком, утверждает, что толкования откровения, данные апостолами, евангелистами, святыми отцами и святой церковью – не достаточны, и дерзает толковать его заново. Авторитет церкви как плоти Христа и единственной посредницы между Богом и человеком – отвергает, утверждая, что церковь – человеческая организация, собрание верующих, и не должна иметь монополии на Истину Откровения; *отдельный* вправе доверять собственной душе и разуму, ибо авторитет церкви должен опираться не на ветхозаветное слепое послушание, а на осознанное доверие и взаимную любовь.

Монашество и аскезу, как вершину христианского подвига, порицает, и видит *высшее* не в уходе от мира и всецелом служении Богу, а в *служении миру* на так называемом *Пути Духовного Преображения*; вершиной же человеческого духа считает любовь к женщине, семье, родине.

Во-вторых, настаивает на том, что возможно прямое общение человека с Господом, помимо церковного и молитвенного общения и помимо того общения, которого удостоиваются христианские святые и подвижники.

Более того, в предрезком самомнении сей предрезкий заявляет, что и сам общается с Господом. Очевидно, что за такое общение еретик и богоотступник принимает свое общение с Дьяволом.

Резюме.

Компетентные органы предлагают:

Первое, продолжить тщательное дознание всех обстоятельств грехопадения вероотступника.

Второе, применить к нему высшую меру наказания – отлучение от церкви и объявление вне церковного и государственного закона, а также приговорить к смертной казни, исполнение которой поручить *особому отделу "Х"*.

Генваря такого-то года.

*Главная коллегия по расследованию и пресечению
антигосударственных преступлений.*

– Ну-с, такие дела. Копию я вам даю. Внимательно изучите обвинение и постарайтесь подготовить ответ по всем пунктам. Запираться, хитрить, изворачиваться – не советую. Отрицать – тоже.

Совет вашего самого преданного друга – во всем сознайтесь, все признайте, всемерно помогайте следствию, принесите искреннее и несомненное покаяние – и тогда, может быть, удастся обойтись без *усекновения* головы, честным трудом вы искупите свою вину, и высшую меру мы вам заменим на пожизненное тюремное заключение. А там, смотришь, случится амнистия, помилование... Да мы еще выпьем, клянусь, за вашу свободу!

Итак, напишите все, что знаете, признайтесь во всем – Ваша мать, Рождество, крещение, свадьба в Галилее, мытари и грешники, ученики, предательство, проповеди Антихриста, мнимые чудеса, Голгофа... Перо и бумагу вам дадут, хлеб и воду тоже.

Да, кстати, *санобработки* сегодня не будет, Кундиныч заболел...

– Да я его только что видел!

– Вышел на работу с температурой... Но от лабораторных испытаний я его отстранил. Идите в камеру. Вспоминайте, записывайте, подробнее побеседуем, когда будут готовы показания. *Спите спокойно, дорогой товарищ!*

Я не заметил, как вернулся в камеру. Писать не было сил. Бросился на нары и заснул мертвым сном.

5. Рождество.

Обвинения по большей части были настолько абсурдны, что можно было подумать – власть в стране захватила не просто шайка негодяев, врагов народа и предателей родины, но параноиков или шизофреников, утративших всякое представление о логике, здравом смысле, исторической правде и Истине. Смысл и цель Пришествия Христа так очевидны, настолько точно выражены в Символе Веры, что только отрицая истину Символа Веры и отменяя логику, возможно было сформулировать обвинение.

*Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя,
Творца Небу и Земли, видимым же всем и невидимым.
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия,...
Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес
и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы
и вочеловечшася...*

Итак, Господь *воочеловечился*, то есть уподобился человеку, ел и пил и страдал, испытывал боль, а на распятии познал и смерть, и был мертв, пока не воскрес. Божественная природа Его существовала в Нем вместе с человеческой (и, возможно, не на всем Его пути).

Следовательно, и каждый человек подобен Господу настолько, насколько Господь уподобился человеку, а Он уподобился ему во всем, кроме грехов. И как Господь, рождается мы от земной женщины,

крестимся в веру христианскую, и каждый из нас вкушает и земные радости, любовь и милость, и претерпевает страдания, несет Крест свой, передает знания, жизненный опыт и познание Духа Святого, данное через Откровение, своим близким и ученикам своим, приносит в мир свет, и любовь и радость, обретает последователей и учеников, переживает огорчения от близких, и даже бывает поруган или предан и обретает в конце пути свое распятие (если не от врагов, то от болезней и потерь) и свою смерть, и ожидает воскресения.

Посему и я, как и другие, в своей человеческой жизни многое повторяю из того, что выпало на долю Спасителя.

Подобен ли я Ему?

Человеку в Господе я подобен во всем, кроме грехов, ибо Господь Сам уподобился мне. Так, если $a=v$, то и $v=a$.

Многое гнетет и давит, и Плоть и Душу, я воистину уже ничего не понимаю, и эта тюремная камера, и странное дознание, и нелепое обвинение, и требование представить показания по его пунктам запугали меня окончательно.

Одно несомненно: деревня – мое убежище, мое спасение, мне необходимо в нее вернуться, ради этого я готов и показанья писать... А там, может быть, нелепый сон с допросами и тюремной камерой растает, и я так и останусь в деревне... Ну конечно же, тюрьма – это только нелепый сон, и его необходимо поскорее забыть, вот ведь только я закрываю глаза (или открываю?), так вижу зеленый луг за околицей, кончается день, мычат коровы, возвращаясь с поля, пахнет теплым парным молоком, жить стало уже полегче, мама доит корову, тут же процеживает молоко через марлю во второе ведро, я ей помогаю, и полную большую кружку подает пить мне... У меня «затемнение легких», но парное молоко должно меня вылечить. Да еще старик Дугин завтра зарежет жирную собаку, и мне придется ее съесть. Ну, что же делать? – зато я скоро поправлюсь!

Родился я уж больно в неудачное время – шла война, было голодно, оттого я, наверное, такой слабый, да и жили мы с мамой вначале в чужой семье в пристанционном поселке. Помнить себя я начал не так рано, первое воспоминание сохранилось от времени, когда мне было четыре с половиной года, с такими же детишками, как я, из мокрого песка мы лепили лепешки, крендели и куличи, мне было так хорошо, теплый летний день, высокое голубое небо, у дома, где мы жили, был страшно высокий забор, когда меня позвали обедать, отчего-то вместо того, что бы пройти в калитку, я попытался перелезть через забор – эта шалость, к счастью, оказалась незамеченной. Семья была уже за столом, и я поспешил занять свое место, но грозный голос сурового мрачного грузного человека словно ремнем стегнул меня – *ты руки вымыл?*

Я втянул голову в плечи, проглотил зарождающиеся слезы, вымыл руки с мылом и молча безрадостно сел к чугунку с горячей картошкой.

Следующее по времени воспоминание ударило меня гораздо сильнее... Но лучше я начну с самого начала, с Рождения.

Отец мой был человек легкий, добрый, веселый и исключительно талантливый, он знал и умел всякую крестьянскую работу, родился он в деревне Пойма недалеко от старинного сибирского купеческого города Канска в крестьянской семье, которая, по преданию, происходила от первого русского поселенца в Сибири, казацкого атамана, сподвижника Ермака. Фамилия наша разбросана по всем обширным сибирским пространствам, принадлежали к ней казаки и вольные крестьяне-землепашцы.

Его отец, мой дед, умер с голоду в 32-ом году, осталось в семье еще пятеро малолетних братьев и сестер, не считая старшего брата, который уехал на учебу в Красноярск и был с тех пор ломтем отрезанным. Братьев и сестер надо было поднять на ноги и вывести в люди. А тут еще и знакомство с моей мамой, сватовство и женитьба.

Отец поступил на работу в изыскательский отряд, сначала был топографом, потом исполнял должность инженера, а даже в школе учиться ему почти не пришлось. Но схватывал он все на лету, был талантливее меня, и пел, и рисовал, и гармонистом был знаменитым, и танцевал превосходно, и переплясать его никто не мог – и если бы не погиб на войне, лучше меня исполнил бы то дело, которое теперь поручено мне. Работа в руках у него спорилась всякая, в отряде деньги зарабатывал достаточные, и семья не бедовала. Но просили его помочь то в одном, то в другом деле, и как делал он все талантливо и легко, то имел и дополнительные, как теперь говорят, *карманные* деньги. Покупал он конфеты и щедро одаривал ими девчат и детвору. Приглашали его помочь в обустройстве колодца или дома, топор в его руках, говорят, был волшебным, и плотницкое дело исполнял он как песню пел.

Когда женился он на моей матери, и когда ухаживал, и когда они жили вместе, выполнять моему отцу приходилось множество разнообразных ремесленных и крестьянских работ – но коли помнят и любят его прежде всего как чудного гармониста и искусного плотника, то отчего бы не сказать, что вышла моя мать за любимца односельчан, плотника Ивана, мастера на все руки.

Когда мне исполнилось 16 лет, побывал я на его родине, сестры его и братья давно из родительского гнезда разлетелись, мать их, моя бабушка, умерла, когда мне было пять лет, и сам дом родовой разобрали на чужие постройки.

С грустью теплым летним вечером шел я по отцовской деревне, впитывая ее воздух, неясные витания прошлого – как вдруг меня окликнул немолодой мужчина с пустым рукавом, и вся грудь в орденах.

– Паренек, подойди-ка сюда!

Я подошел.

– Ты ведь нездешний?

– Нет...

Он в меня долго пристально всматривался, и вдруг шагнул

порывисто, обхватил одной рукой, прижал к груди, зазвенели медали, и зарыдал, восклицая:

– Да ты ведь Ивана Ивановича сын!

А видеть меня никогда он не видел, и отца моего не видел с довоенной вечности, двадцать лет.

Все, что об отце я слышал, думал, видел в снах, – а воспоминаниями о нем была наполнена деревенская среда, в которой я вырос, – в воспитании моем и развитии сыграло важную роль. Влияние отца и память о нем сопутствуют мне и всю мою жизнь, грустно смотрит на меня он и теперь с портрета, как с иконы – невидимый воочию, неощутимый, вошел он в мою жизнь, словно Дух святой, созидающий меня.

В маленькой глухой таежной деревушке Корневище, иссеченной грозями лихолетий, от подземного переплетенья корней, из самой земли русской явился я на свет. Протяжные волшебные песни и сказки, нежные колыбельные и горькие рыдания над военными похоронками, майский дождь и слезы матери, заунывный вой февральской вьюги и причитания России-матушки, крестьянской вдовы – взрастили меня. Вошли в мою душу через песни и легенды Илья Муромец и Соловей-Разбойник, Иван-царевич и Иван - крестьянский сын, страсти Христа и слезы девы Марии, Марья-искусница и Марья-Краса золотая коса, и от *Марьины коренья*, от *Ивана-да-Марьи* родился *Василек*, цветок полевой.

Так и должно было случиться, что мать мою зовут Мария. Ее родовая сила передавалась по женской линии, и чудится мне, что и всю тысячу лет бабушки ее и прабабки так же страстно всматривались в мир покоряющими серыми глазами, и облик их был неизменен.

Понять себя я не смогу, пока о родителях своих не пойму главное, и я спрашиваю себя, наконец:

Кто я? Кто мой отец? Кто моя мать?

Трудно ответить мне порознь об отце моем и матери и обо мне самом – так судьбы наши сплетены, что иногда кажется, что мы – триединая личность, и что я скажу о них – говорю о себе, а что о себе скажу – говорю о них. Еще и народная мудрость гласит, что яблоко от яблони недалеко падает, да и Господь сказал, что о всяком человеке надо судить по плодам его – посеми и о родителях моих нельзя судить вполне, не осудив меня, и меня судить рано, прежде нежели не будет суда о родителях моих.

Вот и пытаюсь я понять и рассказать, зачем явился на свет, какие поступки и чувства, какая воля явила меня? А чтобы в полноте рассказать, приходится обнять слишком многое. Словно лежит спутанный изорванный моток льняных ниток, как на посиделках, куда моя мама таскала меня, гудит-жужжит прялочка, старинная, точеная, еще из Белоруссии привезенная, я выскиваю оборванные концы, складываю, и крутятся место обрыва в пальцах, жужжит прялочка, и вот уже бежит ровная целая нить, как будто и не обрывалась.

Сквозь мою жизнь протянулась такую же нитью любовь к женщине –

к одной ли, ко многим ли, или это одна во многих лицах? – и во иных местах перетерлась и оборвалась нить, а теперь я пытаюсь ее связать во единую. Как красная нить пронизала любовь и *Ивана-да-Марыну* жизнь, но потянешь за нее – и все полотно жизни так и тянется, война, смерть, горе, слезы, измены, страсти – удастся ли объяснить, необъятный хаос соединить в целое?

Евангелие не осудило любовь к женщине, но высокомерно поднялось над ней, прославляя безбрачие – и не благословило так, как любовь к ближнему! Апостолы в письмах и посланиях также прославляли беспорочную бесполою жизнь, и хоть прямо не сказано, но из всей двухтысячелетней практики обретения святости вывод только один – в женщине скверна, в чувственной любви – блуд, и когда двое становятся единой плотью и зачинается новая жизнь – не только меньше это и ниже *девства*, но – пропастью отделено.

Чтобы стать христианской святой, *надо выйти замуж за Христа* или за церковь, сохранив плоть свою *неоскверненной*.

Ребенок рождается **во грехе и через грех**, ибо Адам и Ева были изгнаны из рая не потому, что диавол им раскрыл их природу – он был только орудием грехопадения – а именно за то, что они узнали, что они мужчина и женщина, и узнали стыд и *пожелали друг друга*.

Итак, любовь молнией ударила в деревья на пригорке, но не разбила их, а только опалила.

И не только не каюсь я в любви ни за себя, ни за родителей своих, но благословляю ее как сущность и вдохновение, источник жизни моей.

Объяснюсь же по поводу седьмой заповеди из десяти ветхозаветных – *не прелюбы сотвори!* – был ли я в ладу с нею, или нарушил сию заповедь, и сокрушаюсь ли о сем?

6. Раннее увлечение

Поселок, в котором я учился, образовался из множества отдельных поселений, плохо между собою связанных, там-сям были пустыри, свалки, овраги; правда, жители селились вольготно и не теснили друг друга. Железная дорога разрезала его на две почти равные части, и если стоять лицом на запад, то слева были станция, деревня, леспромхоз, справа станция узкоколейки, Управление (Краслага), школа, и стадион; и еще множество мелких частей, иногда довольно живописных. В одной из коротких улочек, примыкавших к лесу (хотя и недалеко от центра), стоял большой и по нашим местам богатый дом с усадьбой, обнесенный высоким аккуратным забором; хозяином его был красивый высокий немного грузный мужчина лет пятидесяти, всегда аккуратно и солидно одетый, державшийся замкнуто и отчужденно, несколько свысока по отношению к окружающему миру, но так, что это никого не обижало, потому что принималось как естественное его право.

История, в которой близко соприкоснулись наши судьбы, началась зимой, когда я учился в шестом классе, и мне только что исполнилось 13 лет. В восьмом и девятом классах учились его младшие дети, а в

десятым – уже, как мне казалось, взрослая семнадцатилетняя ослепительная красавица Юлия, холодно и равнодушно глядящая на поселковых ухажеров прекрасными синими глазами.

Это была первая *страстная* любовь в моей жизни, но пропасть между нами была так велика, что справедливее всего было назвать эту любовь *безумной*.

В конце февраля был школьный бал, конечно, я не танцевал, стоял, потерянный, у стены и умирал от восторга, томления и печали. Мне казалось, что она все время была около меня, я почти прикасался к ней, тонкий слабый аромат ее духов доносился до меня сквозь десятки разгоряченных движением тел, но подойти к ней близко я не смел.

Через несколько дней я пошел в кино на вечерний сеанс в только что построенном деревянном здании кинотеатра недалеко от их дома, сладкий аромат древесных стружек наполнял воздух, было чисто, красиво, тепло, уютно, восторг и предчувствие восторга переполняли меня, и вдруг, за минуту до сеанса, вошла Юлия под руку с отцом.

Они сели на свободные места впереди меня, отец оглянулся, чтобы проверить, не мешает ли кому-нибудь из сидящих сзади, снял шляпу и положил ее рядом на свободное кресло. Юлия сидела прямо передо мною, и когда погас свет, я немного наклонился вперед, и губами мог прикоснуться к ее волосам, которые волнистыми прядями ниспадали ей на плечи. От нее исходил тот же легкий запах духов, что и на балу, она чуть-чуть коснулась пальчиками мочек ушей и шеи, волосы ее пахли иначе. На экран я не смотрел, и вновь умирал от любви и восторга.

Летом Юлия уехала в город, поступила в институт, и видел ее я редко, лишь когда приезжала она к родителям на каникулы.

Отец ее когда-то занимал крупный министерский пост в Москве, затем сидел в лагере, поселился в нашем поселке, как и очень многие из бывших эзков, без права выезда на запад, работал машинистом поезда, получал высокую зарплату, и жил состоятельно и отчужденно.

Юлия носила роскошные наряды, разбивала сердца, не подозревала о моем существовании, не изменяла своим любимым духам и дружбе с отцом, загадочно и отчужденно улыбалась, а судьбы наши между тем неотвратимо сближались.

Наконец, наступил последний год моей сибирской жизни, я учился в десятом классе, уже провожал девушек после кино, уже с одноклассниками пил вино и даже водку, приезжая на воскресенье к матери (а переехала наша семья и большинство деревенских, после гибели деревни, в поселок, выросший на месте той самой *зоны*, куда бегал я шестилетним ребенком смотреть кино), уже я рвался на Запад – но еще многое важное в моей жизни должно было свершиться на Востоке.

В конце октября, когда уже подмерзали лужи, около пяти часов вечера спускался я от станции по узенькой улочке, и вдруг между зданием вокзала и отдельно стоящим строением, в котором размещался станционный буфет, и куда заходили, чтобы выпить сто – сто пятьдесят граммов водки и закусить бутербродом с килькой, я увидел мужчину в

роскошном пальто, сидевшего на небольшой приступочке, прислонясь к стене... Шарф его был растрепан, глаза закрыты, шляпа валялась рядом. При всей унизости положения, в котором он находился, по-прежнему казался он выше окружающего мира. Так и раненый лев в пустыне – по-прежнему царь ее.

С большим трудом удалось мне привести его в буфет и заставить проглотить полстакана водки; я поступал по наитию, но Александр Иванович пришел в себя и изумленно в меня уставился.

– Как я здесь оказался?

– Я случайно увидел вас неподалеку, и пытаюсь Вам помочь. Поверьте, я отношусь к вам с большим уважением, и обстоятельства нашего знакомства в этом ничего не меняют.

Он снова внимательно меня рассмотрел.

– Кажется, это вы тот самый знаменитый молодой человек, который наделал шуму в нашем поселке своими публикациями в районной прессе?

– Да, тот самый...

– Примите мои запоздалые поздравления! Я тоже ваш поклонник. Странно, дети вырастают, не наследуя страх родителей – как будто и не было сорока лет террора. А вы меня откуда знаете?

– Да я ведь учусь в той же школе, где учились и ваши дети, и вас видел несколько раз. Галя пыталась затащить меня в комсомол, но это ей не удалось.

– А с Юлей вы не знакомы?

– К сожалению, нет... Но я ее знаю. Она очень красива!..

Стоял на ногах Александр Иванович не очень твердо, по-видимому выпил накануне слишком много, однако добрались до его дома мы благополучно. Я поддерживал его под руку, он задал мне несколько вопросов о школе, похвалил наших преподавателей, а на прощанье торжественно и несколько картинно сказал:

– Вот вам моя рука, молодой человек! Поверьте, я разбираюсь в людях и вашу благородную деликатность никогда не забуду!

Я с чувством пожал его руку, склонил голову, и мы расстались, как оказалось позже – не навсегда.

Через несколько дней я уехал, поступил в университет, вернулся на каникулы только на следующее лето.

От деревенских работ меня отстраняли, и я наслаждался свободой и бездельем. Сена уже накосили, в стога его еще не метали, ягоды пока тоже не поспели, и всю неделю я объезжал окрестные деревни и поселки, навещая друзей и родных.

Я уже стал взрослым, мне исполнилось 18 лет, и на девушек и молодых женщин смотрел уже не так робко; удивительно ли, что, наконец, настал и такой час, когда, придерживая рукой чрезмерно бьющееся сердце, отважился я подойти к заветному дому, где жила Юлия.

Вот и плотный высокий дощатый забор, калитка с большим медным кольцом и залиvistый лай собаки.

Стукнула дверь в доме, раздались легкие шаги, калитка открылась, и предо мной предстало очаровательное создание босиком, в коротком платье, в фартуке и с мокрыми руками.

– Ой, простите, пожалуйста, что я так одета, я думала, это кто-то из знакомых, а я пол мою, да так и пошла открывать. Вы к Сереже? Его дома нет...

– Нет, не к Сереже.

– К Гале? Ее тоже нет дома.

– Нет, не к Гале...

– Да и никого нет, кроме меня, так что вам не повезло...

– Почему же? Напротив, мне повезло удивительно, ведь я пришел к Вам.

– Ко мне? – нараспев произнесла Юлия. – Но я вас не знаю...

– Да я недавно только вырос, поэтому мы и не успели познакомиться.

Зато пока молодые люди теряли головы около Вас в штурмах и осадах, я готовился к *мирным переговорам*. Представьте себе, впервые я увидел Вас пять лет назад, когда вы учились в десятом классе, а я даже мечтать о знакомстве не смел. Однажды я сидел в кинотеатре сзади Вас так близко, что кончики Ваших волос прикасались к моему лицу, и был на седьмом небе от счастья. Хотя в эти годы я ухаживал и за другими девочками, но Вас никогда не забывал и ждал нашей встречи. И вот, наконец, я стою около Вас, разговариваю с Вами, и наслаждаюсь тем, что мы только вдвоем, словно Вы подарили мне это долгожданное свидание. Но ведь это справедливо! – обожать Вас целых пять лет – и получить награду за верность. Даже если Вы недолго согласитесь терпеть мое общество, и не захотите встречаться еще, я уже благодарен судьбе за то, что она позволила мне придти к Вам и сказать, наконец, то, что я так часто говорил про себя: я обожаю Вас! Вы – моя мечта, мой сон о любви!

Юлия стояла, растерянная.

– Проходите, пожалуйста, в дом.

Мы пришли на веранду, она усадила меня за стол, накрытый тяжелой льняной скатертью, на которой стояли в вазе полевые цветы, и принесла два альбома с фотографиями.

– Вы подождете меня десять минут? Я уже заканчиваю уборку, только воду вылью и переоденусь. А чтобы не скучно было ждать, можете посмотреть мои школьные фотографии, здесь как раз то время, когда Вы меня впервые увидели. Ну, здесь же, разумеется, и Сережа и Галя... Вы их знаете?

– Да, Галя была пионервожатой у нас, я был ее, можно сказать, правой рукой, она иногда говорила мне – ну, Васька, смотри, не влюбись в меня! – а я не открывал ей тайну, чтобы не уязвить ее самолюбие – она

была уверена, что я уже влюблен в нее безумно – мне же нравилось ее видеть, чтобы в ней видеть Вас.

Через четверть часа Юлия вернулась, одетая в длинное лёгкое летнее платье с глубоким вырезом, и летние туфельки на низком каблуке.

Я внимательно и подолгу рассматривал фотографии, Юлия подробно рассказывала о каждом действующем лице.

– Знаете, что сейчас случилось? – спросил я ее вдруг, потрясенный одним удивительным ощущением. – Такое чувство, словно мы отменили время, разделявшее нас, и я вернулся в тот теплый снежный март, когда сидел около Вас в кино, или даже еще раньше, в бальный зал в школе, где Вы танцевали, а я стоял у стены и не мог пригласить Вас на танец! А теперь Вы словно взяли меня за руку и привели к той Юлии, школьнице, в которую я влюбился, и мы теперь идем вместе, перелистывая последующие годы – и скоро окажемся уже здесь, за этим столом. Целых пять лет Вы вели меня за руку, а я ни разу не прикоснулся к Вашей руке. Можно – хотя бы на мгновение?

Юлия ничего не ответила, и я сжал ее тонкие пальцы.

Мне хотелось сказать, что происходящее похоже на чудо, но я еще не знал, что *чудесное* еще только входит в дом.

Открылась дверь, и вошел Александр Иванович. Мне показалось, что он не слишком удивился, увидев меня. Мы поздоровались, он склонил голову в приветственном жесте, ушел в комнаты, пробыл там недолго, и подошел к Юлии.

– Юлечка, можно тебя на несколько минут?

Они вышли, скоро вернулись, Александр Иванович попрощался со мною за руку и ушел. Юлия выглядела изумленной.

– Василий, Вам придется еще немного меня подождать.

Прошло еще четверть часа ожидания, и вышла... сверкающая молодая красивая женщина в бальном платье и изящных модных туфельках, на шее ее было тонкое ожерелье, в волосы был вколот желтый цветок *купальницы*.

– Необходимо еще кое-что принести, вы мне поможете?

– Разумеется!

Принести и расставить на столе нужно было то, что теперь уже меня повергло в изумление – мы принесли рюмки, легкую закуску и ... бутылку *столичной* водки.

–Что всё это означает? – спросил я удивленный.

– Именно это я хочу спросить у Вас, хотя Вы, вероятно, ничего мне не объясните. Отец просил меня угостить вас, приветить насколько можно радушнее, и принарядиться так, как если бы я нарядилась на свадьбу, а в объяснение сказал, что вы – самый близкий и самый верный друг его, но обстоятельства дружбы открыть он не может – это ваша совместная тайна. Значит, я просто принимаю просьбу отца как должное и вот стараюсь все сделать так, чтобы он был доволен.

Хорошо еще, он не попросил, чтобы я тут же вышла за Вас замуж! Ну что ж, ухаживайте за дамой, *верный* друг!

Я разлил водку

– Хотя я и сибирская девушка, – со вздохом сказала Юлия, – но водку я пить не умею. Я пила вино. Однако, раз отец приказал пить водку, надо повиноваться.

Мы чокнулись и выпили за нашу встречу.

– Юлечка, Вы сказали – хорошо еще, что отец не попросил Вас выйти за меня замуж!.. А если бы он попросил, что бы Вы ответили?

– Но он же не просил!..

– Юлия! Вы не отвечаете на мой вопрос!

– Какой?

– Вы согласились бы выйти за меня замуж?

– Когда я должна отвечать?

– Сейчас...

– А когда выходить замуж?

– По-видимому, как и просил отец – немедленно...

– Но ведь он не просил меня выходить замуж!

– Он попросил одеться, как на свадьбу, а предложение должен был сделать я! Зачем же на вас подвенечный наряд как если не затем, чтобы все случилось немедленно?! Дайте вашу руку!

Юлия повиновалась.

– Разве Вам не казалось, что вы ждете кого-то?

– Да, конечно... Но ведь каждая девушка ждет того, кого она воображает в мечтах...

– Я не знаю, совпадаю ли с тем, кого Вы видели в своем воображении... Но на Вас уже подвенечное платье, и стол накрыт для свадьбы и, следовательно, возможно, что Вы ждали – меня.

Можно... поцеловать Вас?

Юлия ничего не ответила и чуть приоткрыла покорные губы...

.....

– Свидание закончено! – раздался вдруг грубый голос. – Руки за спину, не оглядываться, не разговаривать, конвой стреляет без предупреждения...

– Можно, я пойду вместе с ним?

– Нет, сейчас нельзя! Мы позовем вас позже, когда будем судить его. А теперь, сын крестьянки Марии и плотника Ивана, ты будешь свидетельствовать на другом суде. Ты обещал защиту одной несчастной грешнице – попробуй ее защитить, если сможешь...

Глава четвертая

СВИДЕТЕЛЬ ЗАЩИТЫ

1.

– Тэк-с, тэк-с.. Ну, все явились? Рассаживайтесь поскорее! Не очень-то тут благолепно, кругом грязь – но да что делать, такова жизнь!

И мантий судейских не нашли, кто в чем... Ну, ладно...

Значит, так... Я – Председатель Суда, все остальные – народные заседатели, включая конвой. Господин защитник, займите место сбоку от стола, Фундыкин, сядь с ним рядом, с ружьем, чуть что – прикладом его! Заседатели – в зале...

Значит, так... Суд заочный, подсудимая отсутствует. Решение нашего суда будет носить рекомендательный характер, но – к нашим рекомендациям *очень* прислушиваются! Господин защитник может сослаться на любые факты, сведения и доводы; свидетели, свидетельства и документы будут представлены, невзирая на обстоятельства и время – либо для подтверждения его слов, либо для опровержения их. Единственное, что не позволено защитнику – задавать вопросы, спрашивать кого бы то ни было об обстоятельствах дела.

Вполне вероятно, что он знает все то, что является предметом нашего разбирательства, знает обо всех событиях в жизни подзащитной и может их объяснить и истолковать. Мы не судим предвзято. Хотя у нас и сложилось некоторое представление о том, что происходило, но мы готовы изменить его, если будут представлены убедительные доказательства иного видения и толкования фактов.

Отчасти, наш суд – всего лишь игра, да-да-с... Однако – горе проигравшему! Слишком высоки ставки... Времени осталось мало, господину защитнику вскоре и самому предстоит держать суровый ответ.

Ну-с, я готов слушать... Имярек, вам слово! Все, что имеете сказать, разрешено высказать...

Я начал торжественно:

– Уважаемые судьи, высокий суд! Кроме вас незримо в этом зале присутствуют миллионы свидетелей. Все судьбы переплетены так, что грань между свидетелем и подзащитным не всегда существует, часто, чтобы защитить одного, необходимо защитить многих, и их оправдание станет оправданием и моей подзащитной. С пониманием отнеситесь и к тому, что иногда наше внимание будет переноситься с действующего лица на то *событие*, в котором он участвовал, и именно *событие* нужно будет осудить или оправдать!

– Господин защитник, я вас на минутку прерву. Хочу предупредить и вас, и господ заседателей – мы не в английском суде, у нас не действует

прецедентное право, и что бы ни было когда либо оправдано (или, напротив, осуждено) – это не должно влиять на наши выводы.

Мне показалось, что господин защитник намекает на *известное происшествие*, случившееся две тысячи лет тому назад, когда некую девицу некое *известное лицо* защитило, предложив бросить в нее камень первому тому, кто оказался бы среди тогдашних *народных заседателей* безгрешен.

Хочу предостеречь господина защитника, чтобы не питал он напрасных иллюзий – мы не те щепетильные заседатели, и не замедлим бросить камень во всякого, кто этого заслуживает. Фундыкин, внеси камни.

Фундыкин зло глянул на меня, положил с опаской ружье на стул, прошипел: “ты смотри, не балуй!”, и вышел. Через минуту он уже вернулся, сгибаясь под грудой камней.

– Не беспокойтесь, господин председатель... – продолжил я.

– *Товарищ* председатель! – поправил меня Гоммель-Кантышкин...

– Да, да, простите! Итак, не беспокойтесь! Если я и вернусь к известному происшествию, то не для того, чтобы сослаться на него в интересах защиты, а чтобы ходатайствовать о пересмотре прошлого дела.

Дело в том, что девица, о которой идет речь, хотя и была *помилована*, но не была *оправдана*. Более того, в отношении нее не было даже судебного разбирательства. Согласно ветхозаветному праву, она осуждалась априори, до разбирательства и без него, но именно в то время происходили потрясения основ и в действие уже вступало новое право, Откровение о котором было дано тем самым *известным лицом*. Хотя и было Им заявлено, что Он “пришел не *нарушить* старый закон, а лишь *подтвердить* его”, но – пересмотру и отмене подверглось многое, что обладало силой традиции и закона. Отмене подверглось положение “*око за око и зуб за зуб*”, и милосердие и прощение поднялись выше осуждения и возмездия. То же самое лицо заявило, что “*не человек для субботы, а суббота для человека*”, и если под *субботой* понимать закон, то тем самым человек был поднят над законом, и была отменена основополагающая ветхая идея, что закон во *всяком* случае выше *всякого* человека.

Итак, судьи судили по старому праву, и лишь под известным нажимом не ввели в действие заранее установленный приговор. Но обычная юридическая практика гласит – всякое лицо осуждается или оправдывается на основании того законодательства, которое действует в настоящее время.

Несчастливая особа не была оправдана, и этот факт имеет важное значение и для моей теперешней подзащитной. Невольно заседатель, решая вопрос о виновности или невиновности современницы, непостижимо для себя оглядывается на прошлое. Камень не был брошен, но “*она* его *заслуживала!*” – думает заседатель, и эта мысль предопределяет его выводы.

Я заявляю протест и вношу ходатайство о пересмотре старого дела! – в противном случае мне придется – я пока только намекаю на это – поставить вопрос о возможности и правомочности сегодняшнего разбирательства... Ведь если старую практику считать всё ещё действующей и не отменить, то кое у кого может появиться соблазн вспомнить об *изгнании* бе...

– Осторожней выразайтесь, господин защитник! Не надо об *изгнании*! Мы же все-таки живем в цивилизованном обществе! И вы совершенно правы, говоря об отмене старой практики, а то у нас тут вместо заседателей появятся "*тройки*", вместо показаний – *доносы*... Ваше ходатайство принято, дело о девице рассмотрим в одном деле с вашей подзащитной, старые приговоры считаем недействительными. Продолжайте! И *изгонять* никого не будем!

– Помимо свидетелей, незримо присутствуют на нашем суде еще две заинтересованных стороны, представляющих ветхозаветное и новозаветное право. К сожалению, при известных противоречиях они во многом согласны, и передо мною встала трудная задача, обращаться ли к свидетельству **Откровения** в споре с **Традицией** и умолять о милости и снисхождении к человеческим слабостям, соглашаясь с основным положением *Откровения* о греховной природе человека, или дерзнуть защищать человека и всё творение Божие от обеих сторон?

Я, разумеется, не оспариваю Того, Кто нам дал Откровение – но тех, через кого оно было дано. Увы, ученики не всегда понимают учителя до последних глубин и могут ошибаться. Откровение дано *через них*, но не принадлежит им всецело, а обращено ко всякому человеку.

Я не говорю о том, вправе ли я усомниться в справедливости *свидетелей* Откровения – пусть, пусть у *них* неизмеримо больше прав, чем у меня, но и я дитя человеческое, и разве справедливо отнять у меня право на мое собственное понимание и толкование Истины? К сожалению, я не смогу разделить учение на составные части, одно принимая, другое оспаривая – оно цельно... потому похоже на то, словно спорю я с Откровением в целом. Но Учителя я хотел бы защитить отчасти и от учеников Его, даже если я самый последний из тех, кто мог бы на это дерзнуть!

– Господин защитник, не расскажете ли о своих правах подробнее? Я ведь историк, можно даже сказать – археолог, об известной эпохе тема моей докторской диссертации...

– Нет, нет, мы отвлеклись, сейчас я не буду говорить об *особенных* правах... Я просто свидетель защиты и воспользуюсь только теми правами, которыми обладает каждый человек. Я возвращаюсь к предмету нашего разбирательства...

– Жаль, очень жаль, что... Впрочем, ладно, мы вернемся к этой теме позже... Ваша знаменательная оговорка о том, что хотя у других, тех, с кем вы собираетесь спорить, прав неизмеримо больше, однако, какие-то

права есть и у вас... и даже вы их назвали *особенными*, для меня весьма ценное свидетельство того, господин защитник – или лучше сказать, господин спорщик – что всё это может быть и не совсем так, и не так уж права противной стороны велики в сравнении с вашими... О, мы еще с вами поработаем... Вы не разведчик... Многие вы действительно позабыли, и я помогу вам вспомнить. А сейчас – да, да, вернемся к разбирательству.

– Итак, с вашего разрешения, товарищ председатель, господа заседатели, я продолжаю.

Начну с замечания банального – часто события в нашем мире так связаны, что трудно бывает найти из множества истоков происходящего важнейший. Иным, слишком сосредоточенным на близлежащем, кажется, что решающую роль играет наш личный произвол, другие, растерянно взирающие на бесконечный хаос взаимных влияний, полностью отрицают нашу способность определять нашу жизнь, а следовательно, и отвечать за нее. Обе эти крайние точки зрения имеют негативные последствия для человечества – в одном случае, игнорируя объективные обстоятельства, при которых происходит событие нашей личной жизни, мы проходим мимо внешних оправданий, заставляя держать ответ только действующее лицо пьесы, как будто у нее нет ни автора, ни режиссера; в другом – видим в человеке чистый лист бумаги, на котором другие пишут что им заблагорассудится. В действительности же действует синтез намерений, побуждений, воли, страхов, опасений, условий, заблуждений, действующий словно акционерное общество, оно заказывает музыку, и оно же должно оплачивать счета, либо в строгом соответствии с распределением степени участия в происходящем, либо перекладывая ответственность на держателя контрольного пакета акций.

Нелегко думать, что во всех случаях для всех в мире акционерных компаний этот пакет у Всевышнего, но равное заблуждение считать, что акционеры ни от кого и никогда не зависят.

Судьба моей семьи не определялась ни на семейном совете, ни на небесах; или отчасти и здесь и там... А, может быть, в еще большей степени в преисподней – впрочем, как судьба и всех крестьянских семей в России... Нас несло в углой лодье в половодье через пороги и заводи, гребцы гребли сколько было сил, иногда беспорядочно, когда заливало водой и не видно было ни зги, но куда несло и выносило, часто мало зависело от нашей воли и наших усилий, или не всегда.

Мы готовы отвечать за то, **что и как** делали, но не за результаты, которые по большей части не могли предвидеть и даже предполагать их было не в наших силах.

Я нуждаюсь в том, чтобы высокий суд выслушал меня и обдумал мои доводы прежде, чем вынесет приговор, но для этого надо забыть сложившиеся мнения и оценки. В *начале* нашего *разбирательства* мы

еще не вправе с уверенностью знать, кто виноват и кто прав – необходимо признать это, вы должны произнести эти роковые слова, иначе бесполезно мне здесь расточать остатки моего красноречия.

Есть такая расхожая фраза – *человек за все в ответе!* – ее часто любят повторять сильные самоуверенные люди, едущие в вагоне первого класса. Кто их туда посадил, им часто неведомо, надо ли им **отвечать** за то, что именно они едут именно первым классом, им даже не приходит в голову.

Для них очевидно, что в ответе либо те, кто едет третьим классом или прошмыгнул в вагон без билета, либо те несчастные, которые штурмуют железнодорожные кассы и не могут приобрести билет не только в первый, но даже в третий класс.

Не лучше обстоит дело и с теми, кто проповедует и поучает, что без воли **свыше** не упадет даже волос с головы человека... Иногда я готов с этим согласиться, и тем более, если понятие "свыше" трактовать расширительно! Каждый раз, когда меня вели на допрос, я знал твердо, что "воля свыше" – это воля следователя, и она абсолютна и неколебима. Я шел по гулким железным переходам четвертого этажа во внутренней тюрьме Большого дома, внутри тюрьмы было обширное пустое пространство, переходы были отгорожены от него частой проволочной сеткой, так что слева от меня была стена тюрьмы с рядами камер, справа – ограждение. Даже если бы я отказался идти, это не нарушило бы predetermined order.

"Волю свыше" исповедует большинство – иногда я готов согласиться с ними, но, Боже, как скучно и как тоскливо поверить всерьез, что все происходит только так *всегда и безусловно*, что словно механическую игрушку некто меня заводит по своему произволу, и я затем вынужден исполнять определенный танец или играть заданные мелодии.

О какой защите, оправдании или осуждении может идти речь в этом случае, если в наших поступках только воля и, следовательно, вина – свыше? Так же, если справедливо, что мы изначально греховны, то наши страдания – это наказание по *нашим грехам* и значит уже происходит исполнение приговора, а не судебное заседание?

Осуждение и наказание относятся лишь к преступной воле, сознающей себя и собою распоряжающейся. Невиновны дитя и душевнобольной, ибо не ведают, что творят. Но кто виноват, кто отвечает за наши поступки, если *даже волос с головы не упадет...* и так далее? Ясно, кто виноват и кто отвечает... Тот, чья воля решающая! Но кого мне тогда защищать? Однако, полагая, что в основе происходящего всецело и только **Воля Всевышнего**, мы боимся возложить на Всевышнего *вину* – в особенности, если речь идет о действиях, приносящих зло, ибо мы не смеем усомниться в том, что *Всевышний* – *всеблаг*, а потому не может быть источником зла и отвечать за него, следовательно, *причина зла* – *наше грехопадение*, либо нечистая сила,

соблазняющая и совращающая нас, даже если все происходит не по нашей воле, а с ведома *гражданина начальника*.

Господа народные заседатели, мы здесь для того, чтобы выслушать и понять, и затем спросить у нашей совести, если она у нас есть, чью и в чем она видит вину. Есть два рода людей, не заинтересованных в исследовании истины – фарисеи, стремящиеся утопить исследование в схоластическом словопрении, и книжники, стремящиеся расчислить и расчертить непостижимый Божий мир так, чтобы трагические взаимосвязи в нем были подменены примитивной и пустой рациональной схемой. Но мир иррационален как ветхозаветный Бог, который наказывает невинного и благодетельствует злодею.

Итак, есть ли среди вас фарисеи и книжники, ибо я хотел бы тогда воспользоваться своим правом и заявить им отвод?

В зале зашумели и закашляли и начали переглядываться...

– Спокойствие! – поднял руку председатель. – Я отвечаю и гарантирую, что ни фарисеев ни книжников среди нас нет.

Более того, мы все только историки, археологи, *разведчики*... гм... *прошлого*, то есть мы – ученые, среди нас нет ни философов, ни политиков, ни пропагандистов, ни агитаторов, ни миссионеров, ни представителей церкви или заведующих идеологическим сектором. Более того, здесь нет сотрудников так называемого *первого отдела*...

– Но тем не менее, – встрял Фундыкин, – господин председатель, так называемый защитник оскорбил Всевышнего, не садануть ли его прикладом, чтоб более не позволял?

– Секретарь внес его слова в протокол, в свое время он за них еще ответит, так что не беспокойтесь...

Продолжайте, господин защитник.

– Продолжаю... Итак, хотя основной вопрос философии, вопреки той ахинеи, которую несут фарисеи и книжники, это – **Кто виноват и кто за все ответит?** – но если наш суд объективен и беспристрастен, то мы пришли сюда, чтобы **спросить** и попытаться **узнать**, а не с готовым ответом в кармане, который мы заучили в букваре или в катехизисе. Мы еще ничего не знаем, и наша задача – попытаться узнать правду.

Я удовлетворен вашим благосклонным вниманием к моим словам и надеюсь, что истину нам удастся частично приоткрыть.

Нападая на книжников, я не отрицаю всякое **книжное знание**; взывая к совести, я не отвергаю всецело логику, однако, с нею нам будет труднее всего. Моя логика не так проста... Но она не сложнее того, с чем мы сталкиваемся повседневно. Так, рядом со мною неподкупный охранник, видный гуманист эпохи с прикладом в чистых руках и с честным мозолистым трудовым лицом, но он же господин Рвов-Завалетов, *разведчик прошлого*, кандидат парапсихологии, и я не вижу в этом противоречия. Или, напротив, чем более противоречий открывается нам в наших исследованиях, тем более они достоверны.

– Фундыкин, сиди спокойно, ружье отберу! Не дергайся, до тебя очередь еще дойдет...

– Вернусь к *пассажирам первого класса*. Зимой 52-53 года здоровье мое неожиданно резко ухудшилось, по ночам приходила старуха с косой, я кашлял, худел и таял как снег в конце марта. Мое положение в табели о рангах было даже хуже, чем у тех, кто стоял на вокзале в очереди за билетом... Дело в том, что у меня не было денег на билет даже в третий класс, и неизвестно было, куда ехать. Однако, зима эта была удивительной.

Мне исполнилось десять лет, я учился в пятом классе и жил на квартире в чужой семье в двенадцати километрах от дома, осенью в родную деревню ходил пешком, зимой за мной приезжали на санях.

Питался я вместе с хозяевами, продукты были из деревни, раз в месяц приезжал со мною мой дед и привозил картошку, капусту, сало и круги мороженого молока. Хлеб и сахар и какие-то еще мелочи покупал я сам в магазине – для этого мне выделялись "хлебные" деньги, и не так мало – я был самым привилегированным ребенком в нашей деревне, потому что из всех погибших деревенских солдат мой отец единственный довоевал до офицерского звания, и мне с мамой платили немалую по нищим деревенским меркам пенсию. Но, увы, *хлебных* денег не всегда хватало – я начал играть на деньги в лото с какими-то сумасшедшими поселковыми девками и бабами, которые при мне обсуждали свои наряды в перерывах игры, и даже их примеряли – конечно, я был гениальным ребенком, но примерки их затмевали мой ум, и тогда я проигрывал. Бывали, правда, и выигрыши – и как-то я купил большой каравай *ситного хлеба* – такой душистый, белый и мягкий, что и на Крещатике в святом граде Киеве, бывшей столице Руси, подобного каравая мне найти не удалось.

Старуха с косой приходила все чаще, и на Рождество меня решили забрать домой насовсем – вдруг, да дома начну поправляться!

И в это время совершенно неожиданно мне принесли и вручили билет в *мягкий вагон*, и как лучшего ученика в районе повезли лечиться в удивительную долину в Предбайкальную Сибирскую Швейцарию, где зима была мягче и лето ровнее, чем в наших краях, где росли облепиха и кизил, местные сорта яблок, ручьи были опутаны зарослями краснотала, река весной разливалась, в библиотеке водились книги, игрались спектакли в любительском театре, и по раю бродила прекрасная невинная Ева, загадочно улыбаясь.

В рай повезли меня тетя Соня и дядя Костя, я жадно вглядывался в блестящие металлические детали поезда и вагона – так удивительно все было после деревянной и домотканой деревни и такого же нищего станционного поселка, где я учился, – в роскошные габардиновые пальто пассажиров, кашемировые шали их спутниц, строгую форму проводника, который мне казался генералом – и в это время в проходе вагона

показалось трое безногих калек, защитников отечества, "выигравших" войну против Гитлера и Германии вместе со Сталиным, организатором и вдохновителем побед, вместе с одноногим Дрыганским, пропившим колхозную корову, Лешкой, гонявшим свою Варьку по деревне, и теми, кто вместе с моим отцом уже не стояли в очереди за билетом. Но какой билет был у этих троих?

Один широко растягивал мехи рыдающей *хромки*, медали звякали на выцветшей гимнастерке, другой играл на балалайке, третий пел хриплым, но сильным и мелодичным голосом:

Я был батальённый разведчик,

А ён писаришка штабной....

Я был за Расею ответчик,

А ен спал с маею женой...

Шел январь пятьдесят третьего года, восьмой год от войны, сколько их, безногих и безруких, уже умерло или толпилось в тесных и нищих приютах?! И сколько же их было всего, на грязных деревянных перронах Тайшета и Канска, в коридорах вагонов и холодных тамбурах, в душных станционных буфетах, выпивающих свою стограммовую стопку, последний приют несчастной души, на базарах районных городов продающих берестяные туески и деревянные ложки, и даже в пятьдесят восьмом году поющих печальные солдатские баллады в поездах дальнего следования!

Где же раздают билеты? Сам ли человек их покупает, гордясь своими заслугами и удачливостью, или раздают их на небесах?

Кто виноват и кто в ответе и потребуют ли с нас плату за выпитую воду и пролитое вино?

Вопросы не просты, ответ не лежит на поверхности, и я прошу прощения за то, что не спешу перейти к сути, а подробно останавливаюсь на обстоятельствах, при которых произошли интересующие меня события. Чтобы понять, куда несло лодку и праведно ли вел себя один из гробцов, надо рассказать обо всех, кто в ней был.

Продолжу рассказ о моем отце.

В шестнадцать лет он принес свою первую жертву и вместо старшего брата взял на себя заботы о семье; в двадцать девять лет принес он последнюю жертву и в августе сорок четвертого года, более полувека назад, на зеленом некошеном лугу Карельского Перешейка сложил свою голову.

Был он светлым и благожелательным человеком, и скажет ли кто из знавших его, что "из праха он и во прах возвратился"? Нет, утверждаю и верую, что "из духа он, и в дух возвратился".

Жена его прожила с ним предвоенный год и была счастлива, родила сына, хранит его память и оплакивает до сих пор. Сын родился в первую военную зиму, и они никогда не увидели друг друга. Пока отец был жив, сын не знал о его существовании, а когда научился чувствовать и

понимать, а произошло это довольно поздно, в четыре года – он уже смог узнать только то, что *отца у него – нет!*

У трех-пятилетних ребятишек, играющих вместе с ним в песочек, были мамы, бабушки, дедушки, добрые и любящие, из плоти и крови, с теплыми мягкими руками. В бабушкин подол было так уютно уткнуться и слушать волшебные сказки, из маминых рук получить пахучий ржаной сухарик, из дедушкиных – свистульку!

Что мы думали о своих отцах? У одних из нас отцы уже погибли, у других еще продолжали воевать...

Мы были дети своих земных матерей, которые **были**; и неземных отцов, которых – **не было...**

У некоторых из нас отцы потом появились – после рождения; у меня и миллионов моих сверстников отцов не было тогда и не стало потом.

Будем ли мы сегодня оспаривать это странное утверждение? Да, *отца у меня не было, хотя он был; и он, разумеется, был, хотя его не было.* Как примирить его одновременное бытие и небытие? Кто он, **существующий несуществующий?**

Понимаю ли я, что дерзаю подвергнуть сомнению основы христианского мироощущения? Что колеблю краеугольные камни традиции?

Небо, слишком низко висящее над головой – не подлинное. Оно должно быть высоко и глубоко. Что же это за небо, если до него можно дотянуться рукой и потрогать? Но если не удастся его поднять, а необходимо, чтобы оно было высоко, и чтобы наша молитва и наше благоговение возносились далеко ввысь, нужно опустить человека – как можно ниже, даже в преисподнюю. И тогда естественно верить, что все, “что высоко перед людьми – мерзость перед Богом”; что человек только плоть, а плоть немощна, тленна и **смердна**; что человек закоснел во грехе и пороке; что рождение человека – результат и продолжение перво-родного греха; и, наконец, что человек – **тварь и раб Божий**, но уж никак не высочайшее и любимое **Его творение** и тем более не сын Божий и что **Господь – Господин, но не Отец.**

Две тысячи лет от Рождества Христова христианское человечество утверждало и проповедовало только низость человека и его природы и уж тем более всей остальной природы; отрицающий эту правду – еретик и преступник, и я слышу хлопанье дверей и шум шагов – это собирается новый синедрион, чтобы осудить раба, дерзающего стать свободным.

О, мой отец! С таким запозданием пришел я воздать тебе должное и воздвигнуть памятник – не во плоти, а в духе! Но мне требуется и твое прощение и твоя помощь. Жизнь моя протекала в суете и преобразить ее мне не удавалось. Что со мною случилось, когда произошло мое падение – мне не ведомо, хотя смутно предчувствую, что готовится нечто, и ещё приоткроется дверь; жизнь протекла в суете – вот почему так поздно я пришел к тебе.

Правда, тебя упрекнуть никто никогда не смел, и защита моя тебе не требуется, но *должного тебе не воздали*.

Необходимо припомнить всю правду и воздать все должное! Высокий суд, я прошу свидетельства только об одном дне – 19-е августа сорок четвертого года.

Был жаркий полдень, солнце сияло слишком ярко, и горело израненное тело. Легкий ветерок подул, природа пришла помочь и проститься. Наступила удивительная тишина после нескольких часов непрерывной канонады. Снарядов больше не было, но и последняя гаубица была разбита. В живых оставалось четверо, двенадцать человек погибли. Только что была отбита третья атака. На этом фронте война должна была закончиться через три часа, но они еще об этом не знали. Через три часа оставшиеся в живых по всей линии фронта были отведены в тыл, а затем отправлены на восток, на границу с Монголией, и больше в военных действиях участия не принимали.

– Командир, – хрипло сказал ефрейтор Петров. – Они не сунутся еще долго, мы понесем тебя на плащ-палатке. Мы успеем, командир!

– Ребята, – ответил им командир еле слышно. Он берег последние силы. – Со мной вы не дойдете. У меня осталась граната и четыре патрона, и я их задержу. Я приказываю вам отступить. У вас еще должны родиться дети, а у меня сын уже есть, идите!

Высокий суд! Мой отец защищен своей смертью более, чем жизнью, а к воздаянию должного я еще вернусь. Теперь же я хочу защитить свою мать, и я скажу о ней все, что знаю, и даже всё то, что могло бы служить обвинению – но послужит ее защите. Но жизнь моей матери, мое рождение и смерть моего отца соединены в единое и неразрывное целое, и я буду говорить о нас троих. Рождение мое двойко. Я родился во плоти от Ивана да Марьи, проживших счастливо один год, расставшихся навсегда, и зачавших меня по любви в последнюю ночь перед расставанием. Во грехе ли я зачат, от родителей, которым определено было – одному стать лишь образом сыну своему и воспоминанием жене, и другой – *выносить*, родить, вскормить и воспитать сына того, кто никогда больше не согрел постель ее и воистину словно Дух святой явился лишь для зачатия?

Я прошу свидетельства моим словам от всех убиенных в этой войне!

Словно завеса разодралась, и от края и до края предстала Россия, леса и дороги ее, сожженные деревни и разрушенные города, и двадцать миллионов погибших солдат застыли в скорбном молчании.

Я прошу свидетельства моим словам за всех детей, родившихся в войну от безмужних жен и погибших отцов. Я – только один из них.

То подобие, которое усматривается в моей судьбе и в мистерии пришествия Спасителя – не следствие моего святотатственного намерения исказить и неверно соединить факты – но следует из

замысла Творца, ибо *по образу и подобию Своему* создал Он нас, и две истории – *Священная история Нового Завета* и история человечества – переплетены и соединены в неразрывной мистерии.

Итак, родился я без отца, как миллионы моих сверстников, или, точнее говоря, от отца, который для меня был во плоти лишь на мгновение, а затем на нем почил Дух святой.

Мать же моя – безмужняя жена. – Так жена ли она *во плоти* или только *в духе*?

– Вот оно, роковое слово! – выкрикнул кто-то из заседателей. – Вот и договорился он до того, что родился, дескать, от Духа свята и Марии Девы!

– Фундыкин, выведи книжника из зала! Вы поспешили, уважаемый, защитник слов этих не произносил... Портите мне дознание, черт вас побери! Фундыкин, возьми-ка несдержанного господина, руки у тебя, я вижу, чешутся, ну и всыпь ему прикладом как следует!

А защитника оставь, у нас с ним еще все впереди. Объявляю перерыв на полчаса.

– Через два года после смерти отца мать моя снова вышла замуж – со страху, что если еще промедлит, то мужчин уж и совсем не останется, всех разберут.

Да и так на каждого из них приходилось по пять, а то и по десять молодых и здоровых женщин, а тут еще и младшие сестры подрастали, и куда же им было деваться, семнадцатилетним девчонкам, и у старших сестер отбирали они последних кавалеров, звенящих медалями и орденами на донашиваемых военных гимнастерках.

...Вечером первого дня, как приехал я домой после первого университетского курса, попросилась придти тетя Даша – “посмотреть на меня”; была она соседкой и маминной подругой и в деревне, и здесь, в поселке. Выпили мы немного за встречу, и попросил я их спеть что-нибудь наше, деревенское... Ах, как она пела на Клавиной свадьбе пятьдесят лет назад – да когда же прошли они, пятьдесят-то лет? Или это сон только страшный, а мы все еще гуляем на свадьбе, и вот допоет тетя Даша, молодая и красивая певунья, доплачет, дорыдает – уж так полагалось на свадьбе, что надо было оплакать невесту – и поведут ребятишек кататься на тройках!

Да невесту ли счастливую оплакивала она тогда, а не свою ли загубленную юность и жизнь?

Двадцать миллионов женихов и мужей не явилось с той проклятой войны и что же теперь было делать двадцати миллионам невест и жен? О, как долго оплакивали они возлюбленных своих, не вернувшихся с войны, – но кто и когда оплакал их самих?

Правила добра... Возможно ли было жить по ним? Я-то себя и вправду неправильно вел, на чужих жен нескромно смотрел, и не смею оправдываться.

А жены, которые на чужих мужей нескромно глядели – оправданы ли они?

Тетя Даша родила пятерых детей, и всех вырастила – одна! А кто их отцы, так и не узнали дети ее.

Иные девы, особенно в первые века христианства, давали обет целомудрия, и часто бывало так, что приходилось им муки претерпевать, чтобы сохранить себя, чтит их память церковь по постным дням.

А тетя Даша тоже муки претерпела, и легко ли ей было, когда на семерых молодых мужчин в нашей деревне было двадцать семь девок и баб, и когда работали от зари до зари, и когда мужние бабы стерегли своих мужей – легко ли ей было через все препоны и тернии пройти, и зачать пятерых?! Или *непорочно* зачала они их? Так неужели не тетя Даша святая, а бездетные сухие смоковницы?

– Подожди-ка ораторствовать, не все расселись еще! – словно сквозь сон, донесся далекий председательский голос.

Страшная усталость обволокла меня как тина, и видения одно за другим потянулись как сны. Я существовал одновременно в двух планах бытия, и то резко приближался указующий перст *разведчика Прошлого*, то выступала кусками повседневная жизнь.

По-видимому, у меня жар, – подумал я, – вот и проваливаюсь я временами в иные времена... Или из-за привычки к задумчивости забредаю невесть куда...

Высокий Суд, разрешите продолжить.

Оттого ли, что с рождения окружали меня женщины, и в детстве они особенно меня баловали, женские заботы и печали стали мне ближе всего; а еще и притягивали меня женщины сильнее, чем других, вот и рос я не так, как надо.

В школе, естественно, стали дразнить меня *девичьим пастухом*, а в зрелые годы обзывали *дамским угодником*... Правда, зато защищали меня девочки и дамы от всяческих невзгод. Даже был совсем удивительный случай: в шестом классе оказался я самым младшим среди мальчишек, иные из них были даже на два года старше меня, и вот из них двое стали всячески меня притеснять... Терпели-терпели девочки поношение своего *пастуха*, да, наконец, не вытерпели, сговорились, и в один прекрасный сладкий час подкараулили моих обидчиков одних, заперли класс и устроили великую битву, в которой разгромили злодеев почти до остатка (не помню уж теперь, живы ли они еще остались...).

Конечно, я стал знаменит на всю школу, долго прибежали посмотреть на меня из других классов и девочки и мальчики, зато преследовать меня с тех пор остерегались.

Ах, милые женщины! Сколько вы меня мучили с тех пор – но все прощаю вам хотя бы за одну ту старую битву! Впрочем, теперь и на мучения я по другому смотрю, и не я ли и был подлинный мучитель, мучающий и себя и вас?

Высокий суд, вы, кажется, уже все расселись...

Из-за того, что о женщинах я постоянно думал, и занимали и в жизни моей они главное место, естественным образом столкнулся я с мужским хамским самомнением, высокомерием и женоненавистничеством.

Конечно, девочки меня защитили чудно; но не сторицей ли и я им воздал? Ах, сколько же я защищал их во всю мою жизнь – и в повседневной жизни, и в литературе, и в постоянных разговорах и спорах с мужчинами, и в размышлениях, и в *прозрении*, в незримом духовном противостоянии церковно-религиозному, философскому и социальному унижению женщины!

Женщина присутствует во мне постоянно как аромат цветов летом или как солнечный свет присутствует днем, даже если небо закрыто тучами. И, разумеется, присутствует она во мне значительно, больше и постояннее, чем у относящегося к ней пренебрежительно, а тем более ненавидящего ее – им-то с нею тяжело, они должны хотя бы иногда забывать о ней, чтобы дух перевести, а мне с нею так же легко, как с дыханием!

Но, к сожалению, история взаимоотношений двух половин человечества, в особенности до двадцатого века, – это скорее история непонимания, недоверия, иногда вражды, вынужденного сотрудничества, но редко любви; христианство и церковь и народная традиция внедрились в сознание народа, в его дух и плоть, что желание близости с женщиной, то есть *чувственная любовь* – это грех и слабость. В браке чаще всего соединялись по воле родителей, но не по взаимному тяготению.

Существовал источник идейного, мистического, религиозного и культурного отрицания женщины – это аскетическое монашество, которое можно выразить в следующей грубой, но совершенной и точной формуле – *я хочу ею обладать, но желание это внушено дьяволом и его надлежит преодолеть, искоренить, уничтожить – в крайнем случае вместе с нею.*

Монах бежит в монастырь – нет, не спастись ему от *нее*! Он бежит в пустыни, в горы, в катакомбы, в пещеры и ущелья, в расселины, безводные каменистые осыпи, в пески, в снега, во льды – а *она* является ему в снах и *снимает одежды*.

Временами я ему завидую. Так жажда ее, до такого исступления доходить, сражаться с искушением, изнемогать – и вдруг, уже почти достигнув бесстрастной святости – пасть вместе с нею на каменистом ложе! – о, если бы я так любил женщину, как они!

Но как же они ее и ненавидели!

Прочитайте их книги и проповеди! Прочитайте *святого Иеронима*, который больше ничем и не занимался, как борьбой со своей похотью! И с каким еще грехом так яростно боролось христианство, тем более в своих наставлениях? В сочинениях Оптинских старцев? Средневековых монахов? Древних аскетов?

Если бы я не был уверен, что все это "*блудоненавистничество*" всего лишь замаскированное *женоненавистничество* и только соблазн и только от нечистой силы – я бы не отозвался обо всей этой аскетической традиции так грубо. Да и в ветхие времена за блудницами все больше разные высоко нравственные старцы гонялись, чтобы камнями побить, а молодежь если и гонялась, то совсем с другой целью. Также никто не борется с вином так неистово, как те, кто доходил до дна. Они даже тексты Священного Писания переписали, чтобы всякое упоминание про вино убрать.

Кстати, только я про вино вспомнил, захотелось выпить – с тоски или скуки... или Бог знает по какой причине... а в кармане как раз была бутылка. Я шел по Лиговке в сторону Обводного канала, эта часть Лиговки была вся изрыта, трамваи не ходили... На пересечении с Разъезжей улицей небольшая компания работяг уселась перекусить на фанерные ящики, из ящиков же посередине у них был стол, накрытый газетой, стояли две бутылки портвейна, огурцы, хлеб и плавленые сырки. Всего их было четверо, востроглазый мужчина в чистом костюме, видимо, прораб, двое в спецовках и девица лет двадцати пяти, довольно потасканная, крашенная и с подбитым глазом. Лет десять назад она была красива, но неудавшаяся жизнь...

– Да чего ты мелешь, какая неудавшаяся жизнь, пить надо было меньше да под мужиков ложиться! Ты что, писатель? – взвился прораб. – Кстати, будем знакомы – Илиодор Артемьевич Свистоплясов, из древнего боярского рода. А это наш местный стахановец – *по женской части* – Форкулько!

– Ладно, мальчики, если уж взяли человека в компанию, то не надо ссориться, писатели тоже бывают нормальные люди.

– Тем более, что меня не печатают, так что я хоть наполовину – да человек! – примирительно произнес я. – И вообще сам интеллигентов не люблю!

– Ну, ты даешь! – снова обиделся Илиодор Артемьевич – А я, по твоему, кто? Я, между прочим, инженер, у нас до твоего прихода даже разговоры на религиозную тему были. Вот мы обсуждали, как с *блудницей* правильнее всего поступить – сначала *трахнуть*, а потом уже, с чистой совестью, *каменьями побить*, или сначала *побить* (конечно, не каменьями, а так, по морде), а потом уже *трахнуть*?

– По-моему, Форкулько ее уже побил, – вставил третий, – так что, Зойка, снимай штаны!

Размалеванная Зойка с подбитым глазом сильно покраснела и губы ее задрожали.

– Ну, *мальчики*, вот вы всякие гадости говорите, а ведь с нами человек! И он культурно поздоровался с нами и спросил, не согласимся ли мы принять его в компанию, потому что ему одиноко и тоскливо? И вот мы ведем себя как всегда, а человек-то все слышит и

ему тяжело это слышать. Если уж меня не уважаете, то **человека-то** постеснялись бы!

– А если он человек, пусть сейчас и разъяснит нам как надо с блудницами поступать! Вот тебе камень – запусти-ка в нее, если ты человек, а не с *блядьми* заодно! Что озираешься, слинять хочешь? Или ты ищешь, *кто тут из нас без греха?*

– Свидетельницу жду! Да вот и она!

В сопровождении Индиана Поликарпыча и Кундин Кундиныча подошла тетя Даша.

– Здравствуй, Васенька. Мне сказали, что я должна ответить на твои вопросы, чтобы защитить несчастную женщину.

– Да, тетя Даша. Здравствуй, дорогая.

– Спрашивай, Васенька, я скажу обо всем, что знаю, теперь мне уже поздно стыдиться.

– Тетя Даша, здесь присутствуют трое слегка подвыпивших мужчин средних умственных способностей, малообразованных, с ограниченным кругозором, грубых и невоспитанных, но с большим самомнением, и женщина легкого поведения, которая иногда дарит им свои ласки, за что они угощают ее вином, но при этом бьют и оскорбляют.

– Ты что себе позволяешь?

– Позволяете себе вы, милостивые государи, и значительно больше того, что следовало бы. К счастью, в порядке судебного эксперимента вы принуждены будете действовать согласно определенных правил – в частности, вам предписано, пока не окончится заседание, не покидать эту сцену, в противном случае господин Фундыкин побьет вас камнями вместо блудницы, – вмешался Индиан Поликарпыч. – Фундыкин, покажи им камни.

Фундыкин, кряхтя, выворотил гранитную тумбу и поднял над головой. – Семь пудов! – с гордостью сообщил он. – Индиан Поликарпыч, может, я для острастки врежу им, авансом, чтоб установить взаимопонимание?

– Не надо. У тебя всегда перебор. А они нам еще нужны. Так вот! Именно вы должны будете после судебного разбирательства вынести вердикт о виновности или невинности как известной вам блудницы, так и неизвестной тети Даши. Господин защитник, вам слово.

– Да, это так. К сожалению, общественное мнение – это мнение *большинства* общества, следовательно его наименее развитой части. Всегда вершили суд люди с большим самомнением, грубые и невоспитанные, Истина и Правда, увы, оправдывается перед такими как вы, а не перед Моцартом, Гете и Достоевским, и именно вы – народные заседатели и исполнители приговора.

Там, на небе, Правда известна и без таких защитников как я, она не нуждается в доказательствах и абсолютна.

А здесь она всегда относительна, часто гонима, ущербна, извращена,

запугана, оболгана или подменена *антиправдой*. Самодовольные напыщенные ничтожества составляют предвзятое упрямое мнение обо всем на свете и поколебать их тупую уверенность в их непогрешимости почти невозможно, как невозможно было Галилею доказать, что Земля вертится, а не Солнце, вопреки мнимой очевидности. Но делать нечего. Других заседателей и судей здесь, на земле, не найти.

Начинаем разбирательство.

Тетя Даша, Расскажи о своем первом соблазнителе и о том, была ли ты *грешницей*.

– Что ж, Васенька... В девках гуляла я недолго, в 40-м году мне было 16 лет, а в апреле 41-го года стукнуло 17, парней я еще дичилась, но сдружилась и слюбилась с одним, с твоим дядькой Василем, первого мая был чудный теплый вечер, настоящий летний, гуляли до глубокой ночи, а мы с Василем спрятались в конюшне, на старой соломе, лошади в ночном были, от прелой соломы шел такой сладковатый запах, я его потом как услышу, бывало, так все и перевернется внутри. Уж так мы целовались, миловались, губы всю неделю болели, Василь все упраскивал меня, говорит, вот-вот война начнется, его первого заберут, даже и попрощаться не успеем. А мне-то страшно на грех решиться, как же можно до свадьбы, с детских лет это в нас сидит, и от бабушки, и от мамы одно только и слышишь всю жизнь – *не убережешь себя, потом жалеть будешь, да и суженый сам упрекнет еще, что до венца не сбереглась*.

А свадьбу мы этой осенью сыграть хотели... Заплакала я и говорю – ну, если разговоры про войну опять пойдут, так и быть, на все готова, а сейчас давай потерпим! Уж рассветать стало, расстались мы, и остались оба непорочными. А недавно я его во сне видала, на третий день войны убило его, говорит, меня вспоминал и все жалел, что побоялись мы греха. А я-то, говорю, разве не жалела, что кого любила, тому не досталась, а весь цвет мой, лепесток за лепестком, так и оборвали эти, что все с камнями на блудниц войной идут.

Я вот что думаю, в войну и дядю твоего, а моего Василечка (а ведь тебя Васильком в память о нем назвали), и папку твоего убили, поубивали всех, кто был добрым и чистым, а остались что похуже. А которые и хорошие оставались, так тех война покалечила, если не тело, так душу. Я ведь в последние годы, Васенька, шибко в Бога верить стала, правда, по-своему, по-деревенски – сколько я еще в детстве рассказов слышала про Христа, якобы из Библии, а потом стала читать, а этих-то рассказов деревенских и не нашла в ней. Да ты их, поди, тоже слышал.

Ну, вот, сказал Христос, что *не человек для субботы, а суббота для человека*, я и поняла, что это главное и есть. А поэтому поступила я в ту майскую ночь *по закону, но против человека*; суббота торжествовала, для нее я себя оставила, а любимому *не отдала*. Потом шла война, и вроде я

все еще девкой была, но гулять уже не с кем было, собирались на посиделках одни бабы, одни уже вдовы, другие еще мужние жены, а я среди них баба ни мужняя, ни вдовая. Про Василя похоронки не было, а пришло, что пропал без вести, я его до 46 года ждала, хотя сердцем знала, что погиб он.

В 46 мне двадцать два года исполнилось, всех мужиков уже разобрали, а которые новые подрастали, для тех я старуха была, и что же мне оставалось? Отбить мужика у одной из товарок своих, как и твоя мамка – я не осуждаю ее, она моя подруга на всю жизнь, до сего дня, и не много она выгадала в сравнении со мной, а правду если сказать, то ей-то горше моего пришлось, не повезло ей – или остаться в девках на всю жизнь.

Но ни так, ни этак не суждено было мне. Ездил к нам в деревню землемер, от него Варька ребеночка родила, да помер ребеночек ее, ах, как убивалась Варька, руки на себя наложила, повесилась в конюшне, а дед Зеленок мимо шел, и стукнуло его что-то – вот и вытащил он ее из петли. Перепутаны твои пути, Господи, и нам ли их распутать?

Но я-то об Варьке сначала не знала ничего, а землемер этот, гладкий бугай, начал и ко мне захаживать, да намеки намекать, жена, дескать, у него болеет, уже по женскому делу неспособна ни к чему, детей у него всего один, да все еще в жизни переменить можно.

Ну, я еще молодая... Все отшучиваюсь, а гнать не гоню, а он и бутылочку на стол, да, дескать, ты не бойся, с разговора-то не убудет тебя! Отчего ж не поговорить? Так и раз пришел, и два пришел, а в третий раз схватил меня и ну целовать! А я и не знаю уже, если не ему, то для кого же хранить себя? Свободных мужиков и на сто верст ни одного! А о Боге я тогда не думала еще и не знала даже.

Так я первого родила, Петеньку.

– Зашел он когда тайно к тебе, на ребеночка посмотреть?

– Нет, Васенька, никогда не зашел.

– Может, помог когда чем?

– Нашу деревню объезжал он после того стороной, а когда по делу надо было, помощника своего посылал.

– Так, тетя Даша, ты и блудницей стала, а судя по тому, что ни в Священном Писании, ни в Предании, ни в других историях человеческих, хотя бы в сказках даже, о *блудниках* я не слышал, то ты вот блудницей стала, а он как был праведником, так им и остался.

Теперь расскажи нам про второго *праведника*, от которого Витька родился.

– Ах, Васенька, про этого и рассказывать стыдно, тут уж подлинный грех. Жили мы с Петенькой, не тужили, да несчастье случилось – осталась наша корова яловой, а налоги-то сдавать надо, и пени на мне выросли. Этот-то *праведник толстый*, налоговый *агент*, и прижал меня – не *уважишь*, останешься без коровы, а Петенька без молока.

– Потом-то он к тебе заходил на ребеночка посмотреть?

– Нет, Васенька, никогда не зашел, и помочь своему сынку тоже ничем не помог.

В пятьдесят четвергом умерла наша деревня, разъехались все кто куда, часть в Леспромхоз переехала, и мы с твоей мамкой опять соседями стали.

Дети, хоть и двое, а кормить-поить их надо, летом сено привезти, зимой дрова, а на все копеечка нужна. И стала я бражку ставить, а когда самогоночки тайком выгоню, за бутылку шофер, смотришь, бревнышко какое и сбросит по дороге, а распилить его уж найдется с кем. Да вот вышла эта бражка мне боком. Шофера-то мне всегда готовы были помочь, да ведь не берет же он бутылку с собой, у меня же ее и выпьет, ему тут и закуску приготовлю, дак садись, Дарья Степановна, за компанию, что ж я один пить буду? Разные шофера бывали, иной и ничего, обходительный, вот и не убереглась я как-то, Степку и пришлось родить.

– Папаша-то ...

– Папаша-то на газ с тех пор нажимал, мимо дома моего проезжая...

– Четвертым сынком прораб помог обзавестись, дорогу на Бирюсу строил, дом мой тоже потом стороной обходил, но в праведниках и он остался, а я еще бóльшая грешница.

Пятый, Васенька, единственный был, которого я не то стыжусь, не то нет – сама не пойму... Мне уже сорок лет было, проводили у нас высоковольтную линию, комсомольцы по путевке работали, и стал захаживать один, тошенький, сначала зашел кваску попить, потом вроде как за самогонкой, мне его жалко было, он мне уж в сыновья годился, девушек он побаивался, а меня ему почему-то не так страшно было, а тут как-то выпил, так и вовсе осмелел, а мне неловко... так он заплакал, на колени стал, и говорит, *ну, пожалуйста, ну что́ тебе стоит?*

И верно, что́ мне стоит? Так вот и пятый сыночек родился, а паренек этот назад в Москву уехал.

Ну вот, вырастила я пятерых детей, а теперь у меня уже и правнуки есть, а все потому, что блудницей была.

Так что пусть теперь эти, *Зойкины кавалеры*, судят меня, раз других попримичнее мужиков нету на земле больше...

Скажешь ли, Васенька, что-нибудь в защиту мою?

– Может быть, и скажу, только будут это слова про меня самого. Душа у меня болит, неправильно я живу, тетя Даша, тащит меня словно волоком по грязной дороге, а как перевернуть жизнь – не знаю!

Стыдно мне, обманул я всех, поверивших в меня, и оправдаться нечем.

Сижу я на грязном ящике, пью водку с немывыми рожами, делаю вид, что я какой-то особенный, а сам знаю, ну совершенно ясно знаю, что ничем не лучше их, а скорее всего – хуже, потому что дано им было

изначально на *руль*, так на него и ответят они. А мне-то дано многое было, давно пришла пора спрашивать – но ответить мне нечего!

И вдруг эта размаленная кукла с подбитым глазом краснеет, губы ее дрожат и говорит она собутыльникам, которых не стыдится, когда они бесстыдно и грубо снимают с нее штаны – *что ж вы гадости говорите, когда рядом с вами – человек!?*

На какую же высь подняла она меня!?

И ее ли осудить, в нее ли бросить камень? Или в тебя, тетя Даша?

Посему заявляю с сокрушенным сердцем – я пришел защитить несчастных от обидчиков, но от тех, *кто из них без греха*, но в ком *нет сострадания* – пуще всего! Такие праведники – самые лютые!

Так если кто из вас без греха, пусть бросит первый камень – в меня, я ли бегрешнее её?!

– Фундыкин! – раздался грозный голос председателя. – К камням никого не подпускать! Заседателей – в шею! Пусть опохмелятся вначале, а потом судят. Да и суд не закончен еще, свидетели не все допрошены, и по главной обвиняемой слушания впереди.

Объявляю перерыв на тридцать минут, камни пронумеруй, чтоб не растащили, им дай волю, они тут самосуд учинят. Защитника в камеру, на нары, пусть отдохнет немного.

А показаньица-то не забывай, помни, об чем условились!

Вот и сбылось предвиденье, что *Подлинное* писать буду в канаве или на эшафоте... Если показания мои – это *Подлинное*, то где же я их пишу? На нарах, эшафоте – или еще где хуже?

Глава четвертая

СУД

Какая из двух зим создала мою Судьбу? Зима 48-49 годов была переходом от бессознательного восприятия и созерцания Природы и стихии жизни в ее непосредственно чувственном содержании к сознанию, размышлению и пониманию. Мой мир, который я переживал как родной и близкий, был миром красоты, любви и страдания, а ответными чувствами, соединявшими меня с ним, явились восхищение и сострадание.

Природа начиналась от крыльца дома, она была прекрасна и *триедина*. Зимнее ослепительное звездное небо и снежная стихия были ее *Духом святым*. Небо не было плоским, звездный купол его начинался от земли, разгораясь ярче всего в безмерной выси над головой! Он был глубок, истекал на землю сияньем и лунными дорожками, звездопадом и потоком лунного света и отраженным сверканьем снежной равнины.

Не был плоским и снег, его преимущественными состояниями были вихрь, метель, неистовый буран, когда ни земли, ни неба нет и не видно, а только одно крутящееся снежное пространство – такую была эта зима.

Второй ипостасью природы была тайга, грозная, таинственная, величественная, бесконечная, начинающаяся у подножья горы внизу огорода, занимающая всю южную часть мира, полого уходящая вместе с горой в небо и смыкающаяся с ним. Станным, непостижимым образом я ее не только чувствовал, но видел в частности, и отдельные громадные ели и кедры на вершине горы, и снежные поляны. Тайга была – Бог-отец.

В самом низу огорода, у подножья горы, бил родник и протекал ручей по узкой небольшой лощинке, поросшей смешанным лесом, который ожил для меня весной, с проталинами, чудными цветами, пахучими почками на кустах и ветвях деревьев, нежной белой берестой, березовым соком и бесчисленными тварями, наполнявшими лес – бабочками, жуками, птицами, белками, пугливым зайцем, пушистой любопытной лисой и даже бесстрашной грациозной косулей.

Охота перевелась за военные годы, и птицы, и звери прикочевали почти к крыльцу, забыв, что надо бояться человека. Ах, если бы еще раз апрель и май 49-го года пробродить по полянам этого леса – тогда уж и не страшно было бы умереть!

Я продумал одну важную мысль позже – и я, и мои близкие хотя и были несчастливы в деревне в эти годы, но несчастливы мы были по обстоятельствам – войны, гибели близких, сталинского угнетения – но не из-за деревни. Позже жить стало легче, после гибели деревни в 54-ом году – но счастье не пришло.

Более того – только в деревне оно было возможно, если бы смягчился жестокий режим, нашелся бы хороший человек в мужья и отцы для безмужних баб и безотцовских детей, преодолелось бы деревенское разобщение (а оно определялось жестокостью режима).

В 32-ом году, *перед колхозом*, деревня звенела от песен и смеха, и мама моя тринадцатилетней девчонкой возила в Тайшет на рынок с односельчанами мед и бруснику, орехи и пихтовое масло и покупала мониста на обнову, а в 35-от готова была бежать сломя голову хоть на край света не только от работы, но и от умело разжигающихся в деревне зависти и зла.

Да, счастье возможно только в триединстве природной жизни! Господи, да не поехать ли мне на этот заросший осинником холм и не расчистить место для дома и усадьбы, а там хоть умереть!?

Я переживал близких и природу как Добро, Порядок и мою собственность, а зло было вне моего мира, оно было бесформенно, враждебно и отделено от всего того, что было моим.

Но в эту первую зиму моей сознательной жизни я только чувствовал,

но не *сознавал*. Предыдущей осенью, прохотив два месяца в школу, я не сумел запомнить ни одной буквы, хотя текст на слух запоминал легко. А весной произошел переворот – случайно открыв букварь, я сразу же научился читать. Одновременно с умением читать пришло и понимание окружающей жизни – конечно, иное, чем у взрослого человека, крестьянина или философа, но полное и точное, так что и через пятьдесят лет я помню и знаю, как несправедлива была жизнь, как мучила *народная* власть несчастных крестьян – знаю не из книг, а потому что все видел и все понимал.

Зимой 49-50 годов, когда исполнилось мне восемь лет, во вторую зиму моего детства, я стал взрослым. Я читал Коперника, читал вслух газету в правлении колхоза, за что мне *начисляли трудодень*, послал в Пионерскую Правду гневное стихотворение про Черчилля, молился Богу, когда припаздничалась мама с санками, на которых тащила из лесу по глубокому снегу дрова, и я боялся, что ее съедят волки; слушал на посиделках, куда меня мама брала с собой, рассказы о любовных происшествиях, драках с мужьями и чужими женами, и горькие обсуждения того, горше чего немногое и бывает, то есть обсуждение абортотв. Никто в нашей деревне делать их не умел, женщинам за них давали срок, и когда на одну совсем юную донесла ее несчастная соперница, юную посадили, и она повесилась еще до суда, в Тайшете, а соперница повесилась после у себя дома. Я сидел под столом и слышал, как две товарки договаривались об абортотв, и на завтра одна из них должна была это сделать *при помощи вязальной спицы*.

Господи, неужели все это было вправду?

И неужели, Индиан Поликарпович, эти показания так необходимы? Неужели еще поднимется у кого-то рука, и полетит камень?

Болит у меня душа, и плохо я понимаю систему наказаний.

– Поймешь, когда до тебя очередь дойдет! – ласково просипел шопотом Кундин Кундиныч. – Заседатели, занимайте места. Сегодня заключительное заседание. Может зайти сам шеф.

– А почему шопотом? – склонился к его уху председатель суда.

– Пива намеднись холодного выпил, Индиан Поликарпович, в горле пересело. Опохмелял охламонов, как вы велели.

– Ах, вот как? – повеселел Гоммель-Контышкин. – Ну, тогда ладно. Мне, небось, не догадался бугылочку захватить?

– Обижаете, Индиан Поликарпович... Всё на столе стоит, в темных бугылочках из-под пепси коньячок для шефа, в графинчике из под воды водочка, а вместо эссенуков пивко-с!

– Ну, хвалю, молодец! Недолго осталось, завтра перейдем к делу. Продолжай, господин защитник.

– Стало уже банальностью утверждение, что человек переживает рождение дважды, один раз во плоти, как и положено, а во второй раз рождается в духе при трагических или возвышенных обстоятельствах. До

пяти лет я почти ничего не помню, потом вдруг произошла вспышка духовного *возникновения*, в марте 47-го года, как будто молния ударила ночью, и дня через два, перед рассветом, в темноте, в абсолютной тишине мы с мамой оделись наощупь, в два узелка сложили наше имущество и выскользнули дрожа за дверь. Очевидно, что уже с вечера мы обо всем договорились и подготовились, потому что я сделал все точно, и узелочек собрал, и оделся, не заминаясь и не переспрашивая. Отчим был в ночную смену, старуха Харита спала в другой комнате... Накануне шел дождь, ноги скоро промокли, да и вся осень была дождливая, по огороду вниз извергался поток воды, словно ручьи текли, и это впечатление я тоже помню очень резко.

Начиналась заря. Первая заря в моей жизни, которую я воочию видел и запомнил. Начиналась и жизнь – в той деревне, куда мы сейчас спешили, и которую я унесу с собой в Воскресение. Много горького было и в ней – но без нее полное счастье невозможно. Возможно, и до этого я видел – и дорогу, и деревья, и небо, и зарю, и восходящее солнце – но это не имеет значения, потому что до этого память ничего не сохранила.

Значит, этот ночной побег – это и есть воспоминание о моем рождении.

Приготовление куличей из песка, перелезание через забор, обеденный стол и окрик, ударивший меня, как хлыст – еще смутные впечатления *появляющегося* сознания; быть может, *появление* было бы медленным, как и заря постепенно разгорается на небе, но на следующую после того ночь, или следующую после нее, оболочка, охраняющая неокрепшую душу от внешнего мира, разрушилась, и я начал существовать.

Мне нелегко рассказать о случившемся. Так и о тех родах, в результате которых я появился на свет, не захотел бы я рассказывать, если бы даже их видел.

Но это свидетельство необходимо.

Дело в том, что большая часть свидетельств, приносимых на суд истории, несправедлива.

Когда одни люди живут за счет других, когда одна часть унижает, угнетает или уничтожает другую часть – то воспоминания о прошлом лучше сохраняются у угнетателей.

Естественно, что у них лучшие возможности представить потомкам свою версию происходящего.

Писатели, журналисты, политические деятели, историки, учителя, все, кто сегодня рассказывает слушающим или читающим о том, как это все было – либо угнетатели, либо их дети. Даже лучшие из них, честнейшие из них – лгут. Они были не с той стороны проволочного ограждения.

О войне рассказывают нам генералы, писатели, журналисты. Те, кто бежал навстречу осатаневшему пулемету, большей частью не добежали;

те, кто добежал, после войны слишком много работали и пили, да и образование у них было гораздо худшее, чем у их командиров. Чье же свидетельство о взятии "Безымянной высоты" лежит теперь на столе, и о чем это свидетельство? Слышим ли мы того, кто приказал ее взять, или того, кто лежал на захлебывающемся чужой кровью пулемете? Последний мой отчим, которому, когда мы встретимся на том свете, не подам я руки, умирая, в пьяных слезах повторял все одно и то же – "Невский пятачок"... Нет у меня к нему теплых чувств и теплых воспоминаний, и все же из своей роты остался в живых он один...

Я учился в очень хорошей школе в Красноярске. В десятом классе нас было тридцать два человека, и почти все получили высшее образование, и сделали неплохую карьеру. Один из нас – это аз свидетельствующий, другая, Оля, внучка учительницы, приятельницы Махно, которая была сослана со всей семьей в мою **родную Сибирь** из "*родной Украины*".

Теперь посчитаем. На каждого охранника приходилось пятнадцать заключенных. На нас с Олей приходилось по пятнадцать детей охранников. Так чьи же свидетельства заполняют архивы, которые копит Клио?

И в моей деревне и учитель, и председатель колхоза, и налоговый агент и счетовод – не совсем представители "трудового крестьянства". Но расскажут ли их сыновья (да и знают ли они?), как пили, как били своих жен, пахали и сеяли те, кто все-таки добежал до пулемета на "безымянной высоте" и остался жив? Расскажут ли их дочери, как впрягались по двое в плуг бабы вместо лошади, как они жали, собирали тайком колоски, готовили после колхозной работы еду своим мужьям и детям, стирали и мыли, терпели чуть ли не ежедневные **побои** от бывших "защитников отечества" и делали аборт в вязальной спицей?

[Возможно, на страшном суде встретятся их мужья с теми, кто оплатил их жизнь своею смертью... Оправдаются ли они за свою жизнь?]

Да, грустно все...

Но нет у меня выбора. Столбовая дорога Истории проходит по телам и душам людей – кто за них слово замолвит?

Ибо большинство свидетелей – это те, кто наблюдал жизнь из окон карет и автомобилей...

Но – продолжу о своем *рождении*... Ночью я спал тревожно и чутко. Я не запомнил ночей, предшествующих той, которую я помню – но невыносимая тревога терзала меня... Мне еще не было шести лет... Повидимому, рос я в полусне – почему же иначе не вижу ничего из того, что мог я видеть в три, четыре, пять лет? Но я знал запах, звук и вкус беды.

Грохот горного обвала разрушил преграду, отделяющую сознание ребенка от взрослого мира. И поэтому в грядущие месяцы я смог постигнуть самые глубокие основы бытия. Я узнал, что есть счастливые и несчастливые, и видел тайную печаль при первом взгляде в глаза.

Узнал, что есть добрые и злые. Бедные и богатые. Справедливые и несправедливые. Честные и обманщики. Узнал, что большая часть людей работает изо всех сил и платит непосильные налоги, а меньшая мучает их, заставляет работать на себя, отбирает у них масло, сало, корову за недоимку, сажает в тюрьму.

Узнал, что были немцы и хотели нас всех убить, но мой папка и дядя Василь и все, кто не вернулся, их победили, а вернулись почти одни только злые, конечно, кроме моего деда и дяди Кости и Крестного.

Узнал, что чучмеки стоят на вышках, хотя там есть и русские негодяи, и один из чучмеков зарезал крестного.

Узнал, что американцы хотят завоевать нашу землю и заставить нас работать на себя, и есть и у нас предатели, которые им помогают – знание мое и ныне не позволило ослепить мое зрение, и я вижу ясно и больно, как сегодня терзают и разворовывают мою Русь воры и иноземцы. Узнал, что мой народ делится на две неравные части, и одна часть – мой род, от Бреста до Курил поливший эту землю кровью, поющий русские песни, помнящий и рассказывающий сказки и сказания от князя Владимира до последних святых, любящий эту землю, поля, лес, тайгу, видящий смысл жизни в любви; а другая часть – населяющие эту же землю, собирающие налоги, произносящие слова “экономика, достаток, богатство, собственность, мой папа юрист, доллар”, и видящие смысл жизни в том, чтобы жить как американцы, Россию не любящие или даже ненавидящие, не плакавшие от умиления у ручья на цветочной поляне, не ночевавшие в тайге под седыми кедрами, потому что на Кипре теплее, не мечтавшие о поцелуях, а сразу о сексе, не ездившие по российским дорогам, городам и деревням, потому что немецкие лучше.

Было темно, стояла глубокая октябрьская ночь, но я не спал. Вдруг вспыхнул яркий свет, словно от прожектора в зоне, и большой грузный темный человек ввалился в комнату. Я спал рядом с мамой на кровати. Большой темный человек бросил мою мать на пол и стал бить и топтать ее коваными сапогами, целя в живот, где уже зародилась от него новая жизнь. Птенец бросился защищать раненую птицу. Но мама моя не была ли тоже птенчиком, двадцативосьмилетняя женщина?

Громадный сапог попал в меня и я потерял сознание. Но именно в это мгновение вспыхнул свет и внутри, и я родился.

Я услышал голос, говорящий – *Иди и смотри! Не пройди мимо чужой боли! Запомни и расскажи своим детям и детям детей своих все, что видел!*

Хищной птицей встрепенулся разведчик Прошлого:

– Не вспомните ли, господин защитник, когда и прежде слышали этот голос?

– Не помню...

... – Фундыкин, не бей его по лицу, ведь еще будет консилиум!

– Да он извивается, падал...

Невыносимая боль была слева, чуть выше паха, там пекло и горело, а страшный Фундыкин старался попасть именно туда... Тлела пакля в щели пола, и я лежал на ней, прогорела и вата в полё телогрейки, большой горячий уголь попал в нее, прожег рубашку, кожу и горело во мне все глубже...

– Переверни меня, Кундиныч, пожалуйста!

Вдруг я увидел гору в нашей деревне, на самой вершине ее горел громадный огонь. Волк и волчица подняли головы к лунному свету и страшный вопль отчаянья взметнулся к небу. Сзади, вдоль изгороди, бежала и голосила Варька, и я вдруг услышал, что сквозь ее причитания прорывается совсем другой, еще девчоночий, такой знакомый голос, и различил слова, которых не слышал раньше: "Деточка моя ненаглядная, кровиночка моя, прости меня, не уберегла я тебя! Тельце твое я слезами омою, рубашечку из сарафана своего сошью! Положите меня рядом с ней, заройте нас сырой землей, на груди своей схороню я ее! Ты уже радовалась мне, пальчики мне целовать давала, смеялась и ворковала, как маленькая голубка... За что же тебя отняли у меня? Цветик ты мой лазоревый, недолго ты рос, крапивой и лопухом порастём мы с тобой! Да не стану я жить без тебя, от груди моей никому не отдам, унесу тебя в дремучий лес, запрусь в пещере каменной, спою тебе колыбельную песню, и заснем с тобой вечным сном, а проснемся – сам Христос придет, и поднимет нас на царский трон! У-у-у-у, ай-я-яй-я-яй, ое-ей... Как теперь на свете жить без тебя, мой свет, не нужен он!

Господи, кто это так страшно поет в ночи, чей же это голос и в волчьем вое, и в причитаниях Варьки безумной? Переворачивает душу мне голос этот, страшно мне слышать его, страшно мне смотреть на маленький гроб, а раскрыл ладонь – лежат в ней два гвоздика...

Как я мог это знать и видеть? Никогда не говорилось о том в нашей семье, а младшие сестры и вовсе не знали, утаили от них. И в деревне никто не знал и не ведал. Ушла в тридцать пятом мать моя из родительского дома, в шестнадцать лет, а позднее осенью тридцать шестого вернулась, и так знали все, что отпустили ее на заработки, училась она на курсах шоферов (и председатель справку давал), была комсомолкой, грамоту почетную получила, а как бабушка наша, ее мама, заболела, то и вернулась в деревню ходить за семьей.

Завеса приоткрылась случайно, за несколько дней до смерти бабушки: я был у нее, вдруг ей стало плохо, она испугалась, что умрет и закричала мне – беги за Маней скорее!

Мы прибежали через десять минут, бабушка заплакала и говорит:

– Маня, прости меня!

– За что прощать тебя, мама?

– Тогда, в тридцать пятом году, когда ты послушалась нас с батькой, ушла из дому, ты помнишь, что я сказала тебе?

– Помню, мама...

– Я сказала, что если ты уйдешь, я прокляну тебя! А ты все равно ушла... Я все ждала, что вот-вот ты одумаешься, вернешься, я каждую ночь плакала о тебе, звала тебя... Я не говорила тебе раньше, пока ты не ушла, а когда ты вернулась, и вернулась ко мне, что-то во мне сломалось, и уже не могла сказать, а потом у тебя началась своя жизнь, ты становилась от меня все дальше, и сказать то, что когда-то не сказала, было уже поздно.

А что я не сказала тебе, Маня? Я не сказала, что любила тебя...

Я тебя первую родила, учила тебя говорить, петь, рассказывала сказки, потом дед увез нас в эту холодную Сибирь, все родные мои остались далеко, и тата с мамой, и братья мои, и я плакала, и была совсем одинокой. Я шибко горевала, и не могла утешиться, и все мне казалось, что я совсем одна на свете. Ах, моя доченька, у меня в душе все сгорело, стала я как мертвая, и только, бывало, запою песню, и словно отпустит, и оживаю.

А ты подрастала, помогала мне в хозяйстве, нянчила братьев своих и сестер, пела со мной – и только когда ушла, я узнала, что без тебя жить не могу, поняла, как люблю тебя, и пожалела, что не сказала тебе раньше...

– Я знала это, мама... Да как разве и я тебя не так любила?

– Не знаю, доченька... Может и так... Но когда рассказали мне, как ты живешь в городе, а злые люди позорили тебя передо мною, а я поверила, и что ребенка во грехе нагуляла ты – сердце у меня и разорвалось, и я прокляла тебя... Прости меня, доченька, за мой великий грех, я всю жизнь винилась и каюсь, но тебе не могла признаться. Может быть, из-за моего проклятья все и получилось у тебя так, и ребеночек погиб...

Когда ты вернулась, вся деревня видела, что мы встречали тебя как самую родную, самую долгожданную.

За Ивана ты выходила, я благословила тебя.

Пошла за Масаея, сердце мое изболелось, но упрека от нас ты тоже не слышала. Вернулась – и снова встретили какжданую и любимую... С новым иродом сошлась, от троих детей увела его – ах, Маня, все равно не упрекнула тебя и в этот раз, а перед всеми защищала. Но тогда – тогда окаменело мое сердце, не сдержалась я... Ты моя самая любимая, самая главная, на весь свет одна ты у меня – и я же тебя прокляла! Прости меня, родная моя!

– Да знала я про все, единственная моя! Когда-нибудь настанет срок, к кому же как не к тебе вернусь я уже насовсем?

Но завеса тогда только слегка приоткрылась, а откуда я знаю и про то, что случилось до моего рождения?

Через неделю бабушку хоронили. Семья стояла вокруг гроба молчаливо-торжественная, никто не плакал, словно она с нами живая

и вот сейчас мы продолжим прерванный разговор. Семь лет она боролась с болезнью, почти не жаловалась, в тягость никому не была, ушла так, будто собралась, оделась, прибрала в доме, попрощалась – и вышла.

В этой нашей большой семье ссор или разногласий никогда не было, и на похоронах особенно почувствовалось наше глубинное единство, целостность великой соборной духовной личности.

На поминках пили, пожалуй что, даже много и говорили много, не перебивая друг друга, но никто не опьянел, а когда высказали все, что хотели, пели протяжные печальные песни, и русские, и белорусские, и украинские.

– Ты, Маня, всегда была главной в доме – сказала тетя Нина, – и у мамы была единственной дочкой, но мы никогда не обижались, потому что для нас ты была второй мамой.

А светловолосый Костя сказал странные слова, которые я понял только теперь, через тридцать пять лет – и согласился.

– Наша мама – провидица и святая. Еще я эзком был, она Нине и говорит: этот – наш, а остальных – прогони! Но у нее не получилось то, для чего она хотела жить... И ни у кого из нас не получилось и не получится. Жизнь нас всех победила и еще не раз победит. Корабль наш потопили, а мы на плоту спасаемся, которые в живых остались... “Корневище” зарастает, капитана у нас нету... Батя вот начал дом строить, а дети не будут достраивать.

– Ну, ты не хорони нас раньше времени! – закричала тетя Лена. – Еще у самого родится десять детей, да вот и Вася скоро выучится, будет еще кому Россию спасти!

Почему завеса теперь открывается, мне непонятно. Почему я снова увидел ту волчью пару? Куда они меня зовут, и зачем я им, не понимаю.

Завеса открылась до конца.

Девочка родилась хорошенькая и здоровая, счастливая юная мама, которой в эти мартовские дни исполнилось семнадцать лет, назвала ее Аней.

Трагедия произошла за несколько часов, ребенку было два месяца, мать ее кормила, пеленала, просила заглядывать соседку по общежитию и убегала на работу, утром показалось, что лобик горячий, передела во все сухое, растерла тельце, решила, что отпросится у бригадира и вернется через два часа. А тут вышел указ, за опоздание и самовольный уход с работы – *до трех лет*, а бригадира не было, ждала его, ждала, да побежала, не выдержало сердце, в два часа дня прибежала, а Анечка вся горит.

Через десять лет – ровно через десять лет, в тот же день и час бежала она со мной по Тайшету, и так же я горел и сгорал – но успела добежать.

Мучает меня необъяснимое – о том страшном дне я не спрашивал никогда, и никто не рассказал, но несколько раз, то очень смутно, то явственнее, было мне видение. Невинное дитя говорить еще не умело, смотрело на меня бездонными глазами, хорошенькое личико было как в сиянии, она мне жаловалась, и видела, что весь изливаюсь ей в ответном страдании, и благодарно на меня смотрела.

Она понимала, что ее забирают *отсюда*, и испытывала отчаянье, и хотела мне еще что-то рассказать...

Иногда мне кажется, что я слышал и чувствовал прикосновение руки, которая прикоснулась ко мне на прощанье... Это видение было вне времени, и встреча вне времени.

Или мне снился сон, и теперь я тоже сплю, в бреду и беспмятстве...

Но что со мною происходит? Где я?

– Скоро ты все узнаешь, – издалека донесся голос *Разведчика Прошлого*.

И еще более отдаленный голос, сквозь вату, ответил ему – "У нас уже все кончилось, больше ничего нет, ни лекарств, ни обезболивающих... он без памяти, до утра ничего не случится... Пойдемте к девочке, Индиан Поликарпович!"

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ

Глава первая ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

1.

Поправился я быстро, уже на третий день меня выпустили в сад – березовую рощу вокруг больницы, а еще через два дня мама за мною приехала и увезла в деревню. Наша молодая корова Зорька уже набрала сил на оживающей траве, доили ее три раза в день и надаивали по ведру молока, жирного и вкусного. Идя доить Зорьку, мама меня звала с собой, тут же нацеживала полную кружку парного молока, и я пил его как лекарство. В болезни есть и приятная сторона – не оттого ли детство вспоминается мне таким ароматным и возвышенным, что я слишком часто болел, а поэтому меня жалели и обо мне так много заботились?

Только все равно сваливались негаданные напасти; как говорила баба Домна, жить бы можно было, кабы не *Ирод да мытари* – ну и накликала она беду, только про мытарей стала рассказывать, бежит Варька – Маня, скорей корову прячь, *агент* приехал, недоимки собирает!

Парное молоко выпить я успел, мытаря мне обещали показать, как из лесу вернусь, привязав корову, а про Ирода велели не спрашивать. С Зорькой я чуть не перестарался, боялся, что мытарь без меня уйдет, гнал ее в лес галопом, да прямо к Черному ручью, и чуть не утопил свою кормилицу. Но она-то не такая глупая, как я, сначала неслась, как ужаленная, а перед ручьем резко на задние ноги осела и проехала два шага еще по мокрой траве, потом встала, повернулась, посмотрела на меня так, что мне не по себе стало, и рогами покачала... Это было первое предупреждение, но я после был начеку. Привязал ее к березе и побежал домой.

Мытарь был толстый, гладкий и лоснящийся, он уже сидел за столом, пил самогонку и закусывал скворчащим салом.

Этот его приезд был какой-то благодушный, как видно, он приезжал на разведку, попить-поесть и разузнать, кто что в деревне скрывает. А осведомителями, кроме председателя, были и те, кто поругался с кем и

стремился наказать обидчика – да кто-нибудь непременно наказывал потом и его.

Бабушка моя запрещала скрывать скотину или пчелиные улья, говорила, что все одно не скроем да будем трястись и бояться, так оно и было, и Зорьку через неделю всё одно обложили налогом, *агент* пришел огородом, да прямо в стайку, а потом пил самогонку и закусывал салом, – поили, чтоб не наложил пени. В тот приезд в деревне стон стоял, вышел указ отбирать коров за недоимки – а у кого их не было? Да у кого не было малых детей? А с коровой хоть и тяжело – и сена на нее накоси, и корми-пой ее, да дои, да в поле выгоняй, да десять килограммов масла за нее сдай *государству*, то есть *Ироду Антихристову*, а все же хоть что-то и себе остается. Молоко перегоняли на ферме на сепараторе, и сливки шли на масло, а себе оставляли перегон, но простокваша из него была все же вкусна, и с горячей картошкой да ржаной краюхой – ну чем не жизнь? Из сливок масло били ребятишки, и в нашем доме, конечно, бил я, зато тут же и получал в награду холодную пахучую пахту, а по-нашему – *маслянку*. Но и это еще не все, чем награждала крестьянина коровенка... Масло для сдачи государству топили, топленое отдавали Ироду, а *оттопки* оставляли себе – да они же были вкуснее самого масла! Да еще на нашей Зорьке мы вспахали свой, отдельный от деда, огород; навозом, который она для нас приготовила, унавозили его, и narosло на нем и картошки, и капусты, и огурцов! Так что без коровы было, конечно, хуже, и когда она не доилась, и мама приносила стакан молока от соседей, то приходилось наливать в миску воды, солить ее и слегка молоком *забеливать* – но все равно с картошкой было вкусно!

Если кто ссорился с председателем, того ждала беда, *мытарь* уж точно находил повод его так прижать, что черным становился белый свет – видел я и как баба Домна стала перед ним на колени и умоляла недельку одну подождать – а то был бы Васька без молока, а конопатая Зинка и вовсе б в рев заревела.

Баба Домна разрешала мне читать Библию и постоянно приговаривала – в ней обо всем на свете сказано, и что было и что будет, и когда Навуходносор придет, а если внимательно читать, то и год предсказан.

Ну, для России-матушки какой год ни укажи, все будет верно, не ошибешься, вот если б было наоборот указано, что в такой-то год, например, в двухтысячный, Навуходносора не пустят в Россию, и сбилось бы – вот это было бы предсказанье из предсказаний! Другое дело, что в Библии были уже примеры всему, что в жизни *может* произойти – и Вавилонский плен, который мы нынче переживаем, и Иродовы казни, которые пережили наши отцы и деды, и потому, действительно, что бы в нашей жизни ни происходило, то уже раньше всех времен происходило, и в Священном Писании уже описано, а тем паче плохое.

И если Спаситель претерпел за нас многая муки, то и кто из нас, грешных, не претерпел?

Иродовы казни достались и мне; мытари досаждали и мою семью; мама моя не была ли в Египетском плену; не искал ли дед мой землю *обетованную*, бабушка не шла ли за ним ровно сорок лет; а сегодня и народ мой не претерпел ли *погром и рассеяние*?

Спаситель символически преобразует жизнь для искупления и преображения, и находя и представляя подобие в *страстях и свершениях*, мы не дерзаем тем самым уподобиться Христу в Его святости и божественной сущности. Так и христиане бывали распяты, и праведники постятся сорок дней, и именем Христа совершаются чудеса. Посему в показаниях своих канву даю событий своей многогрешной жизни, глядя мысленно на Его путь – и где дано было мне и воистину подняться выше скверн, о том благодарю небесные силы, а когда в слабостях и грехах изнемогал, о сем скорблю и прошу помощи небесных сил для преодоления немощи и возвышения.

О *рождестве* своем я уже все сказал, и еще повторю главное: *рожденный по великим страданиям и любви, не смею назвать зачатие свое порочным.*

Благуя весть о призвании моем в мир для защиты страждущих возвестил дед Зеленек и мне и всей деревне, в которой я выросал, и произнеся после сего – *С миром отпущаеши!* – ушел с миром.

Главного я сделать не смог и не посмел – не взял крест Спасителя и не пожертвовал своею жизнью для других, и хотя близкие мои принесли себя в жертву, и дядька Василь, и отец мой Иван, но я – не смог. Тяжел крест и неподъемен, и хотя стремлюсь не делать Зла, а сколько могу, делать Добро, но принести себя в жертву – выше сил моих, и потому всякое сходство моего пути с путем Учителя (как и всякого человека, не подъявшего Его крест на свои рамена) – мало и второстепенно.

Сознаю сие, оправдываюсь перед будущим судом, и вспоминаю о себе без всякой гордыни, а в сознании своих скромных возможностей и скромных достижений.

Вспомню еще об *учениках и блудницах* – и на этом воспоминания мои и показания для следственного отдела должны быть полны.

Забрали меня в тюрьму Большого Дома в возрасте 28-ми лет, сам себе в то время казался я так молод, что студенткам своим назначал свидания, а даже и школьницам. Однако учеников и учениц у меня уже было множество, и хотя преподавал я математику, но часто на уроках звучали стихи и сказки, и устраивались жаркие споры о любви, о смысле жизни, Истине и Боге. С *блудницами* я еще не встречался, и ноги мне они не омывали ни слезами, ни благовонным маслом, однако одна необычная встреча, в которой соединилось на миг всё – грехопадение, любовь, предательство и искупление – мне предстояла.

Подготовка к *встрече* началась в начале весны семидесятого года, в

первые мартовские дни; ближайший ученик мой, ревностно записывающий мои претенциозные глупости, пришел в Синедрион, сиречь в Комитет Государственной Безопасности, принес и записи, послужившие моему обвинению в хуле на *идолов*, то есть пророков *Светлого Будущего*, и в непочтительности к *кесарю*, то есть к Советскому государству и его правителям. В припадке верноподданнического усердия, он написал в заявлении: «Я, гражданин... торжественно клянусь и обязуюсь и **впредь** неукоснительно **доносить** обо всех...», после чего еще более ревностно записывал за мной каждое мое слово; Иудин же поцелуй расточался им во все дни злополучные марта до 24-го числа, когда, наконец, стражники нечистой силы и схватили меня.

Другой мой ученик оказался в эти дни на одре болезни, и я навещал его и помогал чем мог.

Накануне дня, когда стражники пришли за мною, вызвали и его в Синедрион, и он от меня отрекался сколько мог, и Иудину доносу не перечил. Вечером же позвонил мне и плакал пьяными слезами и клялся в любви – а о предательстве сообщить побоялся. И в третий раз был вызван в Синедрион через день после моего ареста и вновь от меня отрекался и подтвердил донос.

Я же в Синедрионе тоже геройством не блистал, и боясь, чтобы не пострадали через меня *ученики* мои, в хуле на идолов не упорствовал, кесаря не поносил, а об учениках своих говорил напраслину, что, дескать, они либо не слушали меня, либо не внимали словам моим, либо не понимали их по *скудоумию* своему.

Впрочем, напраслину эту они не опровергли, и ни один из них не сказал, что *слушал и понимал* меня, следовательно, по существу они все отрицали, что были моими учениками – да и слава Богу, зато кроме меня никого не заключили в узы.

Ну, и как оказалось, что ни *учеников* нет и не было ни единого, ни *учитель* не подтверждает своих клевет на учение о Светлом будущем, то и ограничился кесарь заключением в узы на три года одного меня.

Выйдя же на волю весной 73-го года, стал я жить вольготно и счастливо, бродил где и сколько хотел, и, наконец, прекрасным летним днем произошла та самая удивительная *встреча*.

Вообще о происшествиях вот что удивительно – бóльшая их часть совершается по естественным законам и никого не удивляет; немногие же происходят как странности, случайности, а некоторые же происходят вопреки естественному ходу вещей – и вводят свидетелей их в изумление. Однако если чему-то надо произойти, то это происходит с неотвратимостью, даже если для этого требуется, чтобы камни летели вверх, а не падали вниз, и наоборот, если понадобится, чтобы естественные вещи не происходили, то и не будут происходить. Казалось бы, что естественнее и *неотвратимее*, чем выдача по назначенным дням авансов, зарплат и пенсий – по этим датам

открывались в советское время дополнительные пивные ларьки, усиленные наряды милиции дежурили на улицах и выделялись дополнительные "хмелевозы", то есть автомобили для перевозки пьяных в вытрезвители – и вот наступило время, когда случайная встреча на улице трех человек, прилетевших в город из разных стран мира – никого не удивит, а своевременная выдача зарплаты или пенсии приведет в шок многих. Так что сочиняю ли я в своих показаниях заведомо невероятное или говорю абсолютную правду? Поверьте, господин *дознаватель*, как бы ни казалось вам рассказанное мною искусственно придуманным – так все оно и воистину было.

Встреча произошла в воскресенье, а накануне, в три часа ночи, я возвращался домой после долгих блужданий по городским улицам, и на Исаакиевской площади на автобусной остановке нашел двух очаровательных девчушек, *новоиерусалимских блудниц*, и взял их с собой.

Оказалось, что они голодны, я их накормил, угостил вином, омыл их тела под душем (конечно, только приготовил воду, а омывались они сами) и уложил спать на широкой кровати рядом с собой – у меня нет другого ложа, а и я тоже устал и хочу спать, места же для нас троих достаточно! – объяснил я им. – Вести же себя я буду по-братски, то есть, усну, как только лягу, и не буду во сне толкаться.

Утром я их вновь накормил, угостил чаем с медом, вновь омыл их тела под душем, и они объявили, что не хотят быть моими сестрами, а предлагают мне их удочерить. Я принял эти слова за шутку и согласился, они стали называть меня – *наш добрый папочка*, а я их – мои *беспутные доченьки* (впрочем, на следующий день оказалось, что шутка зашла дальше, чем можно было предположить, и теперь я не должен называть их *беспутными*, отныне у них будет "*всё путем*", работать *по специальности* они больше не будут, станут меня во всем слушаться, и начнется у них новая жизнь). Но в воскресенье еще мы все были *в пути*, и я пока только превращался в блаженного папочку, а они – в счастливых и праведных дочек. Мы вышли погулять и зашли на рынок – и дух захватило от океана запахов, красок, звуков, обрушившихся на нас.

У дочек, возможно, и пап не было, или были беспутные папы – уж так они были тронуты и ошеломлены моим случайным вниманием! Мы закупили две охапки прекрасных цветов, которые они прижимали к лицу, земляники, салату, помидор, груш, сметаны, меду, и, увешанные пакетами, пошли домой по яркой солнечной улице, прямо по середине, а на ней уже воздвигались подмостки и режиссер оглядывался нетерпеливо – готовилась развязка третьего акта.

Напоминаю забывчивым зрителям программу пьесы – предательство и отречение учеников, малодушие и отчаяние драматического героя, "слепающая тьма" Дома заточения, *прозябание дóльней лóзы* и распахнувшаяся ширь земной жизни, после освобождения, в предчувствии и предъождании грома Небесного.

И вот, посередине блаженного восторженного лета, первого лета свободы, на солнечной Питерской улице, идя с влюбленными *блудницами*, я столкнулся с “*учеником*”, трижды отречшимся от учителя, которому три года назад он клялся в любви. Был этот человек жалок и унижен, и *нес в руках авоську с пустыми бутылками из-под вина*.

Увидев меня, живого, счастливого, вдыхающего полной грудью удовольствия жизни, без язв от гвоздей, и умащиваемого, словно *миром*, влюбленными взглядами, он содрогнулся и рухнул на колени.

Но разве я его обличал? Даже мысленно? Я о нем просто забыл.

– Прости меня! Я виноват! Но *он* виноват гораздо больше! – отчаянно и жалко забормотал он жалкие слова оправдания.

2.

– Все остальное – неважно! – услышал я вдруг голос и очнулся от задумчивости.

По-прежнему была камера тюрьмы, я сидел в неудобной позе, так что затекло все тело, скрючившись над листками *показаний*.

Так где же первое лето свободы, было оно или нет?

– Еще и суда не было, а ты уже на свободу рвешься! – продолжал тот же голос. – Показания закончил?

Я подал кучу листов.

– Этого мало! Ты боишься взглянуть в лицо Правды, поэтому не хочешь вспоминать. Закрыв глаза, заткнул уши, охватил голову руками, и думаешь спрятаться и пересидеть все страшное, надеешься, что оно само собой пройдет? Может быть, и пройдет... да только вместе с жизнью... Если бы только твоей. Слышишь, стучит маятник – это не время тикает, это падают капли крови! Слушай!

Я прислушался... Капало, словно из неплотно прикрытого крана...

Медленно попытался разлепить я ресницы, но боль мешала... Смутно, как сквозь сон, или сквозь неплотную ткань, виделась полуоткрытая белая дверь, а за нею коридор. Каждое движение усиливало боль, тяжело было держать глаза даже полуоткрытыми.

Тихо-тихо из-за двери просачивался тоненький детский голосок.

Волнение и беспокойство мое усилились. Голос был словно и незнаком, но меня он притягивал и тревожил.

– Это она! – печально произнес Индиан Поликарпович. – Ты хочешь ее увидеть?

– Да!

Но я еще не знал, кто *она*, только сердце ныло все сильнее.

– Я тебя не брошу, я помогу тебе, но взамен ты откроешь мне все, что вспомнишь о встрече с известным тебе лицом. Я помогу и воспоминаниям! Станным образом наши усилия сегодня совпадают, ты будешь готов на все, чтобы ей помочь, а мне нужна правда, только правда и ничего, кроме правды.

– Я расскажу все... Но если что-то может Ему повредить, то я вынужден буду промолчать.

– Разве Правда может повредить Добру и Истине? Последователи, исказившие Его Слова и Заветы, не хотят, чтобы знали об их ошибках и заблуждениях, и совершают тяжкий грех, требуя, чтобы их учение и их дела неотделимы были от Его имени. Надо говорить всю правду, и о заблуждениях и преступлениях тоже, и освобождаясь от них, мы становимся ближе к Учителю.

Разве те, кто сжег девочку из Орлеана, не должны быть наказаны? Разве это грех Учителя, разве, обличая неправедных последователей, мы уроним честь Пастыря? *Все люди – дети Божьи!* Так, может быть, не надо говорить ни о ком из них всех ничего, кроме хорошего, чтобы не унизить Создателя?

Словно на неудачном представлении нужно делать вид, что все хорошо – ну, как же, иначе усомнятся и в пьесе! И в авторе пьесы!!

Люди – *дети Божьи* – оказались порочными – и Господь первый им об этом сказал – и Сам, и через Своих Пророков.

А лицемерные слуги Господни, особенно же обличители, иезуиты, инквизиторы – да и во всех церквях, так сказать, полиция нравов – именно это еще пуше раструбили, дескать, человек и вообще *Сосуд Дьявола* – и ну на этом основании за каждое искреннее слово, не согласованное с монополистами Господней Истины, хранителями ее – на вилы да на сковородки! Так они хранители ли Откровения, или они от Нечистой силы, тем более что повадки их те же, что у служителей Преисподней – подстергать, излавливать, судить, и – на вилы!

И Джордано, и Галилей, и несчастный Максим Грек, и сонм других и у латинян и греков, а особенно так называемые *ведьмы* – не были ли погублены безвинно и преступно якобы слугами Господа – в сутанах, рясах, клобуках!?

Ну, так тебе надлежит сказать Правду, правда лишь для славы Учителя послужит, а не для унижения!

– Я согласен! Я скажу все, что вспомню.

– Тогда пойдем! Путь труден, и дойдешь ли, и воскреснет ли Прошлое – пока неизвестно. Я помогаю сколько могу, но лишь от твоих усилий и твоего возвышения зависит, дойдешь ли.

Я почувствовал лед его руки – или это я горю, и потому мне так кажется его рука холоднá?

Холодный кафель пола ожег босые ступни. Мы вышли в коридор. Идти было тяжело, стены и пол качались, каждый шаг давался с трудом, будто я в глубоком снегу увязаю.

Бытие и время раздвоились.

Я уже не терял до конца цельность подлинного существования, но она становилась иногда резкой, соединялась с идущим, либо отступала на второй план, шла рядом, как тень, стремительно менялись декорации,

место действия, время, сюжет, и менялась роль – только актер оставался одним и тем же.

Так тяжело было идти, увязая в глубоком снегу, ветренный метельный февраль замел дороги и продолжал яростно выть, сминая пространство вокруг меня, как тонкую папиросную бумагу. И если бы не Индиан Поликарпович с его глубоким и тяжелым посохом, который он бросал, как якорь, я уже давно бы упал. Наконец, прошли Павловский Вал, еще усилие – и мы у Маяка, где во времена моего детства росла самая крупная малина. Здесь нужно было свернуть вправо с проселочной дороги на тропинку, но если и дорога была занесена снегом, то тропинки и вовсе не было видно. Справа от тропинки располагалось деревенское кладбище, я боялся, что нас туда занесет, но, кажется, шли мы верно, вот и "*осиновая роща на бугре*", о которой я помнил и даже стихи написал, чуть дальше ее и левее – Глинянки, где летом звенели лягушачьи концерты.

– Надо бы передохнуть! – сказал Индиан Поликарпыч. – Я и то устал, а уж вы, господин защитник, и вовсе ползете по снегу. Так мы и к утру не дойдем!

Как оказалось, к походу он подготовился основательно. Через пять минут польхал большой костер, и такое благодатное тепло разлилось вокруг! А из рюкзака он вытащил бутылочку *облепиховой* и закуску. – Ну, господин защитник, ты, может быть, думаешь, что я тебе враг – клянусь тебе, это совсем не так! Предлагаю сейчас тост за тебя и за то, чтобы ты все-таки дошел до конца! Кстати, давай и на "ты" перейдем, согласен?

– Конечно, Индиан Поликарпович! Ты мне тоже по-своему симпатичен, хотя скажу честно – ничего не понимаю ни в тебе, ни во всем, что происходит вокруг.

– Так, Василий, дорогой! – с жаром заговорил Индиан, пропуская третью и утирая ладонью усы. – А кто понимает? Все, все в потемках живут! Те, которые честно признаются в непонимании, еще поумнее других, а уж *понимающие*, а тем более поучающие и разъясняющие другим – отпетые мошенники и проходимцы или непроходимо дремучие, выдающие только под носом – ну, под носом, может быть, они и впрямь понимают?

Начнем с твоей любимой России! Десять лет одна банда ее нагло и грубо насилует и грабит, только действующие лица в банде слегка обновляются, а другая банда норовит ее место занять. Нет же ни одного подлинно болеющего, страдающего, борющегося за спасение! Каждый страдает и борется за себя.

А что народ русский? Не он ли эту банду и избрал, и поддерживает? А ему ли принадлежит Россия по праву? Ее создали за 12 веков пятьдесят поколений отцов и дедов – это *их* Россия! Нынешние жители продали право первородства за чечевичную похлебку, дворцы, построенные двести и триста лет назад, продают за бесценок тем, кто

"заброшен сюда на ловлю счастья и чинов", шахты и копи и нефтяные скважины, золото и алмазы, и саму землю русскую – пропивают, проедают, отдают замыслителям злого. Так чья же это земля?

– Это моя земля, Индиан! Мой отец ее отстоял ценой жизни, и по праву наследования она – моя. Чьи же наследники те, кто ее расточает? Не их отцы положили свои жизни за нее, так обоснуют ли и дети их права свои на мою землю? Индиан, русский – это тот, кто любит землю сию до смертной дрожи, кто страдает ее несчастьем и без колебания умрет за нее! *Кто любит и болеет* – пусть будет он трижды тунгус или эфиоп – тот русский. Кто же равнодушен к земле, на которой живет, а тем паче ненавидит ее – тот враг России и русскому народу; а враг русскому – может ли быть русским?

Так же не по обрезанию иудей, а по ревности к вере отцов!

Ах, Индиан, Индиан, разбередил ты рану мою, и вновь скорбит душа моя... Нет любящих, нет сострадающих, нет верных и преданных, один я на поле Куликовом, разбежалось равнодушное войско. "Хочется жить, и жить хорошо, то есть много и вкусно есть, на мягкой постели спать, в экзотических странах подставлять живот солнцу, меньше ходить пешком, а нестись на автомобиле – и наплевать на то, кому принадлежит эта Россия и как она называется, и на сколько частей разделена!" – вот что говорят так называемые "новые русские", а это не только богатые, но и все, кто видит весь или главный смысл жизни в богатстве.

Разве я попытаюсь их разубедить? Разве я унижусь до разговора с ними?

Господи, если в России таких большинство, то неужели унизиться – и жить среди них? Не лучше ли оставить этот мир, который они уже сделали грязным, и уйти в тот, *другой*?

Так не садится на грязную скамейку даже утомленный путник, так не ложится в грязную постель даже жаждущий сна, так и жаждущий не пьет грязную воду.

Но что тебе, Индиан, до боли моей, разве ты не погубить меня пришел? Кто ты, меняющий так часто сущность свою?

– Ты ошибаешься, мой друг, подозревая во мне губителя. Я и вправду историк, но, действительно, что мне до тебя? Но пытаюсь узнать истину, я следую везде за тобою, и невольно для себя проникся к тебе симпатией. Обманывать тебя мне нет нужды, а причинить тебе зло я даже не сумею, потому что в этом случае не смогу узнать то, для чего сюда послан.

Слышал ли ты о *падших ангелах*? Знаешь ли ты, кто они?

– Вернее будет сказать, что не знаю...

– И напрасно! Отчасти ведь и ты сам... Ну, да ладно... Одна из важных причин зла в мире состоит в том, что как только какое-либо учение начинает властвовать, так его сторонники начинают верить, что являются хранителями Истины и готовы закрыть всякое исследование и размышление на Земле, только бы никто не усомнился в их истине.

Так, пусть мы созданы из праха земного, но зато изваял нас величайший в мире скульптор (что, конечно, бросает и на нас отблеск величия. Так для картины на стене музея одно дело принадлежать кисти Рембрандта, а другое – быть рисунком неизвестного художника). Но в случае с добром и злом вышла некоторая заманка. Величайший наш Создатель, разумеется, должен быть и *всемогущим* и *всеведущим* и *всезблагим*, а посему Он должен был все предвидеть – раз; иметь самые лучшие намерения – два; и быть в состоянии сделать все *наилучшим* образом – три; следовательно, он и сделал все хорошо, насадил Эдем и запустил туда двух невинных птишек Адама и Еву. Зла же Он, естественно, не сотворил, а оно само из Добра появилось, упало Добро со стола маслом вниз, как бутерброд, и, конечно, запачкалось – вот и получилось Зло. Так что я – это бывшее наилучшее существо по имени Ангел, но затем во мне червоточинка образовалась, я позавидовал Всевышнему, потому – **пал**, ну, и нынче я – *падший* ангел.

– Значит, Индиан, ты – оклеветан, так что ли?

– Да, мой дорогой! И давай-ка по сему поводу выпьем, хотя тебе и нелзя, и пойдём-ка дальше, а то пурга зачинается.

Он налил мне треть стакана, себе же полный, мы выпили и закусили соленым огурчиком. Тепло разлилось благодатное, и болеть перестало, и надежда ожила.

– Преподаватели исторического материализма, – продолжил Индиан, увязывая рюкзак, – конструируют и Творца мироздания так, чтобы все гладко увязывалось с заранее придуманным ими ответом для задачи, которую они решить не в силах; они написали *учебник теологии для домохозяек*, а тех, кто посмеет усомниться в их праве на истину, они сожгут, сгноят, "секвестрируют", рассадят по казематам или, в крайнем случае, посадят в сумасшедшие дома!

– То есть, как это – *исторического материализма*?

– Да это же все равно! Это ведь одни и те же люди! Позавчера он Закон Божий в головы нерадивых семинаристов вбивал, вчера – вел семинар по развитому социализму, а сегодня *сеет разумное, доброе, вечное!* – то есть возрождает буржуазную "духовность". И это было во все времена и у всех народов – и как только я принимаю сие близко к сердцу, так начинает болеть душа.

– Ты прав, Индиан. Я много думал, что значит быть русским в России, и знаю точно, что это значит – любить свою землю, болеть ее болями; быть *душевнобольным* и, следовательно, иметь душу, *прощаемую* для чужой боли.

Равнодушный человек не имеет национальности. Так же, как если мужчина никогда не жаждал женщину, всегда был равнодушен к ней, то он не имеет пола. Но **кто любит Россию, тот русский**. Смотри, отсюда начинался кедровый бор на сотни верст, а теперь на сотни верст бурелом – легче ли мне, чем тебе?

Индиан, идем теперь так, чтобы ветер дул в правую щеку, по гребню холма, мы выйдем как раз к поскотине, иначе говоря, к выгону.

Прошли осиновою рощу, вероятно, взяли слишком влево или ветер изменил направление, но уперлись в ручей, на котором росли желтые "туфельки". Провалились в снег по шее, с трудом выбрались и стали забирать вправо, шли так еще час и перед нами появилась крутая гора.

Мы начали подниматься. Сзади была речка Листвянка и далеко за нею – Байкал, слева – гора Верблюды и необжитые места до Урала, направо, если пересечь железную дорогу, можно было дойти до Лены и дальше до Тихого океана. По южному склону Волчьей горы проходил зимник, по которому вывозили кедровый лес из тайги, ветер дул вдоль него и сдувал снег, так что по зимнику еще можно было проехать.

– Стой! – закричал Индиан. – Засада!

Но нас уже заметили. Стремительно с двух сторон подъехали два вездехода, выскочили из них человек тридцать народу, нас схватили и привязали к могучей лиственнице.

– Ага, попался, друг *Нечистого*! Ну, теперь ты от нас не отвертись!

– Кто вы такие и что вам от меня нужно?

– Ты наш должник! Каждому из нас ты что-нибудь обещал и не исполнил – одному деньги, другому власть, третьему славу... но деньги – больше всего. Что мы с ним сделаем, друзья?

– Пусть расплатится!

– У меня ничего нет.

– Тогда ты расплатишься своей кровью! – грозно заявил предводитель. – Мы сосчитали твои долги, и проценты, и пени, и недоимку, и урон и ущерб, и постановили, что отныне будем пить твою кровь, пока ее стоимость не возместит наши потери – итак, мы будем пить твою кровь двести лет, и тогда долги твои будут погашены. Ты, надеюсь, знаешь, что на одном из Вселенских Соборов было постановлено, что "*долги даже больше, чем грехи!*"

– Да не может быть!

– С нами ученый *мних* Феоктист, он подтверждает, что это истинно так.

– Всего с тебя причитается десять тысяч литров крови. Господа, не толкайтесь, всем хватит. Берите посуду и занимайте очередь согласно жеребьевке и постановлению суда. Судебные приставы, приступайте к своим обязанностям!

Мне затолкали в рот кляп, привязали к металлическому креслу, на руку наложили жгут, ввели в вену шприц и весело побежала по трубочке алая кровь. К счастью, скоро зашумело в ушах, стало дурно, и я потерял сознание. Очнулся оттого, что Индиан растирал мне щеки снегом и энергично тряс. Снег вокруг был истоптан, *пахло серой*.

– Индиан, это все правда, или мне опять причудилось?

– Не спрашивай, дружище! Если бы один особо нетерпеливый не прокусил мне самому руку, я тоже решил бы, что мы оба в бреду. Но надо двигаться!

Кое как я поднялся, и, держась за кушак его сзади, побрели мы в гору. Идти было тяжело, ах, тяжело, Господи! Неужели и впрямь я такой грешник, что двести лет надо пить мою кровь?! Ну, да ладно, Господи, и более достойные страдают, и из невинных пьют кровь и тянут жилы, что уж говорить обо мне? А я еще жив и скоро приду на Родину. Не умирать ли на нее я иду?

Сколько же лет мечтал я подняться на эту гору, пока был здоров и молод, и вот наконец-то, уже без сил ("крови потерял много!" – донесся до меня голос Индиана) – или из последних сил? – поднимаюсь я на нее! Может быть, так судьбою и было замыслено?

Да вот и она, сугробная поляна, и две громадных ели по обеим ее сторонам, ограничивающих поляну словно сцену, но пятьдесят лет назад я смотрел на нее с крыльца дедова дома, а теперь и сам стою на ней. *"Я взглянул окрест себя, и душа моя страданиями мира еще более уязвлена стала"*. Отсюда было видно пол-России. Слева высилась двугорбая громада горы Верблюд, которую в детстве я так и не увидел – да доведется ли, Господи, побывать на ней? – а впереди, у подножья горы, на которой мы стояли, почти под ногами, на голубом холме, лежало притихшее спящее Корневище. Метель утихла, и вновь голубым заревом заливала ночной мир луна, небо полыхало звездами. Больно глазам было смотреть на разверстую даль! По чугунке летел, сияя огнями вагонов, курьерский, далеко за нею, за спящими темными лесами, лежала белая лента красавицы Лены, и в непостижимой дали, уже почти невидимый, а только угадываемый, сливающийся с бледнеющим на востоке небом, начинался Великий океан.

Но какая безумная тоска сжала сердце!

Я прислушался. Спросонья залаяли собаки и скоро перестали. Детский голос услышал я в сердце своем или из-за слабо освещенного окна на взгорке стоящего дома, он меня звал, он меня молил о спасении.

Не Русь ли это умоляет и ждет, и протягивает ко мне любящие нежные руки?

Внезапно и ярко ожило старое детское видение – волк и волчица, два черных силуэта на белом снегу, почти касаясь мордами звездного неба, поют дикий гимн тоске и отчаянью. Они приходили ко мне и во время болезни, и стояли у постели, и звали за собою. Они приходили ко мне, Индиан, ты их когда-нибудь видел?

Худой и длинный, как Дон Кихот, держась за посох, стоял Индиан на коленях на белом снегу, запрокинув лицо к истекающей светом луне, и плакал. Я пал на колени рядом с ним, и одновременный клекот вырвался из наших уст, и неумело и дико завели мы жуткую волчью песнь. Господи, Господи, помоги мне спасти её!

Вниз идти было не легче, то ли снегу было больше, то ли гуще сплетались ветви деревьев. Голос то звал меня, то умолкал, сердце тогда обрывалось, и я падал. Наконец показались огороды, мы вошли в чей-то двор, но дом был еще не тот, и мы вышли на улицу. Собаки не лаяли, деревня спала самым глубоким предрассветным сном. Господи, Господи, неужели я вернулся? Я так давно не бывал здесь, что почти ничего не узнавал. Да, вот это дом тети Даши, напротив председателины хоромы, а сразу за ними мелькнул огонек в окне, но кто там живет, вспомнить я не мог.

Калитка была распахнута, дверь не заперта, со страхом открыл я ее, и мы вошли.

В правом углу у лампы, укрытой абажуром, спала нянечка, слева у стены на кровати, сбив простыни, лежала на спине девочка, или совсем молодая девушка, лицо ее было бледно, спекшиеся губы полуоткрыты, глаза смотрели, но ничего не видели; она была без сознания и бредила.

Одна рука свесилась вниз, я поправил ее, поправил и сбившееся одеяло, девочка немного повернула голову, словно пытаюсь глядеть на меня, но взгляд ее витал далеко, и она меня не узнала.

Я ее тоже не мог вспомнить, хотя как будто знал – так силишься вспомнить забытое слово.

– Кто она, я ее знаю? – спросил я Индиана, ожидая ответа с трепетом.

– Скоро ты все вспомнишь, и ее тоже. Вы оба никого не узнаете, но ей еще хуже, чем тебе.

– Папочка, ты пришел? – заговорила девочка и голос ее наполнил меня отчаянием и болью. Мне показалось, что я сейчас умру от жалости и невыносимой любви.

– Папочка и мамочка, не покидайте меня, не отдавайте меня этим людям! Я все сделаю, что вы скажете, я исправлюсь, я теперь во всем раскаялась, и все-все грехи вспомнила. Вы ведь меня любите, и привели сюда только для моего исправления, вначале я ничего не понимала, мне было очень больно, они привязали меня к столбу и начали бить плетью. Потом заставляли ходить босиком по раскаленным углям, и я ходила. Прикладывали железо к груди, а когда я начинала кричать, обещали, что сварят меня живьем в кипятке, если я не замолчу.

Папочка, я теперь все-все поняла, вчера ты мне сказал ведь, что я не хочу признаваться в своих ошибках и что ты жалеешь, что ни разу не шлепнул меня в детстве, мне бы это пошло на пользу. Я теперь во всем признаюсь.

Помнишь ту чашку, которую тебе подарили на день рождения? Да, я ее уронила нечаянно, а тебе не сказала, но я просто не хотела тебя огорчать! Однажды меня учитель выставил с урока, и я тоже не рассказала вам об этом тогда же, но ведь теперь рассказываю, может

быть, уже можно не мучить меня больше? Ты попросил их меня проучить, но ты, наверное, не знаешь, что это настолько больно, я уже у столба готова была исправиться. Папочка, ну, пожалуйста, заведи меня с собой!.. Да, да, я уже в первом классе была скверная девочка, я принесла на урок лягушку, но я не хотела пугать учительницу.

Не бейте меня, пожалуйста, я сейчас еще что-нибудь вспомню... да, в восьмом классе попробовала курить, но сделала только две затяжки, закашлялась и больше никогда не курила... Я все равно буду любить своего папочку, сколько бы вы меня ни мучили, он просто не знает, что я уже исправилась, и не знает, что здесь так больно...

...Неужели вы меня сожжете?.. Дайте мне отдохнуть немножечко, всего пять минут, и я буду готова... почему я так долго не умираю?

Нет, я не понимал ничего. Я и не узнавал ее, не помнил, как зовут – и страдал за нее беспредельно, и именно к ней рвался, и хотел только одного – взять ее муки на себя, вместо нее претерпевать эту боль, только бы ее отпустили.

– Да, я заберу тебя отсюда, ангел мой, я пришел за тобой, спасти тебя, отнять у них, держись за мою руку крепче! Индиан, скажи, что мне сделать?

– Сделай три шага! – услышал я далекий голос, словно из-за стены.

Я сделал первый шаг и Бездна разверзлась предо мною, и в бездне клокотал огонь и визжали стальные пилы и бурава, и раскаленные шипы пронзали тело. Я сделал еще шаг, и на краю бездны задержался, не смея ни глядеть вниз, ни посмотреть назад.

– Возьми ее боль себе, иди до конца! – слышал я голос, и дух мой рванулся навстречу адскому пламени, но непокорное тело одеревенело, и едва-едва передвинул я ступни ног, но не смог шагнуть в пропасть.

Камень сорвался с краю и гулко раскатилось эхо падения.

– Всё на исходе! – сказал знакомый голос. – Может быть, хотя бы девушку удастся спасти? Обезболивающие оставим для нее... Поставьте им спиртовые компрессы, меня разбудите через два часа. Господи, ну как их занесло к нам, в такую глушь! Хоть головой об стену бейся!

Серая пелена вокруг стала сгущаться, голос звучал все тише, затем наступило великое молчание.

Время изменилось, казалось, что теперь я могу передвигаться в нем так, словно переворачивая листы книги, в которой рассказано о том, что происходило со мною. Я искал хотя бы слабую опору во времени, как ищет трения поскользнувшаяся нога, и, наконец, нашел то, что искал. Настоящее исчезло без остатка, исчез и я сам, и память во мне обо мне самом.

Оставалось только сознание тождества, нечто, что позволяло мне говорить, что это я вошел и увидел, сказал или почувствовал – но это был **другой я**, о котором почти вся память исчезла... Тот, другой, не знал почти ничего и про меня нынешнего.

Я начал существовать так, словно мне рассказывают о некоторых событиях, свидетелем которым я был, и я заново их переживаю и наблюдаю почти только как зритель... Я двигаюсь, разговариваю, встречаюсь с другими, реальными участниками прошлых событий, но ничего в них не могу изменить и вижу только небольшие отрывки из бывшего, а выбирает из тот, кто мне их показывает.

– Готовься, наступает последний акт Драмы, – произнес ясный голос. Я понял, что меня расстреляют. Но я был спокоен.

3.

По каменным ступенькам мы спустились в обширное сводчатое подземное помещение башни, мой провожатый закрыл за мною тяжелую железную дверь, наложил засов, и ушел.

Мне было разрешено провести здесь немного времени, скрываясь под рясой францисканского монаха.

Было довольно светло от нескольких масляных фонарей, горящих в разных углах помещения.

Я отбросил глухой капюшон; девушка, лежащая в углу на кошке, с трудом приподнялась и села на каменную скамью у стены.

Была она в этот раз в мужской одежде, но очарование юной красоты не могли уничтожить ни болезнь, ни пытки, ни грубая мужская одежда. Глаза горели неугасимым огнем, но в лице, сияющем добротой и неземным знанием, было столько запредельной муки, что слова замерли в моих устах, и невольные слезы полились из глаз. Я плакал – видевший столько муки и горя, столько погибших и погибающих, видевший растерзанной и свою Родину, и порушенными – ее храмы.

– Здравствуй, *преданное* дитя! – обратился я к ней. – Я твой друг, я человек, сострадающий твоей боли. Увы, я не могу помочь тебе, и даже утешение мое слабо, но, может быть, сознание, что тебя любят и о тебе страдают – поможет тебе переносить испытания.

– Кто ты, чужеземец? У тебя не французский выговор...

– Да, я из далекой заснеженной страны, из Русской Земли или Великого Московского Царства.

– Ты пришел ко мне случайно?

– Нет, я шел именно к тебе, и только к тебе... Когда-то давно мне повелели встретиться с теми, кто пришел помочь людям, и с тех пор часть моего я или некая сущность, заключенная во мне, блуждает во временах, пытаясь если не помочь, то хотя бы запомнить прекрасных детей человечества.

Я был в келье у святого старца Сергия Радонежского, на поле Куликовом, у стен Парижа рядом с тобою, и теперь пришел отереть твои слезы, но вместо того плачу сам.

Есть одна важная особенность, определяющая мои скитания – я пытаюсь постичь Металогика Откровения и прихожу к тем, кто совершает подвиг в мистическом преодолении Зла.

– Значит, ты можешь мне объяснить, отчего они меня так ненавидят и с такой иступленной злобой меня мучают?

– Увы, *природы зла я не постиг*. Доброе понять легче, ибо оно объясняется любовью к тому, что вне любящего. Умиление от улыбки ребенка; восторг от созерцания цветка; благоговение при соприкосновении с высоким; преклонение перед жертвой; сочувствие к обиженному – это и есть Добро. В душе человека эти качества укоренены при рождении.

Но отчего может возникнуть желание унижить высокое, растоптать цветок, причинить боль тому, кто не причиняет боли? Возможно, души этих людей ущербны, и сознание собственной ущербности причиняет им страдание и рождает ненависть к прекрасному? Зло непостижимо умом, а душою погрузиться в него я не могу.

– Мне кажется твое лицо знакомым...

– То же самое почувствовал и я, увидев тебя в первый раз. Но я не знаю, пересекались ли наши души прежде. В будущем нам предстоит встретиться – почему я в этом так уверен, не знаю.

– Ты сказал, что пришел ко мне не случайно... Что же это значит?

– Я причину тебе боль своим объяснением, прости меня. Ученые теологи тебя измучили и приговорили к страшной казни – и все же и мне придется разговаривать с тобою на языке философии или теологии.

Спаситель всем людям дал надежду на вечную жизнь, на воскресение в том мире; чудо соединения человеческой, тленной, природы и божеской, нетленной, произойдет для человека за гранью бытия. В этом мире человек, как правило, лишен чуда.

Однако, немногие способны и в этом мире переживать состояние особенного духовного Преображения – это *дар Божьей Благодати*. По мнению слуг дьявола, выдающих себя за служителей Божьих, человек не может знать, находится ли он под воздействием Божьей Благодати, а если думает о себе так, то, несомненно, он в когтях дьявола. Ты сказала им, посрамив всю их софистику, что *“если ты под воздействием Благодати, то благодаришь за это Господа, а если нет, то просишь Его о том”*.

Но ты и действительно находилась под покровительством небесных сил, и знаешь это – нет, нет, не протестуй, я не судья и не лазучник, ты это знаешь, не бойся меня, мое чистое дитя, будь со мною откровенна даже больше, чем с собой.

– Они покинули меня, святые Елизавета и Екатерина, я больше не вижу их, и не слышу их голосов.

Я взял ее руку, погладил ее и поцеловал.

– Да, они оставили тебя, ты лишена Божьей Благодати, ты лишена всякой поддержки свыше, моя несчастная девочка! Попробуй не думать об этом до последней минуты, сохрани свои силы, иначе отчаяние раздавит тебя прежде, чем ты понесешь свой крест.

На тебя возложили непосильные задачи, но ты уже исполнила две из них.

Ты спасла Францию. Возможно, это сумел бы сделать и другой человек, созданный из праха земного – ты же создана из цветов и небесного света.

Но существует более всемирная задача, решалась судьба Веры.

Господь вочеловечился для того, чтобы всякое дыхание не только славилло Бога, но и существовало как отдельное дыхание, чтобы *самость* утверждалась – через Бога. Темные силы полторы тысячи лет пытаются отменить важнейший дар Христа, и учат, проповедают и требуют, чтобы всякое дыхание *растворилось* в Боге и *перестало быть самостью*. На Руси святой Сергий Радонежский повелел двум монахам идти на поле брани для защиты Русской Земли и тем самым поставил *подвиг защиты человека и Родной Земли выше подвига жизни для Бога*.

Ты, защищая Францию, защитила ее не только от англичан, но и от утверждения такой Веры, которая обезличивает человека.

Христос пришел не для того, чтобы обратить людей в рабство, чтобы **подчинить** их – хотя бы даже Богу! – но чтобы освободить их, чтобы соединить их с Богом через их свободную волю, через любовь, а не подчинение. Не через истребление Природного в себе, – то есть, родового, национального, лица и пола, – а через их возвышение и очищение человек приближается к Господу.

Софисты Дьявола спрашивали тебя – что же для тебя выше, важнее, дороже – Франция или Бог? Если Бог тебе дороже всего, говорили они, то доверься ему, откажись от своей миссии – если Ему угодно спасти Францию, то Он спасет ее и без тебя; если же не спасет, то, значит, ее спасение и не угодно Ему.

Не так ли и Христу дьявол предлагал броситься в пропасть – если Он Сын Божий, то Бог спасет Его, а если не спасет, значит, Он и не Сын Божий.

Надо ли исполнять долг свой, действуя по собственной воле, то есть, идти в сражение, спорить, убеждать, силой меча утверждать правоту свою – или же полностью отказаться от своей воли, сложить руки и плыть по течению, ожидая пока Господь Сам осуществит Его волю?

Ты и возвестила и подтвердила делом, что защищая Добро, противодействуя Злу – но по собственной воле – человек как раз и исполняет волю Божью, и только через личный подвиг “рожденного от праха” нисходит на землю свет небесный.

Ты спасла истинную веру.

– Тогда почему же Силы небесные оставили меня и больше не помогают?

– Теперь ты должна совершить и третий подвиг, более трудный. Боюсь, что в метафизическом времени ты уже дала на это свое согласие, поэтому завтра поднимешься на помост, оставленная всеми...

Я встал перед нею на колени и склонил голову до земли.

– Девочка моя, ты сумеешь дойти! Увы, не очень многим я помогу тебе, но всю свою жалость, всю любовь свою я отдаю тебе на помощь. Я буду близко, ты меня сможешь видеть – пока в силах будешь смотреть.

Я верил, что приду к тебе – и вот я рядом с тобою. Верь и ты, что дойдешь до вершины – и ангелы подхватят тебя на свои крылья.

В будущем мы еще встретимся, хотя, вероятно, не вспомним, что с нами происходило прежде – но отблеск этой ночи коснется нас.

Прощай, невинное дитя!

Я поцеловал ее маленькие холодные ноги и встал, чтобы уйти. Загремел засов, открылась дверь, и стражники меня увели.

Вели меня теперь иначе, сырыми подземными переходами, и тем разительнее показался свежий воздух за воротами тюрьмы. Не хотелось никого видеть, разговаривать с пустыми людьми, я вышел в предместье, чтобы в одиночестве подготовиться к предстоящим испытаниям.

Жизнь моя запугалась до крайности. Я не совсем понимал, в каком году от рождества Христова живу, кто я, что меня ждет, какое из моих я подлинное, а какое – сгущенное воспоминание о Прошлом. Непостижимым образом я знал, что мне предстояло стать свидетелем Величайших потрясений мироздания, но и меня ожидали испытания тоже. Останусь ли я жив, и есть ли у меня время, чтобы исправить свои ошибки?

Что я теперь знаю о мире? Что знаю о самом себе? Природы Зла я не постиг – но Зло ли вершит Судьбы Мира? В Откровении говорится о природе зла неопределенно: быть может, источником его является зависть, раздражение при сравнении себя с высшим. Чистая душа восхищается, сталкиваясь с тем, что превосходит ее, и восторженно благоговеет. Как прекрасно, что есть Моцарт, Шопен, Бетховен, Пушкин, Толстой, Достоевский, Сергей Радонежский и ученики его, Тициан и Крамской, Козьма Минин и Владимир Мономах, боярыня Морозова, Мария Египетская, святой Франциск и сонм других! Прекрасно, что есть чудесная девочка из деревни Домреми!

Низкий человек негодует и стремится низвергнуть высокое, ибо не восторгается тем, что над ним, но лишь тем, что ниже его. Почему это так, не знает никто, не рассказал о том и Учитель.

Итак, не завидуй уму и Добродетели, ибо если и не от тебя зависит стать Сократом, то в добродетельной жизни препон нет, а она выше мудрости.

Но *злое* ли погубило Учителя, и сегодня на Гревской площади погубит Жанну? Не сказал я ей, не стал смущать – придут и будут смотреть с равнодушием или злорадством *истинные виновники* ее мученической смерти – *добродетельные* матери и отцы семейств, дети, не обидевшие кошки, братья, чистосердечно заботящиеся о сестрах, – не от них ли зависела и смерть Учителя? Синедрион ли осудил Его на казнь? Пилат ли? Иуда ли Его предал?

Завтра спросит Пилат толпу, с надеждою, что они изберут достойного – кого же они хотят оставить в живых – Варавву или Христа?

И они обрекут на муки Христа, не погубившего былинки, а кровожадного Варавву пощадят!

Так разбойники ли, книжники и фарисеи, кесарь и Синедрион казнили Спасителя? Нет, пахари и лудильщики, жнецы, виноделы и гончары, осторожно обрезающие виноградную лозу, чтобы не обрезать лишнего, и жалеющие вола, крутящего колесо!

Кто же губит и Русскую Землю?

Разбойники ее захватили и раздирают в клочья, а жители потакают, не препятствуют грабить, не изгоняют от власти, да и власть им вручили!

Скорбят ли они, что Россия унижена? Нет, думают о ценах, о сроках зарплаты... Чертыхаются ли, что в подъездах грязь, в домах сквернословие? Нет, *озабочены ценой доллара!*

Мечтают ли, стремятся ли превратить Русь в Благоухающий Сад? Нет, мечтают лишь о своем! Ну, хоть бы иногда, хоть бы раз в сто лет помечтали о торжестве красоты и справедливости – нет, все сто лет подряд только об одном – отдаст ли долги сосед, повьсят ли сына по службе, удачно ли, то есть за богатого ли, выйдет замуж дочь!

Но не разбойники же они! Тупые, упрямые, тщеславные, упорствуют в заблуждениях, не признаются в просчетах, но нальют же мне чаю и приютят на ночь, и даже дадут в долг, сомневаясь, отдам ли!..

Как совместить такое безграничное равнодушие к судьбе всего того, что за пределами их семьи и дома – и способность к жертвам, милосердию, помощи?

Как совместить их нежелание и неспособность быть разбойником и грабителем, неспособность украсть, разбить чужое окно, обидеть чужого ребенка, убить для корысти прохожего в темном лесу, угнать чужой автомобиль, разграбить чужую квартиру – ибо этой способностью обладают не более, чем только один из ста, а большинство-то неспособно к разбою! – и то, что власть злого и жестокого обязана именно им, именно они проголосовали, выбрали, поддержали в двадцатом веке, когда представилась возможность голосовать, выбирать, поддерживать – и Гитлера, и Сталина, и Ельцина!?

Так как же я могу надеяться понять *сверхлогику* Слова Божьего, а *простейшую логику человеческого прозябания* – не способен понять?

Разбираюсь в движении звезд, замечая ничтожные погрешности в математических построениях, но отсутствие логики человеческого бытия ставит меня в тупик!

... При первой встрече Пилат был со мною холоден. Грубый римский служака, он не любил слишком ученых греческих чиновников, которых, по его мнению, много появилось при дворе в последнее время. Впрочем, время знакомства не располагало к любезности, явился я к нему в день казни, за несколько часов до нее, и только тайное послание императора

отчасти смягчило прием, ну, и конечно позволило прочитать документы и встретиться с Учителем.

Но на следующий день, придя проститься, я был поражен переменной.

Пилат попросил меня уделить ему достаточное время для беседы, отпустил слугу, налил мне вина в чашу и с сарказмом и внутренней болью предложил на закуску, кроме фиников, сухую и пресную пасхальную еврейскую лепешку, разломив ее пополам. Я оценил его жест, склонил голову и сочувственно выпил вино.

– Проклятая чернь! – хрипло сказал Пилат. – Я мог бы разогнать ее за десять минут, но у меня был приказ императора не вступать в конфликт с Синедрионом. Но я был уверен, что толпа потребует его освобождения, за несколько дней до того она ликовала, встречая Его, он был ее кумиром – что же переменялось? Ничего не понимаю!

Эти старцы боялись Его влияния, они слишком буквально поняли клич черни – *Се царь иудейский!* – а чернь предпочла своему *царю* мерзкого Варавву! Ты – понимаешь?

– Нет, господин наместник, не понимаю. Мне тяжелее, чем вам. У вас страдает самолюбие, вы сочувствовали Учителю потому, что ненавидите Синедрион и презираете чернь, я же равнодушен и к тем и к другим, но Учителя я – любил.

– Да, знаю... У меня есть свои осведомители... Но и я не был к нему равнодушен, я не сразу проникся к нему симпатией, она во мне нарастала постепенно, вместе с состраданием... в противном случае я мог бы нарушить долг солдата и занять слишком пристрастную позицию – повторяю, мне было бы достаточно десяти минут, чтобы разогнать толпу вместе со старцами.

Он снова налил мне вина, ему явно хотелось кое-что узнать. Наконец, он спросил прямо:

– Ты был с ним знаком ранее?

– Да, я встречался с ним в Греции, и около года мы жили вместе, у нас были общие учителя.

– Однако он не последовал за греческими учениями... Хотя за иудейскими последовал не до конца, а в существенном, может быть, и вовсе не последовал...

Выпей еще вина... У меня есть человек, который все знает, по крайней мере, *должен* все знать... Он уже несколько месяцев докладывал мне о несчастном проповеднике... а перед твоим приходом мы говорили с ним о тебе. У него самые лестные о тебе сведения, он говорит, что ты производишь из очень знатной фамилии, весьма образован, хорошо воспитан – ну, это видно, – и пользуешься доверием императора не в результате дворцовых интриг... Данное тебе поручение – не вмешиваться, увидеть, понять и рассказать – думаю, ты выполнишь блестяще...

– Спасибо...

– Понял ли ты главное – он действительно Сын Божий или он человек?

– Это только часть вопроса...

Человек ведь не отделен от Божества пропастью, но, будучи его творением, и наделенный бессмертной душой, он имеет отчасти божественную природу – Бог вдохнул в нас часть Духа Своего – и в этом смысле мы больше, чем *творение* – в отличие от изваяния, созданного скульптором, мы отчасти тоже дети Господа, Творца и Вседержителя Неба и Земли.

Вопрос Ваш, господин наместник, я сформулирую так: рожденный земной матерью, и, следовательно, имея человеческую природу по своему земному рождению, имел ли он и отца тоже земного, а Бог лишь избрал его и излил на него Свою Благодать, наполнив его Своим Духом и Силой, преобразив в этом акте нисхождения Духа Святого человеческую природу отчасти в Божественную, или даже соединив неслиянно с человеческой природой, данной от рождения, Божественную, данную в акте Мистического Преображения – или Бог *непосредственным* образом стал Его отцом в акте мистического "непорочного" зачатия?

Но еще важнее другое – если даже Учитель и воистину Сын Божий, то родился ли Он *во времени*, то есть, тридцать три года назад начался от небытия; или Он, как и Бог, вне времен, и прежде времен, и был предвечно, тридцать три года назад только избрал земную форму, воплотился в человека, а, значит, Он и Сын Божий, и Сам Бог?

Теперь я, как философ, наиболее полно выразил ваш вопрос, господин наместник?

– Да, философ, сформулировал вопрос ты блестяще... Но ответишь ли на него? Выпей пока еще!

– Разумеется, если отвлечься от содержания *сыновности*, то Учитель – Сын Божий, что же до сущности Его сыновности, то сказанное мною определяет три типа ее – сыновность, приобретенная *после рождения*, то есть, чисто духовная; сыновность, приобретенная *через рождение*; и сыновность, *существовавшая искони*, всегда, но через Рождение получившая земное воплощение.

Я предвижу, что по поводу трех типов *сыновности* – а, следовательно, трех типов Откровения – будут еще кипеть страсти в человечестве, ибо знать это наверняка нельзя, как нельзя знать, существует ли Бог.

Человеку дано право по вере своей так или иначе отвечать на этот вопрос, и подменить Веру знанием невозможно.

– Во что же ты веришь? Скажи мне откровенно, Философ, и никто никогда не узнает, что ты мне сказал, клянусь тебе!

– Пока еще рано говорить о вере, потому что еще никто в мире не знает, во что он поверит в связи с приходом Учителя. Не знают об этом и ученики Его, один из них Его предал, другой отрекся трижды, остальные разбежались...

Но завтра либо свершится то, что Он обещал им, и *Распятый* воскреснет, и Смерть будет побеждена; либо не свершится – но даже ты, господин наместник, втайне ждешь Воскресения, и боишься, как и я, что его не будет, ибо тогда не будет побеждено отчаяние в наших душах и не будет побежден абсолютный страх смерти.

Я еще жду Откровения, и только завтра, быть может, оно мне будет дано; или еще не скоро... а, может быть, и никогда...

– Ты был вчера *там*?

– Да...

– Ты узнал хотя бы часть того, для чего тебя послал цезарь?

– Да...

– И что же?

– Я боюсь говорить... Если это правда, то это страшная и жестокая правда...

– Говори же!

– Существует единственный способ открыть дверь в истину...

– Какой? – закричал наместник. – Скажи мне, Философ, мне это знать не менее важно, чем ученикам его!

– *Шагнуть в пропасть! И погибнуть...*

...Я слишком погрузился в воспоминания и очнулся от гула толпы. Исчезли и Пилат и Иерусалим. Гревская площадь, черная от тесной толпы народа, гудела, как прибой.

Вот выводят невинное дитя... Привязывают к позорному столбу... Вспыхивает огонь...

Господи, как передать муку смертную, когда словно змея ужалила меня в сердце! Дитя на меня смотрит с надеждой, с мольбой, а пламя охватывает ее и скрывает от меня... вот появляется еще неопаленное прекрасное лицо... и безумный, страшный крик отчаянья заставляет замереть все сердца...

– *Крест! Дайте мне крест!* – вскричала Жанна трижды, и умолкла навеки...

О чем она молила? Просила ли она помощи у Того, Кто и Сам был беспомощен в час казни?

Сердце оборвалось в пропасть, и я потерял сознание.

Глава вторая

ДОПРОС

Лязгнул засов, дверь в камеру открылась, вошел Индиан в сопровождении стражника.

– Скоро все кончится. Завтра состоится суд. Осталось получить последние показания.

– Что вас еще интересует?

– Главное!

– Я не знаю больше ничего...

– Ну, что ж, придется идти на экскурсию.

– Какую экскурсию?

– Собирайся! Мы идем в Исторический музей, в зал Священной Инквизиции. Надеюсь, что его экспонаты пробудят твою память.

Вероятно, для большей убедительности руки и ноги мне сковали кандалами, и приковали цепью к свирепому стражнику в средневековой одежде и маске. Мне показалось, что это Кундин Кундиныч, и я содрогнулся.

Камера моя помещалась на 4-ом этаже старого здания тюрьмы, и вначале по длинному переходу мы прошли в новое здание Большого Дома, сверкающее кафелем и линолеумом. Обстановка была самой будничной, ничто не предвещало дознания под пыткой, я приободрился, надеясь, что экскурсия наша ограничится историей и этнографией.

Индиана Поликарповича здесь хорошо знали, здоровались, останавливали, заговаривали о погоде, насморке, кознях начальства и сослуживцев.

Уже у лифта он вспомнил, что должен купить бутылку коньяку экскурсоводу – пока не напьется, ничего не расскажет толком и *пытать не станет* – как бы в шутку добавил он вполголоса.

Простояли минуты две, и Кундин Кундиныч тоже вспомнил, что надо купить сигареты, отомкнул цепь со своей руки, она с лязгом упала на пол, и побежал в буфет...

Я остался один.

Может быть, бежать? Но куда? И в кандалах? Поймают и будут бить.

Однажды мне снилось, будто прямо из окна моей камеры в сторону Невы натянули длинный канат, и я спустился по нему... Было начало белой июньской ночи, по набережной гуляли люди, но никто не обращал на меня внимания, возможно, думали, что это съемки фильма...

Может быть, и теперь изобразить из себя актера, подойти к воротам, сказать, что иду за режиссером... Но разве не Индиан – режиссер? Да вот он и возвращается с Кундин Кундинычем под руку, и, похоже, что оба уже навеселе.

Спустились на лифте до уровня пятого подземного этажа, затем по каменной лестнице пошли еще ниже.

– Седьмой этаж – самый страшный! – сказал *доктор парансихологии*. – Как раз там находятся экспериментальные мастерские. При Советской Власти подследственных пропускали через конвейер, работали в три смены, торопились создать Нового человека, соответствующего заповедям морального кодекса, и построить светлое будущее.

– А разве сейчас не Советская Власть?

– Ну... я хочу сказать, что *сейчас она ослабла*.

Однако, вот мы и пришли!

Он постучал в тяжелую чугунную дверь, она закрипела, повернулась и мы попали в обширное сводчатое подземелье, освещенное факелами.

– Видимо, сюда же приводили и Жанну... – подумал я.

– Гражданин подследственный, познакомься, это наш главный смотритель, по прозвищу "палач". Будь с ним повежливей, он очень обидчив.

– Принес? – спросил нетрезвым голосом смотритель.

– Ну, а как же! – с некоторой опаской даже ответил доктор наук, протягивая грязную бутылку толстого зеленого стекла (из земли выкопал, что ли?)

Смотритель мигом откупорил ее и, сделав два громадных глотка, закрыл и положил во внутренний карман балахона.

– А как же вы говорили – Исторический музей?

– Отделение средневековья как раз у нас и помещается! Не будем тратить время, пойдем... Вот здесь – *испанский сапог*, испытуемый садится в кресло... вот так, удобно? Нигде не жмет? Да отомкни ты цепь, Кундин, отсюда не убежит, а то ненароком я и тебя *испытаю!* Ножки пожалуйте вот сюда, в углубление, крутим рукоять, винт сдвигается, и ступни зажимает все теснее. Руки кладем на подлокотники, защелкиваем замки, Кундин, хочешь поработать? Бери вот эти клещи, будешь отдиравать ногти.

– Позвольте, а как же я показания напишу, Индиан Поликарпович, я же не смогу писать!

– Да, да, господин смотритель, давайте покажем что-нибудь другое, а то ни ходить, ни писать он не сможет, а мне он еще будет нужен!

– Ну что ж, хорошо, идемте дальше... Так, гм, промочим горло...

Он сделал еще два глотка, удовлетворенно вздохнул, облизал губы и повел нас дальше.

– Дыба... Чертово колесо с шипами... Ага, вот это нам подойдет... Прекрасная пытка и очень простая...

... – Господин посланник! По распоряжению светлейшего вы можете поговорить с Иисусом из Назарета, но не более часу.

– А пытка?

Легионер взглянул на меня с изумлением. Я помотал головой. Что за наваждение? Да, ведь только что я говорил с Пилатом, вручил ему письмо императора, затем мне принесли обед, и вот... да, мне разрешено свидание с Учителем...

Я вошел в небольшую комнату... Иисус смотрел в окно, медленно повернулся к двери, лицо его было измождено и бледно...

– Здравствуй, брат мой! Вот мы и свиделись, хотя и не чаяли больше увидеться.

Я поклонился ему в пояс, приложив ладонь к груди.

Иисус стремительно подошел ко мне, крепко обнял и расцеловал. Потом отодвинулся, усмехнулся, покачал головой.

– Ты сейчас откуда? Из Рима?

– Да.

– Наверное, совершил столь трудное путешествие, чтобы в последний раз поспорить со мною?

– Дорогой мой, стоит ли спорить теперь? Переубеждать тебя, возражать тебе в эту минуту было бы просто жестоко. Меня послал император, чтобы получить о тебе неофициальное мнение человека, которому он доверяет. Ему посоветовали не полагаться на одни только сообщения государственных служащих и рекомендовали возложить поручение на меня – хотя никто не знает о нашей дружбе. Конечно, если бы я приехал раньше, то не один раз ввязался бы с тобою в спор – если ты еще не охладел к спорам со мною... Но сейчас я только могу обнять тебя и сказать, что люблю тебя по-прежнему. Хотя по-прежнему не до конца с тобою. Однако, я не против тебя! Боюсь, что как раз многие из тех, кто ловит каждое твое слово и ни в чем тебе не противоречит, то есть, как будто уж точно с тобою – будут против тебя.

Разве мы не видим в жизни, что неукоснительное соблюдение правил подчас приносит больше зла, чем отступление от них? Разве не учились мы диалектике вместе, и разве ты не согласен, что *Истина часто утверждает себя, отрицая?*

Ученикам своим ты сказал: *будут преследовать вас за имя Мое.*

А сколько последователи твои будут именем твоим преследовать тех, кто, как и я, отважится иметь собственное мнение, кто, как Сократ, будет подвергать сомнению и исследованию каждое положение, вместо того, чтобы его слепо принять?

– А говорил, что приехал не спорить, а обнять... Нет, ты неисправим! Но я счастлив слышать тебя и снова ощущать твой задор и горячность! Сам Создатель не сказал разве, что *приемлет только горячих, и отвергает холодных и теплых?*

Послушная и слепая вера учеников моих необходимы, чтобы построить фундамент нового храма – может ли фундамент быть прочным и не монолитным? Но и твое свидетельство необходимо, без твоего скептицизма не вырастет живое.

Вообразим, что на землю изливается свет Истины. Что произойдет с почвой? Если не будет дождя, то она превратится в камень и перестанет плодоносить. Ты – дождь, который делает почву рыхлой и мягкой... однако, чрезмерное сомнение переувлажнит ее или даже вовсе обратит в грязь.

Ты прочитал у Пилата все, что собрали судьи мои по рассказам свидетелей слов моих – но не все так, как я говорил, а многое – вовсе придумано.

– Так разве тебя не страшит, что ты оставишь учение, в котором все соответствует твоему замыслу?

– И мать рождает ребенка, который не повторяет ее, но мать любит свое дитя. И скульптор видит иначе, чем ему удастся высечь из мрамора или камня.

А я высекал из более прочного материала, чем мрамор или камень – я высекал из человека, и не все получилось так, как хотел.

– Но как же это могло случиться? Разве ты не утверждаешь, что ты – Сын Божий, и, следовательно, разве тебе не все ведомо, не все подвластно?

– Ты не боишься сомневаться в разговоре со мною и оспаривать мои слова... Как же ты боишься спорить с учениками моими, боишься, что именем моим они будут гнать тебя?

– Брат мой, с учителем спорить – наслаждение, а с упрямым и тупым – мука! Он ведь не видит и не понимает доводов, он как стражник, который сопровождает арестанта – шаг влево, шаг вправо – побег, конвой стреляет без предупреждения.

– Что, мои ученики все такие тупые?

– По крайней мере упрямые...

– А как же иначе они утвердят учение мое? А если будут сомневаться, и не будут обличать тех, кто искажает слова мои – то что станет с моими словами через год, когда уже сегодня, пока Я еще жив, ты говоришь, что они уже многое напутали... И действительно так...

Разрешите же Я сегодня им свободомыслие, то они не заметят завтра, что станут проповедовать *против Меня*, думая и веря, что проповедуют *за*.

– Да разве не так уже и теперь?

– Увы! Но нет корабля, который не сбивался бы с пути, и постоянно капитан должен исправлять курс! Одни будут уводить от меня, другие – возвращать. А гнать будут *и за имя мое, и именем моим*, и не только потому, что я сказал, что *кто не со мною, тот против меня*, а и потому, что такова природа человеческая, она не приемлет, чтобы два взаимоисключающих утверждения были оба истинны – одновременно! Хотя истинно, что это так.

Теперь объясню тебе, почему я допустил, чтобы в учении моем верное было перемешано с неверным; словно сеятель вышел на поле с

мешком непросеянной пшеницы, с мешком, в котором пшеница соединена с плевелами. Мог ли я отделить плевелы от пшеницы и оставить одну пшеницу? Конечно, мог. Но ты уже теперь боишься утратить свободу сомневаться и спорить, ты отказываешься от слепой веры, утверждения мои, что *"азь есмь истина и путь"* и **вне меня пути нет** – кажутся тебе камнем, который раздавит философию и свободу мысли.

Ну, а если бы я оставил в наследство Истину, высеченную в камне, где было бы все абсолютно и незыблемо, совершенно и полно, так что уже больше не надо было ничего искать? Если бы я оставил Истину, *абсолютно и беспредельно истинную*? – Разве камень этой истины не раздавил бы тебя вместе с философией неотвратимее и неоспоримее, чем учение, в котором существуют противоречия, темные места, заблуждения и даже ошибки?

Спорь же! Спорь и с теми, кто будет тебя преследовать, у тебя остается шанс победить их в споре, их оружие слегка затупело. Увы, *не мир я принес, но меч*. Но верно и другое – *кто с мечом придет, от меча и погибнет*.

– И все же, если ты Сын Божий, и воплощается в жизнь твой замысел и твой промысел о Судьбе Мира, почему не явился ты в просвещенном народе, а пришел к дикому и невежественному, грубому и фанатичному?

– В тебе говорит предубеждение. Не так уж *этот* народ дик, не так уж *твой* – просвещен. Но было много причин воплотиться именно на этой земле. У них самое полное понятие о единственном Боге, а у эллинов – чьим сыном я мог бы стать? Не сыном ли сонмища богов или воинского отряда?

Нужна укорененность в традиции и предании, нужно многовековое ожидание именно моего прихода. Принести Откровение тем, кто не жаждал его – невозможно, также не спасти тот народ, который не ожидал Спасителя.

Есть и другая причина, не менее важная. Я ведь пришел к гонимым и униженным, притесняемым и презираемым; я пришел поднять побежденных, а не разделить ликование с победителями; утешить погибающих, оплакать павших, поддержать и дать надежду отчаявшимся. К Пилату ли я должен был придти?

– Но не к Каиафе и здесь ты пришел, а к Иерусалимской черни. Римская же чернь – не хуже... и не лучше. Впрочем, доводы твои принимаю.

– Да и кого ждут народы? Они ждут героев, победителей, но не ждут побежденного, чтобы пойти за ним. Но разве герой укрепит слабого? Колеблемому ветром я должен показать – силы во мне не больше, чем у тебя, следовательно, и тебе по плечу то, что удастся мне! Боящийся боли должен увидеть – мне больно так же, если не больше! Я собрат в страдании, друг в сомнении, понимающий в неверии...

– Поэтому-то и начал ты с того, что прельстил их чудесами? За кем же они пошли? За учителем, проповедующим добро, или за тем, кто воскрешает умерших, исцеляет болящих, кормит голодных, приводит в чувство бесноватых? Пророк или фокусник?

– Ты говоришь почти как фарисей, а пришел будто бы обнять меня... Не сказал ли я, что Благо тому, кто увидел и уверовал, но трижды блаженнее тот, кто *не видел, но уверовал*?

Не сказал ли я, когда сатана предлагал обратить камни в хлебы, чтобы накормить голодных – *не хлебом единым жив человек!*? Не говорил ли, что *царствие мое не от мира сего*?

Да, человек слаб, и требует и ждет, чтобы ему дали *немедленно и побольше*, и соблазняется чудесами. Что же ему надо? Истина ли, которую я возвещаю, или чудесные доказательства того, что я пришел от Истины?

Я показал им силу – и многие соблазнились силой, но не истиной, и *уверовали в силу истины*. Я покажу сегодня бездну слабости и еще больше соблазнится сомнением, разуверятся и отпадут от меня.

Разве не уверовали и в Вававву, когда разграбил он купеческий караван и раздал их имущество бедным?

Ты жаждешь большего, чем чудо и истина. Ты ожидал того, кто возвестит и покажет истину так, что ни кривотолков, ни сомнений больше не останется – но останется ли твоя свобода размышлять и исследовать, которой ты так дорожишь? И какой истины ты ожидал? Той, которая у творца, и которую не вместить человеку? Разве с ребенком ты говоришь на языке взрослого?

Я не пришел истолковать и объяснить все, но дать главное. Пришел разделить с человеком его слабость и боль, и показать, что несмотря на конечность земной жизни, не стоит жить только для чувственных наслаждений, но есть более важное, духовные ценности, обретение Святого Духа – и это и должно быть смыслом существования.

– И что же, во имя этого оставить и мать, и сестру, и жену, и детей, и дом свой, и имущество свое, и призвание свое, и пойти за тобой? Философия, наука, поэзия, любовь, дружба, семья, отечество, рождение детей – все это ничто, а любовь и рождение детей даже еще хуже – грех? Пол и язык, то есть, основное, во что человек воплощен, им он соединен с другими – надо оставить, и остаться более чем нагим – бесплотным?

Так что же ты пришел разделить с человеком? С пахарем, когда радуется он, взрыхляя землю? С сеятелем, разбрасывающим семена для нового урожая? С матерью, в умилении баюкающей дитя?

Нет, ты обратился к тем, кто занимается чем-либо предосудительным, чтобы без сомнения и даже с душевным удовлетворением призвать их *бросить их занятия*: блудницу – не продавать более свое тело; мытаря – не отбирать последнее у бедняков; фарисея – не обманывать и не лицемерить; правда, и рыбаков ты позвал за собою,

ловить отныне не рыбу, а человека, но все же ловля рыбы – не главное занятие человека... А обратиться к сеятелю, жнецу и хлебопеку, пусть они более не сеют и не жнут, живут как птицы небесные, а хорошо бы, чтобы *все* хлебопеки перестали печь, а *все* девицы – грешить, а *все* женщины – рожать, так сразу и перейдем в царствие небесное!

– Ну и язвительный же ты! – улыбнулся Иисус. – Вот я сказал как-то, что если кто попросит пройти с ним одно поприще, пройди пять! Так уж человек устроен, что если призываешь пожертвовать золотую монету, то пожертвовал бы хоть медную? И призывая отказаться от всего, ожидаешь хоть немного жертву...

– Да надо ли жертвовать семьей и отечеством?

– Не надо! Я предлагаю новое небо и новую землю; и не велю отказаться от всякого братства, но помимо братства, основанного на плотской любви и на крови, предлагаю братство, основанное на духе. Кто получает братьев и сестер через обетование царствия небесного, тот уже не нуждается в земном браке, в семье и единомышленниках.

– Хорошо, учитель, останемся каждый при своем убеждении. Я люблю тебя, и готов за тебя умереть, но мне дорога и Эллада, и ее предания, песни, ее небо, ее девушки. Не уверен, что и ученики твои, которые несомненно любят тебя, также любят и друг друга. Быть может, любовь, основанная на духовной близости, способна заменить кому-то земную любовь к женщине – пусть это будет так для тех, кто на это способен.

Но не следует любовь мужчины и женщины называть греховой и порочить таинство зачатия и рождения ребенка, называя его *первородным грехом*. Я сказал все, и позволь мне обнять тебя на прощание.

– Но я не говорю тебе – *прощай*, а – *до свидания*! Ты не спросил меня о самом главном, а Главное состоит в том, что я пришел преодолеть смерть, я пришел восстановить вечную жизнь для человека. Ты ведь уже слышал, что именно это я обещал ученикам своим. Должно сыну человеческому претерпеть муки и смерть, и воскреснуть в третий день, как было сказано у пророков.

– Сыну Божьему все возможно...

– Нет, друг мой, перед тобою страдающий, растерянный, сомневающийся *человек*. Я, живущий под властью "*как бы двойного бытия*", оставил другую свою природу, свое *инобытие* за гранью, разделяющей человека и Бога. Умру я здесь так же, как и всякий смертный человек, и – мне предстоит разрушить метафизическую преграду между этим и тем миром; *претерпев уничтожение, уничтожить ничто, небытие; воскреснуть*.

Я теперь как и ты... Я уже не уверен, не приснилось ли мне, что я пришел – от Отца небесного. Ты можешь почувствовать меру моей скорби и моего отчаяния? Я ли иду сам на муку и смерть, Отец ли оставил меня одного? Я не знаю...

Я тебе покажу смутный образ того мира, который мне видим...

Это последний отблеск, последний луч заходящего солнца – и наступит тьма, и я уже не смогу более ничего увидеть, кроме того, что видимо всем.

– Я буду среди тех, кто придет проститься с тобою.

– Я знаю. А теперь смотри.

Что я увидел? Рассказать это я не могу, но воспоминание питает мой Дух и поныне.

Может быть, из-за этого мгновения озарения мне было не так мучительно при прощании... да я и не чувствовал до конца, что это прощание – навеки...

Через несколько часов Учитель отправился в последний путь. Как бы мы, любящие, ни сострадали Ему в Его муках, мы не могли их уменьшить. Самой страшной мукой Его была мука обреченности.

Глава третья

СУД

Господи, Боже мой, как давит сердце, все тело болит и ломит – черти на мне по ночам воду возят, что ли?

Да и это бы ничего!

Тоска крошечная душу мою сжимает, как мокрую тряпку, только вместо воды вытекает живая кровь, вытекает духовная связь с миром, и черное одиночество обволакивает меня, как тело обволакивает мокрая одежда.

Я оставлен всеми.

Звезд на небе не видно, нависло оно мрачное низкими темными ночными тучами... Дальше двух шагов и вокруг не вижу, и куда из последних сил иду, неведомо. Снаружи тьма – это оттого, что внутри нет света.

Что ж с миром стало?

Я ли его оставил, или он про меня забыл и безучастен, не до меня живущим, своих забот хватает, некогда мои выслушивать жалобы. Да, может быть, и у каждого не лучше... Так не стоит ли выслушать друг друга и помочь хоть немного... Сегодня бы кто мне руку протянул, а если до завтра дойду, то и я протяну руку и пройду с кем поприще?

Нет, я не оставлял мир, а он про меня забыл и безучастен, нет ему до меня дела, у него свои заботы...

Не дойти... Сейчас завязну среди этого глубокого снега и так и останусь в нем. Тоска такая, что в прорубь головой или хотя бы в этот снег – и пусть наступает *ничто*. Я разве не целую вечность взбираюсь на эту бесконечную гору? Для чего? Разве я там что-нибудь забыл? В деревню-то надо бы правее свернуть... Ах, это не сам я иду, это меня

два конвоира ведут и бьют прикладами, когда я падаю в снег и не встаю долго...

[Заехали на край земли... для чего – неведомо. Останутся ли живы – Бог весть.]

Ни к чему все это, господа! Я ведь уже не сражаюсь не только за место под солнцем, но даже за прозябание не бьюсь. Надеяться мне уже больше не на что, во мне ничего нет, кроме усталости, вот если бы упасть и больше не встать безболезненно, и чтобы прикладом не били! Где мои друзья, где мои родные? Нет никого!

С кем бы поговорить, кому бы *выплакать печали моя? Где ты, любезный друг мой?*

Девочка у колодца, ты мне снилась, или вправду приходила ко мне? Где ты, любовь моя?

Ничего не понимаю больше, ничего не помню, где твои колени, милосердная женщина-дитя, глаза, полные слез, горячие нежные утешающие руки? К подолу твоему припасть, зарыдать на прощание, наглядеться на тебя, попроси для меня тихое исчезновение? Не то, чтобы смерть, а словно сон без времени и без просыпания в теплом ненужном никому другому уголку где-то за пыльным шкафом, свернуться калачиком, и чтобы уже все забыли и не тревожили, и *ни суда, ни воскресения*, ничего больше не нужно мне, только уйти в себя и не просыпаться!

Я снова упал и не мог встать, и стал замерзать. Надеяться не на что, никто не поможет!

– А ну-ка встать, суд идет! Ага, вот ты и попался, голубчик! Ну, мы тебя припечем! – раздался грубый голос, и конвоир прикладом с размаху ударил меня в пах. Превозмогая полоснувшую ножом боль, я встал.

Вот мы где! Уже успели соорудить наскоро строение, и на вершине Волчьей горы собрались судьи.

– Господа! – начал прокурор свою речь – обвинительное заключение. – Подсудимый отпал от Бога, он не верит в Его милость, в то, что волею Бога устроится все ко благу человека. Подсудимый впал в опаснейшее и греховнейшее состояние отчаяния, то есть абсолютного безверия, безбожия, бесчувствия присутствия Бога в мире, отрицание заботы Творца о мире, Промысла Его о нем.

Если бы подсудимый полагал, что Бога нет, то еще куда бы ни шло его отчаяние, но зная, что Бог есть, он не только не верит в Его заботу о каждом живущем, но верит в противоположное, в равнодушие, безразличие Творца о тварях, словно Он бросил детей своих, как сука щенят, и ушел по своим делам.

– Можно подумать, что Иисус не чувствовал то же самое! Кроме того, это вы говорите так, господин прокурор, а не я, а потом еще мне припишете ваши слова. А, во-вторых, как же сразу с обвинения, а процедурные правила почему не соблюдены?

– Какие еще процедурные правила? Мало получил? Так будешь вякать, получишь больше!

– Не знаю, к кому тут апеллировать, может быть, здесь вообще нет ни одного человека, но я в таком суде участвовать не буду!

– То есть, как это не будешь?

– А так! Вы же меня – с судом или без суда – все равно присудите к *высшей мере* и пришибете согласно постановлению, но почему-то вам же нужен спектакль суда и осуждения? Поэтому вам придется согласиться на мои условия, иначе я отказываюсь участвовать в вашем суде, и пришибайте уж сразу!

– Господин прокурор! – подал голос Индиан Поликарпович. – Как председатель суда, я предлагаю согласиться с требованиями подсудимого. Давайте уж, действительно, будем действовать согласно правил, а пришибить вы всегда успеете. Итак, гражданин подсудимый, нет ли у вас замечаний по составу суда?

– Спасибо, гражданин председатель. Сначала я задам несколько вопросов. За боковым столом я вижу ряд разношерстных граждан; можно полагать, что меня будут судить присяжные, это верно?

– Неважно, как их назвать, заседателями или присяжными...

– Но я настаиваю, чтобы это были присяжные! Только в этом случае приговор о виновности или невиновности выносят именно они, а не предreshается он на закрытом заседании с участием двух-трех человек.

– Хорошо, хорошо, пусть будут присяжные.

– Тем более это важно, что обвиняюсь я в ересь или в прямом отступничестве от основных положений христианского вероучения. Следовательно, присяжные должны быть христианами, ибо как меня может судить, например, буддист?

– Справедливо. Да, я подтверждаю, гражданин подсудимый, что судить вас будут христиане, и притом истово верующие.

– Что ж, тогда у меня возражений против начала суда нет; но так как я являюсь собственным защитником, то мне должно быть разрешено все то, что обычно разрешается адвокату – отвод свидетелей, присяжных, судей, вопросы и возражения по ходу процесса.

– Да, да, правила будут соблюдены! Но пора начинать, времени осталось мало. Итак, первый вопрос: признаете ли вы бытие Божие?

– Если вы читали мои сочинения, господин судья, то должны знать мою точку зрения, что Бог является источником видимого мира и форм его проявления, то есть, пространства и времени, следовательно, самой возможности существования вещей и явлений, но Он не находится в том, что им сотворено, то есть Он не занимает положение в пространстве и место во времени как конечный предмет или явление, следовательно, Он **не существует**.

Однако свое *небытие* Он *дополняет существованием*, воплотившись

в мире явлений через Сына. Изливая в мир Дух Святой, Он так же дополняет и мир конечного – бесконечным, временного – вневременным, тленного – нетленным. Однако тленность мира не преодолевается, и трагедия смерти только становится острее.

Возвращается ли человек в Вечность, теряя бытие, я не знаю, справедливо опасаясь, что небытие твари принципиально отлично от Божественного небытия, и смерть, прекращение дыхания – именно прекращение, обрыв, ничто, **исчезновение**.

Необходимо преодолеть этот страшный обрыв, Воскреснуть, чтобы получить жизнь вечную.

Но я смотрю отсюда, мне слышен грозный гул на краю пропасти, с той же стороны я заглянуть не могу и ни одному человеку, уверяющему, что он уже там был и смотрел, я не верю.

Да и Спаситель, пришедший к нам *оттуда*, до тех пор, пока не прошел путь из земного мира в Небесный, пока не упал в пропасть и не поднялся из нее, *не знал и сомневался*, и на краю ее испытывал отчаяние, безысходность, страх, *оставленность*.

Тогда как же вы уверяете, что отчаяние – грех? Что только бессознательное неведение блаженного идиота – благо? Кто искренен, тот повторяет путь Христа, и крест несет не радуясь, а мучаясь и обливаясь потом, и на кресте обливается кровью и слезами, и к Отцу небесному вопиет: Отец, Отец, почему Ты меня оставил?..

Немногие испытывают явную поддержку Господа в своих терзаниях и получают Благодать Божию, большинство же мучается и сомневается, но книжники и фарисеи, лжецы и лицемеры пытаются заменить полноту трагического мироощущения елейной патокой, изображают улыбку радости на своих лицах вместо гримасы боли, и уверяют нас, что так, с этой приклеенной улыбкой, хотя и с полным скорби сердцем (о чем они лживо умалчивают), и должен жить истинный христианин.

Что мать, **теряющая** свое дитя, должна радоваться, а не проклинать мироздание и даже самого Творца (а я уверяю вас, что Творец именно ее отчаяние и ее негодование поймет, а не радость той, которая дитя свое умершее положит к Его престолу и *поблагодарит* Отца, что к себе **прибрал** кровиночку ее).

Что учитель, которого предал любимый ученик его, не должен негодовать; что отец, от которого отрекся сын; муж, которому изменила жена – должны благодарить – судьбу, или случай, или предающих?

Если, конечно, начать еще при жизни *"жить аки умереть"*, то и потери, и предательство, и смерть – ничто, не основание для скорби... Но это уже не учение Христа, а учение Будды. Христос не таков, насколько я знаю, и учение тех, кто умер искусственно при жизни, не христианство. Во всяком случае, их правота спорна, и обвинять меня в отчаянии, судить меня за отчаяние, меня, которого опалило отчаяние *Распятого* – бред, нелепость, сектанство. Утверждать, что отчаяния больше нет, и

испытывать его – грех, то же самое, что отрицать и сам грех, на том основании, что Господь его уже искупил за людей. Так многие протестанты и проповедают, дескать, теперь живите спокойно, ваши грехи вместо вас искупил другой.

– Итак, гражданин подсудимый, вы не согласны со словами Христа, что тот, кто пошел за ним, должен умереть для мира, отвергнув сей мир во имя горнего, и жить для иного мира, а не этого, падшего?

– Граждане судьи! Вопросы, которые мы обсуждаем, таковы, что односложные ответы, как правило, ничего не объясняют, и оказываются одинаково неверными.

И жить только для этого мира, ковыряясь в земле и не поднимая головы к звездам; и воспарять беспрестанно душою, глядя на звезды и вздыхая, оставляя добывание хлеба насущного для других – одинаково неправильно.

И дух и плоть по замыслу Всевышнего совершенны и необходимы в сей горестной доли *вместе*. Трагедия существования преодолевается не ненавистью, а любовью.

А чтобы *жить аки умереть*, надо расторгнуть все связи с миром, перестать любить всех и всё, кроме внемирного, уйти за Христом отсюда – туда.

Такая вера, такое христианство в центр своего утверждения ставит выбор – или мир, или Христос?

Христианин, это тот, кто отверг мир и избрал Христа. Кто отказался от родителей, от братьев и сестер, от детей, от любимых, чтобы всецело и полно посвятить себя Единственному, и только Ему.

Самое высокое в жизни – в этом ли, в том ли мире живет человек, но пока живет, пока не умер – итак, самое высокое – любовь к ребенку. Но прежде, чем полюбить, его надо родить, следовательно, рождение ребенка – не грех и не низость, не падение. И то, благодаря чему ребенок является на свет, то есть чувственная любовь – тоже не низость, не вселенский грех, не похоть и не блуд.

Защитил ли Учитель блудницу, которую фарисеи хотели побить камнями согласно закону? Нет, Он побивает ее вот уже две тысячи лет. Он защитил ее парадоксально, так защитил, что лучше бы и не защищал.

Конечно, я вовсе не хочу сказать, что *блядовать* хорошо, и что я ожидал, чтобы Он *оправдал* ее. Но Он *не смягчил вину* ее, и хотя устыдил судей, указав, что и они не безгрешны, но вину ее даже усилил в сравнении с мнением древней морали. По ней выходило, что хотя *блядство* – грех, но *законная любовь* – *безгрешна*. Он же и любовь объявил греховной, и когда мужчина и женщина ложатся в постель вместе, то они уже повторяют грехопадение Адама и Евы, их **первородный** грех.

Сколь же тогда пуше виновна *блудница*?

Или, напротив, так ли она виновна, если и муж и жена виноваты уже настолько, что за их вину человечество проклято? Куда она поднимается (или опускается?) над метафизическим первородным грехом?

Но, не бросив камни в нее в тот роковой день, фарисеи сторицей возместили позже вынужденное воздержание. И сколько яда и ненависти было излито за две тысячи лет на женщину и на любовь к ней! Не ее ли объявили "сосудом дьявола", вместительницей скверны, не жгли ли, не топили, не мучили женщину, оправдывая гонения на нее тем, что и Христос сказал: истинно не жениться и не иметь детей!?

Ну, да ладно... Я доказывать правоту свою не хочу и не буду. Необходимость любви не доказывается. Она для меня несомненна как аксиоматические основания мироздания. Кто согласен и жаждет жить иначе, пусть их! – но я бы не требовал от человека отказаться от мира и от любви к тому, что в мире, только бы человек всецело принадлежал мне одному и мне одному отдал все, что имеет – если бы я был Богом.

Правда, и я тиранил тех, кого любил, и не разрешал смотреть им на других – но чему-то ведь научился я за свои мытарства?! И не пылаю теперь столь неукротимой ревностью!

[Тут словно облачко на меня нашло, и не то причудилось, не то вспомнилось, словно прохожу я мимо реденького заборчика, а там в огороде стоит седенький старичок и манит меня пальцем.

Подхожу я к нему – а это сам святой батюшка Сергей Радонежский!

– Эх, Васятка, Васятка! – говорит он, – и что ты напустился на нас бедных, людей Божих! Разве ж мы зло какое делаем? Вот мы удалились от мира и молимся за спасение душ людских и Святой Руси – так неужто это из-за нас страсти и гонения, и побивания камнями?

– Батюшка Сергей, да если б так-то удалялись от мира! Разве твоим инокам-послушникам Ослябе и Пересвету не ты поручил не крестом махать, а мечом или копьём для спасения Руси? И в одной ли молитве пребываешь? А не трудишься ли неустанно?

Такое монашество, пронизанное любовью, трудом и молитвою, такое христианство – я принимаю!

– Васенька, дак оно только такое и должно быть! Что ж, Господь должен был составить подробные правила жизни, вроде устава монастырского, и там расписать, что и трудиться надобно, а не только птице небесной подобно летать беззаботно, и образ свой по утрам студеной водой омыть, и рушничок стирать, и портки менять после бани? Все сие подразумевается, а Он сказал о том, что сверх обыденности, сверх обыкновенного. А ино и не грех с Господом об чем и поспорить, может, и выяснится тогда, что не все слова Его правильно передали нам передатчики, и не все слова Его сами мы правильно понимаем. Вроде бы Он всяк язык учил одному, а Вера-то у всех все одно разная! *Лях* верит по-своему, *фрязин* – по-своему, уж на что греки общей с нами веры, да и те верят отлично от нас.

Я обо всем этом размышлял много, и страсти, и сомнения бушевали, отчего Христос не сказал и того, и другого, а то и сказал – да не так, но ныне спокоен, ибо уразумел главное – Он принес нам семя Истины и жажду Преображения мира. Что же вырастет из семени, и как мы преобразим сей мир – зависит от нас.

– Но все же, отче, по Его ли Завету ты живешь в таком случае?

Рассмотрим устои Нравственного Бытия.

В основании лежат Добро и Зло, и между ними мечется душа человеческая.

(Тут, правда, позволю себе сделать одно небольшое замечание: ревнители метафизического единства Мироздания пытаются снять, стереть живое многообразие мира логическими фокусами, они отменяют Зло, объявляя его всего лишь *недостатком Добра*.

Куда исчезают болезнь, смерть, предательство, малодушие, измена, непонимание, сума, тюрьма, побивание камнями? Да никуда не исчезают, а также царствуют как и прежде – но уже разбойник не злой душегуб, а *недостаточно добрый* прохожий.

А, может быть, с такой точки зрения, и Добро объявить недостатком Зла?

Все – злые! Но иные, по лености, не слишком ревностны в утверждении зла, вот и кажутся добрыми... Так ли?

Болото и пустыня уж на что зависят от одного, да все одно не отменимы, хотя болото кажется не более, чем избытком воды, а пустыня – недостатком ее... Но тоскливо от такой философии...).

Итак, выходя из скобок, когда мы мечемся между Добром и Злом, то служим либо добродетели, либо злоступности, и если служим злоступности, то сие называется **грехом**, и в Ветхом Законе сказано: не убий; не укради; не прелюбы сотвори; не пожелай жены ближнего своего или вола его, или рабов его; не поминай имя Господа всуе; не лжесвидетельствуй; не сотвори себе кумира (то есть, не поклоняйся ложным богам), а когда служим добродетели, то сие называется **добродетелью**, и там же заповедано быть крепкими в них: возлюби Бога своего всем сердцем своим; возлюби ближнего своего, как самого себя; чти отца своего и мать свою.

Правда, когда сказали Христу во время проповеди, что пришли к нему братья и мать Его, Он возразил – Кто мать Мне и брат Мой? – Мои ученики и исполняющие волю Отца нашего небесного!

А о труде и вовсе говорил пренебрежительно.

Но род человеческий не может жить подобно птицам небесным, без труда, – да и они трудятся непрестанно. Ветхий Завет называет труд проклятием, и велит человеку, в наказание за грехопадение, в поте лица своего есть хлеб свой, Иисус же о труде умалчивает, последующая христианская традиция единственно *в посте и молитве* видит путь человека к Богу, но никак не в труде.

Труд же – одна из главных добродетелей, и земной подвиг свой человек не в меньшей степени совершает в труде, нежели в жертве.

Таковы же добродетели – *почитание родителей и любовь к Родине.*

Вот как восклицает поэт –

*Два чувства равны близки нам –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

Множество и других добродетелей не в почитаются у христиан: верность долгу; честь и воинская доблесть; гордость принадлежности к избранным – так можно гордиться своим полком и боевыми товарищами, гордиться языком, культурой, народом; любовь к детям.

Но особо хочу сказать о любви к Отечеству и Долге перед ним. Христос говорит, что любовь к Богу является первой и главной обязанностью и добродетелью человека, история же, оставив нам в поучение свидетельства о подвигах любви, преданности и жертвы, хотя и множество свидетельств приводит подвигов веры, но гораздо больше – подвигов во спасение отчизны. И разве погибнуть на поле брани – меньший подвиг, нежели носить вериги во славу Бога?

– Васятка, Васятка, с кем же ты борешься? Я ведь вериги не ношу, и братия моя – тоже, и все, что я делаю во имя Господне, делаю я и во имя любви к людям, и во имя Руси Святой!

– Так и мы с тобой, отец Сергей! И воистину с тебя начинается Русское Православие.

Велит Ветхий Закон – *не убий!* И апостол Павел возглашает – *отныне несть ни эллина, ни иудея, все люди – братья во Христе!*

Но на поле брани какое повеление и какой долг наиглавнейший?

Надо ли было исполнять Ветхий Закон на Чудском озере? Надо ли было в крестносоцах видеть братьев во Христе – или же завоевателей?

Да ведь и Христос сказал самаритянке, что пришел сначала спасти свой народ! – и не говорил о человечестве, хотя и не отказался помочь ей *по вере ее*. Итак, сначала родство *по крови* и долг перед своим народом, а затем уж *родство во Христе* – не этот ли пример преподал нам и сам Учитель? Так понимала смысл Вероучения и святая Жанна Французская, но *на ее Куликовом поле* она потерпела поражение и была сожжена во славу христианства как отступница.

Да и тебя бы, батюшка, сожгли, если бы татары одолели. Как Христос когда-то спросил – человек ли для субботы или суббота для человека? – и поставил **закон** ниже любви, так и ты утвердил своим подвигом, что не народ для церкви, но церковь для народа, и от Вселенского Христианства перешел в Русское Православие....

.....

– Подсудимый! Мы ждем ответа...

– Разве не сказал я?

– Тогда следующий вопрос. Любите ли вы свой народ? В обвинительном заключении обвиняетесь вы в высокомерии, презрении к народу, ставите себя выше народа, считаете себя правым, а народ – пребывающим в заблуждениях.

– Да, я действительно виню народ свой во многих грехах, заблуждениях и пороках – но кто из писателей русских не говорит то же самое?

Пьянство, сквернословие, лень, раболепие, грубость, цинизм по отношению к женщинам, нечистоплотность – это ли не вековые русские пороки?

– А сам-то ты не таков?

– К сожалению, и я во многом таков же, но я осознаю свои пороки, и пытаюсь исправиться – хотя и безуспешно, увы! Народ же не смотрится в зеркало и не видит себя.

Еще я упрекаю народ свой в нелюбви к родной земле и культуре, в равнодушии к предкам и традициям, преступном уничижении большей части духовного наследия... Э, да что говорить! Тяжко это все, и я уже говорил неисчислимо об этом, и другие до меня.

– А как же святая Русь?

– Как и русская литература.... Дух живет через немногих, а толпа либо присваивает себе чужое, когда ей кажется, что оно ценно, либо попирает. Святая Русь еще жива, но чернь ее предала и предаст ежечасно.

– Господа присяжные! Нет нужды выслушивать далее речи, продиктованные гордыней, самомнением, непочтительностью к священным догматам и авторитетам церкви, высокомерием по отношению к простому человеку, непокаянием и святотатственным дерзованием в отвержении Истины Священного Писания.

Подсудимый! Что вы можете сказать в последнем слове в свою защиту, прежде нежели присяжные вынесут Приговор?

– Немногое...

Я не хочу защищать себя. Это не значит, что я согласен с обвинениями, но и виновности своей я отрицать не могу. Я и сам обвинил себя в том, что "неправедно живу, смешно и суетливо" – но вырваться из тисков неправедной жизни я не сумел.

Наверное, были у меня кое-какие таланты, но их загубили лень и пьянство. Нужно было много и упорно учиться, я же пробежал по верхам, и вот ни серьезного знания истории, ни полноты философского знания. Даже математику изучить не сумел, и кое-как добрался, в лучшем случае, до середины девятнадцатого века.

И любовные романы мои оказались бесплодны, и занятия литературой не принесли плодов – либо по недостатку прилежания, либо по недостатку таланта.

И вот, с чем я пришел на эту последнюю гору в своей жизни? С критикой чужих теорий, и отсутствием своей.

Я чувствую, что стою у последней черты, но пришел к ней нищим. Я не исполнил ни чужих ожиданий, ни своих. Многим причинил огорчения, неприятности, хлопоты, беды – не желая этого, а желая, напротив, обратного – и вот меня честят на многих улах, а я не смею оправдываться.

Я думал, что мне суждено великое будущее – но опустошенный, разгромленный, несостоятельный, стою у края пропасти, и скорбь, смертельная скорбь тисками сдвинула сердце.

Страшно умирать, жалко умирать, потому что не удалось мне сделать то, к чему, кажется, я был предназначен.

Я чувствую себя так, словно пошел за хлебом для умирающего от голода ребенка, а по дороге застигла смерть и меня самого, и не успеваю дойти и накормить умирающего. Господи, может быть, еще немного дашь времени?

Господа судьи, господа присяжные!

Деревня моя совсем близко, вот только спуститься с этой горы, и подняться на холм... а там я сяду тихонько на завалинку и никому не буду мешать...

Отпустите меня, ради Христа!

Время, пока присяжные совещались, провалилось в памяти.

От неудобной позы разболелось все тело, боль начиналась в груди и доходила до кончиков пальцев – смысл приговора я уже с трудом воспринимал, но главное словно ударами молота вошло в сознание:

виновен...подлежит смерти...

однако, учитывая...

отпустить в деревню...

затем отправить на свалку...

Глава четвертая

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Очнулся я, уже спускаясь с горы по ровной утоптанной тропинке. Стояла тихая февральская ночь, непривычная для февраля. Шел первый час ночи, заливала мир полная луна ярко-голубым светом, было тепло, чуть-чуть не таяло, казалось, что это не зимний буранный месяц, а теплый талый апрель. Два бытия пребывали одновременно – мрачное, темное, болезненное, словно постоянный фон жизни, уже привычная постоянная заноза в сердце; и радостно-приподнятая жизнь освобождения.

Так узник в первый день Свободы пьет ее широкими глотками, и цепи тюрьмы, незримые, еще несет на себе, и где он – на воле или в тюрьме? – не может и сам понять.

Я еще жив, я на свободе, я возвращаюсь в деревню! – ликуя, говорил себе и оглядывал неоглядную ширь полей и лесов, простирающуюся впереди. Далекое огни на другом берегу Енисея казались совсем близкими, а домики деревни, которая была совсем рядом, скрытая у подножия горы, разглядеть я не мог.

– Я еще жив! – повторил я снова, и в этот момент словно о невидимое препятствие запнулась нога.

"О булыжник, что ли, запнулся?" – подумал я. Через несколько шагов запнулся снова, затем еще раз, и чуть не упал. Тропинка была ровной и чистой, ни коряг, ни булыжников, все так же лился голубой свет, пустынное безмолвие наполняло пространство, тишина почти звенела.

Я пошел осторожнее, медленнее, неуверенно ощупывая неровности почвы и вдруг покачнулся резко и еле успел ухватиться за нависающую ветку ели. Ликование испарилось как-то внезапно, и страх начал наполнять сердце. "Что же это со мной?" – подумал я. "Так кругом хорошо и красиво, так чист и светел мир, ни сон, ни усталость не одолевают меня, а вот побежала рябь по ровной воде бытия, заколыхалась лодка и почти черпает бортом воду".

Я продолжал спускаться, еле сдерживаясь от желания побежать; снял шапку, чтобы остудить разгоряченную голову, расстегнул ворот, старался дышать глубоко, но страх усиливался и словно граница разделила бытие на две части. Я еще находился здесь, но уже видел, чувствовал, касался темной второй части, откуда дул на меня холодный ужас.

– Что же это со мной? – спросил я себя снова, и вдруг понял: я умираю...

За границей смерть, и я понемногу погружаюсь в ее пространство... Тело мое стало мне мешать, и ноги и руки томились невыразимой мукой, нужно было освободиться от них, отделить или отделиться, – О, Боже мой, Боже, как невыносимо тяжело!

Я закричал, взывая к Господу, повторял молитвы, звал близких на помощь – все было тщетно.

– Господи, Господи, прости меня, не дай умереть, спаси меня, Господи, Богородица Пресвятая, помоги мне, помилуйте меня, пожалуйста, я еще не исполнил свою работу, Господи, пожалуйста, не оставь меня, прости меня, помоги, я исправлюсь!.. Пить не буду больше, Господи! – возопил я последнее, что взбрело на ум.

И вдруг увидел ясно, что я уже лежу на дороге и смотрю на себя сверху.

– Нет! – закричал я. – Любовь моя, спаси меня, отмени, запрети, ты сможешь, скажи Грозному Судие, что ты не разрешаешь!

И маленький бледный пальчик провел по моим губам, я покрыл его поцелуями. Укоризненно покачала она головой и погрозила пальчиком неведомой силе, выталкивающей меня из этого мира.

Я сел на валежину и посидел несколько минут, приходя в себя. Было все так же тихо, страх отступал, сердце билось хотя и гулко, но уже ровнее.

– Спасибо, любовь моя! – прошептал я, вытирая слезы и не стыдясь ни страха ни слез.

До деревни уже было близко, а там я не умру, я это чувствовал твердо.

Впрочем, ужас, который накатил на меня, имел какую-то особенную природу – я не оттого испытал его, что боялся умереть; нет, напротив, мысль о смерти уже посещала меня прежде, и смерть казалась избавлением от того непонятого и темного, что швыряло меня по времени; вероятно, это был неподвластный сознанию ужас погружения в смертное Инобытие при жизни...

Тропинка стала шире и ровнее, изменилась и местность, это была уже не дикая тайга, а ухоженный лес, и я не удивился, что вдруг вышел на обширную поляну, за которой простирался парк с рядами аллей, а на краю чернели развалины старинной каменной церкви со следами начавшихся восстановительных работ. Рядом стоял небольшой дощатый сарайчик, из которого вышел старик с большой белой бородой.

Готовилось взойти солнце. Полнеба охватило многоцветное зарево небесного пожара, краски лились как водопад, нижний край неба был словно расплавленное золото.

Вот почему деревня молилась Солнцу, принимая его за видимое воплощение невидимого Бога, – сказал старик. – Глупые люди иногда недоумевают: как это Господь может беседовать сразу со множеством людей? А солнце не общается ли с каждой былинкой? Оно ведь не просто освещает и согревает, оно – источник жизни, движитель ее, вершитель судеб всего произрастающего да и, пожалуй, сущего в пространстве досягаемости.

А Господь не находится в строго определенном месте пространства и потому обладает безгранично большими возможностями присутствия – везде.

Я поклонился: Здравствуйте, батюшка!

– Здравствуй, Васенька. Вот, начали церковь восстанавливать. А я не дожидаюсь, пока ее восстановят, освятили с благочинным престол в моем крыле, и по воскресеньям я уж и службу служу. Ты, чай, исповедаться хочешь?

– Подверглись во мне сомнению все ветхозаветные заповеди и весь Христов Завет – но прежде чем отправить меня в геенну огненную и осудить на муки вечные – *не выслушаете ли меня, батюшка?*

– Сын мой, даже если бы и в последнюю минуту пришел ты покаяться в грехах своих, и тогда бы я сказал тебе, что еще не поздно пришел, и Царствие Божие открыто для тебя. Говори, сын мой, и если хотя бы капелька – пусть даже не осуждения грехов, не раскаянья – но хотя бы *сокрушения сердечного* есть в тебе – со вниманием и любовью выслушаю тебя.

– Спасибо, Батюшка, и простите мне спор мой с Господом, а Его ответ надеюсь еще услышать.

А заодно и узнать, жив ли я еще? Что-то не пойму, где я?

– Да жив, покамест...

Мы подошли к аналою, я встал на колени и исповедь началась.

– Грешен я во многом, батюшка, и не знаю, смогу ли все и перечислить.

– Суда разве не было?

– Был, батюшка...

– Так не перечислили разве грехи твои?

– Да то обвинения и упреки со стороны, иное и верно, иное не подтвердилось, а со многим я не согласен. Но ведь я о тех грехах говорю, которые изнутри себя чувствую, о которых мне самому ведомо.

– Ведать-то ведомо, да будто согласен? Вот на девиц вожаделенно смотрел?

– Смотрел, батюшка...

– И домогался?

– Домогался... – вздохнул я виновато.

– А каешься ли?

Я молчал.

– То-то! Не каешься. Значит, не считаешь грехом. Но – будем объективны. Спросим у них самих, как они на твоё поведение смотрят, обвинят или защитят. Смотри-ка на подносик рядом с тобой – если камешекбрякнет – обвиняет, звякнет монетка – оправдывает. Деньги на украшение храма отдашь, а камни вот под тот кустик отнесешь, я их на фундамент для часовенки употреблю.

Звякнуло три раза и замолкло, я было подумал, что не держат зла на меня девицы, да вдруг три камешка один за другим упали.

– Не очень густо! – вздохнул батюшка Никодим. – Что-то ты не шибко их домогался, они поди и не замечали даже. Ну, ладно. Расскажи теперь, как чтить отца с матерью, любишь ли, жалеешь, содержишь ли в порядке могилку отца?

Я опустил голову.

– Грешен, батюшка, не знаю я, где отец похоронен, все за множеством дел недосуг было всерьез за поиски ее взяться.

– Эх, сынок, сынок! А негодуешь, что в своей семье пренебрегают тобой... Да поделом! Был бы ты сыном верным и почтительным, почитали бы и тебя. Тяжкий грех – неисполненный долг сыновний! Знаю я, что ты себе слово дал, если встанешь с одра смертного, придти на могилу отца. Верю, что придешь вскорости, а потому отпускаю тебе грех этот. Иди с миром!

Временами я оказывался словно в беспмятстве, и время проваливалось в небытие. Скоро ли деревня? Уже я так устал, что хотелось лечь и пусть умереть, только бы не вставать и не идти неведомо где. Что же это со мною? Как будто я уже и видел деревню, и вновь она оказывалась вдалеке.

Впереди послышался шум толпы, и через несколько минут я оказался на небольшой поляне, огороженной ажурной деревянной изгородкой по бокам, а впереди был крытый помост, словно бы сцена. Я подумал, что

это “летний театр” или танцевальная площадка – на помосте в последнем случае должен был располагаться оркестр.

В толпе раздавались негодующие возгласы, какая-то женщина рыдала в истерике, протиснувшись поближе к помосту, я узнал причину слез и криков – плотный крепкий мужчина средних лет, тщательно одетый, при галстуке, смуглолицый и черноволосый, держал за косу девочку лет двенадцати, в правой руке у него был пистолет.

– Тише! – властно сказал он. – Если будут вопли и слезы, я ее пристрелю! Поняли? Итак, повторяю – я провожу *эксперимент*, целью которого является установление уровня Донкихотства в обществе. Перед нами – дитя, еще почти и не начинавшее жить, ученица балетной школы, подающая, между прочим, большие надежды. Ну, так вот – готов ли кто-нибудь из вас пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы она осталась жить? Каждому из вас – больше сорока, при любом раскладе вы уже немало вкусили от этой жизни, и надо бы, быть может, вам уже *в расход* пойти, а вы всё живете. А вот она, еще и не жившая, сейчас загнется, если никто ее не пожалеет настолько, чтобы пожертвовать собою. Итак, считаю до десяти! При счете десять, если смельчаков не оказывается, стреляю ей в голову. Ну, начинаю!

И он размеренно, бесстрастным голосом, начал свой дьявольский счет. Я огляделся. Все молчали, затаив дыхание от ужаса, и оцепенели в молчании.

Наконец, прозвучало “девять” – никто не шелохнулся.

– Десять! – закричал экспериментатор, и я закричал в это мгновение вместе с ним, не думая ни о чем, неожиданно для себя – Стой!

– Ну, ну! Что же вы так медлите? Я уж чуть было на курок не нажал! Идите теперь сюда!

Я сделал несколько шагов вперед.

– Мне показалось, – промедлил я, – что кто-то еще вместе со мною тоже кричал.

– Да? Кто-то еще? Нет, все молчали. Кричал кто-нибудь? – Он обвел зловещим гипнотическим взглядом толпу, никто не шелохнулся. – Ну, вот, тебе показалось. Это с перепугу, бывает.. Хочется тоже героем стать, а как по счетам платить, за геройство-то, так поджилки трясутся...

– Дело не в этом.. Просто я должен спасти другую девочку, она ждет, и кроме меня ей некому помочь, а сюда я случайно попал, эту мне тоже жалко, вот я и закричал.. Но ведь получится так, что ту, ради которой я иду, и страдаю, я предам?! А здесь же и другие есть, неужели никто больше не может меня заменить? Я ведь не для того, чтобы выжить, я уже от жизни своей давно отказался, но мне надо к другой идти, она ждет меня! Пожалуйста!

Толпа молчала в каком-то мистическом ужасе.

– Ты что придурка из себя строишь? Идешь, или нет? Говори немедленно, или я ее сейчас прикончу!

– Да, да, иду, подождите! – в отчаянии закричал я, приближаясь к барьеру. – Но неужели больше никто не в состоянии ее спасти? Ведь меня ждет другая, надеется, как же мне ее бросить? Она изнемогает от боли, уже говорить не может, глаза огромные, синие, только глаза и остались от нее, уж ни в чем больше кровиночки нет... Что же она будет делать, я ведь обещал, что вернусь и спасу ее!

Так никого нет? Иду, иду, я уже здесь, прости меня, дитя, мне тебя жалко, я тебя тоже не могу бросить, о, Господи, Боже мой!

Прости меня, народ честной! Ничего не удалось мне, и жил нескладно, и умираю в сокрушении душевном...

И на слабеющих ногах, чуть не падая, взобрался я на помост и встал рядом.

Разбойник схватил меня за плечо и рванул к себе.

– Стой теперь здесь и не рыпайся! А ты беги отсюда! – толкнул он девочку, и она побежала, не взглянув на меня, и может быть не понимая, что происходит.

“Какой благородный человек! – мелькнула невольная для меня мысль, А мог бы и обоих прикончить...”

– Так... Теперь объясни нам – и мне, и народу, чего ты сюда полез, чего тебе было надо?

– Да просто мне жалко девочку...

– И чего ты добился? Вот сдохнешь сейчас, и все! Ты что думал – зло победить? Посмотри же! – Я перед тобою стою спокойный, уверенный, торжествующий, благоухаю дорогими духами – а ты? Жалкий, мокрый слизняк!

– Да разве в этом дело? Представьте себе, что кто-то идет по берегу реки и слышит крик о помощи, и бросается в реку, чтобы спасти утопающего – чего он добивается? – Только одного – спасти человека, попавшего в беду!

И ведь не всегда удается спасти, а иногда и оба гибнут. Но если удалось спасти ребенка, то пусть торжествующая холодная река меня и поглотит, она ведь когда-то все равно поглотит, и не вознаградит ничем, но вот теперь-то хоть не напрасно умру! Может ли смерть быть более счастливой, хотя она всегда – трагедия?

– А вот мы сейчас увидим, какая она у тебя будет счастливая...

Сейчас мы тебя рассудим с нашим простым добросердечным народом. Слушайте меня внимательно, рассуждения мои будут просты. Что же я предлагал? Невинное дитя зашибить! Или же любой из вас мог спасти ее ценою собственной жизни...

И что же, разогнались вы ее спасать? Нет, конечно, потому что у каждого есть обязательства не только перед собою, но и перед собственными детьми, да к тому же грешный человек в этой грешной жизни вовсе не обязан и не может быть святым! Мы знаем, что мы слабые и грешные, и Господь об этом знает, и не требует от нас такой великой жертвы, а только исполнения заповедей.

Перед вами было зло, которому вы *не могли противостоять*, и был злодей, то есть я. За свое злодеяние я должен был понести наказание, и я бы его понес, а ваши сострадающие праведные негодующие слезы утешили бы бедное дитя – по крайней мере перед престолом Всевышнего. Господь знал вашу немощь, и не требовал от вас лишнего и не осудит вас. Но этот гордый и высокомерный лжеспаситель взял на себя неположенное, возомнил себя Богом и вместо Христа вознамерился судить и спасать. Вы, плачущие и сострадающие, *невинные* в смерти ребенка, если бы злодеяние совершилось – ибо не могли его предотвратить! – с каким чувством и мыслью разойдетесь теперь по домам? Он заявил вам своим поступком, что вы – *могли спасти*, но не решились и не захотели, а значит являетесь соучастниками готовившегося преступления.

Этот же Христос плюнул вам в лицо, он обвинил вас, он оскорбил все ваши самые святые чувства, вы и до самой смерти будете отныне знать, что вы ничтожества, а только он один – подлинный человек. Он вас предал. Он вас осудил. Он посмеялся над вами. Кто же он, гордящийся перед вами своим мнимым подвигом? Кто гордится, выставляется, возвышает себя над обычным слабым человеком, унижает его свысока? Только слуга нечистой силы, слуга дьявола. Если вы теперь не унижите его, не встанете с колен перед ним, то и жены ваши и дети будут вас презирать за ваше малодушие, они скажут вам – *он смог*, а вы – ничтожества.

Заслуживает ли он преклонения, или возмездия, унизивший вас перед миром? Осанна ему или смерть, стоящему высокомерно над вами?

– Смерть ему! – раздался чей-то голос, и острый камень пролетел мимо, слегка оцарапав висок.

– Смерть, смерть ему! – и другие закричали, и плотная толпа придвинулась к помосту и град камней полетел в меня, так что уже и вернуться не удалось.

– Ну, вот все и кончилось, – подумал я, – закрывая лицо руками, как вдруг затрещали непрочные доски сооружения, и оно стало валиться в одну сторону, сверху стали падать стропила, народ хлынул, спасаясь, в пролом, и я побежал, не помня себя от ужаса. Скоро они опомнились, ринулись за мною, но высокие кусты уже скрывали меня, я упал в канаву, и потерял сознание.

Оказалось, что я сижу на пенечке посередине полянки, сплошь поросшей купавницами, впереди несколько березок, сосенка, куст черемухи и веселый ручеек, текущий из родника; за ними неширокий лужок, а дальше уже дедов огород и на вершине холма деревенские избы, и наш дом самый ближний ко мне.

Жужжат шмели, щелкает какая-то птичка в кустах, слегка волнуется трава и цветы под легким ветерком, маленькие прозрачные облачка

проплывают в высоком небе и такая вокруг благодать, что горячие слезы неостановимо льются из глаз.

Почему они льются? Почему они такие горячие? Что это – тоска, радость, отчаяние?

Душа не в пустоте, она болит, она сильно и горячо чувствует, но не могу найти слово, которое бы означало чувствуемое мною. Возможно, слово это еще не высказано.

Меня победили до конца, навечно и абсолютно, без остатка, без надежд на апелляцию, обжалование, протест и помилованье.

С десяти тысяч метров врезали в бетонную стену, так что только *мокрое место*. По *мокраму месту* прошел тяжелый чугунный раскаленный каток и высушил и растер остатки. Пар собрали в колбу и подвергли аннигиляции.

Даже инобытие мое ниспровергли и отменили, последние молекулы разобрали на части и части частей превратили в ничто.

И вот, побежденный, уже несуществующий, сижу у края деревни посреди волшебного луга, и мохнатые шмели жужжат над головой, и облака проплывают, а слезы горячие катятся по щеке, срываются капельками и падают, как жемчужные капельки росы.

Почему они катятся из моих глаз, почему они такие горячие?

Толпа, бегущая за мною с камнями, непостижимым образом потеряла меня из виду, вероятно, увлеклась на другую сторону горы, и теперь меня не найдет, я в безопасности. Но что же такое, разве я им причинил зло, за что они меня так возненавидели? В чем я виноват?

– Ты причинил им боль! – услышал я голос. – Ты их заставил страдать!

– Но как, но чем?

– Тем, что ты лучше их! А человек не любит сравнения не в свою пользу, он не в силах признать, что он подлец, а кто-то святой. Нет, он не успокоится, пока не докажет, что и мнимый святой такой же негодяй, как он сам или еще хуже, или, в крайности, пока не уничтожит этого святого, сожжет его, как Жанну или Аввакума, или сгноит в тюрьме, как неисчислимо других.

.....
Я уже ничего не пытался понять, и только тупо переставлял ноги, рана на животе саднила и болела, но кровь сочилась слабо.

Вот и деревенское кладбище, густо поросшее кустарником, так что могилы и кресты почти уже были невидимы, ограда полусгнила, местами и вовсе обвалилась. Отступив чуть от ограды, снаружи кладбища, на небольшом взгорочке три молчаливых мужика копали землю молча и сосредоточенно. Солнце еще не взошло, но было уже светло, а справа за лесом румянились облака.

– Вы это что, никак могилу копаете? – спросил я, подойдя поближе, но совсем близко отчего-то подойти боялся, они были словно от вражеской силы.

– Да, копаем. К обеду надоть. Вот-вот умрет, так сразу и закопаем.

– Но как же, если не умерла ещё, кто приказал-то? Нельзя ведь, коль *жив* человек!

– *Живого* там уже мало. Кому надо, те и приказали.

– Но почему не на кладбище? Вон там полянка есть свободная, и березка веселая сбоку, как раз бы и хорошо было!

– Там нельзя. Она ведь самоубиться хотела, а это грех великий! Вот посмотри, про нее как раз и в кино показывают!

На двух деревьях, отстоящих друг от друга метров на пять, с той стороны ограды, кое-как была закреплена простыня, как тогда в зоне, когда я с другой стороны смотрел живые картины. Простыня трепыхалась на ветру, изображение появлялось и пропадало, но отчетливо все было видно, и стал слышен каждый звук, самый мелкий.

...Обшарпанная пятиэтажка на окраине небольшого поселка, грязные лестницы, разгромленная однокомнатная квартира на пятом этаже, мертвый мужчина на полу у порога, рядом два солдата в камуфляжной форме, в масках и с автоматами в руках. Как будто только что закончился бой, выстрелы смолкли мгновение назад, у окна девочка лет двенадцати с куклой в руках.

Ужаса нет в ее лице, глаза неподвижны и всматриваются в непостижимое.

– А с этой что будем делать?

Второй немного задумался, потом поставил автомат к стене.

– Нам генерал что сказал? Всех, кто будет сопротивляться – уничтожать! Идет война, мы – на вражеской территории... Как ты думаешь, что бы ее папаша сделал с твоей сестрой, если бы это их отряд ворвался в твой город, а не мы – в их? Так что, будем ее считать военным трофеем, или, как в древности, *добычей*. Понятно? Иди сюда, сучка! Будешь послушной, останешься целой, а брыкаться начнешь, возьмем силой, а потом пристрелим. Понятно?

Девочка отняла от себя куклу, положила ее на подоконник, потом вдруг всплеснула руками, вскочила на подоконник и метнулась наружу... Что-то пролетело по простыне, прозвенел тонкий крик, глухой удар о землю, и все исчезло, вместо простыни на ветке березы болталась на ветру какая-то белая тряпочка.

Я догадался, что мне все мерещится.

– Это для нее-то, для двенадцатилетней, могилку роете?

– Для нее, для самой... Ить, что удумала, в окно сигать! Избаловали деток!

– И вам ее не жалко, вы ее осуждаете? Эх, вы, законники!

Заболело и сердце нестерпимо, я уже ничему не удивлялся и побрел дальше, горестно махнув рукой.

Солнце все не вставало, подул ветер, тоскливо зашумели верхушки деревьев. Я и не заметил, когда меня догнал магистр философии, и вздрогнул от неожиданности, когда ухватил он меня за рукав.

– Не спеши так! Теперь уже дойдешь непременно, куда решился, ты уже почти у черты, но пока тебя ждет небольшое *испытание*.

Имей в виду, я тут не при чем, я только хочу получить ответ на свой вопрос, а все представления, которые тебе показывают (но это не игра, о, не игра, это самая правдивая, самая реальная жизнь, реальной некуда! Игра, это когда тебе в любви кланутся, а когда по морде бьют – все взаправду!) – так вот, все представления – твои милые человечки устраивают, я им ничего не подсказываю, ничему не учу, они все сами, даже меня тошнит, иной раз не выдерживаю, и вмешиваюсь, останавливаю... Думаешь, кто сцену обрушил, когда тебя камнями побивали?

Ну, вот, *иди и смотри*, и на меня не пеняй понапрасну.

Я взглянул, куда показал он перстом. Сзади, метрах в двухстах уже, было кладбище, и все так же усердно рыли могилку могильщики.

У основания холма, не доходя кладбищенской ограды, со стороны деревни, как раз напротив полуразрушенной часовни, на полянке, был воздвигнут помост, и сидели в мантиях судьи. Два стражника, лица которых были накрыты капюшонами (не те ли самые? – промелькнула мысль) ввели подсудимую, ту девочку в белом коротком платье, босоногую, платье сбоку было все в крови, и левая щека ее подергивалась от сильной боли.

– Что ж, господа судьи, вы готовы? – встал председатель.

– Нам выпала великая честь – окончательно выяснить и закрепить в человечестве некую важную идею, нечто, что можно было бы счесть Абсолютной Истиной, если бы суть этой идеи, напротив, не заключалась как раз в ниспровержении самой возможности Абсолютной Истины.

Итак, начинаем!

Вот перед нами невинное дитя – сделала ли она что-нибудь плохое в своей короткой жизни?

Нет, покамест не успела...

А испытала немалые муки, да и теперь страдает от невыносимой боли.

Но нам надлежит, господа, освободившись от чувства жалости, которое препятствует выяснению истины, установить и доказать ее вину, приговорить к смерти, и привести приговор в исполнение.

Сложная ли перед нами задача? Да, сложная! Но сложность ее в ее исключительной простоте, ибо путей к решению много, а желательно выбрать наилучший.

Первый путь совсем прост. Вот взгляните окрест себя, и душа ваша наполнится *торжеством беззакония*. Что же видите вы? Рушатся города и храмы, тать стоит за углом, ожидая жертву, воин забирает добычу в завоеванном городе, ростовщик обирает вдову, мытарь – недоимщика, полководец посылает на смерть все новые толпы солдат, предатель предаст, возлюбленная изменяет, чума косит по городам и весям... и

могильщики не успевают копать могилы, и иных сваливают в безымянный ров, а иные валяются по лесам и полям и умирают без погребения... Что же, есть ли вины у погибающих днесь? Нет, смерть не спрашивает вину, и косит налево и направо не разбирая. Так надо ли из-за одной тщедушной полудохлой девчонки затевать разбирательство? Сбросить ее в ров, да и вся недолга!

А если кто начнет пенять, ответим – разберитесь сначала с миллионами уже ранее сброшенных в ров, а потом спрашивайте про **одну!** Не менее ли одна, чем миллион? И надо ли из-за одной поднимать шум? Сбросили в ров, вот и все! Какое это имеет значение? Война есть война! Гибнут миллионы, и одной меньше, одной больше – неважно! Надо **работать**, а не отнимать у нации время и энергию на ненужные разбирательства. Я думаю, народ в массе своей нас понимает правильно – мы пришли навести порядок и что бы мы ни делали, значит, так нужно. Верно, господа?

Второй путь к Истине тоже прост, если не проще первого.

А есть ли Истина, существуют ли Добро и Зло, и есть ли Вина и надо ли её искать? Разве это не условности, не **ТОЧКА ЗРЕНИЯ?** Всё в мире *относительно*, господа, и что зло для ягненка, то добро для волка, и наоборот! Посему – не все ли равно? Кидаем в ров и идем обедать! И оправдываться не будем – перед кем оправдываться? Перед Законом? Да не сами ли мы его пишем? Какой нам нужен, такой и примем, а начнем с того, что постановим, что оправданий больше не нужно совсем, и *что нам нужно, то и есть истина!*

Правда, господа, в этих предложениях есть некий изынец, и состоит он в том, что тем самым и истина умалется, делается неторжественной, невзрачной, если не вовсе ненужной. Тогда зачем и мантию одевать? Может быть, достаточно фаргука? А хочется почему-то торжественности, мантии, да... что делать, природа человеческая еще не способна подняться до сознания *величия простоты*, величия отсутствия *Высшего Смысла*.

Посему, хотя и не нужно оправдываться и доказывать, и так бы сошло, но для посрамления *защитничков* "добра и правды" пойдём мы по более трудному пути... да, притворимся, будто истина и воистину есть, сами в это патетически уверуем, и по всем правилам, то есть, с доказательствами, осудим ведьму сию!

Итак, во-первых, докажем, что она ведьма (а разве за две тыщи лет не научились мы доказывать? Разве есть в мире что-либо, какое-либо самое нелепое утверждение, которое нельзя было бы доказать?) Откроем ристалище наше взорам всех народов, чтобы они слышали и рукоплескали **нашей правде**.

[И вот, открылись дали, амфитеатром уходящие за горизонт, и тьмы и тьмы народу сидело на скамьях и внимало каждому слову судьи, и лица их сияли небесным огнем сопричастности *правде*, а в сильных, патети-

ческих местах слушающие разражались *бурными аплодисментами, переходящими в овацию.*]

Второе, докажем еще, что виновна она во многих замыслах и возможных преступлениях, которые хотя еще и не успела совершить в силу младости, но предполагала, готовилась, замышляла (впрочем, может быть, даже не зная еще о замыслах своих – также в силу младости). Знает ли семя тростника, что вырастет из него стебель и будет колебаться ветром, а затем пойдет на цинковку, на которой возляжет разбойник? Нет, не знает!

Однако ж **вырастет** из него стебель, и будет он колебаться ветром.

Грех – *первородный грех* – заключен в сей ведьме, как семя, и всякое наказание для нее не чрезмерно, ибо когда мы хватаем разбойника, занесшего нож над жертвой, за руку, и наказываем **за попытку** совершить разбой, мы оказываем ему благодеяние, ибо если велика его вина в начале разбоя, то сколь бы велика она была при совершении его? Милосердные судьбы! – воскликнет душа этой ведьмы, – вы остановили меня в начале моей жизни, и не дали ей состояться, не дали раскрыться той мерзкой греховной природе, которую получил человек после грехопадения! – Ибо если, по слову Евангелия, даже высокое перед людьми – мерзость перед Богом – то сколь же бóльшая мерзость то, что даже перед людьми низко? Прочитаем святых отцов: «Евангелие... открыло миру новый ... смысл жизни. В мир явилась Божественная Мудрость, научившая людей *жить для смерти и умирать для жизни...* Огонь, низведенный Спасителем на землю, попалил прежнюю и воспламенил новую жизнь на ней...» Достойна ли эта полудохлая кошка хотя бы малой частицы священного огня?

Но Господь безмерно милостив, и потому, хотя она и недостойна, но по безмерной милости Господа даже к недостойным – удостоим и ее!

Итак, я продолжаю... Не наполняет ли нас восторгом сияние Млечного Пути? Не кажется ли, что в блеске этого сияния оправдано раствориться в звёздном небе и радостно перестать быть *индивидуально*?

Но кто прикоснулся к блеску Истины, тот узрел мириады млечных путей, и человеческое ничтожество для него опустилось даже ниже презрения.

Что же в человеческом презренной всего, что дальше всего от восхищения холодным сиянием звездного неба, от гармонии Истины, от созерцания высокой эстетики математических формул, от слышания музыки сфер?

Жалость.

Ибо она способна излиться на побежденного, на заблуждающегося, на неразумного, на виновного! Жалость разрушает стройный и ясный план Творца.

Падшая тварь проклята и может вернуться к Творцу только отрекаясь

от жизни и благословляя смерть, отрекаясь от радостей и благословляя страдания – взгляните ж на подвиги христианских святых и мучеников, которые не только не бежали от мучений, но искали их – а **жалующий** отвергает и проклинает страдание. Жалость подобна разврату и чревоугодию, это – духовный разврат, это сомнение в Божественной милости, это – отмена Божьего суда!

Важно не только осудить, но и испытать **удовлетворение** от Приговора и Возмездия. Если Учитель находит ошибку в вычислениях ученика и **исправляет** ее, то разве не радуются ученик и учитель, когда в неправильном равенстве "3+5=7" учитель перечеркивает семерку и пишет правильную цифру "8"? Разве зачеркнутую семерку жалеют?

Так же и в Наказании! Наказывается не человек, а его грехи (то есть, бесы, живущие в человеке) – надо ли жалеть изгоняемых бесов?

Посему не сложно установить нам истину и утвердить ее – но вызвать восторг и умиление от утверждения Истины – вот что сложно и важнее!

*[Я вновь увидел дали, уходящие за горизонт, и тьмы и тьмы народу
рукоплескало...]*

Продолжаю, и перехожу к наиболее трудному месту в той безупречной цепи силлогизмов, которые нам развертывает истина – именно истина, ибо я просто ее скромный служитель.

Вот перед нами преступник. Он безусловно подлежит возмездию. Вина его не вызывает сомнения, мы ее интуитивно чувствуем, как чувствуем жар и холод. Что делает человек, когда ему жарко? Сначала распахивает одежду, и лишь затем, если ему интересно, смотрит на термометр. И чему он доверяет больше – своему субъективному ощущению жара, или показаниям термометра? Так и наше благородное негодование низостью этого человека не требует ли осудить и наказать его прежде, чем правильно и скрупулезно будут на многих листах перечислены факты его преступной деятельности, его дружбы с боевиками, попыток собрать так называемую правдивую информацию под нашими пулями и снарядами и пробудить в нас преступную жалость к страданиям так называемых мирных жителей? Война есть война, господа! Все, кто оказался на той стороне – хотя бы это были старики и дети, и пусть это даже наши собственные граждане, а не злые разбойники – все же на *той* стороне, и поэтому не должны сетовать на волю Господа, который их там оставил, и должны испить из той чаши, которая им уготовлена.

Ну, так, господа, будем ли мы тратить годы на крючкотворство или Возмездию надлежит свершиться немедленно?

– Немедленно! – раздался ликующий вопль, и мириады поднялись со скамей.

– А присоединитесь ли вы к таинству Воздаяния?

– Присоединимся! – раздался ликующий вопль, и уже в каждой ладони был булыжник, и с ужасом я взглянул на многорукого палача.

– Ты готов? – раздался голос, – Подумал обо всем? Остановить казнь?

– Да, да! Остановите, пожалуйста! – всплеснул я руками и обратился в ту сторону, откуда послышался мне голос.

– Господа судьи, пока приостанавливаю спектакль, поговорим с защитником!

– Но я уже и не понимаю: сам-то я не то же ли подсудимый, или могу что-то говорить и делать для ее спасения?

– Да надо бы и тебя пришибить заодно с нею, но – вот тут есть одно особое мнение, и в соответствии с ним кое-какие права и возможности даны и тебе – пока не полетишь тоже в ров. Видишь ли, ты – пособник врага, поэтому и сам преступник.

– А она – враг? Враг – кому?

– Враг всем устоям нашим! Ты что тщишься доказать? Самое малое, что не надо бы спешить ее закопать, да и просто от нее отмахнуться, забыть про нее, и пусть подохнет сама – тоже не надо! Нет, кричишь ты на всех углах, давайте разберемся, давайте ей поможем, слушаем ее, пойдем, пожалеем, а, может быть, даже давайте и спасем ее, не дадим умереть!

Ну, начнем разбираться...

Ты телевизор смотрел? Вот час назад наградили Афанасия Вздорова высшей наградой Родины, это наш главный национальный герой, спаситель Отечества, наш символ! Правитель повязал ему ленту через плечо, первосвященник водой окропил, командующий приказал в его честь салют произвести.

И что же – *спаситель* Отечества – сам разбойник, а наши доблестные войска – банда мародеров? Да если бы даже это было и так, то во имя национальных интересов надо говорить ту правду, которая выгодна нации, а не врагам ее!

– Но ведь это ложь, а не правда!

– Ага!... Вот где главный враг наш! Что ж, по твоему, ради спасения одного невинного можно пожертвовать целой нацией?

– Если нация готова приносить в жертву невинных детей, значит, надо пожертвовать такой нацией. Но в действительности это наглая ложь, только прикрываемая национальными интересами. Все, что делается несправедливого и несправедного, вовсе не спасает нацию, но губит ее! Это растление душ говорит в вас, это сатана жаждет невинной крови, мне же нужны справедливость и милосердие – а я ли не нация?

– Теперь вы видите, господа, – прервал меня председатель, – как пагубно предположение, что для торжества *нашего дела* необходимо что-либо доказывать?

Нет, напротив, нам надлежит, господа, освободившись от чувства жалости, которое препятствует выяснению истины, для торжества *нашего дела* мужественно и хладнокровно *декларировать ее вину*, приговорить к смерти, и немедленно привести приговор в исполнение.

– А вот теперь ей жернов на шею, и в омут вниз головой – донеслось вдруг с соседнего мостика, и я увидел босую девочку в ветхом дырявом платьице, с непокрытой головой, дрожащую от холода, а непонятные люди в маскировочных одеждах одевали ей что-то тяжелое и громоздкое на шею. Возможно, в этом месте брали песок, и хотя ручей наш в иных местах можно б и перепрыгнуть, здесь вода была черная и неподвижная, и из неё было не выплыть даже без жернова.

– Дяденьки, милые! – залепетала девочка – Я ведь на свете совсем не жила, может хоть несколько денёчков ещё дадите, похожу с цветочками попрошаюсь, на солнышко посмотрю, меня и кормить не надо, я потом сама под кустиком усну и не проснусь, ну пожалуйста, миленькие!

Сердце моё похолодело и дар красноречия пропал.

– Мужики! – обратился я к *тёмным* людям. – Подождите минуточку, нельзя ли на меня этот жернов а она пусть бежит восвояси! Может быть вам значительность нужна, так я больше подойду, а с неё-то какой прок? Я даже поэт и философ, многие меня знают, и не только в нашей деревне... Если вам надо чтобы уж как следует зло сотворить, так я подойду, обо мне и поплакать есть кому, и кое-какие добрые дела успел я уже совершить.

Мужики замаялись и стали хмыкать, и я приободрился.

– А если вы *возмездие* творите, то и тут не ошибетесь, есть за что в омут бросать, я вам укажу, кто обо мне такое порасскажет, что бросите, вытащите, а потом снова бросите, потому что одного раза для меня и мало будет – я ли не обманывался и не обманывал в ослеплении других, не обещал ли и забывал обещания, не дрожал ли от страха, не забредал в буераки, не уговаривал ли чужих жен посидеть на душистом сене, не заглядывал ли девкам за вырез кофточки? Так скорей же братцы на меня жернов, а ты, девочка, беги отсюда, дяденьки добрые, они пошутили.

Девочка осторожно тихонько пятилась, не сводя с меня широко раскрытых глаз, сошла на берег, подбежала и спряталась у меня за спиной. – а как же ты, дядечка? – прошептала она.

– Ничего, не жалею меня, я уже долго живу, а ты беги в деревню, потом родишь кого-нибудь, будешь его баюкать, вдруг обо мне вспомнишь, вот мы и будем квиты!

Она схватила мою руку и поцеловала, мне стало неловко и стыдно, что ребёнок руку мне целует, уж этого-то я точно не стоил, я поцеловал её ладошку и толкнул легонько, и она побежала не оглядываясь.

– А ты хитер, мужик, хочешь пустяками отделаться! Ну погоди, мы тебя ещё прищучим! – и люди (или нелюди) в пятнистой одежде потащили, кряхтя, свой жернов на гору.

Я огляделся, рядом уже начинались огороды, а за ними виднелись дома деревни, надо было спешить, пока снова не преградит дорогу еще какая нечистая сила.

Вот и тропинка знакомая вдоль огорода, пахнет так резко и прямо мятой и полынью, цветет синими и белыми цветами картофель, а на плетне, отделяющем огород от двора, лежали крупные желтые цветы тыквы. Молодые огурчики свесились с высоких парников, я погладил нежную пупырчатую кожицу одного из них, но не сорвал – хотелось смотреть и вдыхать запахи и пить прохладный воздух раннего июньского утра.

Боль и сердечная мука отваливались отболевшими кусками, но я неотвратимо знал, что обновления не будет, что потерять надо все, что это последний путь – в никуда.

И вспомнить не удастся, кто я, зачем, куда иду...

Во дворе было пусто, дверь в избу не заперта на замок, но подперта лопатой... Домашние где-то рядом, подумал я – и тут с улицы донеслись голоса. Я открыл калитку и вышел на улицу.

Прямо напротив дедова дома в сторону колодца были составлены несколько столов, и почти вся деревня “гуляла” за ними.

– Ах, да, сегодня Троица! – вспомнил я. – Ну, молодцы, решили устроить складчину на воздухе.

Во главе стола стояла моя мама с рюмкой в руке и произносила не то речь, не то тост.

– Слава Богу, я много хорошего услышала про своего сыночка, никто о нем дурного не вспомнил и не сказал, он удивлял всех и умом, и отзывчивостью еще в семь лет, и не сомневался никто, что будет у него судьба необычная, будущее великое.

Трудно мне судить, оправдались наши надежды или нет, я – мать, мне он кажется и сегодня самым необыкновенным человеком, самым надежным, добрым, верным и честным, а что не добился он славы, власти и богатства, что не он во главе нашего народа, а воры и разбойники – не его вина! Может быть, сам народ и виноват, что святые у него в тюрьме да на плахе, а душегубы в парче и золоте!

Но и слава Богу, что раз народ наш на душегубов молится, то мой сыночек оскорблен и унижен! Мы-то знаем ему цену, и для нас он чистый и праведный!

И другие про меня говорили, и даже жарко спорили, наливали в стаканы, толкали в плечо, а новый оратор и мне стакан поднес и провозгласил страстно:

– *Наш Василь до самого Бога дошел, всю правду знает, а к царю его не пустили, у царя другая правда, та, что мерзость перед Богом! А и умнен же наш Василь, сатана с ним схватился по уму состязаться, и отступился, посрамленный.*

Вот и говорит Сатана: а если тебе Бог так до самой смерти ни в чем не поможет, неужели все равно будешь верен Ему?

– Матери моей, – отвечает, – я, увь, ничем не помог, а она меня,

недостойного, любит! Думаю, что это Господь создал материнскую любовь такой бескорыстной – какой же другой Его дар людям сравнится с этим?

И еще говорит Сатана: а если любимая тебе изменит, не посетуешь ли, что Бог, создавший любовь, создал и измену?

– Друзья мои, отвечает, верны мне до смерти, как и я им, и в дружбе нет измены. Простим же девичью любовь за скоротечность, как не сетуем на прекрасные цветы за то, что увядают осенью, а порадуемся, что хотя бы весною услаждали взор!

Но не отступается Сатана: а если настигнет смерть в начале пути, одного посреди дикого поля, и рядом ни матери, ни друга, и Бог вдалеке – не обидно ли умирать, не успев свершить замыслов и так, что погибают напрасно труды и думы, мечты и открытия, и зря была жизнь? И что же тогда воскликнешь?

“Наверно, я уже умер.” – подумал я. – “И теперь поминки по мне, оттого меня и не узнают, и не обращают внимания. Странно только, что вот ведь стакан поднесли, стало быть я отчасти видим?”

И тут вдруг словно облачко протянулось над столами, голоса стали глуше, картина начала растворяться в воздухе и вовсе пропала...

*На смертном одре поневоле приходят
И мысли о Боге, и мысли о чуде.
Истрепанной карте в игральной колоде
Так тесно, так путь к Воскресению труден!
Свободу сомненья, свободу неверья
Как пьяница рюмку, так я берегаю.
Да вдруг как подул! Эй, кто там за дверью?
Неужто за мною? Ну, ладно – шагаю.
Ни вздоха... Ни вскрика... Подайте ж мне руку!
Не так уж я грешен, чтоб в пропасть свалиться!
Поверьте хоть сердца чуть слышному стуку,
Не надо спешить! Я хочу помолиться.
Не всё ведь ошибки, грехи, отступленья
Мостили мой путь – а и зори сияли!
Но мучила жажда, терзали сомненья,
И я не достиг необъятные дали.
Считите ж болезни, невзгоды, наветы,
Измены, предательства, злые мученья!
Усталый крестьянин из пота и света,
Я долго трудился и жду воскресенья.*

Глава пятая

АПЕЛЛЯЦИЯ. ПОСЛЕДНИЙ СПОР

Господин подсудимый, ваша просьба рассмотрена, и Вседержитель назначил Вам аудиенцию, – такими словами встретил меня секретарь апелляционного суда, невозмутимый молодой человек в изящной гражданской одежде с бабочкой вместо галстука, что показалось мне несовременно и вызывающе.

– Я ведь подавал апелляцию о пересмотре дела? – начал я робко, – писал на имя председателя Верховного Суда...

– Так Он же и есть Председатель.. Верховного... куда ж *верховнее!*? Не к нечистой же силе Вы собирались обратиться? – изумился чиновник.

– Нет, конечно! Но я не надеялся... Но, впрочем, это прекрасно, это выше всех моих ожиданий. Я, конечно, рад. И когда же встреча? А то чувствую я себя неважно, не ровён час, умру, не *на смертном* же одре аудиенция? Это уж я буду в слишком зависимом положении, да и вообще, моя апелляция касается моей земной жизни, с вашей точки зрения временной и ничтожной, плёвой, не стоящей внимания, а не вечности. О вечности я мало что знаю, не спорю и ни о чем не прошу.

– Так-с, посмотрю... Нет, на сегодня в списках умерших Вы не числитесь, идите смело, да вот я Вам ещё таблеточку дам, сил сразу прибавится! – молодой человек протянул мне таблетку и стакан воды, я машинально выпил, и действительно стало полегче.

– Что это?

– Морфий. Вы станете раскованнее, к тому же это хорошее обезболивающее средство.

(“Откуда в этой умирающей больнице морфий? Вчера еще и простых обезболивающих не было” – донесся до меня еле слышный голос из-за некого полога, и тут же смолк.)

Я огляделся. Канцелярия была грязной и обшарпанной, стулья прохудились, стол был завален бумагами, на которых стояла чашка вчерашнего чая.

– Вас ждут, идите!

Развязный молодой человек потянул меня за руку и подвел к двери, обитой старой клеенкой.

– Не беспокойтесь, **там** все по другому. **Там** – благолепнее. – ухмыльнулся он на мой недоверчивый взгляд, и толкнул дверь, а затем легонько и меня подтолкнул в плечо.

Сзади дверь захлопнулась, и я оказался в просторном кабинете с мягкой ковровой дорожкой, венецианскими окнами и зеркалаи, резными дубовыми стеллажами с старинными книгами в золотых обрезах и массивным готическим столом, инкрустированным карельской

березой, в дальней части кабинета. Слева стояла изразцовая печь и пылал камин, справа находился ботанический сад в миниатюре, среди живописно разбросанных камней вились роскошные цветы, и в самом углу по стволу олеандра взбегала белочка.

Не говорю о множестве скульптур, картин, лепных украшений и неких старинных инструментов, придававших кабинету отчасти вид музея... однако, ни вычурности, ни бьющей в глаза роскоши в этом не чувствовалось, а выглядело всё легко и мило. Ах, и какие же красивые и уютные кресла стояли у стола, и в одном из них упокоилось мое израненное тело.

Хозяин кабинета радушно встал из-за стола, подошел ко мне, взял за руку и усадил в кресло. Был он похож на Дон-Кихота, как знал я его по роли Шалапина, но еще в пору романтического восторга, пока разочарования и поражение не наложили на лицо его печать безумия. У меня промелькнула мысль, что я вижу тот образ, который бы мне хотелось видеть, и мой собеседник, словно отвечая мыслям моим, представился так:

– Здравствуйте, господин *бунтарь*! (Надеюсь, Вы не обижаетесь на меня за такое обращение? Я не хочу Вас обидеть, а только чуть-чуть иронизирую над Вашей романтической борьбой с несправедливым устройством мира, хотя романтическим порывам Вашим я сочувствую.) Меня же Вы можете звать, например, “господин магистр”, ибо я также и *магистр философии*, а речь то у нас как раз пойдет о философских *несовместимостях* и метафизике бытия. Выгляжу я и действительно отчасти так, как, казалось бы Вам, должен был бы я выглядеть – когда представление обо мне собеседника не слишком противоречит моему представлению о самом себе, то он видит меня так, как воображает. Итак, господин *спорщик*, я попытаюсь ответить на некоторые Ваши вопросы, и поэтому будьте откровенны, не бойтесь, я никого не наказываю и не поощряю, сим занимаются канцелярские служащие, а Вы мой личный гость, и ни одна живая душа не будет осведомлена о содержании нашей беседы (если только Вы сами о ней не расскажете). Что будете пить? – Коньяк, вино, кофе?

Я попросил чаю с лимоном, и тут же в руках у меня возникла старая эмалированная кружка с горячим чаем.

– Вам Жанну не жалко? – отбросив дипломатический этикет, с укоризной спросил я.

– Жалко... Как и Вам... Но что я мог сделать? Разве это я запалил тот костер, на котором она сгорела? Отчасти невежды, отчасти негодяи, трусы, всякое людское отребье, которое для своего личного благоденствия мать родную на костре сожжет, а большинство – покорная чернь, слушающаяся заводил.

Но ведь и Жанну не заставлял я идти ее мученическим путем! Как не заставляю музыкантов играть, но музыка звучит в их восторженных душах и не дает уснуть.

– А разве не могли Вы ей помочь? Не Вы ли явились ей накануне казни и сказали – “мужайся, Жанна, я с тобой, я не оставлю тебя!” – и что же? Хотя бы уменьшили Вы ее боль, когда горело ее невинное нецелованное тело? Явились ей в виде образа, взяли за руку?

Умерили жар костра, заслонили ликующую толпу, требующую ее казни и наслаждающуюся мучениями ее, отменили ее сознание, наконец, хотя бы в последние три минуты, когда боль была НЕВЫНОСИМА а она ее продолжала чувствовать и сознавать во всей полноте чудовищной невозможности – заменили ее сознание галлюцинацией, бредом, обмороком?

Подвиг ее разве уменьшился бы, если бы, взойдя на костер, примирившись со смертью, приняв ее, она вдруг **потеряла бы** чувствительность к боли и ангельская улыбка осенила ее волшебное лицо, и мерзкая толпа смолкла бы в ужасе, посрамленная?

– Мой друг, ты не до конца еще испил чашу разочарования. Эта толпа – народ. Она поклоняется власти и силе – и только власти и силе!

– Но и Богу народ поклоняется?

– Нет. Образу Божию – да, но лишь единственному – всемогуществу. Народ любит и чтит царя, и во мне чтит – царя царей, небесного царя. Слабость, бессилие, кротость, прощение – были распяты... Ты такой народ любишь?

– Такой? Нет...

– А что делать мне? Вот ты споришь со мною... Споришь то ведь о мелочах, да и не со мною, а с учениками учеников.

Стань сам учителем, возвысься в духе так, что высота твоя будет несомненна – а тогда и Я помогу тебе.

– Но Жанне ведь не помог!?

– Почему же нет? Она свое предназначение исполнила, заплатив, правда, высокую цену. Но я то не настаивал, могла бы остаться и простой пастушкой.

Ты не доволен устройством мироздания, бунтуешь против логики мира, хотя и знаешь горькую правду, которая состоит в том, что мир невозможно было сотворить по другому.

Мир “двуличен”, или, точнее, “двупостасен”, Добро и Зло создают разделенность Бытия, они производят в нем напряжение, как два полюса в электрическом поле.

Если исчезнет Зло, то исчезнет отличие одного поступка от другого, а значит исчезнет и нравственное содержание жизни (так же ведь и безобразие – зло, но дает красоте опору, так зло – и трение, особенно для лошади, тянущей повозку по раскисшей глине). Ну, ты – человек умный, и понимаешь необходимость и трения и зла, и не с тем бунтуешь, а сердисься на преимущества, которые имеет зло в битве, ведущейся между ним и добром. Преимущества же эти неотвратимы и вытекают из природы злого.

Вообрази самый простой пример – противоборство двух человек, хорошего и плохого, схватку их не на жизнь а на смерть. На поле боя и у доброго есть шанс, он может рассчитывать на силу, ловкость, умение, мужество – если только не последует вашему великому писателю в его удивительной теории непротивления злу насилем. Но на поле боя зло открыто, открыто, это, в некотором смысле, *честное зло*, и вообще говоря самая малая и самая безопасная часть зла. Подлинное же зло – тайное! А тайное зло употребит в схватке те приемы, которые добрый никак не может применить в силу своей природы. Так, злой притворится преданным другом, и будет искать удобный случай, спрячется за углом и положит за пазуху камень или нож. Очевидно, что имеющий тайные намерения причинить ущерб благонамеренному будет всегда в преимуществе, подожжет его дом ночью, уведет жену, коня, напишет донос, подсыплет яд в вино, распространит клевету, подкупит слугу, купит судью, передернет карты, соблазнит дочь, оскорбит, унизит, обесчестит... и просто толкнет, подкравшись сзади, когда стоишь у окна, у обрыва, у края...

Самое сильное оружие зла – предательство, и преданный в этой борьбе всегда безоружен.

Так что же я могу сделать? Не я ведь расставляю людей по ту или другую сторону колючей проволоки, и очень часто выбор между добром и злом приходится совершать, когда уже и борьба закончена, когда зло уже победило, и остается только либо примкнуть к победителям, либо – к побежденным. Хочешь – становись конвоиром! Хочешь – заключенным. Никого не неволю. Но неотвратимо в колонне эзков пойдут честные, гордые, талантливые, простодушные, милосердные, а конвоиры будут – лживы, трусливы, жестоки и подлы.

Почему не наоборот?

Потому что влюбленный, идущий на свидание с возлюбленной, идет слепой от счастья и держит в руках цветы, а злой завистник притаился за углом с ножом в руках – у кого же больше шансов выжить?

Сила принадлежит злу неотвратимо, это ее предикат!

Сколько тысяч лет подлость глумится над благородством, и все же по-прежнему благородные глупцы, которых история ничему не учит, кричат:

Лежачего не бьют!

Не бьют ниже пояса!

Трое на одного не нападают!

А зло знает, что *бьют* прежде всего *лежачего*, и нападают на одного не только втроем, но и вдесятером. Потому-то благородный ждет, когда его противник поднимется, а зло стережет и выжидает, когда поскользнется и упадет его жертва.

Ты негодуешь, что это так, что Добро обречено на поражение в силу своих внутренних свойств, и требуешь от Меня, чтобы Я изменил

такой порядок вещей. Но ты ведь знаешь, что фарфор — хрупок, и если упадет со стола железная гирия и фарфоровая чашка, то разобьется чашка а не гирия. Так что же, переменить порядок? Пусть отныне разбивается гирия?!

Нет, мой друг, ты и сам знаешь, что зло существует не из-за козней Дьявола, и не по моему попущению или небрежности, а потому что честь и благородство не могут существовать иначе как противостоя лжи и подлости.

Неужели ты согласился бы вечно жить в мире невесомости? Нет, ведь?! Ну так я потому и создал Всемирное тяготение, и потому все и падает с тех пор, и фарфоровые чашки бьются. Что легче — падать или подниматься?

Зло — это падение, и пока существует сила тяжести, оно будет торжествовать, ибо подниматься вверх труднее.

Увы, *надобно было придти Злу в мир, но горе тому, через кого оно приходит!*

Легко столкнуть кого-нибудь в водопад, а попробуй его оттуда вытащить?!

В совершении зла чаще всего приобретается — и власть и богатство, а в совершении добра, особенно в его главной, высшей форме — подвиге — теряются не только богатство и власть, но и жизнь.

Я тебе расскажу случай из собственной жизни. В апреле 45-го года оказался я в небольшом немецком концлагере. Наступала Красная Армия, и охрана выстроила нас в углу двора, напротив пулемета, и расстреляла. Но перед тем было сделано некоторое исключение для старосты и двух его помощников, которых заключенные еще до того выбрали сами из тех, кому доверяли. Они говорили по-немецки, и им было предложено одеть немецкую форму и уйти вместе с охраной лагеря.

Ну, какой тут был выбор? Уйти с торжествующим злом, или умереть — вот и весь выбор. К сожалению, мой друг, очень часто остаться с добром означает только — умереть. А чего бы ты хотел? Великий смысл существует в древней легенде, где предатель за предательство получает награду, а преданного ведут на распятие. Это метафора взаимоотношений Добра и Зла, и она укоренена в онтологии мира. Упасть — легко. Подняться — трудно. Как бы ты, мой друг, сделал подвиг предикатом, свойством, способом воплощения Добра, если бы совершить подвиг не означало — *подвергнуться испытанию, страдать и рисковать жизнью?* Или даже совсем не иметь шансов остаться в живых, а иногда даже подвергнуться поношению и после смерти, как несчастная Жанна, которую еще 400 лет после смерти поносили святоши?

Кстати, не удивляйся, что я остался жив после этой истории в концлагере. Это чистая случайность. Одна пуля прошла выше сердца, другая — ниже, а землей присыпали так второпях, что ночью я очнулся и выполз из траншеи.

Удивительно не то, что все неотвратно стремится вниз под действием силы тяжести, и падает дождь на землю, и реки и потоки текут с гор и холмов все ниже, и вода просачивается в почву, и глубоко под землей текут реки и так же стремятся к центру земли – удивительно то, как еще не вся вода мира скатилась до самого дна? Как не встали все люди в мире в очередь на предательство, если за него платят по тридцать серебряных монет (мы же видим, как спешат присягнуть на верность победителю и лизнуть ему руку недавние сторонники побежденного?) Так почему же не все еще в мире на самом дне, и хотя сила тяготения тянет вниз, а подняться на снежные кручи чем выше тем больнее и воздух разрежен и все труднее дышать (и тут я почувствовал, как гулко бьется сердце и мучительно глотаю я живительный воздух горящими легкими) – но падает и падает благодатный дождь с неба, и не иссякает добро, и не всё обращается в зло, хотя это гораздо естественнее, чем жертвовать и погибать.

Но это именно Я помогаю подняться воде и взбираться на ледяные скалы праведникам и всходить на костер святым и героям.

Невозможно путь вверх сделать легче, вот главное, все же остальное, из-за чего ты со мною споришь – неважно, незначимо, не стоит внимания. Или уж, во всяком случае, ты и сам разберешься с этим, и переспоришь оппонентов, а не переспоришь, так махни рукою, пусть их!

– Так ведь толпа-то все им рукоплещет, и любит власть, и всякую подлость ей прощает, да еще и запечатала мир железобетонной “истиной” – всякая власть, дескать, от Бога!, в том смысле, что власти надо непременно покоряться, непременно ее почитать и всякую ее мерзость считать исходящей от Бога. В каком же смысле власть имеет божественную природу?

– Да ни в каком, дорогой мой! Может быть, они хотят сказать, что раз Я все создал, то значит всё от Меня, и те камни, которые падают сверху, тоже от Меня, и надо от них не уклоняться, а подставлять голову?

И власть и богатство имеют одну природу. Сказано же, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому – в царствие небесное. А властвующему разве легче? Так же, если не труднее еще.

Но оставь эти глупости, сын мой, не для того ведь ты пришел ко мне?

– Да, действительно, пришел я не о **Власти** спорить, земной или небесной, а о верноподданных рабах всякой власти, и тем более верноподданных, чем власть несправеднее. Вот о них хочу я услышать слово Твое, оправдывающее или осуждающее.

Да, воистину низок тот, кто имеет власть приказывать невинного казнить – но не ниже ли те, кто даже не из страха, даже не из корысти, а по убеждению, по гадкому, мерзкому, дьявольскому убеждению разделяют ответственность власти, помогают ей творить беззакония, почитают власть и веруют, что власть всегда права.

*Люди холопского звания –
Сущие псы иногда.
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа..*

Но сколь же отвратительны и ответственны за торжество зла те, имеющие силу убеждения, которые народ русский убедили, что власть от Бога, которые из граждан, ответственных перед Законом и Совестью, создали *подданных*, ставящих подчинение, покорность выше совести, собственное разумение объявивших гордыней, а приказ начальства – гласом неба! Анафема им до скончания веков!

Не того, кто приказал Жанну несправедливо сжечь, не того, кто на костер ее возвел и из страха палачам помогал, а кто оправдывал их по убеждению – прошу к позорному столбу и требую возмездия!

Вслушай, Господи, мать мою! Пусть она расскажет Тебе о мелкой истории, одной из миллионов в России, которая случилась в нашей деревне.

– Расскажи, Мария, не бойся, подойди ближе!

– Прости меня, Господи, складно я не смогу рассказать, я ведь и читать еле-еле умею, всего две книжки и прочитала, сначала Библию, а потом *Пропотопа*, которого в нашу Сибирь на Байкал сослали.

Ну, вот, в 37-ом году урожай в нашей деревне был слабый, помалу на трудовни выдали, а с государством еле-еле рассчитались. Приехали из района трое уполномоченных, собрали колхозников в правление, дверь на замок закрыли, один у двери с наганом, двое в президиуме, и председатель третий, а главный выступает с речью, и говорит:

– Ну, товарищи колхозники, кто воду мутит, кто вредит, кто работать мешает, помогает империалистическому врагу? Не назовете сами главного вредителя, будет разбираться комиссия, тогда уж одним не отделаетесь, и вредителя выявим, и пособников его найдем, троих, может, пятерых...

Ну, вот, держали нас до трех часов ночи, и по нужде не пускали, ну и называли мы вредителя, каждый ведь и за себя тряся, и за родных своих, не помню, кто первый Тарасёнка назвал, но как показали на него, так всё обрадовались – слава Богу, не я!

И проголосовали единогласно, и я проголосовала тоже, хотя у него и жена была, и детей двое. Тут же арестовали, даже домой с детьми попрощаться не пустили, посадили под замок, а утром увезли.

Через месяц слух прошел, умер он в тюрьме, били его сильно, сознаваться не хотел.

Жена и так ходила черная, а как узнала, что умер он, в первую же ночь и повесилась.

У него родителей не было, он примаком был, еённая вся родня по чалдонским селам, далеко, батька тоже помер, еще в первый голод, а мать жила отдельно в сарайчике при кузне... сначала то она с кузнецом

жила, а как того за троцкизм посадили, то и одна бедовала. Ну, детей ей отдали. Перед самой войной она померла, старшему было лет двенадцать, младшенькой пять. Забрал их старик Финоген из Ключей, да и ему нечего было есть, в 42-ом году я девочку видала, приходила побираться. Где братик, спрашиваю?

– Убежал на войну, сказал, что так все равно помирать, а там может кормить будут.

– Ну а ты как?

Заплакала, говорит, вот пришла попрощаться с деревней, сны снятся, что скоро помру, так посмотрю еще на нашу деревню, а потом к мамке пойду, она зовет.

Вот и все, Господи, а какой из этого смысл, то пусть мой сынок скажет.

– Говори, бунтовщик... Кого попросишь наказать?

– Не этих... После “разоблачения” Сталина много приходилось спорить, иные, конечно, и раньше его не любили, иные только теперь ужаснулись, а большинство защищало все бывшее разными доводами, а главный из них, что, мол, “лес рубят, щепки летят”. (А вот теперь, когда “злой чечен снова наточил свой кинжал”, и стали его бомбить вместе с детьми, довод этот опять засверкал всеми гранями своего человеколюбия). А и другой не редко слышим – *разве огородник не пропалывает свой огород? Не та же ли необходимая прополка, чтобы оставшееся лучше росло – и так называемые массовые безсудные расстрелы в годы советской власти?* (А напечатал и обосновывал этот довод известный советский “инженер человеческих душ” и учитель юношества).

Ну да...

Дело в том, Господи, что если кто убивал, так кто-нибудь, быть может, по морде ему все же даст – или Ты на страшном суде, или убиенный во сне приснится, или совесть вдруг проснется...

А вот эти, которые *про щепки мелют* – они же думают, что оправдывая и благословляя преступления и придавая преступникам силу и уверенность, сами они ни за что не отвечают, и спорить с ними почти невозможно, хоть всю жизнь проспорь, они безстыдства своего никогда не поймут.

Прошу Тебя, Господи, – оставь в покое разбойников, иные из них еще способны раскаяться, вот даже Кудеяр-разбойник, а приведи к позорному столбу благонамеренных обывателей, пусть они стройными колоннами проходят мимо невинных жертв жестокости, равнодушия, трусости, алчности, предательства, низости, растления, они – миллионорукий верноподданный прихвостень всякой силы и всякой власти, голосовавший за несправедные аресты и убийства и ныне глотку дерущий в оправдание своего соучастия.

Вот лежит умирающая девочка у подъезда разрушенного дома в разрушенном Грозном городе, умирала она три дня, и освободители

равнодушно проходили мимо – пусть теперь нация, давшая мандат на ее убийство, пройдет мимо нее и каждый посмотрит ей в глаза и оскорбит ее, умирающую!

Пусть они и сегодня оплоют сочинения опальных писателей, от Достоевского до Бунина и от Есенина и Замятина до Солженицына – они, которые говорили, что «хотя сочинений этих мерзких не читали, но вместе со всем советским народом клеймят их позором и требуют высылки и расстрела», они, вечно коленопреклоненные перед властью, даже пожирающей своих детей, даже предающей свою страну, разграбившей и расточившей ее богатства, обобравшей и растлившей ее граждан.

И они еще в праведном гневе меня обличают, когда я осуждаю их низость, отступничеством от заветов, и требуют никого не судить, ибо *не судившие не судимы будут*. А я не хочу избегать суда, даже и за чужую вину готов пострадать, только бы им воздалось за их вины.

Пусть бы вор забрался в их жилище, а тать подстерег за углом – так же ли они потребуют не судить вора и татя, или побегут за околоточным и участковым?!

И еще обличают за споры с Священным Писанием. Как, мол я смею свое мнение иметь?

И когда в Священном Писании избивают филистимлян, и стариков и детей, и несть числа избиваемым языкам, или утверждается, что земля плоская, а какой-нибудь дерзкий Галилей в САМОМНЕНИИ осмеливается перечить – кричат они, что слово Божие непостижимо для смертных, и надо верить в его истину слепо, не дерзая понять...

Ну, Господи, кто я для Тебя? Сын ли Твой, творение ль Твое, ученик ли Твой, которого Ты любишь, а следовательно, как и я ученикам своим, старательно и внятно излагаешь и сложные положения, и чем сложнее они, тем более старательно, и даже после уроков остаешься, чтоб объяснить им? Нуждаешься ли Ты в диалоге со мною, или у Тебя и без меня хлопот хватает, и обращаешься Ты со мною как капризный и злой ребенок с нелюбимой куклой? Кому предназначено Священное Писание, если не человеку? Если оно на *непостижимом* языке, то зачем дал мне его в руки? Или Ты смеешься надо мной, говоря “*по-китайски*”, когда мог бы и по-русски сказать? Многое еще есть спросить и понять, но хватит ли времени?

– Голубчик, Я ведь тебя внимательно слушаю, и времени у тебя было – целая жизнь! – а часто ты бестолково распоряжался ею, и Я в том не виноват. Всегда, когда спрашиваешь, Я готов ответить, и те, которые яростно нападают на твое желание обращаться ко Мне с вопросами, минуя их посредничество, поступают так не всегда справедливо, а либо из ревности, либо им выгодно выдавать себя за единственных Моих представителей на Земле.

Ну, что же, у тебя дорога нелегкая, но Я тебе дал немало, чтобы утвердить свое и возразить им.

Разумеется, ты не единственный, кто обращался ко Мне, и до тебя многие поднимались в гору, и слово их авторитетно – но и они не всегда и не во всем правы, а чаще современные монополисты на истину и их *приватизировали* и отвергают ныне каждое новое свежее слово.

А сколько же затхлого и неверного распространено и почитается как Истина?

Многие говорят обо Мне не в силу мистического опыта, а словно списывая портрет мой с земных царей.

Как бы они писали кесарю?

Разумеется, что он *всезлаг, всемогущ, всесправедлив*, зло истекает не из него, а из слуг или врагов, всякое дыхание должно ему поклоняться и славить его и прочая и прочая... Ну и мне то же самое, только еще больше превосходных степеней.

Ну, конечно, я зодчий и ваятель, более того, и зрение и слух создал я так же, и ЛОГИКУ, задающую способ ПОНИМАНИЯ. Да, Моя **власть** в отношениях с творением Моим определяющая, и это истинно. Но это и неистинно одновременно, и кто понимает *двойное бытие истины* в утверждении и отрицании, способен без пошлых штампов говорить со Мною.

А это ведь и так просто! Разве не вся власть у отца или матери, но разве дитя их властвует, а не они? Кто любил младенца своего, тот знает, что может быть еще чаще властвует дитя и спешат счастливые родители выполнить каждое пожелание чада своего.

Так и влюбленный – и господин и раб возлюбленной своей, и если человек ко Мне приходит так же, как подданный к престолу земного тщеславного и упивающегося властью царя, то скучно и тоскливо Мне с ним.

Не бойся горячиться, горячность твоя Мне близка, Я менее обидчив чем упивающиеся властью, богатством, славой, знанием, силой... Ну а и отшлепаю когда – не обессудь, все-таки Я ведь старше тебя, и опыта у меня побольше, не только земного! Но если побоишься ты спорить со Мною, и только в рот умильно начнешь заглядывать – это Мне будет очень горько! Вот изваял я женщину... Не правда ли, хороша? Но САМОМНЕНИЕ мне тоже чуждо, и если скажешь, что не все совершенно в ней, и покажешь, то Я подумаю о замечаниях твоих. Как знать? Я разве и раньше не спрашивал у человека, а только горделиво свысока поучал? Если бы я не был одновременно и человеком, со всеми его слабостями и заблуждениями, то грош цена мне была бы...

Многое, что приписывают Мне – наветы!

Так когда же Я силу и власть приравнивал к Истине?

Я дал миру ЗАКОН и поставил его выше подданного и выше повелителя, и велел человеку почитать праведной властью ту, которая подчинена Закону и служит человеку, а потому нарушающую закон власть следует ненавидеть и как бесов из людских душ изгонять из мира.

Как все просто! Правда – то есть единство Истины и Справедливости – выше всего, и надо утвердить Правду на земле, и бороться с неправдою.

Но любовь выше Правды.

Вот и все.

– Господи, прости меня, еще последний вопрос, или последнее горестное недоумение... Выскажусь я не слишком складно, даже чуть ли не по дурацки, но именно неумение высказаться в данном случае складно весьма связано с тем, о чем теперь попеняю Тебе... Ну, вот... Живу я не так, как следовало бы, уже столь много прожил, а так толком ничего не понял в мире и почти ничего не написал глубокого... Но кажется мне – да и не только кажется, но так оно и есть – что о многом я понимаю глубже авторитетных мыслителей. Вот, например, рассуждают они о добре и зле, и думают так, что коль это Ты создал Мир и Добро в мире, и что то благо и стремление к благу, которое есть в наших душах, определено Тобою, то невозможно верить и сказать, что и зло создал Ты так же. Но тогда что же такое Зло?

И благонамеренный философ, чтобы не оскорбить и не унижить Создателя, рисует умильную правдоподобную картинку, словно в букваре для первоклассников, что Бог всеблаг, и потому зла не создавал, а потому зло – или только некий изъян в творении, случайность, позднее грехопадение человека, или козни павшего ангела, который тоже изначально не был источником зла, просто не хватило шифера, крыша у него прохудилась, и в этом месте протекает... И так далее...

Не онтологически зло укоренено в мире, и не в логике бытия, и уж, – Боже упаси! – не в Создателе! Философ поступает так – даны ему несколько кусочков некой неведомой математической кривой, и он, как посредственный ученик, плавно соединяет их плавной линией – а там, где соединяет он плавно, как раз точки и области разрывов, перегибов и экстремумов – или черт его знает что такое там!

Что же я по сему поводу могу сказать?

А я говорю – ну, братцы, вы сами не хуже меня знаете, что в мире есть и Добро и Зло, и как ни хитрите, и не изворачивайтесь, называйте их условностями, говорите, что зло – недоразвитое добро или наоборот – но они есть, точно есть, и все тут! Ну а точнее и больше сказать я ничего не могу, потому что не знаю... а те, которые говорят, что им все известно, еще меньше моего знают, притом еще и врут!

Господи, ну почему не дал ты мне язык и мудрость премудрого змия, и вложив в меня способность различения глубины, трудно выразимой словами, от псевдомудрого философского словоблудия – обрек на молчание?! Ничего не могу никому доказать, ибо или камни должны заплакать, или язык прилипнуть к гортани – но *слово*, от которого рушится и стонет камень, не помог Ты мне вымолвить, а мои человеческие силы ничтожны.

Я – знающий, и даже тшусь говорить, но лучше бы я молчал, ибо незнающие красноречивее меня.

Откровение не опалило и не преобразило меня, и только эхо музыки доносилось, и только слабый аромат благоуханий порывом ветра...

Вот, Господи, и все!

Хотя ответ уже есть, я его знаю...Томимый духовной жаждой, влачусь я в пустыне, но *серафим шестикрылый* не явился на моем перепутьи...

Скажешь ли мне, Господи, что-нибудь в напутствие?

– Еще рано. Потом.

...– А я, кажется, что-то еще хотел спросить у Тебя... Я что-то плохо себя чувствую, и плохо соображаю. Мне Ты помочь не хочешь – а не Ты ли помог Жанне взойти на костер и бросил ее на растерзание невыносимой боли, и не помог ей на костре, ибо иначе подвиг ее умалился бы – не так ли, жестокосердый старик?!

– Не сердись! Прежде, чем не переступлена некая черта, невозможно объяснить некоторые вещи. Так, например, во сне невозможно преодолеть логические несурзности, если они вплетены в ткань сна, пока не проснешься.

Но ты ведь еще о чем-то хотел спросить у меня?

– Кажется... Но не могу вспомнить.. То, о чем мы говорили, это ведь ещё не всё? Есть *Откровение*?..

– Ты еще маленький, тебе не понять. Потом..

– Когда?

– Не знаю.. Когда вырастешь..

Открыть сверх того, что уже открыто тебе, я не смогу, но... надеюсь, мы еще поговорим с тобой позже за бокалом доброго испанского вина – у тебя еще много впереди ветряных мельниц, но много горестей... Я тебя не оставляю, путь еще долог... Пока иди приляг, поспи немного. Слышишь, как шумит тайга?

Ночь была душистой и теплой, тайга шумела тихо, и могучий кедр словно пел мне колыбельную песнь.

Наверное, я зашел попрощаться с тем, что мне было мило.

Два ярких видения явились ко мне из прошлого.

Вот я семилетний восторженный светловолосый мальчишка с тремя мальчиками постарше отправился в гости на пасеку, построенную в двух километрах от деревни на границе колхозных лугов районным кооперативом.

Прошел слух, что ребятишек там привечают радушно, и в медовом изобилии не скупятся на угощение.

Прошли мы по тенистой лесной дороге, затем вдоль гречишного поля, от густого запаха которого закружилась голова, свернули на луговую тропинку и подошли к пасеке со стороны ульев, глупые. И тут

загудела и в пшеничных волосах моих запуталась пчела, и с яростным ревом закружилась вторая. Белый свет померк, и небо опрокинулось на землю, ожидание райского блаженства сменилось ужасом, и через лютики и васильки, через тяжелые волны гречихи понеслась моя перепуганная душа, так что маленькое тщедушное тельце не успевало за нею.

Все-таки меня изловили на опушке леса, всхлиplyвающего завели в прохладный тенистый сарай с лавками вдоль стен, где стояли бидоны с разными сортами меда, усадили за стол и поставили большую миску, наполненную жидким янтарем, и дали в руки большую деревянную ложку. Потом положили еще в эту миску куски сот, с которых капал душистый мед и налили большую кружку медового кваса.

Глаза мои уже опухли от слез или пчел, и видели плохо, обида еще не забылась, последние всхлиplyвания еще судорогами подергивали горло, но райское блаженство качало уже в своих объятиях.

Не донеся до рта последний янтарный кусок, уронил я тяжелую голову на стол, и уснул крепко-крепко, хотя ощущал сквозь сон грубые мужские руки, нежно заворачивающие меня в шерстяной платок, чувствовал прохладный воздух ночи и тепло, идущее от песчаной дороги, когда нёс меня старый пасечник в деревню.

Утром, проснувшись, увидел я в своем доме посередине стола миску с медом, два соленых огурца и большую деревянную ложку, оставленную пасечником на память.

Так изобильно и так сладко никогда больше не угостила меня жизнь.

Другое видение унесло меня в тайгу, и медовые ее запахи, такие густые, что они уже немного горчили, как солнечный жар обдали мою душу.

Мы шли за красной смородиной, разнолиственный лес тянулся от деревни километра два, и вдруг, спустившись с холма и перейдя ручей, остановились мы, потрясенные.

Лес закончился. Как будто пологом отделился привычный мир и сверхбытие обрушилось на нас. Шумела, звенела, гудела, простиралась и царствовала *тайга*, аромат ее, божественный, соединял в себе сладость меда, прелесть женщины и крепость хмельного вина. Не только обонянием, но каждой клеточкой тела и измученной души я пил этот запах и понял, что теперь примирен с миром и уже не боюсь смерти.

Вот и деревня. Жаркий июльский полдень. Стадо пригнал пастух с поля, коровы лежат вдоль улицы и дремлют, лениво махая хвостами, отгоняя назойливых оводов.

Сонная тишина, на пригорке у колодца и сам пастух задремал, не лают собаки, не бегают и не кричат ребятишки. Мама в поле, бабушка в огороде собирает огурцы с парников, движения ее легки и неторопливы... Всё дышит спокойствием, и только в моем сердце страх и тревога.

– Ну, что, пойдём в избу? Она ждёт, я сказал, что разрешаю вам свидеться.

Суровый, но печальный старец в монашеском одеянии и с посохом в руке повелительно указал на крыльцо.

– Постой! – схватил меня за рукав магистр философии. – Ты не забыл, что должен задать Ему один вопрос, единственный, ответа на который мы не знаем? Иначе я не помогу тебе взойти на крыльцо, а без меня тебе и не взобраться, ты слишком слаб, ноги-то совсем не держат!

– Да, да, я спрошу, я ведь и сам хочу знать! Отче! Скажи мне, зачем приходил к нам Твой Сын, только ли хотел обличить нашу жизнь и пообещать милость лишь за ее гранью, и лишь настолько, насколько мы отречаемся от жизни? Или была и другая цель?

Суровый старец замедлил шаг и грозно взглянул на меня.

– Ты уверен, что хочешь **знать**?

– Не знаю... Может быть... Но разве я не мучаюсь духовной жаждой, разве мои губы не запеклись?

– Ты не способен услышать и понять мои слова. Те органы слуха и понимания, которые тебе даны, приспособлены лишь для человеческого знания и должны быть преображены, чтобы понимать то, что за гранью человеческого.

Я ведь уже сказал: в самом начале – *возлюби Бога твоего всем сердцем своим и помышлением – прежде всякой иной любви, и потом уже возлюби человека!* Разве ты не слышал этих слов? Если твоя любовь ко Мне больше всякой иной, тогда ты **всё** узнаешь. Готов ли ты пожертвовать собою во имя Мое? Готов ли ты прежде пожертвовать собою для Меня, и затем уже для *нее*? Готов ли ты и **ею** для Меня пожертвовать?

Вот сейчас все и разрешится. Если Я для тебя – **всё**, тогда тебе откроется *истина*, и этот и другие вопросы разрешатся.

Неприметно для меня оказались мы в доме.

У стены стояла кровать и та самая девочка в изодранном и окровавленном платье разметалась поверх простыни. Вдруг она вздрогнула и открыла глаза.

– Ты пришел? Дай мне руку.

Я протянул руку и сжал горячие тонкие худые пальчики, бледное лицо ее горело лихорадочным румянцем, *глаза опухли от слез и не выражали уже почти ничего, даже муку.*

– Скоро все кончится...

Умирать уже не страшно, тело так изболелось, что его уже почти нет, поцелуй меня на прощанье, и я усну... Я тебя не буду забывать, я почувствую, когда ты снова ко мне прикоснешься, и проснусь – **там**. Ты придешь?

Мой миленький... Я умираю...

Я так долго сопротивлялась смерти, ждала тебя... Я сказала, что не умру, пока тебя не увижу, и не умираю. Ну, вот, ты теперь знаешь... Это всего важнее, все остальное неважно... Прощай, родной мой, за мною пришли...

Стена за кроватью словно таяла, и льдины неслись по реке и рушились в водопад. Я взглянул в бездну, и ужас хлынул в меня. Я не скажу, что мне открылось, говорить об этом невозможно.

– Ты хочешь знать Истину, или ты остаешься с нею? – раздался суровый голос.

– Любимая моя, не уходи! Я знаю, что нужно делать. Я люблю тебя, ты еще будешь сидеть над ручьем и болтать ногами в его струях, и купавницы в твоих волосах будут сиять, как солнце.

Я сделал шаг вперед, и Бездна открылась предо мною, страдающее дитя на больничной кровати пыталось остановить меня, но сил у нее было слишком мало.

Я же не смогу терпеть! – думал я. – Я буду кричать, буду богохульствовать, проклинать буду все, и себя проклянута тоже, если мука продлится слишком долго, а смерть промедлит остановить ее.

На мгновение возникла Орлеанская девочка, прижимающая к груди крест.

“Я не разделил с нею ее страдание, – подумал я, – а она меня жалеет”.

Я сделал еще один шаг. Раскаленные иглы впились в подошвы, но еще было далеко до края, еще надо было перешагнуть черту, которая отделяла прошлую, почти безмятежную жизнь от предстоящей муки.

Что такое смерть? Возможно, это небытие? Но тогда в нем должно исчезнуть и время, и поэтому, если смерть мучительна, то лишь до тех пор, пока она не наступила, пока время не исчезло. О, значит смерть – блаженство, хотя и краткое... сначала бы я услышал тишину, а потом перестал слышать.

Но для ее спасения моей смерти – слишком мало!

Целую жизнь сосредоточивал я то, что дух мой получил в дар, чтобы смог я этот последний шаг шагнуть – но одной жизни мало. Я оглянулся, малодушный, за помощью... глаза ее еще смотрели, но уже не видели, а мне необходимо было видеть все.

Если смогу, ты останешься жить, и будешь когда-нибудь еще смеяться, и *купавницы* в твоих волосах будут сиять как солнце.

Я пришел спасти тебя – но хватит ли сил?

Если мир для меня обрушится, то *она* останется жить.

Я больше ничего никогда не узнаю, но невозможно, чтобы ее шелковистые волосы горели, и расплавленный металл капал на истерзанное тело...

*Уже поздно. Она устала бороться. Да и сколько можно мучиться?
Она уходит... Мы бессильны...*

Нет, нет, нет! Кто это говорить смеет? Я запрещаю! Где этот огонь? Ну так раздуйте его еще сильнее! Силы небесные, идите сюда, на помощь, силы небесные! Я не отдам ее тьме кромешной, я не позволю погасить...

Сейчас, сейчас! Я знаю... Господи!..

Я понял все, я узнал, что единственное преодолет неотвратимую гибель.. Нестерпимый свет хлынул из-за края мира и жизни..

Любимая моя, прощай! Ты остаешься жить!

Ресницы ее затрепетали..

Сердце забилось! – донесся непонятный голос..

Грозное ликование невыразимого, грохот падающего мира сдвинул мою душу, и, освобождаясь, я вдохнул бездну и закричал –

Боль, дайте мне боль! Дайте мне боль!

.....

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

НОЧЬ НА ВОСКРЕСЕНИЕ

Глава первая

ПУТАНИЦА ВИДЕНИЙ

1.

«Из ночи я был переведен в день.» – вспомнилась мне строка из самиздатовской рукописи.

Из тесной и сырой камеры, слишком уж назойливо демонстрирующей камень стен, цемент пола, железо тяжелой кованой двери – меня перевели в светлую и просторную комнату, камеру-палату тюремной больницы.

Что этому предшествовало, я не помнил, по-видимому был тяжело болен. Но уже сознание ко мне возвращается, боль отпустила, ум свеж, чувства мои безмятежны.

«Скоро, скоро кончатся ваши испытания!» – шепнул мне Индиан Поликарпович, когда меня повели на расстрел.

Я не понял, смеется он надо мною или мне сочувствует, или я ему настолько безразличен, что сказал он эти слова без внутреннего усилия, не вдумываясь в страшный смысл того, что вскоре должно было со мною произойти.

Ум мой метался, душа сжалась. Я не хотел поверить, что это случится на самом деле, и шел покорно... Может быть, перед самым концом броситься, закричать, выпрыгнуть в окно?

Ноги слабели с каждым шагом, стыдно было думать, что повисну на руках конвоиров, и они поволокут меня волоком.

Все было так буднично, так оскорбительно просто, так пусто и бессмысленно, как если бы ничто не происходило, как если бы происходило *ничто*.

Только что я сидел за столом и был почти счастлив, мне принесли бумагу и карандаш и велели продолжить показания, и вдруг зашли трое, в белом, похожие на мясников, и приказали – *Идем! Быстро! С собой ничего не брать!* – так решительно, так настойчиво повели, что я даже не успел осмотреться, вышел сразу же, за дверью мне сказали, что ведут на расстрел, через минуту встретили мы Индиана, а вскоре вошли в

просторную комнату без окон, почти пустую, не считая странного приспособления в углу, похожего на ложе. «Мне будут отрубать голову?» – мелькнула мысль.

Ничего не успело произойти за эти минуты, я даже не успел ужаснуться.

Какой-то человек встал нам навстречу, похожий на начальника, и молча посмотрел в мое ускользящее лицо.

– Ведите его обратно! – буднично и устало приказал он, махнув рукою.

Меня привели обратно, и так же буднично сообщили, что расстреливать сегодня не будут.

Я остался один, и долго еще не мог почувствовать радость спасения.

Все произошло так быстро, словно я оторвался от страха, как сверхзвуковой самолет отрывается от звука; и вот страх догнал, обрушился на меня, заполнил мое тело, сердце забилося как пленная птица о прутья клетки.

Надо поскорее лечь спать! – решил я. – И во сне успокоиться.

2.

Уснуть мне не удавалось долго, ночь казалась бесконечной, но принесет ли утро отраду, я не знал.

Слишком много было во мне боли, невозможно было повернуть голову, пошевелить языком, даже глубокий вдох наполнял горло болью.

Вот почему, подумал я, так странно тащит меня по всем закоулкам жизни, даже по тем, где я еще не был.

От боли пытался убежать я в детство, спрятаться под юбкой у мамы, стать снова таким маленьким, когда все родные любят тебя и защищают. Но боль доставала и маленького, она проникала в мои младенческие сны, я задыхался от коклюша, от скарлатины, от дифтерита, от воспаления легких – и тогда пытался убежать от нее в будущее.

Возможно, я еще не выходил на сцену в этой пьесе, в которой теперь себя вижу, говорил я себе – но, значит, пьеса уже написана, и великий режиссер читает мне из нее главы?! Быть может, он хочет меня утешить, воззвать к моему мужеству, когда читает сцены будущего страдания; или приободрить, когда показывает грядущий путь преодоления?

Только под утро я забылся, но спал крепко. Горячий солнечный луч упал мне на лицо, и я проснулся. Радость хлынула в мою душу, вытесняя боль – я жив, вчера мне сделали операцию, светлое майское утро шестидесятого года, я лежу у раскрытого окна, солнце сияет по летнему, весна была ранней, сирень расцвела сегодня ночью на всем Васильевском Острове, и воздух пропитан ее запахом так сильно, что его можно набирать в ладони и переливать из одной в другую. Если бы только не было так больно дышать!

Зашел хирург, погладил осторожно по голове, улыбнулся ласково и сказал – скоро боль пройдет, а пока я передам тебя в другие руки, они вылечат быстрее лекарств.

Он открыл дверь, и в палату вошли четыре феи – Тося, Тася, Рита и Грета.

Тося несла громадный букет сирени, цветы ей были очень к лицу, когда-то она так же неподвижно, как я одну ночь, пролежала три месяца, и ей запрещали шевелиться, чтобы не потревожить, не сдвинуть косточки ее разбитого позвоночника, и она не шевелилась, терпела, ей очень хотелось когда-нибудь еще танцевать, и любить, и быть любимой, и родить дитя. Из автобуса, который столкнулся на переезде с товарным поездом, выжило только двое, и улыбчивая Тося танцевала со мной, неумелым, а я только обниматься в танце умел.

Тася была наша общая мама, она нас кормила, лечила, улаживала ссоры, чуть ли не пела нам колыбельные песни – а может быть, девчонкам и пела, я хотя и дневал и вечеровал в их комнате в общежитии, но на ночь они меня прогоняли к себе.

С первой я познакомился с Ритой, и каждый вечер мы стояли с нею у подоконника, а утром я не мог проснуться к первой лекции, и болели опухшие губы.

Тася сторожила дом и ждала своих заблудших детей к ужину, мы с Ритой целовались, Грета бегала на танцуйки в «Мраморный Зал» Дворца Культуры, а Тося гуляла около общежития под руку с кавалером.

Но это продолжалось недолго, однажды я встретил ее, возвращающуюся со свидания, с радостным блеском в глазах, и сердце мое пронзила ревность. Полчаса мрачно ходил я под ее окном, а потом пошел «выяснять отношения».

Мы стояли посреди комнаты, я говорил и говорил, негодуя и обличая, Тося улыбалась растерянно, ничего не понимая, счастливая и виноватая, потом робко попыталась мне возразить:

- Но я думала, что ты дружишь с Ритой...
- Ну и что?
- Ты не хочешь, чтобы меня провожал другой парень?
- Да!
- Ладно, завтра я останусь дома.

И вот милая нежная Тося протягивала мне громадный букет сирени, и сладкие ее губы двигались будто в танце или поцелуе.

Ах, она пыталась сдержатъ смех, не сдержалась и начала смеяться звонко, и сквозь смех говорила – Васенька, миленький, мы во всем раскаиваемся и обещаем исправиться, в чем торжественно тебе клянемся. Мы будем любить тебя одного, будем тебе верны, и даже целоваться ни с кем больше не будем, кроме тебя.

– А я буду варить тебе каждый день сладкий клюквенный кисель! – сказала Тася – А сейчас напою тебя с ложечки, он прохладный, ты просто лежи и дыши, ну открой рот, мой маленький!

Ритка, нежная кроткая Ритка, стала укладывать мне вокруг шеи кусочки льда, завернутые в вафельное полотенце, а хохотушка Гретхен, которой я запрещал танцевать с другими, осторожно мокрой тряпкой стала вытирать мне лицо.

Изо рта у меня бежала розовая струйка, мне было стыдно, но улыбчивые феи, сменяя друг друга, то поили меня киселем, то прикладывали компрессы, меняли подушку, открывали окно, читали стихи, осторожно целовали меня в лоб, гладили мои руки, по очереди убежали сдавать экзамены, клялись в любви и верности, махали полотенцем, тихонько напевали... из окна потянуло вечерней прохладой, запах сирени стал еще пьянее, и комната начала тихонько двигаться, потолок то опускался ниже, то снова высоко поднимался...

«Как мы запутались друг в друге?» – пытался я вспомнить в полудреме. – «Первой нашла меня Ритка и привела к девчонкам. Они схватились за меня как за птичку, выпавшую из гнезда. Я был для них еще совсем маленький, они уже учились на пятом курсе, заканчивали университет, а я только начинал учиться. Почему им понравилось со мною возиться, опекать меня, заботиться, воспитывать? Может быть потому, что я так охотно принимал их заботу? Я влюбился в них всех вместе, но по разному. Тася – молодая 22-хлетняя мамочка у 18-тилетнего сыночка, Тося – наполовину сестра, наполовину подруга, Рита – возлюбленная... А легкомысленную маленькую Грету с ее смеющимися кудряшками я любил как свою дочку, хотя она была на четыре года старше меня.

«Неужели мы когда-нибудь расстанемся? Неужели я когда-нибудь их позабуду? Вот они сдадут экзамены и уедут – а как же они без меня будут жить? И как же я без них? Надо мне на них жениться, вот что!» – подумал я, засыпая, и представляя растерянное и виноватое лицо Тоси, когда я ругал ее за вечерние гулянья. «Им без меня будет тоже неправильно!» – подумал я в последний раз, и уснул уже крепко. Тася положила мне на лоб мокрое полотенце, и растаяла. Другие сны потянулись.

3.

«Увы, это был сон!» – сказал я себе со вздохом, проснувшись утром. Боль меня уже не мучила, как прежде, но тело было по-прежнему чужим и мешающим, усталость не прошла за ночь, и всегдашняя тоска все так же наполняла душу.

На столе стоял недоеденный вчерашний ужин, лежали листы бумаги и стояла позеленевшая бронзовая чернильница с двумя ручками.

«Ах, да, мне нужно продолжить мои показания. Но чего от меня хотят? Чего хочу я сам от себя? Да и хочу ли я еще понимания, или уже ничего мне не нужно, кроме покоя душе и нечувствительности телу?»

Загрели ключи в чугунной двери, вошли два незнакомых мне вертущая, и торжественно-радостный Индиан Поликарпович, удивительно похожий на старого дворецкого, только что получившего высокий орден из рук своего господина.

– Монсеньер желает с вами поговорить!

– Да? Хорошо, я согласен.

– Вы как будто не удивились, – разочарованно протянул Индиан Поликарпович. – Или не догадываетесь, о ком идет речь?

– Нет, почему же? Я даже ожидал, мне казалось... да, я уже предчувствовал, что меня могут вызвать, и... словно кто-то меня уже подготовил... может быть, во сне?

– Мой дорогой, вы мне сегодня совсем не нравитесь. Вы знаете, я вам давно сочувствую, мы ведь уже почти друзья, но вы неправильно говорите, я ожидал более подходящих случаю слов.

Монсеньер желает *поговорить* с вами, Он устаивает вас беседой, большинство почло бы это за великую честь, другие добиваются минутной аудиенции годами, ждут иногда целую жизнь, чтобы только взглянуть, ручку поцеловать, прошение протянуть на подпись – и вот, что же я слышу? – *Я согласен*. Да если вы понимаете, **кто** предлагает вам встречу, то слова о "согласии" – нонсенс, или бравада, или оскорбление, ибо вашего согласия для встречи не требуется. Ну при чем тут ваше согласие? Или вас спрашивали, когда заключали в тюрьму?

С другой стороны, вы ожидали, что вас могут *вызвать*, значит, ждали предстоящей *беседы*, или вызова на допрос... Так чего же вы ожидали – беседы, аудиенции, свидания или – допроса?

– Всего вместе, Индиан, не будь мелочным. Разумеется, я понимаю, чего именно желает Монсеньер, да, он именно предлагает мне встретиться и *поговорить* – свободно и открыто, и поэтому не приказывает мне виться и не посылает за мною конвой, ибо какая же при этом была бы беседа?

Мне кажется, он достаточно хорошо меня знает, и он доверяет мне и рассчитывает на взаимный интерес, поэтому *предлагает*, но *не приказывает*.

Одновременно, да, одновременно он может меня принудить к встрече.

При этом наша встреча – свидание, которое разрешено, свидание с Волей – узника. Какой же узник отказывается, когда ему говорят, что к нему *пришли на свидание*, да еще, может быть, принесли пряников?

Но и это – не все. Встреча, уже назначенная Монсеньером, встреча, как необходимость – предлагается мне как мой свободный выбор. Мне разрешено согласиться на нее или отказаться. При моем согласии она состоится, при отказе – Монсеньер волен ее отменить или не отменить. Обычно необходимость не отменяется, но что-то говорит мне, что Монсеньер принуждать меня к встрече не станет. Потом, может быть, он предложит ее на других условиях, вероятно, более жестких... или вызовет на допрос и пришлет конвой.

Но и это еще не все. Есть одно обстоятельство... Разве всем и вся распоряжается только Монсеньер?

– Нет, конечно, – пробормотал Индиан, – но все согласовано.

– Но ведь и в этом случае основания, на которых возможна наша встреча, не определены до конца. Я не знаю, где нахожусь, по какую сторону границы, незримо (или зримо) разделяющей наш мир.

– Да, да, ты прав. Я должен открыть тебе самое важное: ты – не там и не здесь, *ты – на границе*. Судьба твоя еще не решена, все, кто занимался твоим делом, запутались в его сплетениях, и никто не решается принять на себя ответственность за окончательное решение твоей судьбы, вот почему Монсеньер и собирается поговорить с тобою лично.

– И поэтому я надеюсь на благоприятный для меня исход нашей встречи.

– Вот и *чудненько*, как любил говорить мой друг Фундыкин. Но сознайтесь – внутри ведь все трепещет, не правда ли?

– А почему должно трепетать?

– Ну как же, пахнет серой, сковородки, кипящее масло... или вы не верите во все эти ужасы?

– И верю и не верю. Разве не исчезает реальность, когда человек засыпает? Она ведь не продолжается так, как происходит в яви? Вот отвергнутый возлюбленный, он рыдает от горя и засыпает в слезах – что же ему снится? Быть может, и во сне он не находит покоя, и все так же отвергнут, но вероятнее, что сон шлет ему избавление от боли, и он засыпает в объятиях...

– Ну вот и договорились, вот и *чудненько!* – как говорит наш друг Фундыкин!...

4.

– Рад познакомиться! – Монсеньер с чувством пожал мне руку. – Садитесь вот в это кресло, старинная вещь, *антиквариат*, люблю старинные вещи... В нем не раз сживал еще Вольтер, да, кажется приходилось сидеть и Декарту ... Впрочем, оно когда-то принадлежало Игнатию Лойоле, но он не любил в нем сидеть, он сажал в него своих подопечных, в нем, знаете ли, есть такая кнопочка, нажмешь ее, и в тело вонзаются острые шипы – очень, очень оживляет беседу! Впрочем, Лойола не прибегал к этому средству, но он знал, что гости его о нём знали и думали, что он может им воспользоваться.

Я надеюсь на вашу откровенность, и если вы не будете обливаться холодным потом, юлить и изворачиваться, обещаю, что кнопочку не нажму. Ну как, по рукам?

– Да я и без кнопочки...

– Ну вот и договорились, вот и *чудненько!* – и Монсеньер знакомым движением потер руки.

– Фундыкин! – вскричал я в изумлении, вглядываясь в хищные и плотоядно наглые черты туповатой физиономии...

– Ах, черт! – сказал Монсеньер в досаде. – Я перед вами как раз с ним разговаривал, он у меня в ногах валялся, умолял, чтобы не увольняли из "органов", но мы не вняли, мы его *вычистили*, у нас, знаете ли, *чистка*,

да еще и *перестройка*, мы не чужды веяниям, меняем стиль работы, с этими страшилками, разными там крючками, щипцами, раскаленными утюгами пора кончать, пусть ими тешится мелкота, вышибалы долгов, вышибалы мозгов, охранники и рэкетеры. Фундыкин стал много себе позволять, возомнил, знаете, уверовал в безнаказанность, начал превышать полномочия. Слушали мы его на коллегии целое утро, и повадки его невольно передались, дурное ведь всё прилипчиво, зевнет кто-нибудь на концерте, смотришь, уже ползала зевает.

Да ведь и вы, дорогой, отчасти Фундыкин, убедились бы в безнаказанности, такое вытворять начали, что и Фундыкин за вами бы не угнался! Вот, например, спит пьяный, рядом – ни души, а у пьяного кейс открыт, и там полно долларов, может, сто тысяч, может, миллион... Ведь схватили бы кейс, не правда ли?

– Нет, чужого я не беру.

– Да, вы брезгливы... *Верно, не взяли бы – из-за брезгливости. Ну, хорошо... Но вы ведь сластолюбивы?!*

– Не знаю, может быть...

– То-то же... В каждом из нас много понамешано помимо того, что нам кажется собственным, и во мне есть и Фундыкин, да и в вас тоже, и Индиан Поликарпович... Кстати, я одобряю вашу дружбу, отчасти именно она пробудила мой интерес к вам, потом уже прочел я ваши сочинения, и с большим удовольствием убедился, что вы не отрицаете необходимости "органов", прямо пишете, что нужен даже Фундыкин, тем более Индиан Поликарпович, и со вздохом признаете необходимость существования *господина Монсеньера*, то есть меня.

– Кстати, почему к вам так странно обращаются, не по современному?

– Так разве я *со-временен*? Я бы сказал, что я – *вне-временен*, к тому же, это мой псевдоним, я ведь *разведчик*, всю жизнь в "органах". Но, по правде говоря, назвали меня так подчиненные; начитались Булгакова, нашли, знаете ли, во мне сходство с его *Мессиром*, ну и начали называть между собой *Монсеньером*... А мне понравилось. Звучит лучше, чем Господин Председатель, или Ваше Превосходительство, товарищ Генерал и тому подобное. А, кстати, я как раз Председатель, *Со-Председатель Верховного Суда*, вот почему ваше дело ко мне попало.

Ну-с, так вот, прочитал я вашу "Критику догматического сознания" и прямо скажу, стал вашим поклонником, следил уже за вашим творчеством, ждал каждой новой вещи с нетерпением. А когда вышел ваш знаменитый роман "Отбеливание льна", я закатил банкет, напился так, как не напивался даже с Навуходоносором.

– Но, помилуйте, я не писал таких книг, вы что-то напутали.

– Я никогда ничего не путаю, – холодно сказал Монсеньер, – вот смотрите, вы пишете в дневнике от 23 апреля двухтысячного года: «явился замысел обширного сочинения "Критика догматического сознания", содержащего, в частности, критику и социализма и христианства». Это **вы** писали?

– Да, я, но ведь это только замысел, книги еще нёт!

– Ну, это вопрос времени. По существу-то она уже есть, остается ее только перенести на бумагу, сверстать, напечатать и переплести. Хотите взглянуть, как она будет выглядеть? Мне на днях подарили её *сигнальный экземпляр*, вот, посмотрите.

Я взял в руки небольшой изящный томик в темно-синем кожаном переплете, стал листать, некоторые строки показались мне знакомыми, словно я это уже писал или говорил, или думал.

– Ну, ну, не вчитывайтесь, это ограничит вашу свободу, когда начнете писать.

Со страхом взглянул я на год издания "200... год" – последняя цифра была размыта, я сиделся увидеть ее, но Монсеньер вежливо, но твердо забрал книгу из моих рук.

– Роман я покажу вам издали, вы еще не до конца определились с его содержанием, мне дали его в гранках, так называемых "чистых листах".

На внешней странице я прочел крупными буквами: "Отбеливание льна". Роман–Преодоление...

– О, как заблестели ваши глаза! Да, честолюбие – это ваша главная страсть, после привязанности к женской красоте. Если бы я захотел купить вашу душу, я бы предложил вам не власть, не золото – как всем прочим, – я протянул бы вам эти два тома ваших будущих сочинений.

– Вы уверены, что мне удастся их написать? То есть, удастся ли мне написать эти книги на таком уровне, о котором мечтаю, который только в самых радужных снах достижим, который признаёт непревзойденным самый взыскательный читатель, например, вы, Монсеньер?

– Я на это надеюсь. В крайнем случае, мы вам поможем. Не то, чтобы мы вместо вас начали писать, нет... но мы будем способствовать созданию условий, поискам вдохновения...

"В тюрьме, в канаве, на эшафоте", – услышал я чей-то голос.

– Считайте, что вы *избраны*, что это ваш долг, ваша *миссия*.

– Но почему именно я? Чем отличаюсь я от других? Неважная память, недостаточное образование, не...

– Да, образование ваше посредственно, говоря мягко, но это не важно. Писать вы не умеете, вот что плохо... камни слов кладете не ровно, раствор проливаете мимо, мастерок выпадает из рук, потому что кладка набекрень, не понять, не то это стены дворца, не то – конюшни.

И всё-таки, кто же, если не вы?

Представьте себе ученого мужа в мантии или тоге, с гусиным пером в руках, в роскошном кабинете, у расписного камина – над образованием его и талантом трудились пятьдесят поколений: няньки, бонны, гувернантки, лучшие профессора Сорбонны и Оксфорда, музеи и библиотеки, театры и концертные залы, литературные салоны и научные конференции. Представьте себе ученого мужа, которого лелеяли и шлифовали, умащали благовониями, облекали в порфир и жемчуг – творения его будут словно башни из слоновой кости, украшенные

изумрудами и сапфирами, речь будет подобна пению соловья, мысль возвышена и желания безупречны. Что же вместит его книга, равной которой не будет на нашей грешной земле?

Вместит она *"звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас"*, – а вам суждено другое. Ваша книга должна соединить в целое слезы, пот и кровь, закон и беззаконие, запах навоза и душистых фиалок, надежду и отчаяние, крик начинающейся жизни и смрад тления, первый поцелуй и последний плевок в лицо – но прежде всего, ваша книга должна передать боль и отчаянье "униженных и оскорбленных", "отверженных", преданных, оболганных и неотомщенных. Тех, кто ожидал справедливости и не дождался ее до смертного часа. *Чьи кости уже давно истлели*, а души всё ещё ждут Страшного Суда в надежде найти справедливость и возмездие по заслугам хотя бы там.

Впрочем, я начал говорить патетически, что на меня мало похоже. Я чаще насмешлив, потому что слишком давно понял тщету надежд и упований.

Кстати, не хотите ли перекусить? Кофе, коньяк, какао? Или предпочитаете стакан самогонки, горбушку хлеба и малосольный огурчик?

– Если возможно, всё вместе! – с радостным чувством попросил я.

Монсеньер позвонил в серебряный колокольчик, вошло "лицо кавказской национальности" с подносом в руках, в пенсне и полувоенном френче... Смутно напомнил он мне отдаленное прошлое, но я его еще не узнавал.

– *Лаврентий!* – с кавказским акцентом произнес Хозяин. – Наш гость проголодался.

Слуга, – я уже вспомнил, кто это, – держа поднос одною рукой, другой приподнял кипящий кофейник и налил кофе. Вдруг поднос покачнулся, чашка поехала к краю, наклонилась, и горячий кофе пролился мне за воротник. Острая боль обожгла между лопатками, не раздумывая, схватил я хрустальный графин с водой и начал лить воду на обожженное место. Лаврентий поставил поднос на стол, отодвинулся от меня на полшага, я начал приподниматься, предчувствуя недоброе, и вдруг он ударил меня в грудь с такой силой, что сердце екнуло, и мое исхудавшее тело вылетело из кресла и ударилось об пол.

...Очнувшись, увидел я себя сидящим в кресле, на столе передо мною стоял стакан самогонки, краюшка хлеба и огурец на блюдечке, Монсеньер мелкими глотками пил кофе.

– Не сердитесь, господин сочинитель, я не ожидал, что он так гнусно с вами поступит. Но нет худа без добра, это происшествие мы можем рассматривать как некий частный довод в пользу неопределенности отношений, в которых сущее состоит с милосердием и благом. Но, может быть, вы не согласны данное происшествие рассматривать в качестве *умозаключения*? Ну, что ж, поясню свой мысль подробнее.

Рассмотрим *текст* вашего последнего сочинения. С формальной стороны это последовательность неких грамматических конструкций, каждая из которых состоит из одного или нескольких слов, располагающихся в определенном порядке. Но только ли грамматические конструкции в вашем сочинении являются его *текстом*? Если бы вы читали его вслух, то постарались бы оживить сказанное интонацией, жестами, смехом, вздохами и так далее – а разве подобные дополнительные приемы не являются своеобразной частью текста? Разве высказывание существует без интонации и жестов (впрочем, отсутствие их также может являться дополнением к высказыванию)?

В письменном сообщении также присутствует многое помимо набора слов: порядок их – правильный, законный, обычный или, напротив, неправильный; иллюстрации, пропуск некоторых слов, или целые предложения без слов, например:

« – Вам понравился Лаврентий?

– ?

– Он бывает и обаятельным. Сегодня на него что-то нашло...»

Знаки препинания, многоточия, восклицания, ударения над словами, различные способы выделения отдельных слов и предложений: *курсив, разрядка, кавычки*... и т. д. – разве не входят они в состав текста?

Но так же и в логике посылки и заключения не обязательно выражены только в словах. Очевиднее всего это раскрывается в судебном разбирательстве. Представим себе речь обвинителя – разве не прерывается она вопросами к свидетелям, их ответами, иногда криками и слезами, демонстрацией *улик*? Вы скоро убедитесь, что наш Лаврентий был одним из важнейших элементов в доказательстве центрального тезиса, лежащего в основании всего моего отношения к порядку вещей.

В чём основное убеждение благонамеренного человека, дающее ему силы жить, выстаивать в невзгодах и с достоинством переносить даже поражение?

Что Строитель Мира является источником всякого Блага, и потому по существу для Блага и Благим он создал Мир. Что у Бытия есть цель, которую является победа Добра над Злом, и торжество этой цели *гарантируется* Создателем.

Что человек вправе избрать или отвергнуть Духовное Возвышение своею целью, и пока его воля направлена на благое, он будет находиться под покровительством *Небесных сил* и никогда не будет ими оставлен, никогда не будет отдан на окончательное поругание *силам зла*. Произвол по отношению к человеку возможен, но он ограничен, и несправедливость так или иначе будет компенсирована Милосердием. Известная Ветхозаветная легенда о праведном Иове прекрасно иллюстрирует эту надежду благонамеренных людей.

Бог поспорил с Дьяволом, и подверг Иова жестоким испытаниям. Так мог поспорить Начальник Тюрьмы с Начальником Особого Отдела

(кстати, в нашей Тюрьме я являюсь Начальником Особого Отдела) по поводу какого-нибудь ничтожного заключенного.

По существу, Бог проиграл в этом споре, Иов не выдержал испытаний и возроптал на своего Господа, однако Бог его не оставил, и пришел на помощь Иову. Последнее обстоятельство наполняет человека надеждой, но сам спор, безжалостные испытания, да и вся ветхозаветная история, в которой жестокости, произвола и гнева, часто несоразмерного преступлениям и падениям человечества, слишком много, должны бы даже самого благонамеренного человека исполнить уныния.

Могла ли бы мать поспорить с соседкой о прочности сыновней любви, и для проверки ее сжечь у сына дом, извести его жену и детей, наслать на него чуму и проказу?

Мы бы ужаснулись такой матери, даже если бы она затем осыпала своего сына милостями.

А я задаю себе вопрос – так ли уж дорог был Иов своему Господину? Не мог ли Он им пренебречь, забыть про него, да и просто отдать другому Господину, проиграв в карты?

Когда царствуют Жестокость и Зло, мы живы надеждой, что их царствование не вечно, что в конечном счете для Праведной Души хотя бы на Страшном Суде Справедливость восторжествует, и надо только верить и претерпеть, оставаясь праведным, ибо *"претерпевый до конца спасен будет"*.

Именно в этом пункте наших рассуждений целесообразно спросить – в чем же смысл **Веры**?

Многие полагают, что *верить в Бога* – значит только принимать, *признавать факт Его Существования*, а не верить – значит полагать, что Мир существует без Бога. Но подобный взгляд на Веру слишком легкомыслен.

"Ты мне веришь?" – спрашивает муж у жены (или наоборот).

"Вы мне верите?" – спрашивает подозреваемый у следователя.

"Я всегда в тебя верил!" – говорит отец сыну, с честью вышедшему из тяжелых испытаний, и так говорят другу, пришедшему на помощь с риском для жизни.

Никто из них не сомневается в существовании того, кому или в кого они *верят*. И жена не сомневается, что ее муж существует воистину, а не только в воображении, но она может сомневаться в его *верности* ей, если она ему *не верит*.

Верен ли нам Бог? Относится ли Он к нам как к своим детям, или как к крепостным, которых можно проиграть в карты, или как к сорнякам и вредителям, которых надо выполоть со своего огорода, или как забаве, с которой можно забавляться, или как мелким пташкам, о которых можно забыть и не замечать?

Вера – это источник надежды, особое состояние, в котором человек *доверяет* своему Господину и не сомневается в Его силе и

добродетелях; вера неотрывна от убеждения, что в основании Мира – Благо, что Бог и есть основание Мира, и что Он – Благо.

Действия Зла не ослабляют эту веру, ибо Зло по природе своей противостоит Добру, – и к чему бы оно еще и было способно?

Но если Зло Борется, то оно обладает Волей. А, следовательно, и Разумом, так как бессознательная воля не существует.

В тупик меня ставит только бессмысленная жестокость.

Прохожий сломал цветок и отбросил, даже не взглянув, так, походя; толкнул калеку, пырнул ножом случайного встречного и тут же забыл про него...

Поспоров об Иове, дьявол и Бог были к нему не безучастны. Но что, если человек забыт? Если бедствия его случайны и бесцельны, и не существует Причины, по которой они когда-нибудь прекратятся...

Господин Сочинитель, чего вы жаждете больше всего? Славы? Власти? Богатства? Жаждете ли вы стать Поэтом, Пророком, спасти свой народ?

Вы еще не забыли, какой ужас пережили третьего дня?

Я не только не был причиной происшедшего, но, напротив, именно я вас спас. Дело в том, что в то злополучное утро не было на месте обоих Сопредседателей Верховного Суда, и некие выскочки решили покончить с вашим делом как с Гордиевым узлом – разрубить! Была бы их воля, они бы вас в расход пустили, но учинили, пожалуй, еще хуже – воспользовавшись формальным поводом, тем, что сознание ваше спутано, что вы словно бы в небытии (или в *инобытии*), они решили с помощью новейших медицинских приемов "прояснить" ваше сознание, одновременно его упростили.

Правда, после этого вы не смогли бы беседовать с "высшими" силами, не смогли бы писать стихи и философские этюды, зато уже не представляли бы опасности для тоталитарного государства.

– Он не сможет творчески мыслить! – пытался отстоять вас Индиан Поликарпович (он был единственный из наших на заседании коллегии), но тон задавали члены общества "*Психология для народа*", они заявили – "народу не нужно, чтобы он *мыслил*, ибо он – *инакомыслящий*! Мы – гуманисты, мы не подвергаем его *экстрадиции*, экстрадиции подвергнется только его большое антинародное сознание, а он вернется в славные ряды строителей справедливого общества и снова станет *все как один*... точнее, *один как все!*"

Хорошо, что Индиан сумел меня предупредить, я примчался в последний момент, когда уже к столу прикрепили ваше тело, и губку, смоченную уксусом, вложили в рот, чтобы не прикусили вы язык – но зато уж прикусили бы вы его навеки, если бы казнь удалась!... Уже электроды прикрепили к вашим запястьям, и провода побежали к рубильнику, оставалось только его включить, то есть в душу вбить гвозди!

Вы помните?.. Вы всё, конечно, помните...

– Могу ли я забыть? Нет, эти минуты мне забыть не удастся..

– И на что вы надеялись? Наверное, зывали к Всевышнему?

– *Безнадежность постель мою греет... О, как холодно с нею лежать!* – такие беспомощные стихи писал я накануне... Я надеялся только на то, что мне удастся задержать дыхание до тех пор, пока не остановится сердце.

– Собирались покончить жизнь самоубийством?

– Я предпочитаю смерть бесчестью, а вторжение в душу, попытка лишить меня моего *я*, превратить в одну из одинаковых овец всеобщего покорного стада – была бы самым страшным бесчестием, которому может подвергнуться человек.

– А вы помнили, что самоубийство – тяжкий грех, что самоубийцы после смерти попадают в ад, их даже хоронят за кладбищенской оградой!?

– Я, по-видимому, неисправимый оптимист. Если здесь, в этой жизни, существует способ прекратить невыносимые страдания, или забыть предательство, или избежать бесчестия – а к этому способу прибегают, как правило, самые ранимые души, – то я надеялся, что когда нас будут мучить *там* за нашу *здесьнюю* непокорность, то и в той жизни будет возможно от нее отказаться, перейдя в **небытие**.

Да, пусть покорные стремятся заслужить рай, пусть наслаждаются райским пением, отрекаясь от свободы, я не умоляю о блаженстве, я не прошу о чередо воспитательных реинкарнаций!

Я ведь никого не обижал, не причинял страданий, даже мое инакомыслие было робким, осмеливался порицать власть я только в узком кругу друзей.

Случайно о моем инакомыслии стало известно, и почему-то это *инакомыслие на коленях* показалось таким вызывающим и дерзким, что велено было меня изловить, заточить, запечатать уста, даже стереть тайные письма и душу превратить в чистый лист бумаги.

Поверьте, никогда и никого не стремился я обидеть, так почему бы не оставить и меня в покое, отбросить в сторону, как гончар отбрасывает неудачный ком глины, и пусть я просто – **не буду!**?

Рая я не заслуживаю, я согласен. Но и муки адские насыпать на меня не за что!

– О, как жаждете вы самоутверждения! Как дорожите своею духовной свободой! Как лелеете *неповторимость своего Я!* – засмеялся Монсеньер. – Вам повезло, что я успел остановить казнь, и дрожащего, мокрого от страха, отвели вас в тюремную палату.

– Но ведь это было не три дня назад, а без малого тридцать лет! – вскричал я. – Инсценировка (или попытка?) "казни" случилась в марте 71 года, а книга, которую, если верить вашим словам, должен я вот-вот написать, выйдет в двух тысяча... *втором*??.. году?!

Или время повторяется, и я снова нахожусь на *Арсенальной*? Или в *Большом Доме*?... Или... Где же я нахожусь?

– Со временем вы всё узнаете. Даже больше того, на что рассчитываете. А пока я хочу предложить вам сыграть в карты. Это будет необычная игра и необычная колода. Вы ее сами будете тасовать, я даже не дотронусь до нее. Достоинство каждой карты, кроме одной, вы можете изменить. Выигрышные карты следующие: Слава. Власть. Богатство. Женская любовь. Гениальность. Спасение своего народа и страны. Проигрыш один – потеря себя, своей индивидуальности, – словом, повторение опыта, который намеревались с вами проделать славные охранники "самого справедливого в мире строя", а по существу, ваш народ, ибо он этот строй в то время поддерживал и карал инакомыслящих вроде вас. Вероятность вытащить ту или иную карту одинакова, и я обещаю предоставить вам то, что предложит слепой случай. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что я в силах предложить вам и земную власть, и славу, и богатство, и женское внимание?

Сложнее с гениальностью – но да поскольку кое-какие способности у вас имеются, я помогу вам их развить. Еще сложнее со спасением вашего народа, уж слишком он погряз в лени, пьянстве, невежестве, безразличии и тупости. Но если с его спасением выйдет заминка, я наделю вас достаточной властью и будете его спасать собственными усилиями.

При этом я ничего не требую взамен. Повезет – приобретаете все и не платите ничего, не повезет – остаетесь жить, но теряете свою неповторимость – навсегда.

– Значит, господин Монсеньер, вы меня знаете не так хорошо, как мне показалось. Я не могу поставить на кон в карточной игре свою душу. Я предпочту быть пастухом, бродягой, заключенным – но только самим собой!

– Ах, как дорожите вы своим "я"! Так христианин ли вы, мой дорогой? Ведь быть христианином, значит любить Бога прежде, а человека потом. Это значит не только не бояться потерять свою душу и лишиться своей неповторимости, но даже стремиться не к самоутверждению, но к растворению в Боге, ибо только *"тот, кто потеряет душу свою для меня, спасет ее"*.

Нравится вам такое христианство?

– Нет, не нравится.

– Ну-с, так в этом суть и моих разногласий с Всевышним. Разве я посягаю на Его власть? Разве я стремлюсь к большей власти, чем обладаю? Разве борюсь я за влияние и разве жажду людской любви? Нет, я взываю лишь к разуму, мне важно, чтобы меня понимали, чтобы соглашались или возражали ходу моих мыслей. Разве нуждаюсь я в любви или вере? Никто не сомневается в моем существовании. Никто меня и не любит. Нужна ли мне и ваша любовь? Нет, наоборот, это вы нуждаетесь в моей благосклонности. Единственное, что я защищаю от посягательств, это свою свободу и свою индивидуальность. Всё и вся славит Бога, и я – не исключение, я тоже был готов Его славить! Но Ему

необходимо, чтобы всё и вся стремились в Нем раствориться, а я хочу остаться самим собою. Признай Он *право личности на самоопределение* – и я первый протяну Ему руку!

Теперь вы догадываетесь, почему я оценил ваши сочинения, почему готов способствовать тому, чтобы эти книги вам удалось написать, и они вышли в свет? Я вижу в вас родственную душу, мне нравится ход ваших мыслей.

Главная ценность для вас, как и для меня – Духовная Свобода. Вот в чем мы похожи.

Правда, похожи мы и во многом другом – оба честолюбивы; нуждаемся в богатстве и власти, но не претендуем быть самодержцами, как Верховный Главнокомандующий; оба ценим ум и свысока относимся к окружающим; оба любим женщин, только вам, кажется, не слишком везет, а мне иногда надоедает их чрезмерное внимание... но да если и в самом деле они в большинстве своем ведьмы, то естественно, что мне везет больше, чем вам.

Так что не только по долгу службы захотел я встретиться с вами. Я рад, что встреча меня не разочаровала. Но – нам предстоит поговорить еще о многом.

– Монсеньер! Прежде чем продолжить нашу беседу, я хочу сделать небольшое замечание.

– Пожалуйста, я вас внимательно слушаю.

– Вы перечислили некоторые стороны наших натур, которые у нас сходны, но это не моя только особенность, сходство у вас должно быть с каждым человеком на земле, даже святым, иначе не был бы возможен диалог. Но есть многое, что нас разделяет. Прежде всего, я не переношу жестокости, я не смог бы пытать и мучить даже самого ужасного злодея и не наслаждался бы...

– Мой дорогой, и вы судите предвзято, и вы в плену суеверий! Да с чего вы взяли, что я могу пытать и мучить? И с чего вы взяли, что за плохое в людях несу ответственность именно я, а не они сами? Словно человек – это грядка под солнцем, и вот Господь Бог, *Начальник Добродетели*, сеет на этих грядках злаки, а я, *Начальник Искушения*, сею на них сорняки. Я – и *существо* и *сущность*, я почти во всем подобен человеку, и никого не сбиваю с пути истинного и никому не делаю зла – да если бы даже и старался совращать слабых, сколько бы я успел? Не более, чем вы успели наставить на путь добродетели.

Как ноуменальное, я – только *способность*, и то, что является мною, может присутствовать или не присутствовать в людях, но не я за это ответствен.

Попробую объяснить при помощи простой аналогии. Является ли белладонна злом? Очевидно, да, поскольку некоторые злоумышленники отравили ею своих мужей. Допустим, одну из них схватили и привели на Страшный Суд, и вот она требует судить не ее одну, а и "истинную" виновницу злодеяния, то есть белладонну, ибо именно она вызвала

смерть ее мужа, и соблазнила отравительницу. Но действительно ли будут обвинять белладонну, а не ту, которая налила ее своему мужу в вечерний чай?

Является ли и вино злом? Если судить по тем мириадам пьяниц, которые валяются у заборов, то ответ кажется очевидным. Но, может быть, в защиту вина выскажутся те, которые не валяются?

Итак, если ноуменальное во мне уподобить яду и вину, каждый человек волен в их употреблении, и ни вино и ни яд не нашептывают ему на ухо, что нужно отравить соседа или напиться, как свинья. Даже если все то, что я олицетворяю, и на самом деле не нужно в мире, как кажется не нужны пустыни, болота и буераки, человек по собственной воле превращает землю в цветущий сад или в безжизненную пустыню.

Так почему же на меня возлагается вина за всё то злое, что творится в мире?

Если справедливо, как сказал Протагор, что *«человек – мера всех вещей»*, то так же справедливо, что он и причина всего того, что с ним происходит, и доброго, и злого. Но когда хватают за руку за злое, всяк начинает извиваться, и одни винят собутыльников, другие женщин, третьи, не чуждые теологических замашек, в своих преступлениях винят меня.

Но как не виноваты женщины, что ради них мы пускаемся во все тяжкие, так и я не виноват в том, что ростовщик ссужает под проценты, вор ворует, а лицемерный проповедник живет вопреки своим проповедям.

Но, может быть, было бы лучше, если бы все таки женщины не существовали? И так же не следовало ли бы изъять из мира вино, земное притяжение, трение, тление, зимний холод и летний жар?

Все наши беды начались с Евы! – думают многие. – А разве не Дьявол ее совратил?

Да, я. И за это человечество должно быть мне благодарно. Или вы хотите вернуться в Эдем и забыть то сладкое волнение, которое вызывает в нас женщина? Или какая либо женщина не хочет, чтобы на нее бросали *нескромные взоры*?!

Нет, мой дорогой, Эдем никому не нужен ... кроме тех, кому уже ничего не нужно...

Но вернемся к жестокости... Жестока ли овчарка, возвращающая отбившуюся овцу в стадо? Жесток ли хирург, кромсающий ваше тело? Жесток ли учитель, мучающий упражнениями? Жесток ли унтер-офицер, гоняющий солдат по плацу, чтобы они могли соревноваться в выносливости с неприятелем? Жестока ли мать, воспитывающая свое дитя и отнимающая грудь, когда дитя взрослеет?

Я – Необходимое Зло. А необходимое зло – это Благо.

Если бы меня не было, воцарился бы хаос, мародеры и стервятники царствовали на полях всех сражений, и горе было бы не только побежденным, но и победителям.

Предпочли бы вы, чтобы я пожалел убийц Поэта? А гуманисты проливают слезы, трубят на перекрестках, что я слишком жесток. Что же сделал самый великий Гуманист, чтобы создатель великой Поэмы остался жив?

Я ли виновен в его гибели? Я ли направлял руку убийцы? А не утверждают ли и до сих пор благонамеренные последователи самого Благонамеренного, что поэт получил заслуженное, что он – мой друг? Так кто же виноват в его смерти?

Да, впрочем, бесполезно оправдываться, никого не убедишь, все в плену предвзятых мнений, даже вы. Одиночество – мой удел.

Дух отрицанья, дух сомненья... Да! Да! Легче было бы не сомневаться, принять без рассуждений какую-нибудь мелкую истину, и в ней найти блаженство!.. Ходить на рыбалку, писать стихи о поцелуях под луною, выпивать с друзьями... Вот вам хорошо, у вас есть друзья... А у меня?

А я ведь совсем не таков, как меня представляет большинство.

Да, я не оттаиваю сердца, не утешаю вдов и сирот. Я суров, я тверд, я воин, ученый, исследователь и дознаватель, строитель казарм и дорог, строитель и тюрем, да, а без них разбойники бы владели вашим имуществом; я полицейский и судья, обвинитель бесчинств и беспорядков, смотритель Всемирной тюрьмы, карающая десница, удерживающая в повиновении все то, что стремится к распадению связей!

Да, не оттаиваю я сердца и не утешаю, но – верен и предан своим друзьям и редко меняю привязанности. И не одна только служба заполняет мою жизнь, есть в ней и авантюры, и приключения, немало времени отдаю я театру, с наслаждением слушаю музыку, долгими зимними вечерами сижу у камина с хорошей книгой в руках.

При этом я страшно одинок, и дело не только в недостатке приязни и тепла, одинок я *метафизически*! Никто не дерзает и никто не хочет ни понять меня, ни мне посочувствовать, пошлое и унижительное представление о моей работе по поддержанию порядка как о ненужной и даже вредной сушит мне сердце.

Я вам уже сказал, что меня смешивают с тупой и темной силой, *снижающей* все, к чему ни прикоснется, с силой, которая низводит ум до пошлой середины, или еще ниже, нивелирует все выделяющееся, яркое делает бесцветным, сильные чувства, ярость и страсть утишает, горячее или холодное утепляет, гордое и дерзкое усмиряет, ненавидящее заливают елеем, воспаряющую честолюбивую мечту приземляет, бьет из-за угла и исподтишка, битве предпочитает навет, оболыщению подкуп, власти – подчинение. Впрочем, в своих крайних формах эта сила еще хуже, ее символы – шакал и мародер, ее занятие – грубое удовольствие, ее цель – не возвышение себя, но унижение другого. Сущность этой силы – энтропия, остановка движения.

Гениальность, красота, подвиг – враждебны ей. Быть может, только русские писатели, в особенности, Достоевский, догадывались, что Зло и *серая Пошлость* – антиподы.

Ты меня смог бы понять скорее всякого. Разумеется, я не гуманист, я сторонник жестких мер, и силе противопоставляю силу, насилию – насилию! Сопротивление всякой неправде, лжи и клевете, беспощадность к грязи и плесени – таков мой характер.

Вот почему наш *Особый Отдел* так ненавидят в Управлении, мелкие чиновники из Подотдела Апелляций и Помилований с утра строчат на меня доносы Главному Гуманисту, Сопредседателю коллегии Верховного суда и Генеральному конструктору, – впрочем, все эти три должности сосредоточены в одних руках. Нас постоянно stalkивают, ссорят, мой отдел пытаются расформировать, закрыть, кричат, что я олицетворяю собою Зло и насилие, когда, напротив, именно я – залог здоровья и порядка в нашем непростом учреждении, ибо я – не зло и насилие сами по себе, но – *сопротивление злу насилием и искоренение насилия посредством зла*.

Влажное дыхание болота, ряска на глади пруда, ползучая плесень на стволе дерева, тусклые огоньки гнилушек, запах прелых октябрьских листьев – мне чужды. Я – январский мороз, яростный шторм на море, северное сияние, февральская вьюга, ослепительная белизна снега на вершинах гор, каменные россыпи, блеск халцедона и смарагда, упоение в бою и восторг первооткрывателя!

Мятеж, набег, заговор и переворот, убийство из ревности, убийство на дуэли, карточная игра, самоубийство, обольщение, супружеская неверность, честолюбие, высокомерие, стремление к славе, власти, богатству – вот моя стихия, вот берега, в которых шумит и пенится поток моих страстей, а пуще всего увлечение *слабым полом* – но убийство из-за угла, низкая зависть, клевета, донос, интриги, ложь властей и мелкая месть, – прости, мой друг, но это по другому ведомству, это неизмеримо ниже меня, это тот, *он*, с оттопыренными ушами и мокрым носом, отвергнутый женщинами, обиженный умом и талантом, мелкий пакостник, источивший мир своими муравьиными ходами зависти.

Если говорить о насилии, то государственная жестокость, имеющая целью процветание государства, опирается на меня – так, я поддерживал Петра Великого, Франко и Пиночета, Цезаря и Муссолини. Но вожди большевизма, Мао и маоисты – это все клеветы *его*, прыщавого сквернословия. Он – опора жуликов и воров, блатных авторитетов, казнокрадов и клятвопреступников (включая вчерашних пламенных революционеров и нынешних "демократов").

– Однако, отсутствие милосердия, холодность и жестокость, неспособность к состраданию – отделяют вас от меня непреходимой пропастью, господин Монсеньер! – попытался я прервать его красноречие. – Вы не содрогаетесь, когда причиняете боль живому.

– Не так ли как *нож хирурга, состраданью чуждый?* – цитирую ваши строки, господин сочинитель. Не всякая боль – зло! Я не причиняю боли ради нее самой, а только для исправления и возвышения мира. Я – *необходимое Зло*, а значит я – Благо!

Но ты все-таки думаешь, что я в мучительстве нахожу наслаждение...

Ошибаешься, мой друг, не я создатель возмездия и ада, не я сконструировал преисподнюю и кипящие котлы со смолою и серой, и раскаленные сковородки, не я и **Вечность** стенаний и скрежета зубовного выдумал и претворил почти в церковный быт, но ваши гуманнейшие учителя и защитники бесконечного Блага.

Они, поющие осанну Милосерднейшему из всех, верят в вечные мучения. "Страх Божий" – чуть ли не главная религиозная идея в христианстве.

Я тебя утешу. Того ада, о котором с умилением разглагольствуют миллионы христиан в мире, нет и никогда не было. Даже я не так жесток. Слишком больно, когда босые ноги ступают по раскаленным углям. Но они не могут ступать вечно. Нет такого зла, за которое надо мучить миллионы лет!

– Но способны ли вы любить?

– Но если я – страсть, то разве не свойствен мне *восторг восхищения*?! А это ли не любовь?

Враги мои стремятся меня опорочить, *самоутверждение* называют *гордыней*, независимость – самомнением, твердость – жестокостью...

Я внес в эту жизнь интригу, столкновение интересов, противоборство мнений, придал ей напряженность и силу, создал течение времени; истину, пребывающую неподвижно, превратил в Историю.

Пусть, пусть обольстил я женщину, Праматерь человечества, но разве я погубил ее или оставил улиткой, безмятежно ползущей у подножия цветущего Древа жизни? Я возбудил в ней *любопытство*, желание *узнать* и *понять*. Науки, размышление и исследование, ставшие сердцевиной Духа – плоды от посеянных мною семян. Я открыл значенье стыда и не только внес в мир Тайну, понятие о *сокровенном*, но и саму идею *Откровения*!

Но сколько и других непредвидимых, не философских последствий имеют чувство стыда и ощущение тайны, запретного! – первое движение, которым Ева сорвала листок, чтобы прикрыть свою наготу, породил и наряды и моды, искусство одеваться и трепет обнажения.

Утеряв Эдем, этот вечно теплый и цветущий сад, человек приобрел целый мир, обрел тяжесть и сладость труда, построил жилища и украсил их, и зодчество сделало человека равным Великому Творцу мироздания.

Утеряв невинность и блаженство детства, человек познал нечто большее, он разделил мир на доброе и злое и отныне вечно стремится к благу; отпав от своего Небесного Отца, узнал грех и раскаяние, вообразил идеал и наполнил жизнь стремлением к счастью и истине; вкусив запретного плода, испытал *наслаждение*; устыдясь падения,

приобрел раскаяние и саму идею нравственного, тот "нравственный закон внутри нас", которым так гордится падшее человечество, думая, что оно падшее, когда благодаря мне оно так возвысилось!

Я разделил мир, но я разделил и человечество, и создал в нем мужчину и женщину, а в особенности женщину, этот заменивший творца источник жизни и наслаждения – вот почему творец так ревнив и сердит на меня, и так неистовствуют скопцы и жаждущие. Я сделал женщину фокусом и средоточием стремлений – осмелится ли кто сказать, что средоточие это не прекрасно?!

Ты спрашиваешь, способен ли я к любви? Да что бы ты сам, человек, узнал о любви, если бы манящее, искушающее, трепетное, сладкое и терпкое вместе не пропитало наш пресный мир?!

Если бы я создал только *желание*, история была бы полноводной рекой, ровно текущей в безбрежный океан; но я создал *стыд* и *нежелание*, и река обрела пороги и водовороты, заводи и стремнины – всё то бесконечное разнообразие, которое делает мир таким красочным.

Интрига созидаёт сюжет и превращает жизнь в увлекательный роман! Каждую жизнь, даже самого пошлого человека, делает непредсказуемой.

Вы ведь не хотите отказаться от Шекспира и Данте, Гете и Достоевского? Но тогда вам придется принять и Яго и Отелло, Леди Макбет и Раскольникова, и даже Мефистофеля!

Но это не все, мой друг, что принес я в мир, по существу довершив его! Если Бог – это любовь, то я – ненависть, если Бог – прощение, то я – воздаяние и возмездие!

Но если Бог – надежда, то я – отчаянье!

Способен ли ты, певец милосердия, пожалеть и меня? Способен ли ты понять моё одиночество?

Я не только *«дух отрицанья, дух сомненья»*, но я еще и *дух страдания! Иго мое тяжко и время мое нелегко.*

Страдающий брат мой, стоящий на границе бытия и небытия и плачущий от невыносимой боли, когда небытие только прикасается к тебе! – можешь ли ты понять мою боль, *вмещающую* Небытие?

Ты еще можешь вернуться в детство, припасть к истокам, уткнуться в милосердные колени, признать поражение и отказаться от претензий на гениальность; ты еще можешь сжечь свои слабые и бесцветные письмены, замкнуть непророческие уста, пойти в грузчики или школьные учителя, отказаться от надежды учить свой народ, и школьникам разжевывать проверенные истины. Но могу ли Я признать свое поражение и отречься от того, чтобы быть Единственным, и иметь свое собственное Достояние?

– Но ведь сказано: *"Должно прийти искушениям в мир, но горе тем, через кого они приходят!"*

– А разве они приходят через меня? Я – метафизическое начало, та сила всемирного тяготения, которая позволяет телам падать и сталкиваться, но и удерживает в соединении.

Эта ли сила виновата в том, что падает и разбивается хрустальная чаша, падают нравы и разбиваются сердца?

Каждый должен отвечать за себя, я только сообщил миру движение, дал импульс истории, энергию – воле, цель – желанию.

Прометей ли, подаривший человечеству огонь, виновен в поджогах Парфенона и Рейхстага?

Гефест ли, научивший ковать железо, виновен в том, что человек выковал меч?

А разве благое не приносило подчас больше злого, чем само злое? Золото, помогавшее торговле, сеяло зависть и рознь. На жертвенный алтарь понесли человеческие жертвы. Парус, увеличивающий силу мореплавателя, приблизил Новый Континент и сделал его добычей завоевателей.

Даже поклонение Творцу стало причиной религиозных войн и инквизиции, гонений на инакомыслящих и инаковерующих. Я ли вдохновлял ваших неистовых Никона и Аввакума, Савонаролу и Игнатия Лойолу, я ли сжег Жанну Д'Арк, я ли посылал детей в Крестовый поход, я ли в порыве религиозного энтузиазма десять веков подряд уничтожал наследие античной культуры, младенцев избивал в Варфоломеевскую ночь, сжигал еретиков, иссушал источники плодородия, заточая девиц в монастырях, бичевал плоть, преследовал ученых, ищущих лекарство от чумы?

Да все плоды культуры и цивилизации получены в упорной борьбе человеческого Я с религиозным обскурантизмом!

Да и я ли, в конце концов, распял Сына Божия, а не святейший Синедрион, хранитель заветов отцов, Моисеевой скрижали и Книги Книг, оставшейся главной книгой и последователей *распятого Бога*?!

И требовал ли я человеческих жертв?

Я воевал с серостью и пошлостью, был жесток в преследовании мелкого, раблепного, пресмыкающегося – но я же учил человека любить и наслаждаться! Не только любить тишину и покой внутри кладбищенской ограды и стен монастыря, за пределами земного бытия – но любить страстно женщину, честь, славу, вдохновение, риск и взлет!

Любить бурю и натиск, достижение, выигрыш и победу! Только я учил подлинной любви. Я не цедил сквозь зубы, что если не можешь воздержаться, то возьми женщину в жены, но будь бесстрастен, ибо страсть – это грех, люби женщину прежде как сестру и только потом как родник вожделения, но лучше, чтобы родник этот еле пробивался, а скорее бы и совсем зачах!

Нет, я учил любить так, как любили Тристан и Изольда, как буря любит океанский берег, и шквальный дождь – тоскующую землю!

– Вы красноречивы, Монсеньор, но всё противоречиво в ваших словах. Ваша любовь – только обладание и сладость, но нет в ней жертвы.

– А Священное Писание не противоречиво?

Да ты и сам знаешь не хуже меня, что несовместимо с жизнью почти всё, чему учил Сын Божий. Да и жертву Он требовал только для Бога, но никогда не говорил, что надо жить во имя человека, что надо приносить жертву, чтобы сделать счастливым того, кого любишь.

Впрочем, не будем спорить, я приглашаю вас на прогулку по ночному городу, и там распахну крышу мира, и то, о чем говорю в бесцветных словах, покажу в красках и образах.

– В качестве кого я буду Вас сопровождать?

– Как мой гость, компаньон и товарищ...

– А "*Лаврэнтий*" не будет обливать меня кофеем и вышибалы в трактире *вышибать* за дверь?

– Вы мне по-прежнему не верите! А мне показалось, что лед отчуждения между нами уже растаял. Не беспокойтесь, я гарантирую вашу безопасность...

– Даже от вашей собственной персоны? Да, я не верю тому, что ваши цели приемлемы для меня, не доверяю и средствам, к которым вы способны прибегать для иллюстрации своих мыслей. Даже когда наши рассуждения сходны, чувствуем мы различно, у нас различны метафизические природы.

Я – буду *сочувствовать* тому, кого приглашу в компанию или в гости, возложу на себя ответственность за него, и это сочувствие и ответственность я и называю *религиозным* отношением к миру. Таким образом, человек возлагает на себя некие обязательства – перед семьей, друзьями, собственным народом, культурой, природой, человечеством, они в нем существуют органически, как существует в человеке Совесть, и являются всем – судьбой, целью жизни, даже судьбой мира, и эти обязательства – *Прежде всего!*

Бог – основа моей совести и моих обязательств. Он их делает истинными, как логика и математика делают истинной теорему Пифагора.

– А вы уверены в Боге, существование которого утверждаете?

– *Вера в Бога – это требование и заклинание – Хочу, Господи, чтобы Ты был, Верую, Господи, что Ты есть Любовь, Милосердие, Справедливость и Добро!*

Самое первое слово в этой страстной исповеди жаждущей души – "*хочу*" – означает: "я нуждаюсь в Боге и мне без Него плохо, мир и моя жизнь без Бога – неполноценны".

Вот эти **нуждающиеся** и суть верующие.

Другие же не ощущают неполноты и ущербности Бытия без Бога, и потому не важно, думают ли они, что Он все-таки есть или нет, – они – неверующие.

"Нуждаюсь в Боге! – кричит измученный человек. – Но нуждаюсь в *достойном* Боге!"

Впрочем, в этом пункте мы сталкиваемся с одним фактом, который перечеркивает все то, что я сказал, и разрушает стройную логику моей

концепции религиозности и человеческих взаимоотношений с *Творцом* *всёя сущего*.

Дело в том, что большинство так называемых «верующих» ни в каком Боге не нуждаются, души их *не жаждут*, а если и *жаждут*, то ищут и находят вовсе не Бога Добра и Справедливости, а... черт его знает какого Бога! Скорее такого, который помогает им оставаться такими же скверными, а не становиться лучше.

Ханжам – оставаться ханжами.

Лицемерам – лицемерами.

И если и есть у них жажда Бога, то она мало похожа на нашу, так же мало, как у двух жаждущих женщину, когда один из них жаждет женской любви, другой – обладания телом.

Так какого Бога жаждут те, которые воюют против человека, против его индивидуальности, его самобытности, независимости, самостоятельности, свободы?

Они жаждут истребить в себе свое, отречься от своей воли, своих желаний, своих привязанностей, мыслей, наслаждений, талантов; они жаждут **перестать быть!** Исчезнуть. Слиться с Всеобщим, отрекаясь от единичного!

Почему воюют они против семьи? Чтобы перестать *быть* окончательно. Чтобы не только *своё* Я пропало, но и побегов от этого дерева не осталось, чтобы *род* не продолжился, исчезнуть не только самому, но и вместе с родом! Чего же они жаждут, жаждущие *Абсолюта*?

Неужели Господь так жаждет их абсолютного рабства?

Но Богу ли нужно, чтобы у человека были обязательства перед Ним *вместо* и за счет его ответственности перед Родиной, близкими, природой и культурой?! Мы связаны с Ним опосредованно, Бог существует в наших размышлениях, творчестве, в совести, в нашей жизни, и когда мы живем только для себя, пренебрегая теми, с кем связаны, мы ничего не делаем для Бога, а когда украшаем землю, на которой живем, делаем Ему приятного больше, нежели когда Его славословим.

Более того, Богу так дорога наша свобода, честь, творчество, наша любовь к близким, что Он уступает Меру вещей в пользу нашей Совести, традиций и блага нашего народа, как отец уступает своему сыну и говорит – отныне, заботясь о своих детях, ты уже заботишься обо мне. Правда, в старости отец нуждается в заботе, но Бог не знает старости.

Совесьть – основа доверия. Есть ли у вас совесьть, Монсьеньер? И она ли – главный источник ваших поступков?

– Но вы не будете отрицать, что гордость и честь обязаны своим существованием прежде всего мне?

Ну так вот, даю Вам *слово чести*, что буду заботиться и охранять Вас во время прогулки. Ну, как, по рукам?

Монсьеньор сжал мою руку, и я на некоторое время впал в легкую дремоту.

Глава вторая

НОЧНЫЕ БЛУЖДЕНИЯ

1.

Очнулся я у Литейного моста. Бесвязная череда видений теснилась в мозгу, но я не мог связать их в целое.

На Шпалерной горел костер, вокруг него словно приплясывали несколько человек.

– Иди, погрейся! – окликнул кто-то меня.

Я подошел и протянул руки к огню. Мысли и чувства мои витали далеко, и даже озноб колотил меня как будто отдельно от меня самого.

– Подбрось-ка еще, эти уже прогорели! – приказал старший, и послушный мальчик притащил от груды невдалеке несколько потрепанных пачек книг и бросил в огонь. Пламя весело взметнулось вверх.

– А что это вы жжете? – только теперь обратил я внимание.

– Не видишь, что ль? Книжки, – угрюмо ответил высокий, мрачно наблюдающий за происходящим.

Я подошел к груды и вытащил одну из них. Это были мои сочинения, но та книга, что держал я в руках, еще не была написана, я только недавно видел ее сигнальный экземпляр в руках Монсеньора – или уже прошли годы после нашей встречи?

"Наверное, провал в памяти" – подумал я, но какой нынче год, побоялся спросить. А я ведь не знаю и многого другого, и кто нынче правит, и каково настроение власти, да и не разыскивают ли уже меня, чтобы уничтожить, если даже еще ненаписанные книги сжигают?"

– А за что вы их – случайно, или кто повелел? Вредная книжка, что ль?

– Да нет в ней ничего, ни вреда, ни пользы, так, белиберда всякая. А на днях указ вышел: произвести инвентаризацию духовных ценностей, и полезное – в один разряд, вредное – по другому ведомству, а белиберду – уничтожить, как балласт, как эту, как ее... *энтропию*. Не имеющую проблесков ума и таланта.

– Да кто решал-то?

– Народ! Всеобщим голосованием. Большинство, конечно, этих книг не читало, но все – *вместе с народом*.

А сам-то ты как думаешь, есть там *проблески*?

"Что же ответить?" – вспотев, думал я. – "Ведь и в самом деле, может быть, там нет ничего, и прав был Монсеньор, советующий их сжечь, и вот они горят – хотя и не сам я сжигаю".

– Я не знаю. Может быть, есть... Но, может быть, и в самом деле одна белиберда... даже хуже – *энтропия*..

А что, разве никто из читавших другого ничего не нашел в этих книгах?

– Никто не дочитал до конца. Скучно. Одни рассуждения. Нет движения, нет тайны и разрешения ее.

"Жизнь – распутывание клубка." – подумал я. "Сначала, в Акте Творения, Прядильщик пряд ровную крепкую нить и сматывал ее в ровный клубок, но явилась некая злая сила и запутала, растрепала нить клубка так, что теперь поколение за поколением пытаются ее распутать, и в этом находят причину и цель своей жизни.

А может быть, это просто малое дитя, играя, размотало клубок и запутало, и ничьей вины нет в начале начал?

Нет, это было бы еще горше, должен злой умысел являться причиной порчи мира, источником противоречий, столкновения интересов, тайн и интриг.

Мы словно разгадываем ребус, и любопытство движет исследователем, пытающимся разгадать тайну, скрытую в Природе Вещей. Страсть и желание разрушают равновесие и гармонию, вносят движение в мир, и даже у преступления рождаются не только безобразные плоды. Да, и судебный процесс, и пылкие речи судебных ораторов, и детектив как литературный жанр, да и все литературные потоки происходят из одного родника, из того, что "*всё, не так, как надо!*". Яго завидует, Леди Макбет жаждет власти, "*она не любит*", он любит другую, а "злой чечен" точит кинжал, быть может, от нежеланья работать.

Площадь – или Боль. Счастье – невозможно. Творец оплакивает страдания своих детей, но Он не может отменить их, ибо только трагедия возвышает, а удача, удовольствия, успех – приводят к самодовольной низости.

И вот – войны, революции, дворцовые перевороты, насилие и грабежи, – и вместе с ними литература, пытающаяся исправить безумную жизнь.

Мои сочинения не оживляют частные интриги, потому что в основе их – *интрига интриг* – попытка разгадать причину и замысел мироздания, понять коллизию, разделяющую Бога и Дьявола, Творца и Его творение, понять причину и собственной неудачи как следствие ли моих ошибок, или как «трагическую иронию моей судьбы».

Поэтому-то мои книги словно бы ни о чем, у них нет *героев и происшествий*, потому что единственные герои их почти абстрактны – во-первых, народ, *происшествиями* которого занимаются историки, властители и заговорщики; Бог, к которому я безуспешно взываю; женщина, которую пытаюсь слепить я в водопад из бесконечных капел и брызг; и Дьявол, в сущности которого пытаюсь я разобраться...

Завязка – запавшая когда-то в душу еще шестилетнего ребенка уверенность в своем высоком призвании; интрига – отсутствие таланта; тайна – судьба и замысел Господний (а есть ли еще этот замысел, Бог вещь); развязка –...

– Что же мне делать? – горестно я воскликнул. – Может быть, я еще исправлюсь? Не дадите ли мне прочитать эту книгу?

– А больше уже ничего нет, все сожгли!

Я выхватил из догорающего огня последний обугленный томик. "По крайней мере, если решусь, то сожгу его сам. Я брошу к ногам победителей последнее обгоревшее знамя, как последнюю надежду. "Больше у меня ничего уже нет! – скажу я. – Я прекращаю всякое сопротивление. Приговорите меня к *Прекращению!*" ...

2.

Литейный проспект был пуст, я был один, глубокая ночь обволокла город, безграничная свобода простиралась вокруг меня, но я помнил, что дал *слово чести*, и должен вернуться.

Вот и громада Большого Дома.

"Но как же мне вернуться в тюрьму?!"

Я подошел к железным воротам и робко постучал. Выглянуло в окошко скупающее лицо.

– Мне нужно вернуться, я здесь сидел, – сказал я.

– Фамилия, имя, отчество.

Я назвался.

Через минуту *лицо* появилось снова.

– В списках вас нет.

– Но я ведь на днях беседовал с Монсеньером, может быть он...

– Не знаю такого.

– Петр Яковлевич...

– В командировке.

– Надолго?

– Может быть, всего один день, а может и до конца тысячелетия.

Уехал на съезд. Создается Новая Партия.

– Что же мне делать?

Лицо стало копошиться в бумажках.

– Минуточку. Вас велено проводить к начальнику тюрьмы.

Пойдемте.

Окошко захлопнулось, лязгнули чугунные засовы, заскрежетали, распахиваясь, кованые ворота, и я шагнул в привычное пространство Исправительного Дома.

Но как незрим переход! Только что шел я по тесному коридору и прижимались к стене безмолвные тени, шагающие навстречу, и вот уже коридор широк и светел, под ногами ковры, на сопровождающем не фуражка с кокардой и френч с погонами, а двубортный бостоновый костюм, из верхнего кармашка которого выглядывает уголок белоснежного платка.

– Ну, что, мой друг, вы уже свой человек в *оппозиции*, с самим Монсеньером раскатываете по злачным местам? – встретил меня насмешливый голос усталого и слегка постаревшего Дон-Кихота. – Я полагаю, вы не забыли еще нашу последнюю встречу?

– Здравствуйте, господин Дон-Кихот! – ответил я. – Я рад Вас видеть. Надеюсь, вы только подшучиваете надо мною, но не думаете всерьез, что я заодно с Монсеньером? Я ведь не согласился с его предложениями!

– Ну да, но только потому, что вы против обязательств. Так вы и из моих рук побойтесь принять что-нибудь значительное, что бы не чувствовать себя *обязанным*, а значит, лишиться свободы, – не так ли?

– Возможно... – пробормотал я. – Но разве добро не должно быть безвозмездным?

– Разумеется! Но так приятно чувствовать людскую благодарность, гораздо приятнее, чем ненависть – впрочем, вы можете уточнить верность моих слов у вашего нового друга, если с ним еще встретитесь, – не удержался Дон-Кихот от сарказма. – Ну, ну, не расстраивайтесь, я над вами просто подшучиваю.

Помните, вы как-то хотели со мною выпить? Сегодня есть повод. Ко мне поступило Прощение о вашем *помиловании*, я его незамедлительно подписал, и через пять минут вы будете свободны, вернетесь в мир! Секретарь вручит вам Памятку Помилowanego и проводит до ворот, там уже вас ждет жена. А теперь – вот ваш бокал – выпьем за вашу новую жизнь, и за то, чтобы мы остались друзьями – согласны?

– Господи, да разве так не всегда было?

Я встал, принял слабеющей от волнения рукой хрустальный бокал с янтарным вином и выпил, голова неожиданно быстро закружилась, смутно я чувствовал, как все расплывается, теплая ласковая рука похлопала меня по плечу, кто-то повел меня длинным сужающимся коридором, и торжественный голос читал напутствие.

... Мы вошли в одноэтажное здание, открылась железная дверь, за нею была Арсенальная улица. Я понял, что меня выпускают на волю, было воскресенье, 14 марта 73-го года.

– *Вот человек*, – сказал мой сопровождающий, – *о котором за три года никто не мог сказать ничего плохого!*

Более высокой похвалы я уже никогда не услышу, мелькнула смутная мысль.

Жена ждала у ворот, сверкало ослепительное солнце, мир звуков, красок, запахов хлынул на меня, и мне стало страшно. Два с половиной года, проведенные в специальном Сумасшедшем Доме, спрессовали меня в камень – и за мгновение камень мог сгореть и рассыпаться, как сгорает он мгновенно, из путешествия по космическим далям попадая в атмосферу Земли.

Голова кружилась. Улица теряла очертания, и оба ее края приближались ко мне как две стены узкого зала. От яркого солнечного света больно было глазам, хотелось убежать в темноту и спрятаться, сердце стучало как молот и его удары слетались в музыкальный рисунок.

– Открой! – соединились звоны в удивительное слово. Я прислушался. – Открой глаза! – пропел нежный голос, и звон в груди умолк.

3.

По-видимому, это был только сон или сон во сне, потому что вслед за этим я услышал множество голосов, словно рядом со мною разговаривали давно и утомленно.

... "Состояние ухудшилось... Но сегодня девятый день, я ждал, что это случится".

"Обо мне, что ли, говорят? – подумал я. – Разве я уже умер?"

– Нет еще! – мрачно пошутил Индиан Поликарпович. – Но если так будете себя вести, то скоро умрете.

– А как я себя веду?

– Вспоминаете не то, что нужно! У меня командировка проваливается, мне послезавтра отчет Шефу сдавать – что я ему сдам? Не хочет, скажу, наш подопечный с Христом встречаться, свобода ему дороже... "Так давай его к нам, на *переплавку*! – хохотнет Шеф. – Нам отщепенцы всегда в украшение!"

... "Пойдемте к ней.... Иногда боль – лекарство, но...".

– Она жива? – спросил я.

– Да, да, да! – радостно закричали в ответ.

– Я хочу ее видеть! Я открою глаза, только когда она будет рядом. Если ее нет, я жить не буду.

– Сейчас вы ее увидите. Дайте мне руку. Вы чувствуете прикосновение?

– Да.

– Не уходите. Слушайте голос. Попробуйте открыть глаза, когда она будет рядом.

Мне показалось, что меня куда-то повезли, я силенка вслушиваться в голос, но скрип полозьев по снегу заглушал все звуки. Но пробивался другой голос, и он становился все различимее. Высокий старик в тулупе ласково обернулся ко мне и спросил – *не забко?*

Я был завернут в мягкую шаль, в ногах лежала собачья шкура, на голове – беличья, словно бы женская, шапка.

– Наспех собирали, а путь долгий! – пояснил возница. – Обычно помощники мои перевозят скорбящих, но сегодня решил поехать я сам, так будет спокойнее. Путь больно трудный.

– Куда мы едем?

– Она тебя ждет. Потом вы пойдете вместе, там уже будет полегче.

– Долго ехать?

– Мытарства твои еще не кончились, да и потом нелегко будет, хотя – радостнее. Но – крепись, праведный путь всегда тяжел; ты ведь не хочешь на *мерседес* пересесть? Прислушайся.

Я прислушался. Словно океанский прибой доносился шум большой дороги и миллионов автомобилей, и визг, и хохот, и пьяное пенье.

– Беснуются. Не знают, куда счастье девать. А ты вот мучаешься, и

так "до скончания века", как твой *протопоп* сказал. А вот сейчас пойдет непроезжая дорога, я пойду вперед, путь торить, а ты иди следом, только в сторону не сворачивай.

– Я не дойду, сил мало.

– Я ведь с тобой! Пособлю, когда совсем упадешь.

– Да и воли нет, желания. Устал я. Если не поможет чудо, иди не смогу.

– Чудо обязательно поможет, только еще потерпеть надо, а там начнется все другое, душа зазвенит!

Помнишь, еще в начале времен, ты говорил:

Муки, что в сердце уместятся -

Хлеб вам и соль!

Новая жизнь благовестится,

Новая боль!

Не забыл?

– Теперь сил меньше, усталость меня заполнила всего...

– А ты ведь только в начале пути, ты же еще ничего почти не узнал и не понял. Но поэтому-то надо идти дальше! Скажи себе – я хочу идти! – и дойдешь!

– Нет, сам не дойду...

Спутник мой осмотрел меня горестно и вздохнул.

– Да, верно, кто-нибудь тебе должен помочь, протянуть руку, попросить за тебя, поручиться. Неужто нет никого?

– Не знаю...

– Жить-то хочешь?

– Умирать страшно. Но вот просто жить для себя – воли больше нет.

И любовь неярко горит. Тяжело дышать, открывать глаза, тяжело даже думать, а чувствовать еще тяжелее. Словно меня все оставили и забыли, и на могилу никто не приходит.

Скрип полозьев умолк, возница соскочил с саней, поправил шаль, походил вокруг.

– Ты тогда поспи еще. Я схожу вперед, может быть встречу кого, вдруг за нами *оттуда* послали? Ты ведь сам выбрал эту дорогу, да другие и ведут не туда, свернуть всегда не поздно, тут недалеко, всего-то под горку, и тропка есть, но назад уже не вернешься. А как на мерседес пересядешь – всё, считай, пропал. Они-то, правда, и не знают, и до страшного суда не узнают, но им – не больно, и весь мир для них распахнут, а ты – мучаешься, да еще и доберешься ли, куда надумал – неизвестно.

В одиночку, своими силами – не добираются.

Да, чудо – надобно. Тогда все переменится, и ты переменишься прежде всего, а теперь – что же? – костей на копейку, да души – на две, вот и все, что у тебя есть! Может быть, там хотят, чтобы ты узнал, и понял, и посочувствовал, каково простому человеку, у кого наверху никаких знакомств, и никто не замолвит слова?

Если хотят, чтобы ты испытал Оставленность, тогда тебе не сладко придется, тебе – не перенести.

Есть, правда, и другой путь, справа от дороги хуторок небольшой, можем свернуть, им требуется управитель по дому, работы не много: за домом приглядывать, дров припасти, печи протопить, дорожки от снега почистить – как раз для поэта работа! Уже не будешь взбираться на обледенелые выси, обдирая ладони в кровь – но ведь и не на мерседесе, обгоняя с ветром стоны людские!

Отправиться в путь не надеясь дойти – не многим дана такая отчаянная смелость, и кто осудит того, кто не дойдет до конца и откажется от борьбы?

– Мне тяжело говорить! – обледенелыми губами прошептал я. – Помогите мне сесть. Я больше не хочу ни за что бороться, я никому не нужен, не надо мне ни мерседеса, ни занесенных снегом дорог. Пусть лучше снегом занесет меня самого, но только чтобы не мучили больше. Пожалуйста!

– Ты разлюбил?

– Я устал. Во мне догорает фитилек, через несколько минут уже погаснет. Мне нечем больше ни дышать, ни жить, я заканчиваюсь. Наверное, закончилась и любовь, я уже не помню. Все это было давно, когда я был жив.

– Тебе помогут, потерпи немного. Без тебя в мире лучше не станет.

– Но теперь я уже ни на что не гожусь. Или просто так умереть, или... Ну, например, на пулемет лечь... только я уже и до пулемета не добежу... Мысль о смерти не страшит меня больше, наверное, во мне ничего не осталось, чтобы жить.

– А я так понял, когда тебя в дорогу отправляли, что для тебя еще ничего не кончилось, а только, может быть, начинается. Только куда мы идем?

– Как, разве вы не знаете? А я-то откуда могу знать?

– Да и мне только показали направление и рукой махнули; правда, по этой дороге мне уже приходилось ездить, но ни карты, ни конечной цели никто не передавал. Я ведь спешил, боялся, что тебя наши охламоны повезут, а по дороге бросят, где-нибудь в кабаке погуляют и скажут: все в порядке, довезли! – поди проверь!

А я сделаю как скажешь – или на хутор сведу, или дальше пойдем, или оставлю снегом заметать, если уж совсем край придет.

Ну ладно, вот что – скоро рассветет, звезды уже бледнеть начали, да и собаки вроде лаяли в той стороне, – я схожу, проверю, и по звездам назад вернусь, а ты меня здесь жди – если не вернусь, значит, снегом тебя и заметет, значит, такова и была судьба, а где-нибудь неподалеку и меня заметет. А вернусь – дальше побредем.

Он похлопал меня по плечу, кашлянул как-то жалостно и пошел, не оглядываясь.

Я сел у бугорочка, прислонившись спиной, и совсем рядом заметил не до конца заметенное кострище, выглядывала из-под снега головешка, и торчали листы обгоревшей бумаги.

"Вот если бы спички были!" – подумал я, и машинально ощупал карман под шалью – что-то твердое оказалось под рукою, я вытащил – это были спички.

Радостно разгреб я снег, собрал не догоревшие дощечки, сучки, веточки, поджег лист бумаги, и через минуту весело затрещал маленький огонек. То, что горело до меня, и что продолжал жечь я, было книгой, как будто собранием присловий, поучений и заметок какого-то неизвестного автора, частью написанных им самим, частью извлеченных из других книг.

Я начал читать, отдельные листы продолжая подкладывать в огонь. Огонь и книга меня всегда оживляли, и вот, странным образом, они соединились – одни листочки разговаривали со мной, другие согревали и светили для чтения.

«Граждане, вооружайтесь!» – читал я. – Нами правит темная сила, отечество в опасности – все на защиту отечества!

Не мир принес я, но меч.

... Да, я пришел сказать главное: если у меня умирает дитя или мать – нельзя забывать об этом ни на минуту. Я не могу быть счастливым, я не должен быть счастливым, даже за праздничным столом, даже в разгар пира на каждый кусок хлеба, который я подношу ко рту, должны капать слезы (быть может, не видимые для других).

Новая Орда глумится над Русью, и сделать мы ничего не в силах, с тех пор как поникло Белое Знамя и наш император в плену.

Но если в России жив хоть один русский – не опускай руки! Если «пепел России» еще стучит в твоём сердце, тогда пусть хоть *слезы бессилья* помогают тебе копить ярость! Отчаянье пусть помогает копить ярость! Опустошение пусть копит ярость! Помни и не забывай – просыпаясь утром, просыпайся ненавидящим власть! Во всякую минуту продолжай ее ненавидеть! Засыпай с мыслью о мщении! Помни о ненависти, умирая! На страшном суде не сдавайся и не прощай! Ненавидь грабителей! Продажных политиков! Вороватых чиновников! Равнодушных служителей! Неправедных судей! Бездарных генералов! Тщеславных журналистов! Всех, кто живет для себя и не думает о благе Родины. Всех, кто стремится к богатству и равнодушен к вырождению народа. Всех, кто ни к чему не стремится. Душевно слепых. Не желающих знать правду. Спокойно взирающих на растление народа. Не замечающих грязь на улице и в душе, убогую жизнь, повсеместное воровство, повсеместную ложь, жестокость и лицемерие..

Если ты еще не умеешь ненавидеть, научись ненависти, открой глаза, *взгляни окрест себя*, чтобы душа твоя наполнилась свидетельствами зла и беззакония, и ты начнешь ненавидеть так же яростно, как в узком

ущелье ненавидит преграду водопад, как в шторм ненавидит берег морская волна, как узник ненавидит тюремщика, а жертва ненавидит своего палача!

Не поддавайся усталости, не смирайся в болезни и горе, не сдавайся в отчаяньи, не покоряйся в смерти!

Ненавидьте власть, ежечасно, неустанно!

Ненавидьте ее днем, ненавидьте ночью.

Ненавидьте, пока не устали ненавидеть.

Ненавидьте и позже, когда вернутся силы жизни.

Ибо нет ничего более тлетворного, более подлого, чем власть. Всякая власть развращает, необузданная власть – зараза из зараз!

Не уставайте ненавидеть, не переставайте ненавидеть, все грехи ваши будут искуплены ненавистью, ибо ненавидеть обольстительную низость – большая добродетель, чем любить благое – в благом все видят свет, в низости не все видят тьму.

Ненавидьте власть, пока бьется сердце. Пока не прервалось дыхание. Пока живы те, кого вы хотите спасти. Ибо пока жива власть, в опасности всё – в опасности Россия, культура, Добро и Истина, в опасности Любовь. Единственное предназначение власти – уничтожить культуру, опустить народ, высосать жизненные соки из живого, насытиться, разбогатеть, раздуться. Но не было власти, которой бы не поклонялся народ, пока она властвовала, и которую бы не проклинал, когда ее царствование закончилось.

Раболепный и верноподданный народ наш *не верен*. Он почтителен, пока царь на троне. Но только и царя повели под конвоем, любви народной словно и не бывало.

Власть надо ненавидеть, пока она в Силе! Но не надо ли и народ презирать, любящий стоять перед силой на коленях?

Только горько и одиноко быть трезвому среди пьяных, и одному правому среди неправых...»

«Всякая страсть стремится подчинить человека, – продолжал я читать далее, – растворить его в себе, поглотить без остатка, как морская пучина поглощает потерпевших кораблекрушение.

Любовь не подлинна, пока влюбленные живут и помимо любви, кутят с друзьями, ходят на службу, пишут романы – но только когда умирают они из-за любви, как умерли Антоний и Клеопатра, Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Анна Каренина, Настасья Филипповна – и перечень этот бесконечен – любовь подлинна.

Я шел мимо и взглянул ей в глаза, и мир покачнулся под ногами, и пламя музыки хлынуло в уши, и вспыхнул свет в душе, время остановилось, и я узнал, что больше ничего не нужно, и больше ничто не возможно, только не уходить, только смотреть не отрываясь, не переставая сгорать в мучительном и сладком огне, а если невозможно не

продолжаться времени и не врываться посторонним происшествиям – надо умереть, прикасаясь к ее пальцам, губам и ресницам.

Вера не подлинна, пока верующие живут и помимо веры, заводят друзей, семью, читают посторонние книги – но только когда умирают для мира, как умерли протопоп Аввакум и боярыня Морозова, Жанна Д'Арк и Спаситель, апостол Павел и Мария Египетская, Василий Блаженный и Ксения Петербургская, Нил Сорский и Серафим Саровский – и перечень этот бесконечен – только тогда вера подлинна.

Творчество не подлинно, пока ученый, философ, писатель или пророк живут и наслаждаются жизнью помимо творчества.

Всякая страсть и всякая проповедь стремятся подчинить до конца, и церковь не только открывает врата, но и стремится закрыть узревших Бога в тяжелых монастырских стенах, чтобы не было для них иной жизни; стремится стать полной властью и над душой и над телом, то есть стать *теократией*.

Искусство порабощает не менее церкви, актер и поэт, писатель и ученый тем менее верный друг и заботливый семьянин, чем более отдаются призванию.

Армия приводит солдат к победе и чествует победителей поименно, но павших прославляет всех вместе и никого не помнит в отдельности.

Страсть приводит человека на вершину жизни и дает ему упоение полнотою ее – но отнимает жизнь! Всякая великая страсть враждебна жизни, и женщина это знает лучше всех. Рожать ли и воспитывать детей или служить Богу, Музе, государству – должна она выбирать, ибо она выбирает себе поприще более подлинно и более трагически, чем мужчина – она жертвует собою вполне и без остатка, и она отрекается от себя во имя Бога, церкви, Отечества, возлюбленного или семьи – Мария Магдалина, Мария Египетская, Жанна Орлеанская, Анна Каренина, Наташа Ростова – а с нею все святые женщины мира, выносившие нас в себе, родившие в муках, выкормившие грудью и умилявшиеся *грязным пеленкам* (над которыми потешаются критики Толстого), так же как монашенка умиляется *мироточивой иконе*.

Всякая великая страсть, всякий вихрь, порыв, апофеоз Духа – противоположны жизни! Она в них находит свое высшее выражение и прекращается. Чтобы любить беспредельно – надо перестать длиться!

Полнота любви достигается тогда, когда любящий умирает во имя возлюбленной.

Такова и цельность и целостность – она противоположна многообразию, она сосредоточена и слитна, многое соединяет в единое, именно в ней, казалось бы, человек достигает Истины, но – взгляните – когда в человеке подчинено всё единому? – когда он перестает жить и участвовать в симфонии мира, но захвачен порывом и страстью – в битве, в любовной страсти, на костре или на кресте, в монастыре, в

карточной игре, в запое – когда все растворено в одном чувстве или в одной мысли. Именно поэтому великие идеи не терпят инакомыслия, более того, они требуют окончательного растворения в них и утраты индивидуальности – как двое становятся единой плотью, так входящие в церковные врата становятся *частью* Церкви, и так верующему Бог говорит – только *кто потеряет свою душу для Меня, тот приобретет ее*.

Жизнь стремится расширяться, продлиться – и теряет форму в беспредельном бытии. Сосредоточиваясь – она становится *небытием*.

Представьте себе пахаря, идущего за плугом – сколько вмещено в его душу в этом простом действии! Вся широта и полнота жизни! И тяжесть труда в поте лица, как завещал Господь. И радость от преобразования земли, вознаграждающей сторицей. Поле и лес за полем. Синее небо над головой и жаворонок в небе. Размышления о семье, о рождении детей, об осенней свадьбе дочери после сбора урожая... Разве какой-либо еще труд приносит столько радости и дает столько свободы, как труд по возделыванию пашни или подобный ему – жатва, покос, молотба? Да и всякий другой крестьянский труд исполнен поэзии и свободы, даже когда он и труден.

Пространство и время являются плотью духа, и простираются и длятся разнообразно, в красках и звуках, запахах и прикосновениях.

Представьте же теперь предельную жизнь, ее вершину, ее крайнюю грань, ее ликующий гимн – таковы Любовь и Вера.

Что произошло, когда встретились наши взгляды? Мы еще продолжали идти, но сила притяжения уже замедлила наш бег, повернула нас друг к другу, и бросила в бездну. Нет, не остановилось время – его не стало. Исчезло и пространство, ни поле, ни жаворонок в небе были не нужны и невозможны. Не было ветра, голода, будущего, не было домов рядом с нами, истории, друзей, культуры; не стало даже Бога, а оставалось только бесконечное падение навстречу друг другу.

Вот так же исчезает время, – а, значит, исчезает жизнь, – когда происходит встреча с Богом. И что же, возможно при этом вертеть гончарный круг, месить тесто в квашне, сбивать масло, печь блины или пить вино? Ничего не возможно – но уже ничего и не нужно. Жизнь теряет всякий смысл, она уже исчерпана, пройдена, изжита.»

Господи, Господи, зачем Ты меня мучаешь?

Я бросил еще один листок в огонь, пламя взметнулось вверх, и я услышал голос:

– А ты хочешь ли, чтобы мы с тобою встретились?

Я еще не успел ответить, но уже происходило нечто странное, восторг наполнял мою грудь и, казалось, вот-вот разорвет ее.

– Смогу ли я к Тебе вернуться?

– Захочешь ли?

Невыразимо грустно. Невыразимо больно. Слезы были слишком вязкими и не облегчали душу.

– Я уже приходил к тебе раньше, но ты все забыл. Вот так же, уходя из сна и возвращаясь в жизнь, забываешь сон.

Я прихожу к человеку не только тогда, когда он видит или чувствует меня, но прихожу и тогда, когда несет его порывом бури *по краю жизни*. Все, что происходит с человеком, когда выпадает он из мира, связано с *моим* присутствием.

Помнишь, в юности, еще на рассвете пошел ты пешком по сонному городу – ты собирался уйти в монастырь, но это было иллюзией, в действительности же дул ветер, и временами ты слышал мой голос. Ты прошел через Васильевский Остров, Московский проспект, поднялся на Пулковский холм, прошел еще немного, и вдруг повернул назад. *Разговор со мною – это уход из жизни*, но ты вернулся в жизнь. А через полгода, 6 января, когда внезапная страсть ослепила тебя – не встретился ли ты и тогда со мною? Помнишь, ты спросил себя – можно ли одновременно жить и любить?

И ты знал, что это невозможно. Ты ничего себе не ответил, но выбрал жизнь – втайне от себя.

А в марте 70 года, когда оказался ты в каменном мешке, и переход от света к тьме был так внезапен, так унизителен, что несколько томительных страшных часов ты был уже за гранью безумия, – не услышал ли ты за стеною – глухую стеною тюрьмы – бой часов? Это *время* предьявляло свои права на тебя, ибо для *вечности* ты еще не созрел. И ты опомнился, вернулся к жизни, и во имя нее перенес еще большие страдания и унижения.

В последний раз я приходил к тебе вчера, но ты был в беспамятстве, ты просил о милости, плакал и молился, угрожал отречением, но ты не просил милости для себя, ты был слишком горд – или боялся, что моего милосердия не хватит для двоих?

– Боялся, – окаменевшими губами прошептал я.

– О чем же теперь ты меня просишь?

– Я хочу ее увидеть. Погладить ее руку. Поцеловать глаза.

– Видеться вам нельзя. Она слишком слаба и не выдержит встречи. Если хочешь, чтобы она осталась жива, ты должен забыть про нее.

– Значит, это уже конец пути?

– Нет, до конца еще далеко. Но мы не увидимся долго. Ты разочарован, и в глубине души винишь меня в своих бедах. Ты не нашел свою Истину, не принял и мою, ещё пытаешься сопротивляться неумолимому ходу вещей, смирение и кротость не приемлешь. Слишком страстно ты споришь со мною, и нередко слова твои наполняют меня болью.

А ведь когда-то ты так любил меня!

– Я и сегодня Тебя люблю. Я только хочу защитить Тебя от Твоих учеников и последователей. Они Тебя присвоили, "приватизировали", поделили на аукционах и перестроили на свой лад, так, что теперь не они созданы по образу и подобию Твоему, но Тебя они пересоздали таким, как они сами.

Алчущие, предприимчивые, обогащающиеся успешно – вылепили из Тебя покровителя Богатств, защитника алчущих, вождя и вдохновителя удачливых.

Жестокосердые, непреклонные, самодовольные и непоколебимые в своей правоте – назначили тебя на пост Прокурора, и отныне Ты строго надзираешь за невинностью и караешь грешников, опуская их в вар и смолу.

Похотливые освятили Твоим именем блуд и разврат.

Холодные, бесполое – или, напротив, чрезмерно жаждущие и вперехлест борющиеся со своей жаждой, как Иероним "святой", – поставили Тебя стражем у греховных врат, заставили идти впереди орды обличителей разврата, а более обличителем плотской любви и семьи.

Послушай, Господи, попробую с Тобой объяснить. Те, которые к тебе безразличны, меня не понимают и не хотят слушать – Ты для них не существуешь, и мой разговор с тобой им кажется бредом.

Те же, кто в Тебя верит, от Тебя еще дальше – их Преклонение перед Тобою, их Благоговение так сильно! Или их Страх, их Трепет! – их Вера в Тебя, их Любовь к Тебе – такое Исступленное Преклонение, что оскорбительно для любви этот восторг самоумаления называть любовью!

Впрочем, стоит ли спорить? Ну, верят... Ну, любят...

Я для таких верующих, наверное, хуже «врага народа», когда советский народ был «как один»! Или даже хуже того негодяя, который в день смерти Сталина, когда вся страна захлебывалась рыданиями – не плакал.

Господи, да пусть они любят Тебя как хотят, только пока мы будем с Тобой объясняться, скажи им, чтобы в священном негодовании они не растерзали меня, не замучили, не сожгли – это они любят! Они так Тебя любят, что готовы в асфальт закатать того, кто любит Тебя *не так*.

Пусть подождут, пока мы с Тобою договорим. Пусть правосудие свершат потом!

Итак, не с кем мне, Господи, разговаривать, кроме как с Тобою, и я прошу Тебя – выслушай!

Подозреваю, что слушать не будешь. Разве не пытался я уже объясняться? – но никто не хотел слушать! Даже когда я ничего не требовал, ничего не просил, ни в чем не упрекал.

Может быть, не был бы я так придирчив к чужим заблуждениям, если бы слушали меня, если бы мой голос достигал чужих ушей и трогал спящие души.

– Надо опалить свою душу, снять окалину, тогда и зазвенит голос как чистый звон меча!

– А что же я, не опаялся? Нежился в мягкой постели?

– Конечно, нежился. Жил в свое удовольствие,пил, ел, волочился

за каждой юбкой, не пропустил ни одного кабака, закусывал всласть, на работе не переломился, и горя не знал. Серьезного горя не знал.

Научиться писать очень просто. Начни жить не лукавя – и талант сам придет. Только не отступай от Правды!

– Но возможно ли эту *неотступность* совместить с жизнью? Нужно быть одержимым, приготовиться к жертве, а тогда не одного себя придется в жертву принести, а и всех близких. Почему не упорствовал я на следствии, приспособливался в тюрьме, был кроток и послушен в Сумасшедшем Доме? Потому что если бы я не согнулся, то не только моя молодость прошла в заточении, но и жена моя иссохла в одиночестве без мужа, и сын рос без отца и лишился бы многих радостей детства.

Непреклонный не только свою голову кладет на эшафот, но и своих близких. Быть верным Идею – пожертвовать семьей. Быть верным семье – предать Идею.

– Потому-то и говорю я, что не следует жениться и заводить детей! Или жить для Бога, или для мира, или ласкать жену и детей, или идти на войну и быть убитым, и оставить жену вдовой, а детей сиротами.

Но, может быть, скажешь ты, судьба будет к тебе милосердна, позволит радоваться жизни и писать стихи про любовь? Да, позволит... Но если ты явился не для того, чтобы лежать на цветочной поляне, которая вырастет на костях убитых, но чтобы участвовать в битве и победить или пасть среди товарищей, сражавшихся до конца... Если рожден ты для сражения с Злом – а пока ты сражаешься, пьют и пируют, и сладко плодоносят... пока ты сражаешься, пьют и пируют и увиты плющом... Пока ты сражаешься – пьют и пируют, и заливают скатерть вином... пока ты рыдаешь и оплакиваешь погибших, пьют и пируют, и хохочут над сладостью жизни...

Во имя кого же ты сражаешься, во имя кого же кости твои истлевают под кустом ольхи, и голодный шакал бродит по полю?... Нет, или для Бога, или для мира, то есть против Бога, этот пошлый мир ничего не достоин, он не способен не только к тоске, но даже к грусти. Он не дорос до рыдания. Он не поднялся до сухости в глазах и тоскливого безразличия непогребения.

Ну, ладно, и так... Пусть уж лучше никто не узнает, никто не придет, чем наспех, торопясь закусить, оставив объедки у могильной ограды...

Да не надо и хоронить! Оставьте под ольхой, мне там уютнее. Может быть, и шакал пройдет, усовестившись, и не тронет.

Оставьте... Идите жить. Что вам до тех, кто пал в сражении?

Непроходимая пропасть... даже руки не подать с двух краев, даже не поговорить, не сказать, не услышать с двух краев – кто живет для того, чтобы *жить*, уже одной этой решимостью жить во что бы то ни стало распинает тех, кто остался на поле сражения...

Сбеги с поля сражения – как все человечество сбегает, кроме

одинок, – и несколько десятилетий еды, питья, спокойного сна, встреч, разговоров, удовольствий, и даже литературных вечеров, прений, гонораров, лавров на благородное чело...

Останься – и ничего, кроме забвения и затаенных, снисходительных слов: "Дурачок! Поднял бы вовремя руки вверх, и пил и ел как я, и даже экранов телевизора беседовал с внешнелющим человечеством."

Был верен идее – что твои кости теперь говорят и кому? С кем они беседуют?

Не надо смешиваться! Это два человечества! Живущие для идеи – отrekliсь от жизни. Они тоже могут веселиться, но как офицер в отпуске, пока не придет с повесткой вестовой, оставив недопитый бокал, а в пять утра – уже под ольхой, пока еще пир в самом разгаре...

Решение необходимо принимать изначально. Нам дают два листка судьбы, и на одном написано – *готов идти до конца*, и кто поставит под этим листком свою подпись, уже знает – меч мира однажды его поразит!

Бытие рассечено надвое.

Мы, присягнувшие, должны помнить – с нашей стороны сражение никогда не прекратится, к каждому из нас явится демон или грозный ангел и поведет на вершину, каждый из нас не избегнет Креста и Распятия.

И близкие тебя проклянут.

Потому и не женись и не заводи детей, чтобы некому было проклинать, и некому было плакать.

– Ты ведь проповедовал любовь, а теперь в словах твоих одно отчаяние и презрение к живущим...

– Ради любви я и не хочу, чтобы из-за меня разбивались сердца. Представь себе, что вечером ты идешь под венец, но знаешь, что утром тебя казнят. Неужели не пожалеешь невесту?

Каждого из вас казнят. Каждого, кто будет *непреклонен*. И что же, осмелишься ты смотреть в доверчивые глаза, целовать уста, и обещать счастье, зная, что утром тебя казнят, и она останется одна? И проплачет всю жизнь, когда всё вокруг будет светиться от счастья?

– Мой отец не смотрел ли в глаза моей матери, не целовал ли ее страстно, зная, что утром уйдет на войну, и это была единственная ночь, в результате которой я родился?!

– Он не знал, что погибнет на войне.

Но подойди ближе. Боюсь, что уже рассекается Бытие и между нами. Я ухожу, а ты остаешься. И пойдешь ли за мною, я не знаю. Скорее всего, не возьмешь этот крест, не поднимешься на эту гору.

Тогда о чем ты просишь? Ты хотел *жечь глаголом сердца людей* – но согласишься ли, чтобы в груди твоей запылал огонь?

Кажется, ты уже все понял. Давай помолчим. Уже немного времени осталось быть нам вместе.

....Огонь стал гаснуть, и я бросил в него последние листы. Я догадался, почему мне показалось, что я уже читал эту книгу – именно её показывал мне Монсеньер, расточая хвалы, и именно её советовал он мне после этого сжечь.

Послышались шаги, возвратился провожатый.

– Дороги дальше нет, – глухо сказал он.

– Что же теперь делать?

– Жаль, нечего выпить на прощанье... Вот, ты говоришь – народ дурной в России, нечисть к власти привел, хозяйство свое пропил и порушил, наследие отцов промотал, а за последние сто лет не построил на всей русской земле ни одного красивого здания. Но ведь и те, кто на тебя надеялся, обманулись, не оправдал ты их надежд, не стал заступником доброго перед злым – а почему? Только ли судьба виновата?

Глава третья.

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ

1.

Не знаю, долго ли я был в забытьи, время остановилось, и когда вдруг открылась дверь и вошли двое в масках, я даже обрадовался.

– На Коллегию, живо. С собой ничего не брать.

Мы долго шли по гулким узким железным переходам внутренней тюрьмы Большого Дома, которая уже мне стала родной, затем перешли в новое здание, вошли в лифт и спустились, по-видимому, в подземелье – пахло плесенью и чем-то еще неприятным.

Спецназовцы ввели меня в просторное помещение приемной и встали у двери, от стола с телефоном радостно бросился навстречу мне словно бы кто-то знакомый.

– Фундыкин, это вы? А я и не узнал сразу, вроде вы как-то усохли, меньше ростом стали...

– Из органов выгнали, сволочи, дескать, превышал, утюг применять начал... а как его, признание, без утюга получишь? Выгнали, и половину силы потерял. Перешел работать сюда, в *отдел вне-ведомственных отношений*. Зато здесь – лафа, работай как хочешь, никто слова не скажет! Положил утром утюг на пузо, включил, сидишь рядом, книжку почитываешь, подозреваемый признания сочиняет.

Да и оклад супротив прежнего здесь больше, а теперь вот еще наши структуры срачиваться начали, инициатива снизу, знаете ли, работа по совместительству появилась, одну смену на государство вкальваешь, другую на "братков". Но я все же "по понятиям" работаю, не как отморожки, ты не бойся, если вместе работать придется, проявлю снисхождение, поставлю утюг на мягкое место, там не так припекает.

Да ты никак с нашим начальником общий язык нашел?! Молодец, поздравляю, все ж таки жизнь научила тебя кой-чему...

– Но почему меня сюда привели? Ведь я, кажется, прохожу по идеологической статье, а в вашем отделе, как я слышал, разбойники, или те из ваших, кто много хапнул и не поделился...

– Видишь ли, формально мы подчиняемся Монсеньору, а так как твое дело решили рассмотреть на *расширенной Коллегии*, то заседание назначили здесь, в самом низу, потому что нашим навверх запрещено подниматься. Только что-то боюсь я за тебя, Монсеньор прошел мрачнее тучи.

Постой-ка, кажется лампочка замигала – значит, начальник вызывает, заходи.

Смелей, смелей, бить не буду, ты мне как-никак почти родной, вместе над показаниями работали..

Я с трудом открыл тяжелую дверь, и она меня сама саданула сзади, пока перешагивал я высокий порог.

2.

Зал заседаний больше похож был на средневековое подземелье, чем на помещение для высокого Суда.

Тяжелые дубовые скамьи стояли у одной стены, свисали с потолка железные цепи, стояли в центре странные механизмы, правая стена была задрапирована тяжелыми портьерами, впереди, за громадным столом, почему-то с краю, восседал Монсеньор в мантии и парике.

Он был темен и мрачен.

– Подойди ближе, встань в круг.

Я повиновался.

– Жалуются на тебя все, все недовольны, все жаждут твоей крови.

– Кто жалуется? Я никому не делал зла.

– Народ. Народ жалуется. Народ тобой недоволен, все до единого.

– За что, что я им сделал?

– Обманул их ожидания. Они хотели в тебя поверить, они приготовились вскричать тебе «Осанна!», а ты их предал.

– Я никого не предавал...

– Ну, как же так, ты ведь проиграл, никого не убедил в своей правоте, а разве никто не ждал убеждения?!

– Так это же придурки всё! Они же самостоятельно не только не мыслят, но и не чувствуют. Мировоззрение, убеждения, любовь, страсть – только по внушению сверху! Ну, кто из них думал и предполагал, что строительство коммунизма и воинствующее безбожие – зло и неправда? Чтó они думали обо мне, думающем так? И вот сегодня они так же преданы "первоначальному капитализму" и частной собственности, как раньше "развитому социализму", хотя у самих ничего нет, сами – нищие!

Я говорю им, что власть собственности и капитала – такое же зло, как власть коммунистической идеологии, что справедливость заключена в равновесии, в гармонии государственной власти и опеки общества над своими гражданами, особенно слабыми, – и частной инициативы, независимости, силы, экономической самостоятельности. Это два полюса у магнита, а придурки делят магнит пополам, и то поклоняются одному полюсу, когда государство всесильно, а у граждан ни прав, ни власти, ни собственности, ни инициативы, то другому, когда произвол, власть и богатство кучки негодяев определяет всю жизнь, и само государство служит им!

– И не только не убедил, но и доводы твои никто не слушает и книг твоих не читает.

Сжёг бы ты к чертовой матери свои сочинения! Плохо получается, не умеешь писать.

– Вы ведь говорили, что являетесь поклонником моего творчества?

– Но это же другие книги! Еще неизвестно, будут ли они написаны. Есть две действительности: та, в которой ты живешь, и идеальная действительность, до которой надо подняться. Но кто знает, через какие круги ада надо для этого пройти? Ты – готов ли?

– Не знаю.

– Так зачем же пытаешься поднять ношу, тебе непосильную? Зачем связываешься в распри, в которых даже я с трудом разбираюсь? Писал бы о любви, так нет, черт понес писать о высоких материях! И вот – добился... Переводят тебя, голубчик, из нашего отдела, отдают другому ведомству, а там философских бесед не ведут, и кофеем не поят. Слышал ли ты о том, что есть несколько *уровней дознания*, и обычно применяется первый, а в виде исключения – второй, с умеренным «физическим воздействием»?

Но есть еще и *особые* случаи...

Так вот, сначала ты жил в *раю*, «но не знал, что в раю живешь», как говорит твой любимый Достоевский; потом попал в *чистилище*... И это было оправдано, и могло принести тебе великую пользу, тем более, что носились тут все с тобой как с родным... Даже я привязался к тебе, хотя по службе привязанности мне не положены.

И вот тебя переводят, и даже, как я слышал, требуют отправить в ад...

Монсеньор замолчал и вздохнул, мне показалось, что в уголке глаза у него что-то блеснуло.

– Впрочем, я тебя утешу. Того ада, о котором разглагольствуют миллионы христиан в мире, нет. Нет такого сердца, которое вечно может смотреть на чужие мучения и не содрогнуться.

– Такое сердце есть, милейший. Ты забыл обо мне.

Из мрака выступило бледное маленькое личико не то младенца, не то старца, одна щека дергалась, редкие волосы на голове были похожи на пух.

«Ублюдок!» – зашелестело в воздухе, и личико заулыбалось.

– Да, ха-ха, именно так, это я – *Великий Ублюдок*, предводитель ничтожества, царь мрази и пакости... Я – подлинный хозяин Вселенной, ибо в мире всё несовершенно, почти всё – уродливо, поэтому мои подданные неисчислимы. Сточные канавы поют мне осанну и простирают ко мне руки. Гнойники и язвы, вселенская вонь, смрад и тление подчиняются мне, ибо я их единственный защитник. Я – друг униженных, я – заступник падших. Я, можно сказать, почти народный мститель.

– Позвольте вмешаться! – вскричал Монсеньор. – Он нужен народу!

– Сейчас мы узнаем у народа, нужен ли он ему.

Прежде всего, нужны ли народу его сочинения.

«Хозяин Вселенной» отдернул портьеру, и предстал пред нами мир, требующий «хлеба и зрелищ», и жалкая кучка пророков стояла у обочины со свитками в руках, стоял и я среди них.

Миллионы шли мимо, никто не повернул голову к раскрытой книге, которую держал я в руках.

– А нужен ли он умникам? Эй, умники, кто-нибудь хочет познакомиться с новым "пророком"?

Тысячи шли мимо, никто не остановился.

"Я вас всех презираю! – думал я. – Народ презираю за то, что он выдвигает наверх тех, кто еще хуже, чем он сам – тупых, жестоких, ограниченных, жадных до власти, до богатства, до наслаждений! Интеллигенцию презираю за то, что она готова прислуживать власти и богатству за медный грош, завистлива и оригинальное втайне ненавидит! Да, за мной никто не пойдет, как не пошли и за Христом, пока Его не распяли. Да пошли ли и потом? За кем и сегодня идут те, кто говорит, что идет за Христом?"

– Ты оскорблен, *непризнанный гений*?

Нет, это не насмешка, ты и в самом деле гений, и – *непризнанный*.

Тебе обидно?

А скажи честно, легче бы тебе стало, если бы ты стал как все, и всё стало по справедливости, играл в подкидного дурака, работал грузчиком, пил по воскресеньям, иногда и в будни, бил жену, читал детективы, смотрел по телевизору футбол, рассказывал пошлые анекдоты, имел маленькие желания, плоские представления о мире, с Богом не спорил, власть любил, умников презирал? Легче ли бы тебе стало?

Нет, ты готов претерпеть мучения, но оставаться непризнанным *гением*, чем признанной *посредственностью*!

Но чем же виноваты они, обделенные талантом, *нищие духом*? Ты их презираешь – но какой из всех мыслимых твоих подвигов сравнится с их подвигом – просто *быть*, продолжать безропотно тащить телегу жизни как бессловесный вол, зная, что ничто не светит им в жизни – ни неожиданное признание, ни царская милость, ни ненависть толпы, ни сочувствие почитателей и учеников.

Согласишься ли ты шагнуть в эту шеренгу, уподобиться всеобщему, *вочеловечиться воистину*, стать одним из миллионов, а не исключительным, не избранником неба, любимцем Бога, почти небожителем?

Жизнь течет не так, как тебе хотелось, и мир стремится не к тем целям, и Россия не с теми спит и не тех рождает. Готов ли ты смиряться и жить в чужой для тебя стране, оставить в покое народ, который хочет устроить жизнь по-своему, которому надоели Пушкин и Лермонтов, Толстой и Достоевский, Глинка и Мусоргский, Смирнов и Шаляпин, барокко и рококо, архитектура, живопись, музыка, оперные театры, драма и балет – вся эта двухтысячелетняя дребедень, которую пытались затмить простой понятный клич миллионов – *Хлеба и зрелищ!*?

Готов ли ты продолжать жить в безвестности, смиряясь с тем, что поколение за поколением будут только расточать все, что тебе дорого, и ничего не преумножат?

Нет, ты готов сдохнуть в канаве, на помосте, на костре, на кресте – но не в привычном стойле повседневного пустого, не героического быта! Насколько же их *Подвиг Прозабания* выше твоего *Возвышения!*

Ты думал, что пытаешься возвыситься над обыкновенными людьми, над теми, кого ты называл чернью"....

– Нет, я не называл *чернью* "обычного человека", то есть, живущего в меру сил для Бога, ближних, отечества, и в том числе для себя, для своей семьи –... нет, не их называл я *чернью*, но тех, кто стремится к низкому, сторонится высокого, или его ненавидит, кто гениальность презирает, жаждет унижения гения, кто ненавидит дворец не только потому, что он принадлежит богатому, но что он красив, кто смеется над симфонией, над оперой, над трагедией, потому что любит только буффонаду, частушку, водевиль, анекдот...

– Оставим, это второстепенно... Хорошо, ты пытаешься возвыситься над *обычным* человеком, над тем, кто не принадлежал к черни, но и не принадлежал к аристократам духа, не принадлежал к творцам высокого, не был среди избранных, отмеченных печатью гениальности! Ты пытаешься возвыситься над пахарем и сеятелем, над скромной благочестивой домохозяйкой, трезвым главой семейства, не презирающим высокого, а созидающим в поте лица своего материальные ценности, которым не чужд и гений, ты их презирал, и в том числе строителей прекрасных дворцов, наборщиков и рабочих сцены, без которых не смогли бы существовать ни Шекспир ни Шиллер! Ты жаждал возвыситься над ними, а значит, ты их презирал! Ты требовал дать тебе талант – чтобы не быть одним из них, людей из народа! Ты жаждал создавать драмы Шекспира, пролегомены Канта, апории Зенона, и Новое Откровение Иоанна – но быть протестным благочестивым человеком из народа ты боялся до ужаса! А не думал ли ты о том, что тем самым ты предал тех, среди которых жил, среди которых родился?!

– Но граф Толстой...

– Ум и талант были даны ему изначально, и он не досаждал своими требованиями и просьбами тем, кто распределяет среди людей блага земные. А кому дано мало, должны смиренно принимать то малое, что им дано, и жить, славя Бога!

– Эти рассуждения мне кое-что напомнили. Вот я участвую в конкурсе, получаю на экзамене высокие отметки и оказываюсь среди счастливиц, коим позволено взирать на звездное небо, то есть поступаю на астрономическое отделение университета. Мало ли было отвергнутых? Не мало. И некто мне говорит: ты занял место, которое мог бы занять "имярек". Должен ли я чувствовать перед ним вину?

А вот я участвую в другом конкурсе, я среди соискателей некой красотки, и она ко мне благосклонна, и снова слышу, что тем самым я обделил отвергнутых.

И даже покупая билет на поезд, я обделяю того, кому не досталось места.

Быть может, мне, чтобы не быть виноватым, – не смотреть на небо, не целоваться с красотками, не пить и не есть, и даже не дышать?

Вот так же не должен стремиться я к возвышению, а лучше и вовсе ни к чему не стремиться?

А что же святые? Что двигало ими, когда вступали они на стезю своих подвигов, отказываясь от удовольствий жизни, истязая тело, иссушая душу? Не было ли это извращенным тщеславием? Так ли нуждался Господь в том, чтобы во имя Его иссушали себя постом и молитвой?

Впрочем, не это главное...

Разве я пекусь о *своём* возвышении? Грустно мне и больно, что поругано, унижено, иссякает высокое в России.

Я пишу на последней черте, я хочу и умереть на ней – но разве я кому-нибудь понятен и нужен?

Россия и русская судьба – вот моя боль! Так много людей в мире, которые нас ненавидят. Так много людей в мире, которые нас презирают. Никого это не наполняет скорбью.

Господи, Господи, почему Ты нас оставил?!

– Но разве Он вмешивался в жизнь людей? Когда я поднял гуннов и бросил их на пресытившуюся Европу, защитил Он культуру и Цивилизацию от варваров, от диких их орд? Защищал ли Он церкви, когда конники Чингис-Хана превращали их в конюшни? Защитил ли Он *избранный народ*, когда новый Аттила миллионы его детей отправил в газовые камеры?

А жрецы святотатственно поучают, будто бы все эти бедствия на людей посылает Верховный Правитель по грехам их, или совершаются эти моры и глады по Его *позволению*, то есть все-таки с Его согласия. Ну, как же, все в мире должно быть, по их учению, от Него – и хорошее и плохое. Самодержавие-с. Единоначалие-с. Все другие начальники – только проводники Его воли.

Так Вседержитель оказывается вроде Пилата – синедрион Христа приговорил к казни, Пилат предложил народу одного из осужденных помиловать. Народ же избрал Малинину и Бушкова, а Пушкина с Достоевским отверг – тогда-то Пилат умыл руки, и распяли Христа с попушения его, как еврейских детей через два тысячелетия "попустил" (?) Всеблагой распять в газовых камерах.

Да я бы за такую теологию языки у теологов поотрывал, а народ, кажется, не прочь у тебя язык оторвать, изо всех немощных сил защищающего Бога от псевдоучеников его.

Так ответь мне – вмешивается ли Отец твой небесный в жизнь человечества, защищает ли Он детей своих – хотя бы иногда, хотя бы в виде исключения? Ну вот как сегодня – может Он тебя защитить? И защитил ли Он хотя бы одного ребенка, обреченного на муки – уж дети-то неповинны в грехах, ни в своих, ни в чужих?!

Поразмысли-ка!

Я молчал, и с немым вопросом обратился к Господу.

"Господи! – думал я про себя. – Если Ты не защитил детей, вправе ли я просить у Тебя защиты? Ты держишь весь мир в своих объятиях, как и солнце согревает каждую былинку, и равно греет и хищника и жертву его, Ты – музыка мира, и в горький час она утешает нас, в светлый час наполняет блаженством – но не приказывает музыка притупиться ножу разбойника. В наших битвах должны уповать мы лишь на свою волю и свою силу, черпая у тебя только нравственную поддержку – но есть нечто Великое, что есть только у Тебя, и на что мы разве не вправе уповать хотя бы в самый страшный час, на костре или на кресте?"

Если только свет с Неба, если только звуки музыки, но не протягивается рука, и никогда не протянется, то я хочу умереть!"

– Нет, дорогой, твой час еще не пришел, нам еще надо о многом поговорить и кое о чем договориться.

– Ваше благородие! – завопил вдруг Смердяков. – Подай копеечку на пропитание.

– Не юродствуй! – строго поправил его *Начальник тьмы*.

– Ваше благородие, ну хоть благодати капельку излей на меня, сирого и убогого, что ты все на блаженных да чистоплюев?!

Начальник тьмы посмотрел на него внимательно. – Сегодня ты будешь камень грызть вместо хлеба, а завтра поюродствуешь – язык вырву, а остальное в Инквизицию сдам, они тебя в разум введут. Цыц, придурок, спрячься в угол!

Смердяков исчез.

Ублюдок протянул ко мне свою потную руку и пух на его голове зашевелился.

– Я знаю о тебе давно, и долго обдумывал то, что хочу тебе предложить. Среди сильных мира сего нет никого могущественнее меня, вся его изнанка, грязь, зависть и злоба, страх и жажда унижения – принадлежат мне.

И все же кое-чего важного мне не хватает – у меня нет достойного помощника, генералы мои тупы, журналисты убоги и трубадуры безголосы. Только я один среди моего ублюдочного войска по своему совершенен, все же остальные – обычные недоноски, спившиеся бомжи, обманутые мужья, отставленные командиры, обойденные честолюбцы, отвергнутые любовники, неудачливые изобретатели, обделенные талантом честолюбцы или просто завистники и мелкие пакостники – а этих-то большинство! С кем я живу и кем предводительствую?! И вдруг счастливая мысль меня осенила – я вспомнил про тебя. Непризнанный Гений, отвергнутый Пророк – вот кто мне нужен! Ты станешь моим наместником, поверенным моих самых тайных и жестоких замыслов!

Ты будешь осыпан почестями больше, чем я – мне почести не нужны.

Власти у тебя будет не меньше, чем у меня.

Богатство? Все золото мира будет к твоим услугам, сила не в состоянии достичь столько, сколько достигает подлость! Что ты сможешь противопоставить моему предложению?

Ты жалостлив? Тебя смущает жестокость? Так на своем посту ты сможешь творить добро, ты сможешь не только казнить, но и миловать, я разрешаю тебе проявлять милосердия столько, сколько захочешь, подлости от этого не убудет в нашем мире. Пусть подданные слагают о тебе легенды, пусть они видят тебя в своих радужных снах, право помилования будет принадлежать исключительно тебе одному. Единственное, что ты должен будешь делать – не мешать нам!

– Так зачем я вам нужен?

– Видишь ли, односторонность, оказывается, губительна во всем. Даже посредственность и пошлость начинают вырождаться, когда им не с чем себя сравнивать, общее место теряет привлекательность, дисгармония перестает резать слух. Ты возглавишь *Министерство идеальных устремлений* и зажжешь в своем кабинете яркий свет – о, насколько чернее и гуще будет клубиться тьма снаружи, оттененная светом внутри!

Я рассмеялся.

– Ты отказываешься?

– Да!

– Но что ты можешь противопоставить мне? Любовь? Но именно она делает тебя уязвимым. Она – не сила, а слабость, и еще более, чем боль.

Я могущественен потому, что не знаю ни страдания, ни сострадания, не чувствую боли и не испытываю жалости (или любви). Поэтому я могу доказать все.

Ваши слабые силлогизмы кажутся вам убедительными, потому что вы их воздвигаете на некотором, как вы полагаете, неоспоримом – и абсолютно неубедительном основании. Но для убедительности необходимо, чтобы подкрепляющее ее *действовало*, обнаруживало себя, вступало в спор в необходимый момент.

Ну, например, дважды два – четыре. Это вытекает из всего аксиоматического строя математики, а сам этот строй является выражением главного принципа, лежащего в основе мышления, а именно, что каждое положение, которое мы выдвигаем, является или *верным*, или *неверным*, неистинным, что существует Истина, и её способ пребывания – гармония и согласованность бытия.

Но ведь Я тоже есть! А я Истину отрицаю, я из нее не исхожу, я исхожу из самого себя. Так ведь и Христос не исходил из Истины, а поставил Себя выше ее, сказав: "*Азь (и) есмь Истина и Путь!*"

Ну, а я возражаю ему – Нет, Ваше Благородие, неправда Твоя, Истина – это Я, а не Ты.

И вот мы теперь убедимся, поспорим, поставим эксперимент, спросим свидетелей, выясним самым убедительным способом, кто из нас прав. Наш результат будет подкреплён точными науками, основан на непреложном, на том, что дважды два – четыре, что целое больше части, что изначальное бесформенно и предшествует всякой форме, а значит является основой. Механика и физика выступают арбитрами. Да и весь опыт человеческий привлечем мы к прениям, чтобы основывались они на подлинной жизни. Будет у нас и судебно-правовая основа, судьи, прокуроры и адвокаты, а главное – *дознатели*, добытчики Истины, наши Кулибины и Резерфорды Правосудия. Впрочем, спросим мы и народ, он не будет безмолвствовать, он выскажет свое мнение в референдумах и плебисцитах – хотя он уже тысячу раз высказывался в мою пользу!

Спросили бы мы и Учителя, но Он ведь в спор, как правило, не вмешивается, Он уже сказал все, что мог, и по сути следующее:

Верь, терпи, не поддавайся страсти!

На зло отвечай добром!

Смирись (с несправедливостью Мира)!

Ну-с, теперь мы приступим к спору – и заметь, это еще не взаврававшийся спор, а только что-то вроде инсценировки, мы тебе представим все в красках, в звуках и лицах, но в действительности это все будет только в твоём воображении и только чуть-чуть, самую малость, дадим мы тебе почувствовать, как оно могло бы быть на самом деле, настолько, чтобы ты все-таки не окоурился раньше времени.

Ну-с, приступаем.

Острые железные зубья врезались в нервные сплетения, и нечеловеческая боль разодрала мою душу.

– Лей на него воду! – донесся далекий голос.

Я очнулся.

– Ну и слабак же ты! Яго, повтори доказательство.

– Пойдите! Что вы доказываете?

– Как, ты уже забыл?! Яго, крути.

– Я вспомнил, вспомнил! Я согласен, дважды два – пять...

– Молодец, схватываешь быстро. Продолжим урок. Пока мы коснулись логических оснований Бытия, теперь рассмотрим иерархию ценностей.

Ты и тебе подобные, самовлюбленные баловни судьбы, высокомерные аристократы Духа, выстраиваете мир по своему образу и подобию, и вам мнится, что мир должен быть зеркалом для вашего самолюбования. *Красота*, говорите вы, *является достойнейшим свойством материи*. Но и этого мало, сообразно красоте выстраиваете вы и дух.

Добро выше зла, красота выше безобразия, ум выше глупости, благородство выше "беспородности", милосердие выше жестокости, изящество выше неуклюжести, гармония выше хаоса, талант выше бесталанности, любовь выше ненависти... О, с каким презрением отворачиваетесь вы от тех, кто внизу, зажимаете нос, чтобы не слышать, как смердят они, сотни миллионов, копошащиеся в зловонной помойке мира! Безобразные, бесталанные, тупые, завистливые, злые, отвергнутые!

Иные здесь с рождения, иных столкнули сюда обстоятельства – бросила жена, обманули друзья, переехал случай.

Здесь разорившиеся, одуревшие от наркотиков, пропойцы, маньяки, разочарованные... здесь все отверженные мира – в лишаих и язвах, в дырявой одежде, с грязными лицами, грязными душами...

Сейчас ты увидишь, легко ли быть отверженным.

Мы можем сделать так, что твое падение будет казаться естественным, и всяк будет думать, что ты пал по своей воле и своей вине. Начнем с того, что перекроем твою душу. Надеюсь, ты не сомневаешься в том, что это возможно?

Я не сомневался.

– Не бойся, мы не дадим тебе умереть, после операции ты станешь *человечнее*, ближе к земле, будешь смотреть на жизнь проще, как большинство, мы тебя научим играть в домино, любить футбол, читать Малинину, кляузничать, завидовать, находить удовольствие в мелких гадостях, тащить что плохо лежит, заискивать... От тебя отвернутся родные, отвернутся друзья, оттолкнет общество... теперь смотри, как ты кончишь дни свои, проведенные в мерзости!

Ах, попики, они не знают, как смирить тебя, как сломать твою гордыню! Ты готов жить в грязи? Или самому стать грязью?

Или попросишь униженно, забыв о гордости, пощадить тебя?

Я увидел омерзительную яму, кишашую гадами, и в этой яме был я, один из них, прошедший все ступени падения.

– Пожалуйста, пощадите!

– На колени!

Меня развязали, и я встал на колени.

– Вот и твоя любимая Жанна стояла передо мной на коленях и отрекалась от всего, во что раньше верила. И высшие силы ни разу не пришли к ней на помощь.

Но я знаю, что гордыня твоя еще не сломлена, в глубине души ты всё еще думаешь, что *высокое* лучше *низкого*, что высоким надо гордиться, красотой восхищаться, перед чистотой и нежностью благоговеть. Ну ничего, сейчас ты все поймешь до конца, ты усвоишь навеки, кто хозяин жизни, кто и что является ее основанием.

...Зря оглядываешься. Никого нет, кроме нас. Никто не увидит, никто не оплатит. Жаль, что смерть твоя не будет эффектной, но в этом-то и состоит наш замысел.

Ты не пойдешь с гордо поднятой головой под пули смердов под бой барабанов, как шли и умирали каппелевцы.

Ты не исторгнешь рыдания у слабонервных, сгорая на костре!

Тебя не будет среди повешенных на Сенатской площади!

Не наденут тебе мешок на голову, зачитав смертный приговор, чтобы через минуту помиловать и даровать всемирную Славу!

Не выведут на расстрел в шеренге соратников!

Нет, ты умрешь жалкой и безвестной смертью, и не только "никто не узнает, где могила твоя", но и могилы твоей никогда не будет!

Тебя затравят собаками, когда упадешь ты от слабости по дороге в зону.

Подстрелит от скуки сторожевой на вышке.

Зарежет пьяный бродяга, чтобы разжиться на бутылку водки...

Или умрешь ты, забытый в штольне, карьере, на рудникé; оставленный отступающей армией; оставленный народом, правительством, семьей и друзьями.

Осмеянный, будешь мечтать о смерти. Отчаявшийся, будешь ее жаждать.

Я могу сделать так, что под колокольный звон будут возглашать тебе проклятья. Бояться помянуть тебя к ночи. Хочешь ли ты этого?

Я уже не чувствовал времени. Меня наполнял такой тяжелый и липкий страх перед чем-то, что должно было вот-вот случиться, что даже боль, казалось, не так сильно терзает, как этот неопределенный страх.

В зале вдруг стало светлее, вспыхнули смолистые факелы вдоль стен, звуки умолкли, наступила тишина.

Меня подвели ближе к столу, за которым сидел скользкий и потный Повелитель Вселенной.

– Ну, что, теперь мы, надеюсь, сговоримся? – тонким голосом спросил он меня. – Экскурсия прошла удачно, ты ознакомлен с нашими возможностями, нет нужды продолжать испытания.

В тебе есть колебания, в тебе нет непреклонности. Как ни странно, я какими то ниточками к тебе привязан – может быть потому, что и ты не обозначил решительно и абсолютно свое отрицание меня – ты словно бы меня жалел, словно бы «входил в мое положение», конечно, осудил, но ничего не сказал – помнишь тот *случай с воробышком*?

Он подозрительно на меня посмотрел, и вдруг кто-то закричал: "Раскольники! Вижу раскольников!"

Толпа устремилась по Звенигородской, а я почел за благо отстать.

– Вот озверели, антихристовы дети, каков Никон был, собака, латинский прихвостень, таковы и они, сучье племя! – вскричал страстно человек дикого вида с большой черной бородой. – Ну, наши намнут им бока, а я здесь в засаде буду ждать, пока назад побегут. А ты сам-то, случаем, не с ними?

– Нет, я в синагогу иду.

– Жид никак? Непохож будто...

– Не, не, я православный, у меня там дело есть.

– Ага, понял. Значит, там *тоже собираются?*.. Ну, иди с Богом!

Я прошел мимо Никольского собора, перекрестился, а через пять минут входил во двор мрачного казенного здания на Лермонтовском проспекте. Но робость мною овладевала, я остановился в растерянности, оглядываясь.

Двор был почти пуст, жаркое июльское солнце палило нещадно, там-сям стояли на коленях какие-то люди в темных одеждах с шапочками на голове, один из них поднял глаза, и, увидев меня, радостно-изумленно вскочил на ноги – Васька, а ты что здесь делаешь?

– Мы знакомы? – я недоуменно уставился на мужчину лет пятидесяти, уже начинавшего полнеть, с круглой блестящей физиономией и веселыми плутовскими глазами.

– Ну, ты, конечно, меня не помнишь, а сам-то за тридцать лет нисколько не изменился, мы же вместе учились на МатМехе, Левка Малкин, может, фамилию хоть помнишь?

– Да, да, так, что-то смутно... Ты чем занимаешься-то?

– Да, вот, уехал в Израиль, обрел веру. Вчера только назад приехал, мать больна, пришел помолиться. А ты? Надеюсь, не молиться сюда пришел?

– Нет, конечно. Пишу книгу.

– Для книги тоже помолиться не мешает, но у тебя *своя* "синагога". Но раз в нашу пришел, и книгу пишешь, значит, дело серьезное, видно, тебя высшие силы направили. Вот тебе еврейская шапочка, *кипа*, надень, без нее нельзя, поднимись на второй этаж, увидишь там такого высокого, с черной бородой, на пророка похож, это наш самый ученый раввин Меир Шмеерсон... Да он тебя знает, утром еще говорил, что ты к нему придти должен – ты ему не звонил?

– Нет.

– Странно, ну, значит и впрямь дело серьезное, и встреча ваша не от одних вас зависит. Ладно, иди, он ждет.

Я поднялся на второй этаж, две симпатичные девушки сидели на скамьях и посмотрели на меня с любопытством.

– Равви! – обратился я к мужчине с черными пронзительными глазами, с аккуратно подстриженной бородой и смуглым красивым лицом. – Я от Левы Малкина.

– Василий Иванович? Очень рад, я о вас слышал. Так, значит, вы пишете книгу? И, конечно же, про Христа? Другой темы не нашли, как только про этого выскочку писать?

– Но разве Его пришествие не было предсказано в Библии? Разве Он не был Мессией, которого ждал и еврейский народ?

– Да, да, Он был предсказан, несомненно, и мы Его ждали, верили в Него и шли за Ним.

Но для нас Его пришествие стало скорее нашествием, концом нашего, хотя и хрупкого, но устоявшегося мира. Мы возлагали на Него великие надежды, и Он их не оправдал. Это для вас Он вершина и цель всего мироздания, мы же относимся к Нему иначе.

Тут равви, говоривший до сих пор достаточно сдержанно, вскочил из-за кафедры, лицо и глаза его разгорелись, голос окреп.

– Мы ждали Его, мы верили в Него, как не верили даже в Моисея. Что Он нам сказал, когда явился? – *"Я пришел спасти свой народ!"* – возгласил Он и повторял это неоднократно.

Он обещал спасти свой народ, а в результате – погубил чуть ли не окончательно. Он возжег костер ненависти к нам, на котором мы горим до сих пор. Спросите самого темного мужика на улице, даже не умеющего правильно перекрестить свой лоб, – кто погубил Христа? *"Жиды погубили Христа!"* – не задумываясь, вскричит он, – *Они Его распяли!"*

Это так Он нас спас, что каждая собака нас с тех пор проклинает?

А за что распяли?

Да, Он был великим Пророком, и мы это признавали. Мы отдали Ему все почести, которые должно было отдавать пророкам – но ведь Ему было этого мало! Он захотел почестей, которые могли принадлежать только Богу.

Он возомнил себя Богом, Он потребовал, чтобы мы Ему поклонялись как Богу!

Он дерзнул на самое немыслимое святотатство – и был отвергнут народом, который даже зло, совершенное разбойником, почел за меньшее преступление.

О, Он многое нам сулил, но мало исполнил. Не говорил ли Он, что пришел только *подтвердить* старый закон – что Он от него оставил?

Спросите правоверного иудея, поклоняющегося и *закону и пророкам* – нуждается ли он в самозванце, отвергшем заповеди, данные его отцам? И какому Богу поклоняемся мы, и какому призывал поклоняться Он, клявшийся, что принадлежит к знатнейшим родам Израиля?

Бог, сыном которого Он себя объявил, это наш Бог, Бог Израиля, а мы – Его верный народ, богоизбранный, который наш Бог обещал

привести в страну обетованную – и дважды исполнил, который Он обещал спасти в конце времен – и мы не сомневаемся в этом.

Но Иисус набрал к себе в ученики бродяг и непотребных женщин, и они Ему поклонялись больше, чем Богу Израиля.

А потом к ним явился отступник от веры отцов, пожелавший стать вторым после Иисуса, и как Иисус объявил себя Богом вместо Создателя, по существу отменяя Бога иудейского народа, так он отменил и сам богоизбранный народ. *"Отныне, – возгласил он, – неть ни эллина, ни иудея!"*.

Но пожали они не то, что посеяли.

Их учение разбелось по языкáм и народам, и каждое племя верит по своему, а наша Вера в Единого Бога осталась незыблемой, и только окрепла.

Да, может быть, Он и хотел принести слово Истины народам, погрязшим в язычестве – почему же не сказал этого прямо, почему не обратился к трусливым самаритянам, лукавым эллинам, жестоким римлянам – почему не пошел смягчать и исправлять их сердца и души, а обратился к моим соплеменникам, попытался их смутить?

Я бы понял, я бы простил, не Он последний, сто лет назад еще один приходил пророк, который не объявлял себя Богом, потому что начал с того, что отменил всех и всяких богов, объявил их ложью и уловкой богатых людей, который тоже, как Иисус, сказал, что все люди – братья, и все одинаковы, все – равны... за одним небольшим исключением – это именно он узнал и возвестил Истину, и три четверти человечества поклонились ему больше чем Богу и Мессии.

Пусть теперь они спорят, кто из них более велик, нам они не нужны оба, они оба – отступники от своего народа! – яростно закричал он и стукнул кулаком по кафедре.

– Значит, примирение невозможно?

– Нет! Да ты и сам разве жаждешь его? Разве тебя заботят французы и эфиопы, англичане или иудеи? Нет, ты тоже пришел спасать *свой* народ, но ты, по крайней мере, не вмешиваешься в установления и заповеди других народов – не так ли?

– Однако, если исходить из фактов, то они прискорбны. Для нас обоих именно ваши единоплеменники – самые яростные проповедники единого народа, соединенного не кровью, не сотворением, не родом (что они объявили вторичным и низким), а – идеей, верой, классовым самосознанием. Заклинание апостола Павла разве не то же, что эпитафия Маркса к его коммунистическому манифесту – *"Пролетарии всех стран – соединяйтесь!"*?

Странным образом, эти два учения едины не только в нетерпимости к инакомыслию – "кто не со мною, тот против меня!" – яростно возгласил Христос, "кто не с нами, тот против нас!" – заклиная коммунисты, последователи Маркса – но они едины даже в том, что их разделяет.

"Возлюбите ближнего, как самого себя!" и "мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!" – на первый взгляд говорят о разном, одна заповедь о любви, другая о ненависти. Но почему же в моем сознании они не спорят, а дополняют друг друга?

Может быть, потому, что и у марксистов любовь к ближнему подразумевается тоже, и даже декларируется – но **после** любви к Пролетариату, который им заменяет Бога?

– Да разве ты не христианин?

– Почему вы сомневаетесь в этом?

– Ну, как же, если ты пришел спасать свой народ, то тебе уже чужды должны быть другие народы, и пролетарии всех стран, и эллины и иудеи, ставшие отныне братьями во Христе...

– Но кем же я могу быть? Буддистом? О нет, я слишком привязан к этому миру, слишком погряз в бытии, чтобы в небытии искать отраду и блаженство.

Мусульманином? Если вы меня хоть немного знаете, то не сможете представить меня унижающим женщину.

Поклонником одной из разноцветных религий Индии? Синтоистом? Огнепоклонником? Образовать свою собственную Секту?

Увы, хотя я и отщепенец, и боюсь раствориться во всеобщем, стремлюсь быть *сам по себе*, и человечеству и его интересам предпочитаю *свой* народ – но еще труднее представить меня местечковым патриотом, приверженцем Клана, Касты, партии, класса.

Я стремлюсь к универсальности. Империя – мое солнце. Всемирная Империя – недостижимый идеал.

Куда же мне идти от христианства? И не потому ли и Христос предал свой народ, что показался он ему слишком узок?

– Однако женщина не бросает своих детей ради чужих, и своего мужа не оставляет в горести и болезни.

Бог Израиля не посчитал нас слишком узкими для себя; зачем же Иисус объявил себя сыном *нашего* Бога, если мы для него недостаточны? Но пришел ли и сам ты к своему народу? Когда-то ты говорил – *если истина и любовь разделятся, то ты останешься с любовью, потому что истина без любви тебе не нужна.*

– Ах, равви, целостности и цельности нет, и душа моя разделилась на части, и мир разделен.

Женщина не бросает своего ребенка, потому что... потому что то, что ее связывает с ним, выше и прочнее всякой другой связи.

Сказано было в Писании – "Крепка, как смерть, любовь, но и крепче смерти. Ибо и от отца и матери отделятся двое, и прилепятся друг к другу, и станут единая плоть!" – можно ли разделить надвое то, что стало единым?

На той скрижали, которую Бог оставил еврейскому народу, были высечены две главнейших заповеди – любовь к Богу и любовь к

ближнему. Их и Иисус из Назарета, которого вы отвергли, подтвердил тоже, и разве не был Он тем самым верным сыном Завета?

Но почти всякий человек живет иначе, и сначала, в младенчестве, дитя прикрепляется к матери, а затем, когда пробуждаются в крови силы жизни, двое отлепляются от своих родителей и прилепляются друг к другу – а о Боге они и вовсе при этом не помнят.

Но разделяются и двое, которые, казалось, соединились навечно. И если прежде женщина не помнила Бога для своих родителей, потом забыла Бога для своего возлюбленного, то наконец она забывает и возлюбленного для своего ребенка.

Вот это и есть главный закон жизни, и он выше, чем любовь к Богу, и чем любовь к ближнему.

Потому-то Христос и говорил ученикам, что лучше не жениться и не выходить замуж, ведь Он велел им бросить всё и пойти за Ним – но осмелился ли бы Он матери повелеть оставить свое дитя и пойти за Ним? И Его собственная мать, Мария из Назарета – разве она осталась с Израилем, который не принял Христа? Разве она осталась с Синедрионом, который осудил Христа? И разве Бога она снимала с распятия, и омывала Его мертвое тело? – нет, омывала она своего ребенка, и дитя свое бездыханное оросила своими слезами – что бы ни утверждали заповеди и учения, заветы и философии, сочиненные мужчинами! Ее любовь и есть главная скрепа мироздания, и создал и вдохнул ее во всякую живую тварь *Создатель всего сущего*.

Глава четвертая. ПЕРЕСЫЛКА.

1

Пробуждение было тяжелым, словно с похмелья – болела голова, ныло тело, сердце стучало тяжело и часто, и душа испуганно пряталась в потайной закоулочек сознания.

"Значит, меня уже подвергали преступным экспериментам, по-видимому, насильно вводили наркотики, или другие снадобья, вызывающие галлюцинации, – подумал я. – Вот отчего сознание у меня спутано, события напоминают сменяющиеся картины калейдоскопа, и я не могу понять, жив ли еще, или уже умер, и в каком времени нахожусь. Кажется, теперь осень семьдесят первого года, я в специальной тюрьме для умалишенных, вчера меня отвели на расстрел, но кажется, я еще жив. Да, теперь мне понятно многое, и Монсеньор, и Индиан Поликарпович – это только бред, а реальность – конвой, санитары, решение о замене сознания и воспитании в стенах сумасшедшего дома достойного советского человека. Но, кажется, я уже от всего отрекся, во всем покаяться, и мне обещали помилование."

Дверь в камеру отворилась, вошел санитар и поманил меня пальцем, охранник ждал в коридоре.

– Ты уже готов?

– Да, да, – быстро ответил я, не зная, готов ли.

– Ты не забыл, что сегодня тебя будет слушать Комиссия?

– Нет, нет, я всё хорошо помню! – снова ответил я быстро, хотя, конечно, не помнил, и ничего не понимал.

Меня ввели в просторное помещение, напоминающее школьную учительскую, или директорский кабинет... или, нет, скорее крошечный камерный театр. Да, верно, меня привели на сцену, справа, в левой ее стороне, стоял стол, за которым сидел Председатель и его заместители; члены комиссии, их было пять человек, сидели в зале. Охранник, который меня привел, сел на стул у двери.

Председатель был в генеральском мундире, один из его заместителей в военном мундире без знаков различия, другой в штатском. Члены комиссии так же были в штатском. Приглядевшись, узнал я Монсеньора и Индиана Поликарповича, но они меня словно не узнавали, смотрели отчужденно и надменно.

Глянул я в зал в надежде увидеть теплый взгляд, человек, сидевший в крайнем кресле, показался мне привлекательнее других, кажется, мы с ним уже встречались.. ах, да, да, профессор С---чевский, светило парапсихологии, мировая знаменитость, и ведь это именно он в прошлом году, когда так же решалась моя судьба, подписал ходатайство о моем освобождении, где весьма хвалебно обо мне отзывался, и даже предрекал мне великое будущее.

– Позвольте, я зачитаю характеристику! – встал Индиан Поликарпович.

...так, так.. испытываемый.. имя рек.. родился, крестился, женился.. Справка из ЖЭКа – общителен, квартплату платит вовремя, с соседями ладит. Справка с последнего места работы – исполнительен, трудолюбив, начальство отзывается положительно.

В партии не был, в комсомоле не состоял, правительственных наград не имеет.. Был в студенческом строительном отряде, две грамоты за хорошую работу..

Вопросы есть? Ваше Превосходительство, пожалуйста.

Председатель встал, кивнул всем головой, и сел снова, облокотившись левой рукой на кресло.

– Ну-с, подойдите поближе, молодой человек... Да вас самого можно вешать на Доску Почета вместо грамоты!

И, заметьте, даже наши сотрудники отзываются о вас самым лестным образом. Как же это, спрашиваю я себя, такой благонамеренный молодой человек так грубо набросился на родную народную власть? Ведь и сам из простого народа, из глухой сибирской деревни, советская власть воспитала его, выучила в школе, дала высшее образование, а при старой власти, капиталистов и помещиков,

был бы он батраком у богатого хозяина, или фабричным рабочим, или прислуживал в ресторане купцам.

Не так ли?

– Ваше Превосходительство, позвольте ответить?!

– Ну, конечно, друг мой, я тебя слушаю очень внимательно, только отвечай кратко и по существу.

– Я не отрицаю, что происхождение значит очень много, а тем более много значит эпоха.

Родившись в 19-ом веке, я мог родиться в дворянской или княжеской семье, и не исключено, что сейчас писал бы Вещние Воды или переводил Гамлета; или, несмотря на знатность, был притчей во языцех под именем графа Хвостова, бесталанного поэта.

Мог бы я родиться и в крестьянской семье, но ведь не обязательно идти в батраки, можно стать блистательным поэтом Алексеем Кольцовым, или открыть собственное издательство, как Сытин, или сделать военную карьеру, как Корнилов или Деникин.

Но, тем не менее, с основной Вашей мыслью я всецело согласен – детям крестьян и рабочих в 20-ом столетии образование получить стало проще, чем в предшествующую эпоху, хотя и тогда были свои Ломоносовы.

Но, Ваше Превосходительство, разве я против народной власти? Разве я набрасывался на трудовой народ? Нет, только на тех, кто, как говорится, "вышел из трудового народа – и не вернулся в него!"

Да на каждом партийном собрании честные люди *набрасываются* на пройдох, невежд, бездельников и казнокрадов не менее, чем я!

– Хм, хм.. Да ты прямо борец за партийную демократию, за чистку рядов и *белые одежды*.. Но ты ведь все время ссылаешься на Америку, твердишь, что у них свобода, а у нас ее нет! Хвалишь капитализм..

– Ничего подобного! Капитализм я ненавижу как и Америку, а что до свободы, то я отстаиваю прежде всего Духовную Свободу – а разве Маркс и Ленин ее оспаривали? Правда, я не согласен с их отрицанием христианства, многие положения которого они тем не менее заимствовали, особенно те, которые..

– Друг мой, не будем удаляться в область философии, мы оба не специалисты в ней. Меня интересует более конкретно твое отношение к народовластию. Или ты считаешь, что править должны капиталисты и помещики, а народ должен на них трудиться?

– Нет, я так не считаю. Я думаю, что трудиться должны все.

В таком духе разговор наш продолжался довольно долго, было еще несколько вопросов с мест, наконец Председатель выступил с заключительным словом.

Он долго блистал цитатами из Монтескье и Монтеня, перемежая французскую речь латынью, но закончил для меня выгодно.

– Наш молодой фронтёр, разумеется, причесал, подстриг, пригладил, как опытный куафлёр, свои взгляды, теперь его чуть ли не в партию

можно рекомендовать – но ему еще до нее далеко, ему еще штудировать и штудировать Капитал, Материализм и Эмпириокритицизм, да и Монтескье с Вольтером не помешает изучить основательнее! До сознательного овладения марксизмом нужны ему годы упорного труда – но кто из нас, положа руку на сердце, может похвастаться, что марксизмом он уже владеет в полной мере?

Тем не менее, не будем слишком строги к желанию нашего... э... слегка заблудившегося доморощенного философа представить свои нынешние взгляды и историю своих заблуждений в наиболее выгодном для себя виде – это его как раз и характеризует с лучшей стороны, ему неловко вспоминать, как он брыкал ногами, как молодой задорный бычок, и пытался обогнать стадо. В молодости мы все нетерпеливы, мудрость зарабатывается ценою ошибок.

Ну, что ж, господа члены Комиссии, думаю, вы с легким сердцем можете подписывать путевку в жизнь молодому человеку, у меня нет возражений. Он нуждался в отеческой опеке, чтобы его отшлепала любящая мать, и опеки его не лишили, более того, как мне рассказали, его даже не отшлепали, а чуть ли не задушили в объятиях.

Но пора, пора уже, дорогой мой, самостоятельно выбирать правильный путь, хватит тебя кормить из соски, жена, поди, соскучилась, да и сына надо воспитывать!

– Ваше Превосходительство! – подал голос с места Начальник Режима, инспектор УМВД РГЖУ, старший советник юстиции Рыбопьяничкин-Коромыслов (или, как его за глаза величали сотрудники, Львов-Ушкуйников), – так Вы рекомендуете..

– Помилуйте, Самсон Перфильевич! – замахал руками генерал. – Чему тут возражать? Вы всё решили совершенно правильно, случай ясный, краснеть не будете, и не бойтесь вы меня, ради Бога, не такой уж я грозный, я тоже могу быть гуманным, не только вы!

– Но мы..

– Успеете, успеете, не волнуйтесь. – И хитрый генерал вдруг заговорил по-французски и потрепал по плечу Начальника Режима. Тот покраснел и ретировался.

Меня отвели в коридор и велели ждать провожатого.

2.

Слева на скамеечке сидели две девушки, лица их показались мне знакомыми...

– Да, это мы, – сказали они в ответ на мой вопрошающий взгляд. – Я – Анастасия, а это моя сестра Мария.

– А кто эта печальная женщина рядом с вами?

– Она пыталась бросить бомбу в Председателя правительства, и была арестована и приговорена к смерти, но накануне казни ей удалось бежать из тюрьмы. Говорили даже, что сам Председатель правительства жалел ее и способствовал побегу. Когда же нас всех убили, и к власти пришли

те люди, во имя которых она шла на смерть, они ее снова отправили в тюрьму, и там она умерла в страшных муках...

Мы про нее читали, о ней много написано. Даже в музее Революции есть ее фотографии и тюремные письма, только ничего не говорится о том, что Революция с нею сделала.

– Так зачем вы здесь вместе с нею?

– Она написала просьбу о помиловании, нужны еще две подписи, мы согласились просить за нее.

– Но разве она не виновата?

– У нее не было злого умысла, она заблуждалась.

– Но как же другие, и как же ваши мучители?

– Большинство из них виновно, но некоторые из тех, кто сражался за *неправое* дело – святые, также как много злодеев и с противоположной стороны. Все зависит от того, стремился ли человек защитить Справедливость, как он думал, и приносил себя в жертву, или же он стремился утвердить *себя* и преумножить свое благо ценою чужих страданий. Вон, посмотри в окно, разговаривают два человека, один из них в рубище, а другой в сияющих ризах – тот, что в рубище, построил церковь в Подмоскovie, а второй ее разнес по кирпичику, но строитель в муках оглядывается на свою несправедливую жизнь, и все его сторонятся, а разрушитель хотя и скорбит о своих опрометчивых поступках, и даже обратился с просьбой к Верховному Совету вернуть его на землю, чтобы он восстановил эту церковь, но уважаем всеми за свою искренность, горячность, отзывчивость к чужой беде.

Строители Светлого Будущего не потому изверги, что не надо было *будущее строить*, а потому, что *строили они светлое настоящее для себя* – на крови и страданиях других – и лгали народу.

Ну, а ваши нынешние благодетели? Каковы они? Прежние изверги ждут их здесь, чтобы выставить свидетелями за себя. – Разве – говорят они, – мы настолько низки, как эти, настолько омерзительны, настолько лживы, корыстолюбивы, циничны, лицемерны, глухи к культуре, так мелочны и расчетливы, столько выпили, столько разворовали, столько растлили, так опустили целую страну, великий народ? Нет, Господи! – вопиют они, – назначь сначала меру воздаяния им, – и тогда мы с легкой душой примем возмездие и за своё!

С тяжелым сердцем отошел я в свободный угол, чтобы разобраться в своих смятенных мыслях и чувствах, как вдруг сзади окликнул меня сухонький старичок, одетый совсем не по сезону, в ветхом белом военном кителе и в фуражке с кокардой. На вид ему было никак не меньше ста лет.

– Сто один, молодой человек! – поклонился старичок в пояс. – Вот уже третий день, как сто второй пошел.

Разрешите представиться, последний капеллевский офицер, поручик Белой Гвардии, полковник в отставке князь Михеев-Глинский, Михаил Артамонович. С кем имею честь?

– Последний русский поэт..

– Николай Степанович?! Батюшка, как же я рад с Вами встретиться, всегда был Вашим поклонником, переживал за Вас, что ж Вы с большевиками-то остались?

– Боюсь Вас огорчить, но я не Николай Степанович, я поэт уже нового времени, более позднего, тогда тоже существовали поэты..

– Не имел чести знать, не имел чести знать, но очень рад, непременно прочитаю, если отпустят – на что я уже мало надеюсь.

– А не просветите ли Вы меня, где мы теперь, и что нас ждет?

– Охотно, охотно, сударь, я ведь здесь старожил, впервые попал в 19-ом году, совсем еще юнцом, служил кадетом во втором драгунском полку, под Иловойской шли мы с барабанами, с развернутыми знаменами, я в белоснежном мундире, с прадедовской шпагой в руке, шел как под венец!

Нет, скажу я Вам, выше этого никогда и ничего уже я не испытывал, тысячу раз прошел бы этим смертным путем, за мною шла сама Русь-матушка с хоругвями и мощами святых, впереди словно образ Казанской Божией матери в сверкающих одеждах, музыка взлетала ввысь, и души наши парили в небе.

Пуля ударила меня в грудь чуть ниже сердца, и я остался жив, но две недели был без сознания – тогда я сюда и попал в первый раз, в Главный Пересыльный Пункт при Высшей Апелляционной Комиссии.

Вон там слева – зал заседаний, справа – камеры для ожидающих этапа, впереди, за углом, лазарет для немощных.

– И куда отсюда?

– А кого как... У кого заслуг много, или есть высокие покровители, прямиком отправляются в санаторий «Райские кущи», кто при жизни дров наломал – на каторжные работы, а то и вообще в урановые рудники, ну а сомнительные отделяются легким испугом и возвращаются по месту прохождения службы.

– А что нам светит, нельзя ли узнать заранее, у Вас уж тут, наверное, знакомства завелись?

– Да, есть кой-какие, я еще в 19-ом с Машенькой, сестричкой из лазарета, подружился, девка – огонь, пойдем, познакомлю.. Но – условие, шашней с ней не заводить! А то она такая... *уступчивая*..

3.

Мы прошли по коридору, у поворота Михаил Артамонович меня оставил и пошел на разведку.

– Может быть, ее уже куда-нибудь перевели, ведь столько времени прошло! Так что подожди меня чуток, я мигом.

Прошло не более четверти часа, и вдруг послышались шаги, и почти вприпрыжку подошел князь. Вернулся он ошеломленный, но в сиянии. Время от времени начинал он тереть свою голову, сияющую как солнце, щипать мочки ушей и тощий бок, но из груди его вырывался только орлиный клекот, не складывающийся в слова.

Наконец, волнение его несколько утишилось, и он выговорил: Там... Они.. требуют.. тебя.. Поход!

– Кто требует? Какой поход?

– Лавр Георгиевич! Сам, собственнлично! Живой! То есть, конечно, он погиб, но... я не знаю, что случилось, я ведь помогал хоронить его, засыпал землей, а тут вхожу – а они все сидят вместе, и Антон Иванович... говорят, будто они под арестом, написали протест, и им ответили, что ждут Поэта, и тогда все разъяснится.

– Так поэт уже здесь, говорю, за углом, милый молодой человек.. то есть, не то чтобы молодой, но... я за него ручаюсь... Правда, он не Николай Степанович...

Неважно, говорят, ведите его скорей!

Мы свернули за угол, и пошли по бесконечному коридору, впереди которого светилось зеленоватым светом окно.

– Васенька, голубчик, только я тебя очень прошу, будь осторожен в разговоре, не рассказывай им ничего о будущем! Особенно с Лавром Георгиевичем будь деликатен, ты ведь знаешь, что с ним случилось позже? Ему это будет очень больно, это же гораздо больнее смерти!

Да и все, что случилось с Россией, частью и до этого февральского дня, а больше в последующие дни и годы, и десятилетия – горше смерти! Революция развязала всё зверское, всё гадкое в человеке, насилие, убийства, мучительства стали естественными, привычными, стали даже потребностью. Насиловали и убивали дочерей, вчерашних гимназисток, доносили на соседа, на свата, на кума, сын доносил на отца, грабили и убивали по поводу и без повода. Грабили и жгли помещичьи усадьбы, и пожгли по России почти все. В 22-ом году вспыхнул голод в Поволжье – не в наказание ли? Миллионы умерли, живые ограбили церковь, только деньги не пошли на спасение голодающих, а на новые бесчинства дьявольской власти. В 28-ом хлынуло раскулачивание – да и оно-то не в наказание ли?

Как и в древности, если это карал Господь, то карал Он сплошь, и правых, и виноватых. Миллионы были разорены и высланы с родных мест – но и разоряли их, словно Мамаевы воины, тоже ведь миллионы! Так не в наказание ли вспыхнул и в 32-ом году голод?

А потом страшный военный пожар полыхнул над Россией, и всех лучших выжгло огнем.

И во все годы, то слабее, то сильнее, работала адская машина истребления.

Да, может быть, и поделом были все эти египетские казни, которые пришлось претерпеть четырем поколениям нашего беспамятного народа – всё Бог хотел ему память вернуть, бил, бил, да так ничего и не добился.

А есть что вспомнить.

31 марта 1918 года под Екатеринодаром разрывом гранаты был убит генерал Корнилов, и на следующий день наши части начали отступление

от Дона. Второго апреля тело генерала Корнилова в скрытом месте предали земле, однако на следующий день захоронение было случайно обнаружено большевиками, искавшими якобы зарытые кадетами драгоценности, тело было привезено в Екатеринодар, где подверглось глумлению и поруганию. С трупа была сорвана последняя рубашка, разодранная тут же на клочья, а труп обезображен ударами о землю и ударами шашек, затем сожжен, но в один день не удалось закончить казнь, жгли и растаптывали ногами, и снова жгли.

Возможно ли это забыть? Возможно ль примириться? Возможно ли простить? И будет ли Воскресение?

В скорби выслушал я почти бессвязную речь князя, но мы уже вошли в комнату, где собрался штаб заговорщиков, там из известных мне были генералы Корнилов, Деникин, Алексеев и Марков. Я вошел, и угловато, по штатски, отдал честь.

– Не надо, не надо! – замахал руками Лавр Георгиевич. – Будьте самим собою, оставайтесь штатским.

Он энергично пожал мне руку и подвел к столу.

– Господа, позвольте представить, это тот самый поэт, которого нам рекомендовал князь Михеев-Глинский. История его запутана, я не совсем ее понял, но это неважно, а важно следующее – во-первых, он дал клятву умереть вместе с нами за освобождение России, во-вторых, он прибыл с письмом от оппозиции, техническая интеллигенция обещает нам помощь.

Но главное, главное, господа – он принес нам весть о Вере, нам верят, от нас ждут подвига, решимости умереть.

Вы готовы? – обвел он присутствующих воспаленным взглядом и нервно потер сухие руки.

– Да, Ваше превосходительство, нам больше ничего и не остается, как умереть, здесь мы в еще большей изоляции, чем в Быховской тюрьме, даже на прогулки не водят, света солнечного не видим, но не в нас дело, больно за Россию, что с нею – не известно, и как отсюда выйти, неясно тоже.

– Антон Иванович, вот для того господин поэт и прибыл к нам, ему поручено нас отсюда вывести. Нам необходимо только принять принципиальное решение – готовы ли мы снова пойти на штурм Екатеринодара?

– Да, да, готовы.. – раздались голоса, и все встали.

– Господа, времени мало, скоро рассвет. Вы услышите звон колокольчика, отсюда вас выведет князь, я присоединюсь к вам позже. Видите ли, мне самому известно не всё, прорыв готовили в тайне, вероятно, падет одна из крепостных стен, отделяющих нас от воли, и все решится само собою. Ждите, когда зазвенит колокольчик. А теперь, господа, разрешите откланяться, я должен вернуться в свою камеру, иначе меня хватятся, бросятся искать, и мы рискуем, что нас обнаружат.

В общем порыве мы бросились друг другу в объятия, невольно по щеке моей покатилась слеза, а уж казалось, что, ничто меня не растрогает, закаменели и душа и тело. Я, разумеется, понимал не больше других, а может быть и меньше, они находились в мартовских днях 18-го года, и не удивлялись этому, но в каком времени находились мы с князем? Тем более, что мы знали, что штурм Екатеринодара уже состоялся несколько десятилетий назад и окончился неудачей.

Но не исключено, что будущее мне только снится, а реальна именно ночь перед штурмом.

Приободренный этой мыслью, я прокрался в камеру и бросился на жесткий топчан не раздеваясь.

Словно ныряю я в реку времени, а где вынырну – не известно.

Скорая ночь обняла меня, и сознание растворилось в тьме.

Глава пятая.

РУДОЛЬ.

1

После того, как я догадался, что случилось что-то с временем, что в нем события перемешались, и поэтому будущее иногда оказывается раньше прошлого, и это такое же свойство моей теперешней жизни, как недельная пурга зимой, когда заносит все дороги и нет вестей из большого мира, ни писем, ни газет, а единственное радио "скрутил" Иван (как говорила бабушка, она к радио относилась с опаской, и боялась, что оно замолчит, когда начинали крутить ручку настройки, а Иван никого не слушал, передавали про Корейскую войну, а он всё песни ловил, вот и докрутился, молчит радио, ни про Корейскую войну, ни про Тито, ни песен про ямщиков) – я не старался уже крутить ручку настройки, и не мучился, где подлинная жизнь, а где кажущаяся, я понял, что это всё – подлинная жизнь, меня словно по реке через пороги несет, а когда вынесет из стремнины, тогда всё успокоится, и события займут необходимый порядок, как точки на числовой оси. Просыпаясь утром, я влетал в грохочущий событиями день, и не успевал вспомнить про вчерашнее, было ли оно раньше сегодняшнего или позже – сегодняшнее длилось годы, века и тысячелетия – я нашел на ручье кремово-желтые цветочки, похожие на тувельки, такие душистые, что дух замер, и я почувствовал, что их благодатный аромат пронизывает всю мою жизнь, впитывается в нее, как дождь в сухую землю. А вечером иногда не было сил дойти до постели, я засыпал за столом около чугунка с горячей душистой картошкой, и моя молодая и красивая мама относила меня уже сонного в постель на руках. "Боженька, миленький, сделай маму счастливой!" – успевал я только попросить перед сном.

Зато менялся смысл и норы времени в болезни, а болел я часто – чего только не думалось, не вспоминалось и не придумывалось в эти томительные тягучие, тесные, как потная рубашка, часы! Я все вырасти поскорее хотел, особенно после обид, и часто придумывал будущую взрослую жизнь, и поэтому мои фантазии и подлинное сплетались в причудливый цветочный венок.

На какой бы поляне хотелось мне умереть? – спрашивал я себя в такие тесные томительные минуты: вот в брызгах утреннего майского солнца выбежала из лесу небольшая полянка, и с краю ее веселый студеный ручеек; вот июньская знойная медовая в высоких зарослях *марьиных кореньев*, и небо как марево колыхнется над головой; а вот тропинка или межа между прохладным лесом и краем гречишного поля – ах, прямо сейчас замереть как жаворонок вдруг останавливается и замирает в вышоте! – и пусть больше ничего не будет, а одно только гречишное поле!

Оказывается, цветочки есть у всего, даже лопухи цветут и лебеда, а у берез и осин цветочки-сережки, гирляндами свешивающиеся с ветвей.

Даже и у репейника есть пора цветения, но потом жизнь не складывается, никто не любит, все обижают, и начинает репейник мстить окружающим за свою нескладную жизнь. Окружающие не виноваты – но и он ведь не виноват, старался, трудился, и вот на тебе – репьи вместо нежных бутонов!

Но о лопухах и репейниках думать долго мне не хотелось, я был со своими милыми подружками – это были девочки, превращенные злой колдуньей в цветочки – надо их расколдовать или самому превратиться, например, в куст розово-красных круглых *огоньков* (или *жарков*).

Солнце было уже высоко, дед поди пригнал коров на отдых, и мама доит нашу своенравную Зорьку; надо ей помочь, прутиком отгонять оводов, чтобы она не взбрыкнула и не ударила по ведру.

"До свиданья, милые тувельки, завтра я снова к вам приду, не скучайте!"

Да им, наверное, и без меня не было скучно, прилетел толстый важный мохнатый шмель и загудел сердито: дескать, иди-ка ты отсюда подобру-поздорову, это мое царство! Ну, может, он и прав. И темные маленькие земляные пчелки кружатся рядом, и бабочки, и стрекоза вдруг затрещала пергаментными крыльями и засверкала на солнце как радуга... Господи, кто же это в таком дивном согласии все устроил? – и облачка ленивые в высоком небе, и редкие капли дождя как маленькие изумруды, и легкий ветерок, навевающий прохладу, и такая вкусная вода в ручейке-роднике, такая же холодная, как в нашем колодце, и паутинка, свисающая с ветки, а по ней бежит деловито паучок, а вон из-за ели выглядывает и сам *"Волишебник Неходи Потраве"* – он движется так, чтобы не примять траву, чтобы все оставалось нетронутое, и я сам по краешку прошел, берегу полянку мою.

Господи, неужели могло это само собою произойти – даже за миллиард лет, как говорил наш учитель? Если только Природа весь этот миллиард лет изо всех сил старалась, чтобы стать красивой и прилаженной во всех своих частичках – ну, тогда она сама и есть Бог. А, может быть, Бог существует особо, а Природа – это его тело? А мы кто тогда?

Ну, как бы там ни было, спасибо тебе, Господи, за то, что мир этот ты сделал таким чудесным, что в нем есть цветы, звезды, ручьи и поляны, великаны кедры, неохватной толщины лиственницы, ягоды, грибы, теплый летний дождь, гроза... да разве все перечислишь, что чудесного нам дано, все прижать к сердцу даже мысленно не удастся! Надо жить так, чтобы не нарушать этого согласия, этого лада в Природе и в мире, чтобы вечером звезды мигали мне одобрительно, чтобы тувельки завтра мне радовались, и чтобы даже пчелы не сердились и не жалили!

Надо было спешить домой, и я побежал, и только было Зорька собралась стукнуть по ведру, я уж был тут как тут.

– Откуда же ты взялся? – удивилась мама. – А я было хотела идти на ручей тебя искать. Мужики уже пошли сено метать, а бабы согреть, найдутся и для тебя грабельки, а притомишься – черничку пособираешь.

Выпили мы по кружечке молока с лепешкой, взяли с собой кое-чего из еды и пошли на сенокос.

Сено в этом году удалось душистое и свежее, дождь шел только при косьбе, потом в три дня все сохло, метались стога и копны, и снова шел дождь, и все, кто умел, махал косами, даже дед Зеленко надел лапти и пошел на ближний лужок со своею почти до ручки сточенной столетней косой. У нас в семье народу было много, на колхозной работе с шести утра отработали, в три пошли домой, и вот за Маяком на Павловском Валу собрались всей гурьбой.

Бабушка осталась дома с малыыми детьми, но и то нас вышло на луг со мною девять душ!

– Ребяшня, айда собирать грибы и чернику! – закричала тетя Нина.

Цепочка детей и женщин поползла от луга в перелесок, сплошь заросший кустами крупной и сочной черники, комары зло жужжали, пот заливал лицо, и я иногда ложился лицом на мягкий мох и начинал ловить губами сладкие ягоды. И вдруг среди невысокой травушки-муравушки крепкое улыбочивое рыжеватое чудо – гриб-боровик на толстой ножке, а вон еще один, и еще! Да тут вся поляна в грибах! Ах, как весело, даже комаров меньше стало, оставили мы женщин ползать за ягодами и разбежались по перелеску в поисках мужичков-боровичков. А когда и за грибами надоело бегать, схватил я грабельки и начал подбирать клочки душистого сена.

Зной утих, солнце повисло на верхушках берез и осин, артель приехала у почти довершенного зарода (продолговатого стога) передохнуть и пообедать. Достали рассыпчатую картошку, бутылки с холодным молоком, заткнутые пробками из газеты (бутылки стояли в теничке под

осиной на влажном мху, по которому сочились прозрачные слезы земли); достали квас, зеленый лук, крупную соль, а кто и кусок сала, разложили на больших зеленых листьях лопуха – Кушайте, что Бог послал! – и каждый брал, что ему по душе было, и такое блаженство шло в душу с общей трапезой!

Нельзя быть счастливым без знойного утомительного труда, соленого пота, скатывающегося даже в глаза и на губы, похвалы старших за старание, гудящих от ходьбы ног и тяжелых притомившихся рук, без россыпи темно-синих ягод черники по изумрудной поляне, улыбчивых крепеньких подосиновиков, важных боровиков, мохнатых гудящих шмелей и безоглядного неба с грядями белых плотных облаков. Ах, да если бы даже раскинуть руки от края до края земли, не хватить всего, что дано человеку в радость!

2.

Время по-прежнему было хаосом, и я принимал его так, как смиряешься со странными снами.

Может быть, меня уже и нет подлинного, во плоти и крови, а существую я только как некая книга, неизвестно кем обо мне написанная, может быть, и мною самим – но случилось что-то ужасное, меня ударило о бетонную стену, переплет отлетел, листы рассыпались, оглушенный, ничего толком не понимающий, я ползаю, собираю листочки и пытаюсь их связно расположить в необходимой последовательности.

Моя семья, соседи, ребяташки, с которыми я играл и учился еще в Корневище, одноклассники в школе столицы Краслага, детские и юношеские увлечения – все перемешалось, и иное провалилось в памяти как бы небывшее, а иное вдруг так ярко вспоминается, словно наяву вижу, или словно впервые происходит, вот только что.

То, что происходило, когда мне было шесть-семь-восемь лет – ярче всего! Позже ли я разобрался в том, что и как было, как фонариком осветил бывшее, или изначально всё понимал? Теперь ли переживаю давно прошедшее, или оно уже тогда, в моем раннем детстве, было таким? Вот и Рудоль... сначала я прочитал в этой рассыпавшейся на листы книге о том, что случилось в конце времен, незадолго до того, как врзался в бетонную стену, а потом прочитал (или вспомнил?) и кусочек из детства.

Он догнал меня уже за Курдосяками, вместе мы пытались найти поворот на Корневище, прошли его, не заметив, дошли за разговором до Тинской Дачи, собирались еще на радостях выпить за встречу, но перед самой *лежневкой* он вдруг исчез, а меня сморил сон, я у Листвянки склонился над водой, выпил две пригоршни, с трудом поднялся наверх, и уснул под черемухой, и так и не понял, наяву это было, или приснилось мне..

... От Курдожак дорога была в гору, на Павловский Вал, поэтому я шел не ходко, и когда заметил, что кто-то догоняет, замедлил шаг.

Подошел мужчина лет пятидесяти, холеный, бритый, в дорогом костюме, в фуражке, с галстуком, спросил, не против ли я, если он будет моим попутчиком, я был даже рад, вдвоем веселее, и завязался разговор ни о чем.

Только когда он начал искать тропинку на кладбище, я удивился, и начал его расспрашивать.

– Зачем вам кладбище? Вы знаете кого-нибудь из Корневищенских?

– Да, знаю...

– По выговору Вы будто из Прибалтики...

– Нет, я из Германии. Немец. Фриц.

– Странно, по-русски вы хорошо говорите, чуть-чуть только в интонации что-то чувствуется..

– Так я русский, здесь и родился, немцем уже потом стал. А папаша мой наоборот, был сначала немцем, даже против нас воевал, в 58-ом ему разрешили вернуться в Германию, правда, не на Родину, он родился в Тюрингии, а пришлось обосноваться в Восточной Зоне, но получил хорошее место, стал редактором отдела археологии в журнале «Коптские Древности».

И вдруг, уже после объединения Германии, сошел с ума, затосковал, поехал в Россию, говорит, хочу *на Родине* умереть, и пропал. Были слухи, что и вправду умер, и похоронен где-то здесь, вот я и пытаюсь найти какие-то следы.

Я остановился, ошеломленный. Ярко вспыхнула картинка из детства, жаркий июль, ребятишки у колодца, возня, беготня, девочки визжат, на меня выливают ведро ледяной воды, тетя Нюра угощает блинами с земляникой, их дом прямо у колодца, чуть спуститься с взгорочка.

Да это же Васька Рудоль, мой первый детский товарищ, сын тети Нюры!

– Как же ты немцем стал?

– Да вы же, изверги, и виноваты! Не помнишь, разве, что как играть в войну, так мне только одну роль фрица и давали, да еще и *наносником* прозвали, за то, что папаша в мороз к ушанке подвизывал специальную тесемочку, чтобы нос укрывать.

А когда мать умерла, мы с Рудодем вдвоем остались, и стала меня манить к себе Германия, еще до того, как я попал в нее. А с папашей, видишь, все получилось иначе...

3.

Муж тети Нюры, Васькин отец, пропал под Брестом в начале войны вместе с моим дядей Василём. Пришло извещение, что "пропал без вести" – а что это значит, неясно было, не то убит, не то, может быть, в плен попал, а значит, надежда есть, что еще вернется.

Ждала она его, ждала, а в сорок восьмом, когда ждать перестала, уже всех мужиков разобрали, да и на тех приходилось на каждого две, а то и три бабы.

Так бы и растила она своего Ваську одна, и даже без той крошечной солдатской пенсии, которую другие вдовы на малолетних детей получали, но в удивительный сентябрьский день сорок восьмого года повезла она в Тайшет в Райпотребсоюз кедровые орехи, а на обратном пути, после рынка, заехала на железнодорожный вокзал – рядом с ним был промтоварный магазин, заказали ей купить фитилей для керосиновых ламп, да соли, мыла и спичек.

В театрах и на балах деревенские наши даже в снах не бывали, но столичную роскошную жизнь ухватывали и они тоже, когда пронесился мимо курьерский поезд, и пронеслась за занавесками окон неведомая *господская* жизнь – так в порывах весеннего ветра доносятся иногда даже до пустынь запахи далекого моря.

Потому и любили мы все, попадая в Тайшет или Канск, ходить на станцию и смотреть на пролетающие поезда, и на публику, которая выходила иногда из вагонов на дощатый перрон.

Любила глазеть на чужую волшебную, как ей казалось, жизнь, и Нюра. И вот идет она по перрону, в телогрейке, обвязана платком до самых глаз, и кирзовые грязные сапоги на ногах, и в этот момент останавливается товарный, выносят из теплушки мертвого человека и кладут на скамейку.

Комендант кричит, что у него своих мертвецов хватает, что ж ты, гад, выбросил бы где-нибудь на перегоне и "списал", как *списывают* старые кирзовые сапоги, а ты нам подсовываешь?!

Но такой уж видно службист попался, щеголяет новенькой кожанкой, военного пороха не нюхал, да и баланды не хлебал, вот из-за таких.. но подписал комендант Акт и пошел звонить в районную больницу, чтобы забрали в морг тело.

А тетя Нюра стоит у скамейки, и ноги, как она рассказывала, как приросли к полу.

И вдруг она слышит страшный такой шопот, будто уже из могилы:

– Мамаша (а было мамаше в ту пору 27 лет), пожалуйста, дай водички!

Она хоть и обмерла, но раз человек живой, дала из фляжки ему попить (эти солдатские фляжки были тогда в каждой семье, и даже на рынке их можно было купить).

– Мамаша, Христа ради, заведи меня с собой, пока не видит никто, а я тебе всякую буду делать работу, я все умею, не пожалеешь!

Многие поступки людей не объяснимы, иногда движет ими Кто-то для них неведомый, и исполняют они Высшую волю. Как в тумане, как во сне или в бреду дотащила тетя Нюра полумертвого человека до телеги, взвалила, и только заехала за угол, как выскочил комендант.

– Да и хрен с ним! – сказал он милиционеру. – У нас тут каждую ночь мертвецы валяются, подберешь подходящего и сдашь в морг, а этот, видно, убёг, ищи-свищи его!

Некоторые сложности были с председателем, но так как в деревне паспортов ни у кого не было, а мужских рабочих рук было мало, то оформили его как ссыльнопоселенца из Ключей, куда нагнали в то время литовцев, которым разрешалось по договоренности с председателями оседать в соседних колхозах; паспортов же и у тех не было, а только справки, но такую-то справку в сельсовете выписали всего за литр.

Звали его Рудольф, но не для наших крестьянских ушей эти заморские имена, поэтому стал он *Рудодем* (что заменило ему и фамилию и имя, а настоящую фамилию никто и не знал и не спрашивал), делал хомуты, чинил упряжь, гнал деготь, подковывал лошадей, возил сено, разводил пилы, точил косы, а окончательно его признали, когда девятого мая, в День Победы, нацепив на гимнастерку купленную по случаю на базаре солдатскую медаль, вместе с другими мужиками плясал он Камаринскую, пел Катюшу и пил самогонку.

Ребятишки его признали еще раньше, мальчишкам вырезал из дерева он вистульки, а девочкам мастерил люльки для кукол.

Против нас воевал он не по своей охоте, и еще в сорок втором перебежал на нашу сторону, но судьба его ничем не отличалась от тех, кто просто в плен попал, а Гитлеру верил как родному отцу – в тех же лагерях, и на тех же нарах потянулись годы, что у них, что у него.

В пятьдесят третьем году, после смерти Сталина, колхоз наш пустился в бега, и уже через три года в деревне никого не осталось, кто переехал на станцию, кто на Шахты, а большинство разбрелось по соседним "Олпам" – Особым Лагерным Пунктам, которые вдруг как поганки выросли и в нашем удаленном от населенной земли углу.

Паспорта покупали все за ту же самогонку, и чуть ли не первой ринулась за паспортом *Рудолева Нюра* (как ее в деревне теперь и звали). (А, кстати, сына ее звали то Васька Рудоль, то Васька Нюрин, а меня звали Вася Манин).

На следующий день была у них в доме *гулянка*, и в первый раз я увидел, как улыбалась неулыбчивая тетя Нюра.

– Ну, Маня, теперь я в Москву поеду жить, ежели захочу, я теперь вольная казачка и законная мужняя жена! Муженек, а ну-ка покажи дорогим соседям, кто ты теперь есть? Дай-ка паспорт, не прячь! Вот, посмотрите, зовут его теперь Иван Генрихович, а фамилия – *Рудоль*!

– *Ванечка*, дорогой, повезешь меня в Москву?

– Что мы там в Москве не видали? Родина моя здесь, здесь я и умереть хочу.

Осенью они уехали, Ваську я после встречал, а Рудоля уже не видел.

Был он старше Нюры на двадцать пять лет, высокий, плотный, похожий на литовца, с пушистыми светлыми усами и непроходящей печалью в глазах.

Глава шестая.

ИСХОД.

1

...В это мгновение словно упала стена, отделяющая меня от мира, словно мне сняли повязку с глаз, словно полог, разделяющий мир на части, разодрался на двое, и хлынул свет, и раздвинулось почти бескрайно пространство.

Нестерпимо было смотреть глазам, и я зажмурился.

И в это мгновение обрушился на меня ураган звуков, тысячеголосые крики, топот ног по твердой земле, скрип повозок, шелканье бичей по мокрым спинам рабов, детский плач и женские причитания. Сознание ко мне вернулось, и я вновь открыл глаза.

Злобно и ненавидяще смотрел на меня начальник стражи, это он ударил меня по голове рукояткой меча, и на короткое время я потерял сознание, но ноги привычно передвигались, я не упал, но продолжал идти.

– Если ты ударишь меня еще раз, тебе придется занять мое место на главном жертвеннике, да еще не подвергнешься ли ты предварительно пытке? Или ты забыл, зачем я здесь?

Я хотел плюнуть в его багровое лицо, но сдержался. Рука его дернулась, опомнившись, он опустил меч, и отошел, утираясь.

Друзья мои закричали – Слава! – их крик подхватили пленники и, после заминки, рабы.

– Друзья мои, не надо бояться! Радуйтесь жизни, друзья мои, пока мы живы – а мы не умрем, пока не встанет солнце в зените. Нас семьдесят семь человек, приносимых в жертву жестокому Богу, и если кто-то из нас не дойдет до жертвенного алтаря, виновный займет его место. Запоем гимн Богу-Солнце, друзья мои!

О, великая сила гармонии!

Изнемогающее стадо бредущих с трудом людей, в которых еле угадывался образ Божий, преобразилось. Матери подняли высоко над головами детей, воины, мои храбрые воины издали клич битвы, рабы подхватили припев.

Напрасно взвивались бичи надсмотрщиков, мы уже были вновь свободны, и смерть не могла отнять нашу честь и достоинство.

Наконец подошли мы к подножию храма, поднялись на его главный портал, и жертвы взошли на Помост Смерти – это была гигантская повозка, которая в назначенное время скатывалась с вершины горы в жертвенную пропасть по дороге смерти.

Меня и Пеолу подвели к Небесным Вратам и прикрепили в специальных углублениях.

Апогеем, вершиной праздника, центром мистерии становился ритуал

жертвоприношения – Небесные Врата вздымались в небо, повозка медленно начинала катиться к пропасти по *Дороге смерти*, бесчисленная толпа у подножия Храма славилла Бога, и по знаку Верховного Жреца столб испепеляющего огня вырывался изо рта и ноздрей гигантского каменного изваяния Бога и одновременно огненными гирляндами расцветали Небесные Врата – это был знак, что жертва принята, что Бог милостивлен, и мир и благоденствие еще на один год дарованы царству.

Я испытывал странное чувство раздвоенности, не полной реальности происходящего, словно видел все это во сне, или находился сразу в двух мирах или двух временах.

– Тебе страшно? – спросил я Пеолу.

– Нет, я только очень устала, я шла босиком, и сбила в кровь ноги, но больше я не боюсь смерти, а боли не чувствую с тех пор, как ты дал мне *священный напиток*.

Мне кажется, что я даже тороплю это мгновение, когда наши тела поглотит огонь, а души, освободившись, наконец-то смогут обнять друг друга. Не горюй, что твой заговор не удался, очень многие во дворце думают так же, как ты, даже мой отец, и заговоры зреют как маслины. Твоя правда не замедлит придти.

Но странное чувство не покидает меня, что все, что с нами происходит, не настоящее, что подлинно мы существуем в другом времени, и там нам суждено быть вместе. Но уже нам пора прощаться. Ты ни о чем не жалеешь?

– Нет, я благословляю судьбу, что она даровала нам любовь, я благословляю судьбу, что в последние земные мгновения мы вместе. Прощай и до встречи!

– Прощай и до встречи! Я люблю тебя! – прошептала Пеола.

Запела труба. Верховный жрец уже поднял руку.

И в это мгновение словно дуновение ветра прошло по миру, и время изменилось. Сияющее в зените солнце подернулось дымкой. Видимая отовсюду и всем, появилась фигура человека в белоснежных одеждах. Он шел, не касаясь земли, и остановился у Небесных Врат. Голос его был не громок, но самый сильный гром не мог бы его заглушить.

– Отныне и во веки веков человеческих жертвоприношений больше не будет! – сказал он. – Я пришел отменить их. Именем Бога живого говорю и заклинаю – человек отныне прощен, я принял его вину на себя.

– Кто ты? – мрачно и угрожающе спросил Верховный жрец.

– В моей стране, откуда я родом, меня зовут Иисус. Моя мать – земная женщина по имени Мария, отец мой – единый Господь всего живущего на земле, и летающего под облака, и плавающего в воде, Тот, которому как будто поклоняетесь и вы, и во имя поклонения приносите кровавые жертвы. Но нуждается ли Он в них?

Я – сын Его едиnorodный, посланный Им на землю для под-

тверждения Его любви и милости ко всем праведным и для прощения заблуждающихся.

Но за всех, и добрых, и злых, любящих и ненавидящих, верующих в истинного Бога и прозябающих во тьме, был я принесен в жертву Отцу, распят на кресте в Иерусалиме, но *воскрес в третий день*.

– Зачем ты явился к нам, поклоняющимся Солнцу и Огню, как поклонялись наши предки? Мы не знаем твоего Бога и не нуждаемся в нем.

– Это мой брат! – указал Иисус на меня. – А это – страдающая сестра моя. Но и вы все отныне – мои братья и сестры.

Жрец подал знак, и тысячи стрел взвились в воздух – и все они пали к ногам Иисуса.

Вновь запела труба, и огонь взметнулся к небу от изваяния Бога, но этот огонь не опалил, а рассыпался миллионами лепестков лилии, падая с неба на головы толпы.

– Я не запрещаю вам верить, как вы хотите, искать и сомневаться, заблуждаться или находить кажущуюся истину, любить и ненавидеть, как вы умеете! – возвысил голос Иисус. – Но именем Бога истинного заклинаю: не творите больше зла во имя того, кому поклоняетесь! Кто же поклоняется Злу, и Зло называет Богом, помните – *Поднявший меч от меча и погибнет!*

И вновь запела труба, и яростный огонь взметнулся к небу от чудовищного каменного изваяния, содрогнулся храм, подножие горы, содрогнулась Вселенная, и мрак наступил в апогее белого дня. И вот мы увидели, как среди багрового пламени каменное изваяние Идола, восседающего на троне мира, медленно встало, простёрло высь руки и начало оседать вниз, земля разверзлась и поглотила его.

Небесные Врата и обручи, которыми мы были прикреплены к ним, распались, и Иисус прижал нас к своей груди.

– Возвращайтесь в мир, вас ждут друзья и родные, завтра – праздник Воскресения Того, кто был принесен в жертву за всех вас.

Не останавливайтесь на слабостях и противоречиях поучений, которыми отмечен был мой земной путь – я был одним из вас, и нужен был разделить многое, что связывает человека с его средой, временем, семьёй и народом. Надеюсь, самонадеянный философ и неудачливый воин, ты меня понимаешь?

Если сквозь толщу случайного времени, которое нас отделило, ты еще вспомнишь то розовое и светлое время наших прежних юношеских встреч и споров, то вспомни и то, как были мы восторженны и доверчивы, как верили мы в будущее, как не сомневались в том, что мир создан для блага!

Я тебя люблю все так же, и ни на что не сержусь. Твои сомнения оправданы, твое недоверие понятно, твоя горячность, порывистость, дерзновенность – естественны для тебя, твои противоречия соединяют тебя с теми, кто тебе дорог, но и с теми, с кем ты воюешь.

Что отделяло тебя от победы вчера утром? Один удар меча, и путь

был бы свободен, и семнадцать твоих воинов разметали бы стражников, и прежде чем подросла гвардия властителя, власть была бы в твоих руках. Но не смог ты пролить кровь отца этой девушки, и не предотвратил большее зло ценою меньшего.

Может быть, ты прав, и насилие останавливается только силой – да, ты несомненно прав! – но в самый важный момент, когда от победы нас отделяет последняя малость, кто-то из слабых и беззащитных, не успевших отбежать в сторону, запутывается в наших ногах, и... промедлив, мы теряем победу. Неужели я не понимаю, как смешно призывать подставить вторую щеку, когда тебя ударили по одной щеке – и я надеюсь, что никто не последует буквально моему призыву – но мог ли я призывать к тому, к чему уже тысячелетиями призывали до меня – *Око за око, зуб за зуб!*?

Да и не в моих поучениях дело, я не сказал ничего нового, каждый, в ком сердце, а не камень, знает все то, что сказал я, не хуже меня.

Вам осталось пройти еще немного, и вы вернетесь в свой мир, но на границе двух миров вас ожидают старые знакомые – Фундыкин, в ливрее лакея и с камнем за пазухой; Индиан Поликарпович, пыгающий примирить оба мира; и холодный и неулыбчивый Монсеньор, ждущий ответа на его главный вопрос.

Друг мой, настала пора прощаться – но прежде этого я расскажу вам, зачем пришел к людям.

Я пришел изменить отношения между человеком и Богом и остановить человеческие жертвоприношения; *отношения Творца и твари заменить на отношения Отца и сына.*

Во мне соединились обе сущности – сверхъестественная сущность Творца, и естественная природа творения; Бог соединился с человеком, Бог воплотился, вочеловечился, для того чтобы человек обожился.

Се, Азь говорю – отныне смертному надлежит стать бессмертным, и как Дух вместил Плоть, Плоти надлежит вместить Дух. Метафизическая бездна между Землей и Небом преодолена. Акт Творения завершен, начинается Акт Сотворчества.

Человек как жертвенный Агнец символизировал Природу, жертвующую собою для *одухотворения*, символизировал Зверя, умерщвляемого в человеке. Необходима была жертва, ибо без нее природа не может быть одухотворена. Заклание Сына Божия означает, что и Дух пожертвовал собою Природе, без этой жертвы не мог бы он *воплотиться*.

История не прекратилась, и Зло будет по-прежнему в жестокой тяжбе с Добром, но вместо преодоления Природы наступает ее одухотворение.

Тьма была внутри человека, а источник света снаружи. Отныне Источник Света будет внутри, а тьма снаружи. Отныне Бог – в душе человека. Но долог еще путь к Преображению.

Впрочем, оставим пока эти философские вопросы. Когда-нибудь ты и сам всё поймешь. А теперь – идите за мной!

2.

Мы шли, держась за руки, наш проводник шагал впереди легко и решительно, но фигура Его словно удалялась, становилась прозрачнее, как тают и исчезают туманные видения в лучах утренней зари.

«Счастливого пути! – донесся как шопот Его голос. – Всё будет хорошо, теперь ничего не бойтесь. То, что произойдет с вами в будущем, определяется уже вашим прошлым, оно – ваш *вид на жительство*. Мы встретимся, когда настанет час. А теперь – *Прощайте и – до свидания!*»

Мы остались одни у массивной металлической двери, за нею в маленькое зарешеченное оконце сбоку виднелся пустынный двор, кирпичная стена с колючей проволокою наверху и приземистое одноэтажное здание, через которое выходили на волю.

«Я – Начальник Охраны!» – представился шуплый пожеванный мужичонка с бесцветным колючим взглядом, с непокрытой головой, на которой рос какой-то желтый пух как у новорожденного цыпленка. Личико его было морщинистое, маленькое и – не то улыбалось, не то гримасничало.

– Документы есть?

– Так у конвоя... – растерянно, но словно подсказал кто, проворкотал я.

– Ах, да, ты ведь по спецразрешению... А этот птенчик с тобой? – указал он на маленькую Пеолу.

– Со мной.

– Ну, ладно.. Оформим как багаж... Твой провожатый знал, поди, что я сам сегодня дежурю, мои подчиненные тебя бы не пропустили.

– А мы уже как будто встречались?

– Ну, как же, не раз. Ну да тебе ведь память отшибло, то-то я смотрю, ты будто во сне. *Птичку* помнишь?

Мгновенно и отчетливо встала картина перед глазами.

Это был Лешка-эпилептик, мы вместе находились когда-то в тюремном Желтом Доме на «реабилитационном отделении», откуда «*до воли – подать рукою!*».

Он сидел за убийство, совершенное с особой жестокостью; болезнь его, по всей видимости, была врожденной. «Паточный клей» – называл я его.

Разговаривать с ним было мучительно, голос его скрипел, говорил он долго и методично, навязчиво, после нескольких лет общения с ним психиатры разработали оригинальную теорию о том, что русская литература девятнадцатого столетия создана *душевнобольными*, потому что торжественно и назидательно ее содержание, медлительны и длинны гирлянды слов.

«Нормальный человек посмотрел бы на Маньку выразительно, и все было бы ей понятно, а у этих Тургеневых и Лесковых мужик все говорит,

говорит... потом забывает, зачем он к Маньке пришел, и она уже и сама не знает, дальше ли ей раздеваться или наоборот шубу одеть» – в сердцах объяснял истоки теории *«вялотекущего психоморфизма классической русской литературы»* главный теоретик школы генерал Невдубзуб (которого подчиненные его звали про себя «Невдубнойгой»). «Год общаешься с Лешкой, и сам все поймешь, и со мной согласишься.»

Понял и согласился я уже к вечеру первого дня.

Особенностью нашего учреждения было то, что мозги у большинства были набекрень, а души вывернуты наизнанку.

Мы жили словно в рентгеновском кабинете, попытка отгородиться, спрятаться, замкнуться приводила только к худшему. Даже ночь не прятала, в камере-палате всю ночь горела стосвечовая лампа, дверь была без щеколды, к тому же в ней было окошко как и в тюрьме, и ночью надзиратель (или медперсонал) каждые полчаса проверяли, все ли в порядке в зверинце.

Днем до отбоя можно было ходить из камеры в камеру, и больше всех досаждал Лешка, он по хозяйски входил, открывал тумбочку, вытаскивал содержимое, часть забирал себе, иногда, правда, принося кое-что обратно.

Так как проверялись и письма, так как полагалось даже рассказывать сны на собеседовании с врачом, так как ничего нельзя было ни думать ни писать тайного, то я и вовсе раскрыл все окна и двери души и жил нараспашку.

Может быть поэтому меня любили – узники, конвоиры, медсёстры, врачи.

Писем я писал сколько хотел; рискуя карьерой (а может быть и свободой), врач передавал их моей жене, минуя цензуру, и от нее приносил не читая. Я понял, как необъясним человек и как необъяснима жизнь – протопоп Аввакум из земляной ямы рассыпал по России еретические письма, принц Фомвивонг бежал из тюрьмы вместе с охраной, а к боярыне Морозовой, умиравшей от голода в подвале монастыря, приходил царь Алексей Михайлович, и стоял перед нею на коленях, обливаясь слезами.

Так ярко вспомнил я жизнь в реабилитационном отделении, что на несколько мгновений словно перенесся в нее, и увидел воочию, как раскладывает на кровати мои пожитки Лешка-эпилептик, и вновь слышал его скрипучий голос.

«Ох, какая цаца! – осклабился Лешка, глядя на фотографию моей жены, которая стояла на тумбочке. (А меня предупреждали психиатры, что я играю с огнем, решившись выставить фотографию молодой красивой женщины среди полусотни душевнобольных, большинство из которых совершило тяжкие преступления, в том числе на сексуальной почве.

«Ну, цацу я беру себе!» – сказал он.

Конечно, я мог бы с самого начала прервать эти странные отношения, еще в первый раз, когда мне принесли передачу, и две трети ее Лешка забрал себе, придя ко мне со «шмоном»; через пять минут его привела под конвоем медсестра и велела ему все отобранное мне вернуть.

«Я разрешил ему взять все что хочется, но с условием, что он поделится с товарищами».

После этого каждую передачу, которую мне приносили, Лешка делил по своему разумению.

– Я тебе хоть раз в чем-то отказывал? – спросил я.

– Нет! – радостно ответил Лешка.

– Всё, что принадлежит лично мне, ты можешь брать. Но фотография принадлежит не только мне. Более того, я рассчитываю на тебя, надеюсь, ты не позволишь никому другому ее у меня нечаянно взять.

Так фотография осталась у меня на тумбочке, а Лешка предупредил каждого, чтобы они не смели подходить к ней близко.

Происшествие с птичкой произвело на всех тягостное впечатление.

Прекрасным летним вечером в открытую форточку влетел воробышек, и кто-то из больных его поймал.

Все столпились у окна в коридор, несли воду, крошки, воробышка передавали из рук в руки, гладили его крылышки, чуть ли не целовали, но каждый был осторожен и боялся сделать неосторожный жест, который не так истолкуют – а друг за другом подглядывали, подслушивали, сплетничали и доносили. У многих за плечами было даже по несколько убийств, это было заведение для очень опасных людей, в душах которых, возможно, еще тлели угольки зла (исключая нескольких политических, которых злая власть разместила здесь для исправления).

Наконец, дошла очередь и до Лешки, воробышка передали ему в руки, он оглядел всех победно, недобрая ухмылка исказила, собрала его старенькое личико в кулачок, и вдруг изо всех сил шмякнул он маленькую беззащитную птичку об пол.

В ужасе от него отодвинулись и отвернулись даже те, кто сидел по «мокрому делу»

Он был полезен врачам и охране, он был их глазами и ушами, двери ведь ни у кого не запирались, и он ходил *от рассвета до заката* (от завтрака до отбоя) по всем камерам-палатам, никому не давая покоя, даже врачам, и никто не решался с ним скандалить, эти узники были беззащитнее обычных арестантов, их срок содержания под стражей зависел только от их поведения – но несколько дней, словно сговорившись, с ним никто не разговаривал, не подходил к нему и я.

Ко мне он пришел на четвертый день.

«Человека об пол или об асфальт шмякнуть не жалко, а птичку пожалели... А меня разве не шмякнули? Да и остальных.. Только мы сами, что ли, во всем виноваты? Большинство из нас жизнь довела – или Бог! Ты меня осуждаешь?»

«Мне больно.»

«Что, птичку жалко?»

«Нет, тебя. Но птичку тоже жалко, она то уж точно не виновата ни в чем! Ладно, я поговорю со своими, чтобы разговаривали с тобой.»

И вот *Начальник охраны* (но это был он, *Леиска-эпилептик*) стоял у чугунных дверей и выпускал меня на волю.

Еще видение вдруг возникло, словно я страшный сон вспомнил, и там, во сне, он был *Повелителем Тьмы*.

– Ну, что, вспомнил? Как видишь, долг платежом красен. Ладно, бывай! Может и еще когда-нибудь свидимся, всякое в жизни бывает...

Он сжал мою руку в холодной потной ладони...

– Да у тебя жизнь тоже не сахар! – постарался я взглянуть на него со всем возможным дружелюбием. – *Бывай и ты!*

3.

Пройдя через двор, подошли мы к сторожке, за которую уже была воля, но перед воротами сидела и злобно ворчала громадная черная собака.

«Урик, пошел прочь! – закричала, выглянув, маленькая скрюченная старушка. – Васенька, да никак это ты? Вот Господь сподобил свидеться! Неужто не узнаешь меня?»

И она вдруг запела дребезжащим тоненьким голоском:

– *Зима, метель, и в крупных хло-о-пьях....*

– Варвара Георгиевна?! – всплеснул я руками.

– А это с тобою кто? Ах ты, проказник! И где ты такого ангела нашел? Ну, повезло тебе, что я сегодня дежурю, меня ведь даже Сам слушается, неужто тебя я не выпущу?! А приказ я не читала, не видела я никакого приказа, я его в печке нечаянно сожгла, заходи, голубчик, чайку на дорожку выпьете, дорожка-то ведь еще длинная, но уже мытарства ваши скоро кончаются!

Мы зашли в сторожку, сели за стол, застеленный ветхой, с заплатами, но чистенькой скатертью, Варвара Георгиевна бросила в печку какую-то бумажку, и сразу же запел самовар.

Да, воистину, в жизни бывает всякое...

Мне показалось, что словно дуновение прошло по комнате, в окно светит тихий апрельский вечер, за столом сидим мы с милкой, еще совсем молодые, недавно только поженившиеся, разливают рубиновое вино будущий ковбой, «первопроходец Анд», и робко у края стола примостилась маленькая скрюченная старушка, которая, в отличие от нас, и теперь не изменилась ни капельки.

Несколько дней назад зашел я в столовую (почему-то в этот раз я обедал в столовой), и обратил внимание на несчастную старушку, жалостливо стоящую в ожидании сбоку от раздачи.

– Чего она ждет?

– Да вот третий день уже приходит, мы ей супу наливаем. Лежала в больнице, и пенсию не успела получить, а те деньги, что были, она потеряла.

Я взял ей супу и винегрету, дал немножко денег, а на следующий день пригласил к себе в гости, и потом уже с милкой мы опекали ее до самой ее смерти.

В этот вечер, который вдруг выплыл очень резко из памяти, сидели мы за самоваром и за бутылкой красного вина, и после маленькой рюмочки особенно много рассказывала она о своей жизни и пела романсы.

– Я вам сейчас Апухтина спою, его Липковская тоже пела, такая была красавица, все даже плакали, особенно когда она так высоко, бывало, возьмет – и Варвара Георгиевна дребезжащим голоском пропела известные строки знаменитого романа:

Она была-а-а.. мечтой поэта...

И слава ей венок плела!..

Мы с ней на одной площадке жили, раскланивались, а напротив еще одна жила, тоже актриса, и после переворота она стала любовницей Урицкого.

Когда мой братик, царство ему небесное, ему только семнадцать в декабре исполнилось, на свидание пошел, я ему говорю, не одевай форму-то, а он в кадетском училище учился, ну, как же, говорит, Анюта меня в форме видеть хотела!

А после мы с Анютой носили нашему Сереженьке передачи, ну, конечно, их ему не передавали, но хоть говорили ему, что мы ходим, и от него передавали весточку, хоть два слова, и вот я унизилась, пошла к этой паскуде, в ножки ей поклонилась, поговори со своим-то, для тебя он, может быть, и сохранит Сереженьке жизнь? А на следующий день приходим, матрос, который передачи от нас принимал, всё, говорит, не носите больше, вывезли, говорит, их на барже в Финский Залив и затопили баржи...

Снова дуновение прошло, и вот мы уже в сторожке сидим и чай пьем.

– Что ж, ты, Васенька, к адвокату со мной не пошел, постеснялся, я ведь на тебя хотела все отписать, Апухтина стихи жалко, ведь не было у меня никого родных, а так и книги все, и обстановку, и кружева – всё чужие люди забрали, и комнату чужим отдали, а ты так и мыкался без своего угла.

– Да стыдно мне было, словно я за награду Вам помогал...

– Да всё равно награду-то получишь, не тогда, так теперь.. Это не дочка ли твоя?

– Племянница.. – смущенно сказал я.

– Ну пусть и племянница.. а хоть и не племянница... Вот когда я должок тебе отдам, тридцать пять лет ждала, пойдем, я ворота отопру, а

Урика на цепь посажу, хватит, налотовал он в семнадцатом.. Слава Тебе, Господи, не ушла я с дежурства, как чувствовала, а кроме меня ворота тебе никто б не открыл, приказ, видишь, был – не выпускать тебя! А куда тот приказ задевался, не знаю я, может нечаянно в печке сожгла..

Ворота заскрипели.

– *Зима, метель, и в крупных хлопьях.....* – дребезжащим голосом затянула Варвара Георгиевна. – Когда папенька мой, полковник, был жив, я на Литейный на каток ходила, я ведь не кто-нибудь, полковничья дочь, ко мне много кто сватался.. Но жила я счастливо, пятьдесят лет с мужем прожила, как один день, а когда схоронила его, тебя встретила, и женку твою, чистого ангела, а теперь вот и племянницу... Возьми ее, голубчик, на руки, и иди, не оглядываясь. Христос с тобой, никакая уж темная сила не одолеет вас, мимо Индиана будешь проходить, в длинные разговоры не вступай, скажи только, что Бог, наконец, усыновил человека, для того и приходил Иисус!

А с супостатом и вовсе не разговаривай, мягко он стелет, да жестко спать.

Прощай, голубчик, помни, что кто вместил боль мира, но остался верен любви, тому откроется и все остальное.

Глава седьмая.

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

1

Выйдя за ворота, мы увидели в зарослях бурьяна и чертополоха поросший мхом столб, на котором была прибита ржавая покосившаяся вывеска из жести "Ничейная полоса".

"Немудрено, подумал я, что вывеска так проржавела – полоса все-таки ничейная! Уж коли на нашей *родной* земле большей частью все ржавое и покосившееся, то что уж пенять на *ничейную*!?"

Сбоку, метрах в пятидесяти, стояло новое нарядное здание, свежелокрашенное, с затейливой вывеской славянской вязью – Трактирь "Приют вольноотпущенника".

У входа какой-то человек энергично махал руками, подзывая нас. Я почувствовал, что машет он неспроста, что именно мы ему нужны, и взглянул в нерешительности на Пеолу.

– Зайдем на минутку, – грустно сказала она. – Хотя и хочется поскорее отсюда уйти, но мне надо хоть немного помочь своим сбитым подошвам. А может быть у них найдутся старые дырявые ненужные башмаки?

Хозяин встретил нас радушно, оказывается, на месте трактира раньше была полуразвалившаяся конюшня, но как только разрешили частную собственность, он взял ее в аренду на пятьдесят лет, и сделал из нее почти что дворец.

– Спутницей вашей я сам лично займусь, – пообещал он, – а вас уже ждет накрытый стол, и важный господин желает переговорить с вами тайно. Лица своего он даже мне не открыл, и не разрешил входить в комнату – полная конфиденциальность! Да, смею заверить, у нас даже нет подслушивающих устройств, запрещены, специальная комиссия проверяет нас чуть ли не каждый день.

Я вошел в маленькую уютную угловую комнату, единственное окно которой было закрыто плотным дубовым ставнем.

Небольшой столик был застелен белой льняной скатертью, стоял кувшин с вином, два оловянных бокала, в деревянной чашке лежал нарезанный крупно сыр и маслины.

Через несколько минут вошел высокий стремительный мужчина, резким движением откинул капюшон с лица – это был Иисус.

– Ты не удивлен, мой друг?

– Нет, учитель.

Мы обнялись так крепко, словно встречались впервые с тех пор, как учились вместе в Лицее.

Будто внимая моим мыслям, Иисус ответил:

– Да, трудно было наши предыдущие встречи принимать за реальность, они ведь казались тебе или сном, или воспоминанием, не так ли?

– Да, мой друг! Я видел их словно из другой действительности, более подлинной, или, по крайней мере, они были вплетены в ткань *«как бы двойного бытия»*, но не определяли происходящее, и словно не участвовали в нем.

И только теперь я осязаю тебя из духа и плоти вместе, даже аромат прекрасного Хиосского вина струится мне в ноздри. Эту встречу я ждал, но уже почти не надеялся.

Не значит ли это, что теперь я воистину скоро умру?

– Нет, скифский задира, ты не умрешь еще долго, у тебя ведь эта, как ее... *миссия*... или *юдоль*? – и он рассмеялся. – Кстати, почему тебя называли *скифским задирой*?

– Отец мой привез из похода на Восток мою мать, но она была не пленницей, а дочерью одного из скифских князей, и их брак скрепил мир между скифами и империей. Но в детстве меня часто дразнили моим происхождением, и я не спускал обидчикам.

– Да, как это не похоже на то, что я говорил – *"Ударившему тебя по одной щеке, подставь другую!"*. Да ведь и я не спускал обидчикам, но скоро понял тщету споров и противостояний, не говоря уж о войнах. Да ведь кто-то и из ваших скифских князей при подписании мира воскликнул – *"Братья, перекуем мечи на орала!"* Не так ли?

Мы выпили, вино было сладким и крепким, и я захмелел мгновенно.

– Вот и хорошо, хмель развяжет нам языки, хотя они у нас и так не были связаны.

Я знаю, что ты надеешься понять и узнать многое, если не все, да и твой странный друг Индиан ждет тебя у границы ничейной полосы с подробным отчетом (или "показаниями"?)

Но я уже позаботился о многом.

Чтобы не отнимать время у нашего свидания, я попросил одного из своих искусных в письме учеников передать Индиану отчет, там он найдет все, что так интересовало его, и будет удовлетворен. Не все тайны будут в нем приоткрыты, но глубокий ум ценит сокровенное, и Индиан найдет пищу для своих размышлений надолго. Однако, он почувствует, что доверие разлито в мире до последних глубин, и никто не отвергнет, кто только не отвергает окончательно Красоту и Сочувствие.

Однако, надеюсь, мы встретились не только для философской беседы. Разве ты не хотел меня видеть просто по дружески после столь долгой разлуки?

– Да, Галилеянин... я тебя тоже буду называть твоим школьным прозвищем, ты не против? Те блаженные годы, когда мы вместе стремились узнать истину, когда она открывалась нам вместе с красотой и сочувствием (и я согласен, что это чувство даже шире любви и не исключает ее) – были лучшие годы нашей жизни! Потом ты исчез (и говорили, что ты отправился по следам великого Александра, посетил Индию и Тибет, и даже отгородившийся от всего мира Китай), потом вернулся в Палестину и начал проповедовать Покаяние...

– Да, мой друг, все было именно так. А потом мы встретились на несколько мгновений в тот трагический день, который переменял и мою судьбу, и, как я надеюсь, судьбу всего мира – но нас уже разделяла *тайна*.

Прежде чем мы начнем о ней говорить, советую не жалеть ни вина, ни маслин, ни козьего сыра – помнишь, как мы улетали его, сидя ночью у стены Парфенона? Давай же поднимем кубки и за тех друзей наших, с которыми не суждено нам увидеться!

Ты прав – нет ничего блаженнее отрочества!

Я медленно пил вино, казалось, ко мне возвращается вкус жизни, ее аромат, ее непередаваемое очарование, пьянящее без вина веселье, которое испытываешь от токов нагретого солнцем гречишного поля, от предвкушения поцелуя, от легкого пробуждения на рассвете, от сладкой истомы засыпания и полыхающей в полнеба летней зари.

Иисус отошел к камину в углу комнаты, и бросил в огонь несколько мелких поленьев. Повинуясь безотчетному чувству, я подошел к нему, и приобнял за плечи. Так мы простояли довольно долго, молча вернулись к столу, он налил полные бокалы.

– Позволь, друг мой, сказать мне первый тост, ты в пожеланиях нуждаешься больше, чем я, поэтому я скажу о тебе.

Не растеряй доверие к миру, которое тебе дано как дыхание. Наши

пути различны, твое обетование *здесь*, мое – *там*, но нет между нами непреодолимой границы, ибо там мы пожнем только то, что посеем здесь. Праздному и злomu трудно надеяться на милость Высшего Судии, хотя она безгранична. Ты – верный друг, прилежный пахарь, щедрый сеятель! Я поднимаю бокал за то, чтобы твои семена взошли, и поспела жатва, прежде чем наступят в душе твоей зимние холода!

– Прекрасный тост для того, кто призывает не заботиться о завтрашнем дне! – засмеялся я. – Галилеянин! Если бы я не знал, что главное в твоих словах – это поэтический взлет, не знающий преград – я не любил бы тебя так восхищенно. О, как часто я сам призывал тех женщин, кои мне восхищенно внимали, брать пример с лилий водяных, и не требовать у меня земных благ! Но твои ученицы были более терпеливы, да и не обещал ты им ничего кроме страданий.

Мы осушили кубки до дна, и более к вину не прикасались до конца разговора.

– Я догадываюсь, о чем ты будешь спрашивать меня, – сказал Иисус. – Ответа, после которого все вопросы излишни, я не дам. Пока человек жив, он ничего не может знать до конца, только смерть рассудит и удостоверит; даже не смерть, а то, что будет после нее. Но тебя интересует лишь то, что находится с этой стороны границы, разделяющей мир. Однако, прежде чем отвечать на твои вопросы, я должен буду сделать некое предварительное заявление, словно предисловие к роману.

Так автор, повествующий от первого лица, призывает читателя не смешивать его со своим героем, дескать, автор – это одно, а герой – совсем другое. Мы же должны будем объявить саму нашу сегодняшнюю встречу в некотором смысле недействительной – так будет лучше для нас обоих. Представь себе, что ты рассказываешь о ней в кругу даже доброжелательно настроенных слушателей – и то иные из них обвинят тебя в клевете или недобросовестности. Но совсем другое дело, если мы беседовали во сне, или во время твоей болезни – всё, что я скажу, что ты спросишь или возразишь, будет оправдано – ведь это не более чем сон или галлюцинация!

Однако, с другой стороны, если не было наяву нашей встречи, то что бы мы ни сказали, никто не захочет задуматься о наших словах.

В чем же выход?

Но разве ты не чувствуешь, даже независимо от нашего условия, что происходящее призрачно? И, все-таки, можешь ли поручиться, что это только сон? Нет.

Вот ключ к нашей встрече – она словно бы воображаема – но она действительна!

Она действительна – но нет никого, кроме нас с тобой, кто мог бы удостоверить ее действительность!

Происходящее – не во сне... но "*как бы во сне*"...

И когда приведут тебя на суд Инквизиции – а это непременно случится! – ты скажешь – тогда я был уверен, что разговор наш подлинный, но поручиться за его подлинность я не могу, так как ведь и в самом деле был болен, и временами проваливался в беспамятство.

И когда придут ко мне ученики мои, и потребуют объяснений, я отошлю их к тебе.

Согласен ли ты с такими условиями нашей предстоящей "философской" беседы?

– Согласен, учитель. Великий Архимед многие свои открытия увидел во сне, но от этого они не стали менее подлинными.

– Вот и прекрасно. Так спрашивай, я готов к самым трудным вопросам.. как на экзамене по математике.. когда, впрочем, только благодаря твоим подсказкам сумел я избежать неудачи.

– Друг мой! Мы вместе с тобою протирали штаны на школьной скамье, пили тайком янтарное критское вино, воровали виноград на южном склоне Олимпа, ставили в тупик самых изощренных оппонентов в дискуссиях.

Я последний обнимал тебя в тот ужасный день – накануне этой страшной ненужной казни. Может быть, ты увидел меня за несколько мгновений до своей смерти, лицо мое было заплакано, и я не стеснялся и не таил эти слезы, стоя среди старших легионеров... Пилат, ведь, как известно, отказался придти на казнь, и многие из наших тебе откровенно сочувствовали.

Я видел, как твое бездыханное тело, после удара копьем, завернув в полотно, отнесли в пещеру, по вашему варварскому обычаю, и завалили камнями.

Через день я уехал навсегда из вашей выжженной солнцем и спорами земли.

Скажи мне – воистину ли ты воскрес?

– Как сказал мой самый ревностный ученик, превративший мою проповедь покаяния и искупления вины во имя жизни *здесь* – в проповедь "*жить аки умереть*", отказаться от мира и подчинить всякое слово и всякий поступок в приготовление к жизни *после смерти*: "*Если Иисус Христос не воскрес, значит и жизнь Его и смерть напрасны, и вера наша тщетна!*"

Для каждого я воскрес по вере его. Некоторые уверяют, что встречали меня после распятия, а один даже вложил персты свои в мои язвы, и лишь после того уверовал. Разве и сам ты не будешь уверять, что беседовал со мною, и получил ответы на самые важные вопросы, которые тебя мучили, но встреча наша была *словно во сне*, и только поэтому ты не можешь привести неопровержимых свидетельств в пользу того, что она действительно состоялась?

Тем более, что не до конца уверен ты даже в том, что все еще жив, а не блуждают последние видения в твоём угасающем сознании, прежде

чем покинут его и мысли и чувства... Ты пытаешься выглядеть не сломленным, ты собираешь последние остатки мужества, но испытания твои продолжаются, и они почти непосильны. Ты хватаешься, как за поддержку, за самых достойных, но почти все они – уже только тени. Среди живущих ты не находишь отклика. Их житейские интересы далеки от твоих размышлений, да и сам ты далек от их чрезмерно приземленной жизни. Ты одинок почти так же, как был одинок и я, когда в последние мгновения взывал безответно к небу. Свеча почти догорела, пламя колеблется, и в каждое мгновение может угаснуть. Что тебя ждет? Кроме небытия и забвения есть только одно – то же, что *почти Воскресение*, но, как и хочешь ты, не там, а здесь, не после смерти, а до нее. Будет ли оно у тебя?

Оно возможно. Помнишь, ты сам утверждал, что Судьба – это не Фатум древних, исчисленный до мгновений, но соединение двух сущностей – твердой, косной, малоподатливой, подобной силе тяжести, которая клонит нас книзу, и – воспарение духа, нашей воли, мечты, озарения, помощи людей и Богов.

Я надеюсь, что ты допьешь до конца чашу страданий, предназначенную тебе, и начнется новая светлая жизнь. Надейся и ты.

Теперь я слушаю следующий твой вопрос, о котором, впрочем, догадываюсь.

– Догадаться не трудно, каждый, кто отваживается мыслить, спрашивает о том же – только не все получили ответ, тем более не все могли получить его из уст единственного, кто его доподлинно знает. Так скажи мне, друг мой, что означают твои ссылки на Отца небесного? В большей ли степени ты Его сын, чем все мы, смертные, ибо все мы – дети Его?! Действительно ли ты сын Божий в том смысле, как это установлено в Символе Веры?

– Если начинается Символ Веры со слова "Верую", то утверждением Веры он и заканчивается. Других свидетельств в нем не содержится, каждому человеку знание дается по вере его, и все, что он может узнать, это свидетельства моих учеников, святых подвижников, и его собственный мистический духовный опыт. Возможны три ответа на твой вопрос – я могу сказать, что Я – Сын Божий – но не уверен, что сомнения твои на этом закончатся, ты склонен думать, что я сам искренне заблуждаюсь, что я внушил себе эту идею из самых благих побуждений, и уверовал в нее так глубоко, что невольно Вера моя передается и моим ученикам и последователям. Ты, как Фома, пока не вложишь персты в язвы души моей, ни в чем не будешь удостоверен.

Мог бы я сказать, что я такой же человек, как все, и, следовательно, в такой же степени, как и каждый, являюсь сыном Божиим – но я отвечу тебе иначе...

Предположим, что я человек, будем исходить в нашей беседе из этого предположения, но.. даже тебе я не могу сказать, так ли это на самом деле.

Возможно, мое происхождение должно оставаться тайной, чтобы человек оставался свободным в своих поисках Истины. Бог боится вмешиваться в мирские дела чрезмерно.

Итак, *допустим, что я человек, хотя это недостоверно.*

Что еще ты хочешь узнать? Или тебя интересует только одно – действительно ли Бог снизошел до человека?

– Можно быть сыном и не быть им одновременно... В римском праве имеется процедура *усыновления*. Твои ученики говорят, что ты пришел усыновить людей Богу, примирить их с Богом, искупить их вину, взяв ее на себя.. Если возможно усыновить человечество, то почему бы предварительно не начать с того, чтобы тебе самому *стать* сыном Бога по взаимному согласию, не будучи им по рождению?

Меня мучает проходящая красной нитью через Иудаизм, а затем ставшая осью учения твоих учеников идея о глубокой *виновности* человека перед Богом, в результате которой человек утерял бессмертие. Проповедуется, что ты пришел – или послан Богом – для искупления этой вины, и для *спасения* человека и мира. И наша жизнь должна повторять твой подвиг – от рождения до смерти мы должны изживать в себе порочный, грешный мир, преодолевая и испуляя вину – ты искупил ее *онтологически*, нам следует искупить ее *феноменологически* и подготовить себя к Воскресению. И будто бы в этом *весь* смысл жизни.

Я не смею сказать, что покаяние пагубно – оно делает человека тоньше, глубже, возвышеннее. Даже если мы ни в чем не виновны, ощущение вины благотворно, мы не становимся от него хуже. Одно то, что мне дано больше других, что я способен постигнуть те тайны мироздания, о которых иные даже не задумываются, наполняет меня ощущением вины. Простите меня за то, что я счастлив! – говорю я несчастным. Простите за талант! – говорю бесталанным. Простите за то, что меня любят! – говорю я обделенным любовью.

Но смотреть на жизнь только как на средство, отвергать её, иссушать, преодолевать ее в себе и в мире, перестраивать мир в кладбище – нет, мне это не нравится, и я не могу поверить, что ты пришел для того только, чтобы проторить нам дорогу к смерти, за которой нас ждет воскресение, что ты пришел отнять у нас жизнь, или призвать нас отказаться от нее самим в обмен на воскресение и жизнь вечную. Как будто обмен этот выгоден, мы отдаем жизнь временную, получаем вечную... Но я от такого обмена отказываюсь.

Я понимаю тех, у кого в этой жизни нет привязанностей, любви, страсти, цели, у которых жизнь скучна, неинтересна или невыносима... Как неинтересную книгу не хочется дочитывать до конца, и с радостью готов обменять ее на другую, так же почему бы унылую и беспросветную жизнь не выбросить, тем более если обещают нечто сказочное взамен? Но зачем воскресение после смерти и вечная жизнь тому, кто сгорает от великой любви, и ради нее готов отдать не только жизнь временную, но и

вечность? Даже разговор с другом не хочется прерывать, и кто согласится прервать его ради иных встреч и иных разговоров? И какая мать отнимет дитя от груди, потому что ей предложили нечто иное, и согласится больше с ним не встречаться, и готова будет утешиться?

Но может быть цель твоего прихода иная?

– Одного кувшина вина недостаточно для столь серьезного разговора. Что, если мы наполним наши бокалы простой ключевой водой?

– Если вина больше нет, из твоих рук приму я и воду, и она покажется мне вкуснее вина. Ах, друг мой, у меня все сильнее ноет сердце, меня страшит то, что я предполагаю услышать.

– Но ты ведь хочешь узнать именно это? Познание тебя наполняет болью, но отказаться от нее ты не можешь.

Иисус наполнил наши бокалы, и воистину вода в них была лучше вина.

– Что бы сказали мои ученики, видя, как я пьянствую тут с тобою, между жизнью и смертью, между двух миров, спорящих между собою за души людей – ведь помимо добра и зла спорят еще и оба мира, настоящий и грядущий, и не менее запальчиво!

Ну, что ж..

Ты – человек, и это несомненно. Ты испытываешь мир, чтобы узнать, что в нем истинно, и что неистинно, что от Земли, и что от Неба. Но и то, что от Земли, ты испытываешь тоже, ибо известно еще от Гермеса Трисмегиста, что все, что на Небе, подобно тому, что на Земле, и мы пожнем на Небе только то, что посеем на Земле.

Ты испытываешь и Бога, ибо человечество поклонялось многожды ложным богам, и являлось множество пророков, которые говорили, что они от Бога, но оказывалось, что их Боги служат злу.

Но, может быть, чтобы не искушаться и не обманываться, лучше отказаться от богов и надежды на небесное, а надеяться только на земное, только на человеческое, и пытаться устроиться на Земле согласно врожденным в нас представлениям о красоте, истине, добре и любви. Человек может ошибаться, народ может заблуждаться, но в конечном счете от заблуждений и через заблуждения мы возвращаемся к правде и красоте, и не все ли равно, руководит ли нашим возвращением к правде Бог, Он ли вложил врожденное нам понимание добра и зла, или существует оно так же непреложно, как сила тяготения заключена в материальных вещах? Мы подчиняемся ей, и не говорим, что подчиняемся потому, что сила тяготения создана Богом. Так же мы будем подчиняться Добру, отказавшись от Богов и надежды на небесное, и думая, что кроме человека и его совести в мире нет более ничего, что являлось бы мерою и источником надежды и веры.

Мы с тобою обсуждали это не раз еще в годы нашего ученья в Лицее.

И что же?

Есть мужчины, которые могут обходиться без женщин.

Есть женщины, которые могут обойтись без мужчин.

Так же есть множество и мужчин и женщин, которые могут обойтись без Бога, и среди них есть хорошие и плохие, как и среди тех, которые не могут обойтись без Бога, есть и хорошие и плохие.

Вот так же иные обходятся без музыки, а иные без неё не могут обойтись и дня.

Но мы с тобой принадлежим к тому человечеству, которое томимо духовной жаждою, мучается любовью и любознанием, и проживает жизнь на земле так, словно это любовный роман, содержанием которого являются наши отношения с Богом.

Не ходил ли ты под окнами, за которыми скрывалась твоя возлюбленная и не хотела тебя впустить, и даже через окно поговорить с тобою? Не появлялось ли у тебя непреодолимое желание запустить в ее окна камнем?

Вот, допустим теперь, что и я человек, и это несомненно. И я хожу под окнами, и окна закрыты, а Бог молчит и не разговаривает с нами.

Может быть, его там и вовсе нет, и даже никогда не было?

Отчего Бог молчит? Оттого ли, что мы провинились?

Некоторые полагают, что мир погряз в грехах, что он пал, что он растлен, и вместо того, чтобы страдать по сему поводу, говорят – отряхнем прах этого мира с обуви своей, Бог нам воздвигнет иной мир, на небе, лучший в тысячу крат!

Блаженны так думающие! Быть может, и воистину воздвигнет для них Бог царствие небесное по вере их.

А я усомнился, как и ты.

Да что же это Он все молчит? – в страдании спросил я себя. И так ли уж мы перед ним виноваты? А что, если Его все-таки нет? Или мы Ему не нужны, и Он о нас позабыл? Или до нас не снисходит?

И с ужасом я вдруг увидел на лицах людей еще пуще сомнение, а иные и вовсе махнули рукою, и жили так, словно Его никогда и не было.

Что бы ты сделал во имя культуры, которая для тебя дороже жизни, если бы от тебя зависело, существовать ли ей, или погибнуть?

А мой Бог был мне дороже твоей культуры. Вот в чем между нами разница – твоим Богом была Культура, мою культурой был для меня Бог.

Бог умер – или никогда не существовал – понял я в беспримерном отчаянии. Или, если Он существует, то забыл о людях, и безмерно перед ними виновен.

Тогда меня поглотила дерзкая мысль – спасти Бога, оправдать Его, испустить Его вину, выдав себя за Него.

И я начал проповедь сначала в отдаленных уголках Иудеи.

Говорить, что это я сам – Бог живой, явившийся с неба, было труднее, чем проповедовать от Его имени, объявляя себя Его посланником и пророком, и поэтому сначала я утверждал, что я –

человек, в которого Он излил Дух Свой для спасения человечества, и лишь постепенно облеклась в плоть и кровь идея, что Я Сам – Сын Божий, рожденный Им от земной женщины и в духе и во плоти.

Объявив себя Богом ради спасения Бога, я скрыл от людей, что делаю это, чтобы искупить молчание и вину Отца небесного; нет, я говорил об искуплении вины человеческой, которую Господь наш готов простить ради меня, Своего Сына. Да, я запустил камнем в окна небесного чертога, чтобы прервать молчание, – но не из тщеславия, а из любви.

Я спасал Бога – но спасал и человека, потому что не могу представить того бесконечного одиночества, которое человек испытает, когда узнает, что он один, что Бога нет и никогда не было.

Разве мне нужно было поклонение людей? Разве нужны были мне почести? Не из гордости и гордыни стал я Богом – но для того, чтобы отменить пустоту и бесцельность мира, уничтожить одиночество, наполнить жизнь смыслом – и пусть мои последователи ссорятся между собою и учат о разном – одни о *преображении* мира, другие о его *отвержении* – зато теперь они не одиноки, Бог к ним пришел, полюбил их, страдал за них, умер за них и воскрес ради них.

А иначе – ничто, бездонная пропасть, тупик, небытие...

Я один знаю горькую правду, но до конца даже тебе не сознаюсь в ней – она слишком печальна.

– Господи, как тяжела Твоя ноша! – прошептал я, не в силах сдержать рыдания.

– И твой путь нелегок, – промолвил Иисус. – К несчастью, время нашей встречи истекло. Но мы еще встретимся.. хотя бы для того, чтобы поддержать друг друга.. да и не все вино выпито.. и не вся вода..

Мы обнялись.. и вдруг все исчезло – таверна, вывеска, пыльная дорога.. я стоял как будто у последних ворот, босоногая девочка в дырявом платье радостно всплеснула руками и бросилась ко мне на грудь. – Ты опять не помнишь меня, – сказала она грустно – но это ничего не значит, ты ведь чувствуешь, что мы неразделимы?

Я это чувствовал так же, как безмерную боль, которая меня наполняла, и безмерное счастье, что она жива.

– Мне неважно, кто ты – Пеола, Жанна или другая – во всех обличьях ты одна и та же, и я никогда не расстанусь с тобой, – говорил я, целуя царапину на ее щеке.

– А вот со мною, увы, тебе придется расстаться! – печально сказал Индиан Поликарпович, неожиданно выйдя из-за ворот. – Никогда я не думал, что так могу привязаться.. да и ты, пожалуй, равнодушен ко мне..

Я пожал его руку вместо ответа.

– Прочитали мы твой отчет, и Монсеньор тебе благодарен.

Возможно, ты не до конца откровенен, но ты обозначил *мглу*, которая тщится поглотить и небо и землю, и которая является нашим общим врагом.

Грустно мне расставаться с тобою, но, как знать, быть может, еще мы и встретимся, тем более, что, как я слышал, ты переходишь на литературное поприще, и Монсеньор похвалил твои первые опыты.

А я, возможно, перейду на работу в другой отдел.

Ну.. чуть не сказал – с Богом! – но по службе мне не положено так говорить, мы, разведчики, скорее "По ту сторону добра и зла", как выразился один ваш известный философ... однако, в Добрый путь!

Да, кстати, привет тебе от Фундыкина, он теперь на дипломатической службе, утюгами больше не балуется, пользуется новыми технологиями.

Обнимемся?

– Индиан, да разве у меня на тебя есть обиды? Что было, то было, и быльем поросло! А выйдет моя новая книга, обязательно тебе перешлю, и с дарственной надписью. Мы ведь с тобою почти соавторы!

– Вот за это спасибо!

Он смахнул слезу, стиснул меня в некрепких объятиях (старее, подумал я), отвернулся, махнул рукой, ворота распахнулись, и мы с моею спутницей оказались на поляне, поросшей первыми весенними цветами.

2.

Весна была светлой и радостной, ночью опускался на землю теплый туман, утром сияло солнце, и запахи травы и цветов так густо заполняли все вокруг, что временами было больно дышать. Мы спустились к ручью и шли вдоль него до самого края Большой Горы, до излучины, где ручей поворачивал в обход горы, разливаясь на десятки протоков, и окаймлял множество островков, сплошь заросших подснежниками, синими, пронзительно синими, на толстых стеблях. И нежными, от белых до нежно-голубых с розовым отливом внизу лепестков – *пролесками*.

Даже ступать было боязно, так густо кругом росли цветы, хотя оставались еще и снежные прогалины, и бежали вдоль них ручейки ...

Вот и лощинка между двумя холмами, поросшая молодым осинником, в конце ее пробегала речка Листвянка, а на другом берегу мы попадали на старинную охотничью тропу, ведущую прямо на гору Верблюд.

Золотистое солнце только начало разбрызгивать желтые капли по листьям осин, небольшим островкам снега и пробивающейся там-сям изумрудной траве. Мохнатые толстые стебли прострела с синими цветочками так и норовили попасть нам под ноги, но мы шли осторожно, а перейдя по камешкам Листвянку, весело зашагали по твердой набитой тропе.

– Дед мой в молодости хаживал на эту гору, – сказал я своей спутнице. – Если выйти до рассвета, и не останавливаться, то еще до

полудня мы будем уже на вершине. Главное, не сбиться с дороги, она временами еле видна, а в черное лесье и вовсе пропадает, поэтому редкому человеку удавалось дойти до конца. Радуйся миру вокруг, и не думай о дороге, тогда даже и не заметишь, как уже будем на месте.

А там – только спуститься на другую сторону, и пойдут уже обжитые места, да и должны нас ждать наши родные.

И действительно, жизнь, наконец, начала нам улыбаться, шли мы легко и быстро, не чувствуя усталости, и не сбиваясь, и в двенадцатом часу дня поднялись уже на Великую гору, побывать на которой мечтал я целую жизнь, но всё не складывалась судьба.

Вот сухое дерево, около которого ночевал мой дед, прежде чем отправиться в обратный путь, а вот и крест, поставленный в память тех, кто не вернулся назад.

На самой вершине была ровная площадка, в одном углу ее стояла полуразвалившаяся охотничья избушка, от нее начиналась еле приметная тропка, по которой легко уже было спуститься с горы по другой ее стороне, и выйти на большую дорогу. А там уже было жилье, люди, и даже изредка проезжали автомобили.

– Моя ненаглядная, здесь тебе уже ничто не угрожает, тебя встретят у подножья горы, а я еще не все долги заплатил. Посмотри!

С западной стороны склон был пологий, поросший кустарником, видна была ровная долина внизу, в левой ее части начинались предместья Екатеринодара, линии окопов, частые цепи красногвардейцев, замерших в ожидании, а по полю, то утопая в оттаявших бороздах, то выходя на твердый наст, шла плотная колонна обреченных людей.

Впереди нее с барабаном в руках ровным строевым шагом, иногда пошатываясь от старости, шагал ветхий князь.

Он оглянулся, заметил меня и помахал рукою. Колонна остановилась.

– Солнышко мое, прости меня, ты сохранишь о нас память и передашь своим детям, и может быть они довершат наше дело!

Я поцеловал ее в чистый лоб, она схватила мою руку и прижала к губам.

– Друзья мои, простите меня за задержку, судьба ведет меня каким-то странным кружным путем, но слава Богу, она все рассчитала достаточно точно. Я успел, и это главное. Мы погибнем вместе. Достаточно ли у нас патронов?

– Патроны еще есть, – глухо ответил генерал Корнилов, – но мы решили не открывать огонь.

Мы пойдём строевым шагом, не останавливаясь, под бой барабанов, и место павшего будет занимать тот, кто идет сзади. Это наш последний поход, я знаю, что штурм будет неудачен, но после нас по этому пути пойдут еще тысячи и сотни тысяч. Вы с нами?

– Ваше Превосходительство, вопросы излишни. Я шел к вам целую жизнь.

Если разрешите, я пойду с вами во главе колонны – Вы, князь, и я.

Дело в том, что противник выступил нам навстречу, и их ведет сам Повелитель Тьмы. Вот он идет, ухмыляясь, я вижу, как пух на его голове, словно белый венчик, колеблется ветром, а в руке его камень вместо меча, креста или хлеба. Он выступает от имени обездоленных, и логика его подкупает. Только тот, кто поднялся из бездны, может с ним сразиться.

– Полк, слушай мою команду! – закричал главнокомандующий.

Сегодня решается Судьба России. Мы сражаемся за Свободу, Честь и Отечество! Огня не открывать, последний оставшийся в живых пусть продолжает нести знамя, пока не погибнет.

Наше дело не пропадет. Если его не продолжат живые, мы встанем из гроба, и выступим снова в поход!

За нами сорок поколений наших предков, Владимир Мономах и Александр Невский, Сергей Радонежский и Дмитрий Донской, Козьма Минин и князь Пожарский, Суворов и Кутузов, иконописцы и строители храмов, поэты и пахари, купцы и бояре, за нами русский народ в его полноте, а наш противник – обманутая и безумная чернь!

Музыканты, играйте "Прощание славянки"!

Строевым шагом, с высоко поднятою головою, за мно-о-о-о-й!

Я взглянул на лицо Михеева-Глинского, оно сияло небесным огнем, по щекам катились слезы радости.

Неожиданно налетела редкая на юге весною снежная вьюга, ветер бросал нам в лицо мокрый снег, шинели схватились льдом.

Упрямо, выставив подбородок, шёл вперед адмирал Колчак.

Капитан Неженцев поддерживал под локоть раненого Корнилова, но Лавр Георгиевич не замедлял шаг.

Деникин готовился подхватить знамя из слабевущих рук вождя, был суров и сосредоточен.

На правом фланге заметил я Капшеля, Маркова и барона Врангеля.

Сзади шли донцы и кубанцы.

Так начинался *Второй Ледовый Поход!*

"Жизнь сама по себе не имеет ценности. Только любовь!" – повторял я как клятву, продолжая идти.

"Но я ведь еще почти не жила," – возразил жалобный голос той, которая была еще слабее меня.

Кто-то, кого я не видел, ответил нам – "*Ни о чем не беспокойтесь, Я буду с вами.*"

Барабаны звенели все тише, но знамя трепетало вверху.

Я останавливался, смотрел в ее синие глаза, сжимал ее руки...

"Неужели мы снова вместе? – удивлялся я. – Или я уже умер?"

Вдруг ее лицо побледнело, и она начала падать.

– Я ранена, – прошептала она, – у меня кружится голова.

Я взял ее на руки, и понес, и вдруг почувствовал, что скоро вспомню, почему мы здесь, и кто мы такие.

Я почувствовал, что скоро узнаю, что самое важное.

Если я не узнаю Истину и Откровение, значит, я напрасно жил.

Если не могу я спасти то, что люблю, что мне дорого, без чего невозможно жить, значит, напрасна и смерть.

Важна ли вечность, ради нее ли мои страдания?

Ради нее ли мучительная смертная жизнь?

Жизнь, смерть и Воскресение – это ли роковой треугольник, самый основной, самый главный?

– Согласны ли мы теперь умереть, если своею смертью спасем нашу Родину? – закричал Главнокомандующий.

– Да! – ликуя, отозвались все, кто еще мог говорить.

"Так разве в Воскресении сердце Истины? – спросил я себя. – Я боюсь смерти, и мысль о Воскресении меня не утешает – недостаточна моя вера. Но если мы победим, то и жизнь и смерть мои будут оправданы, и последний вздох в этой жизни будет блаженством.

Но утешит ли меня Воскресение, если погибнет то, что мне дорого?

Нет, скажу я, захлебываясь болью. Если погибнет то, что я люблю, то я жил напрасно. Напрасно умер. И напрасно воскрес. Зачем мне тогда Воскресение?"

А. И. МИХАЙЛОВ

ПУТЬ К КНИГЕ

(размышления об авторе и его героях)

Книга – это словесная ткань, соединение, связь слов (по латыни – *текст*), в которую усилиями наделенной творческим даром личности преобразовывается жизнь. И не только картинami и событиями (отмелькавшими давно или недавно), наполнена *книга-текст*. Она пульсирует так же тончайшими колебаниями всех доступных человеческому сердцу чувств, и отражает неисчерпаемое многообразие всех проявлений интеллектуально-духовного и общественного бытия своего создателя – от отвлеченно-умственных и благоговейно-молитвенных созерцаний до всякого рода волеизъявлений и стратегий актуального характера, включая протест против взаимоотношений и способа *быть*, как отдельной личности, так и целых структур бытия, так и полемику с устоявшимися мнениями.

Кстати, с полемики мы и начнем.

Начиная разговор о книге Василия Чернышева, как-то не очень хочется соглашаться с известным утверждением Некрасова о приоритете общественной деятельности перед творческой. («Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!»)

Что гражданин? Он приходит и уходит, не оставляя и следа в приливах и отливах вечно беспокойной, мятущейся общественной и политической жизни нации в смене ее, как еще совсем недавно любили у нас говорить, социально-исторических, устаревающих и исчезающих формаций. А вот книга, по-настоящему запечатлевающая всю эту смутную временную рябь бытия, а главное, сам феномен бессмертной души ее создателя, останется. Каждая эпоха имеет такую книгу. И не одну. «Боль и Любовь» Василия Чернышева является одной из них, вобравшей в себя дух и плоть нашего трагического *переломного* времени. Но, увы, только в смысле перехода от одного века и тысячелетия к другому, но не от старого к новому, худшего к лучшему, чем как раз и обусловлены определенный пессимизм и разочарование, проходящие через данную книгу. Хотя всем жизненным и творческим путем автора тональность его последнего произведения предопределялась стать иной, поскольку это был путь, при всем его драматизме, героический и подвижнический.

Существовать *нелегально* по отношению к своей эпохе – едва ли не преобладающий знак его судьбы.. Он и на свет появился в самый смертоносный, как бы запретный на жизнь год в истории России 20-го века (1942-ой), когда ничем, казалось бы, другим, кроме как минимумом надежды на свое выживание и максимумом истребительных побуждений по отношению к врагу не было занято сердце русского человека. Это было незадолго до гибели где-то в болотах под Ленинградом его отца. За

рождением последовало другое нарушение должного – крещение в младенчестве, запрещаемое идеологическим диктатом советской власти с ее системой казарменного гугаговского социализма. Следующим отступничеством от навязанных правил жизни стало позже такое же тайное венчание.

Нарушением (и, несомненно, дерзким!) исторически сложившихся неписаных канонов интеллигентской судьбы было и то, что Чернышев, оказавшийся в будущем диссидентом и антисоветчиком, последователем изгнанных из страны философов-идеалистов, родился не в одной из столиц, с их всегда готовой полемизировать с властью идейно ненадежной интеллигенцией, а в глухой деревушке Иркутской области (проникновенно воссозданной в настоящей книге), то есть в глубинах и толщах тех самых любезных правящей партии «масс», верноподданность которых она мнила несокрушимой.

Расплачиваться ему пришлось, когда к цепи этих относительно еще мелких нарушений присоединилось обнаруженное «недреманным оком» карательного органа власти крупное его преступление – мышление и чувство вразрез тоталитарной эпохе (называвшейся, кстати, в начале 70-х годов, когда Чернышев был арестован, ни много ни мало «*эпохой развитого социализма*»).

За полугодовым заключением в Большом Доме на Литейном последовало насильственное помещение в специальную психиатрическую клинику. (Тогдашнему его состоянию в виде фантазмагорий, галлюцинаций и видений, носящим, кстати, в книге композиционно-структурный характер, посвящено немало ее страниц.)

Спасение пришло изнутри, из собственных духовных, интеллектуальных ресурсов, накопленных в результате занятий философией и литературой, начиная еще со школьных лет, когда будучи учеником старших классов, Василий опубликовал в районной газете несколько принесших ему скандальную славу рассказов. Затем – приезд на рубеже 50-60-х годов в Ленинград, поступление на математический факультет Университета (носившего тогда, к несчастью, имя известного погромщика русской литературы и поэзии – Жданова) и самые серьезные занятия философией, размышления о смысле жизни, религии.

По окончании ЛГУ начинается его официальная преподавательская деятельность, разумеется без отрыва от постоянной упорной работы над устройением своего духовного, творческого мира. Уверенный в своем призвании автор пишет стихи, рассказы, философские эссе. Всё это, не предназначавшееся для печати, было перепечатано им на машинке, переплетено в виде трех

отдельных томиков и составляло круг чтения самых близких для автора людей, среди которых оказался и тот, который на Чернышева донес... (История в среде русской оппозиционно-настроенной интеллигенции в общем-то не новая.. Да и новая ли на свете?!).

Опальный гражданин столь идеологически жесткой и несокрушимой империи однако не пропал. У него оказалось достаточно духовных сил преодолеть пресс тоталитарного режима и выжить, тогда как его собственное существование уже сопровождалось предначертанным обреченным «*Менэ... Тэкл... Фарес..*» [Бог исчислил царство твое, оно взвешено на весах и разделено – *Библия, Даниила, V, 25-28*].]

С первых же лет перестройки Василий Чернышев включается в весьма активную и плодотворную деятельность по возрождению России на самом ее несомненно значительном поприще. Вместе с сыном Дмитрием он задумывается об открытии издательства, целью которого стал бы выпуск литературы отнюдь не коммерческой, а философско-религиозной, а также исторической и художественной. Затея по нынешним временам почти безумная. И все же издательство такое вскоре открылось – с названием «Глаголъ» (с твердым знаком – еромъ – на конце), восходящим, по объяснению издателя, к девизу Пушкинского Пророка «Глаголом жги сердца людей!»

Наладился выпуск, одна за другой стали выходить книги, и не просто книги, а в полном смысле «бестселлеры» отечественной духовной литературы. «Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские» (о создателях Кириллово-Белозерского Успенского и Ферапонтовского Рождества Богородицы монастырей в Вологодской земле, основанных в 14-ом веке), «Жития протопопа Аввакума, инока Епифания и боярыни Морозовой» (впервые изданы вместе жития духовных вождей русских староверов), Сочинения Дионисия Ареопагита, ученика апостола Павла, адресованные апостолу Тимофею (это первый перевод знаменитых богословских трактатов на русский язык).

В серии «Многоликая Россия» вышла книга Данилевского «Россия и Европа». Последний раз полностью она выходила более ста лет назад – в 1885 году. И вот эта книга, которую высоко ценил Достоевский, вновь вернулась к читателю. К столетию великого поэта России Сергея Есенина был выпущен «необычный сборник стихов поэта с религиозно-философской тематикой – проникновенная лирика, высокий дух» (В. Чернышев).

Среди наиболее известных книг – «Храмы Петербурга».

Вдохновленный ее успехом, Чернышев задумывает работу над серией альбомов-справочников (в 35-ти томах) «Храмы России, с

описанием храмов всех конфессий (в том числе и разрушенных). Это издание обещало стать настоящей энциклопедией храмового строительства в России.

В 1995-ом году Российским правительством книги издательства «Глаголь» были названы одними из лучших, они вошли в число победителей на конкурсе «Культурная инициатива», а «Дионисий Ареопagit» попал в десятку «интеллектуальных бестселлеров России».

Кроме книг издательство выпускало ежеквартальный литературный, философско-религиозный и историко-художественный журнал «Мъра», где публиковались материалы о трагических судьбах русской интеллигенции 20-го века, равно как и многие другие.

В планах издательства значился выпуск литературы только высокой пробы – «Зарубежные русские православные монастыри и храмы», «Библиотека литературы древней Руси» в 20-ти томах. В серии «Древнерусские сказания о достопамятных людях, местах и событиях» – «Святитель Стефан Пермский», «Мартирий Зеленецкий», «Сказание о Валаамском монастыре». Готовились к выпуску дневники и письма М. Добужинского, а так же уникальная «Энциклопедия русского вокала».

У издательства была своя концепция подбора издаваемой литературы, по поводу которой сам издатель высказывался так: «Я думаю, что наша продукция призвана реформировать душу народа. Необходимо *духовное преображение*, не политическое, а духовно-нравственное. В серии «Многоликая Россия» запланирован выпуск книги «Юродивые Руси». Юродивый в моем понимании – почти святой, обладающий даром прорицания»

Подлинной жемчужиной издательства стало, однако, научное факсимильное издание уникального памятника славянской культуры 15-го века – «Радзивилловской летописи». Эту ценнейшую рукопись не смогла издать даже Академия Наук СССР (дело ограничилось только слайдами, которые стали уже выцветать). Издательство Чернышева – смогло! И не просто смогло выпустить, а именно по высшему разряду: первый том – великолепное цветное факсимильное воспроизведение рукописи с 618-ю уникальными миниатюрами, второй – перевод текстов на современный русский язык, комментарии исследователей и описание иллюстраций. (Деньги на это издание были даны президентом Финансовой корпорации В. Ясно---ским – из числа бизнесменов, радующих о спасении русской культуры).

Что же касается сложной, драматической, если не сказать трагической проблемы взаимоотношений культуры и рынка, то Чернышев в своей издательской практике руководствовался

кредо: «Культура не должна подчиняться рынку, она должна Рынок подчинить себе!» И далее свои соображения на этот счет он развивал следующим образом: «Книги сегодня издаются плохо, значительно хуже, чем при советской власти. Нужно не уважать себя, чтобы их покупать. Даже мы издаем их не так, как нам бы хотелось – не хватает денег, разваливаются Российские типографии, падает спрос... Ну пусть, пусть количество обеспеченных людей упало в сотни раз – но тиражи упали в тысячи! Разве настоящая книга не нужна будет нашим детям?! Иные считают, что сначала надо накопить деньги, и лишь затем восстанавливать культуру. Так удастся сначала одичать, и лишь затем заняться душой. Но что нужно дикому?». [Все материалы об издательской деятельности Чернышева почерпнуты из статьи И. Степановой “Издатель интеллектуальных бестселлеров” – (Вечерний Петербург, 1996, 4 янв.), а также из интервью В. Бесперстова с издателем (“Я верю в свою звезду!” в экстренном выпуске Криминального Вестника, 1995)]

В осуществлении столь обширной программы духовного возрождения России, прежде всего через книжное дело, издательство опиралось на творческое содружество с крупнейшими научными и культурными центрами Петербурга, такими как Пушкинский Дом, Духовная Академия, Российская национальная библиотека, Союзы писателей, архитекторов, художников и др.

Издательскими хлопотами деятельная натура Василия Чернышева всецело, однако, не поглощается. Ее хватает еще и на давние, не прекращавшиеся ни при каких обстоятельствах занятия литературой и философией. Его рассказы, повести, философские фрагменты, стихи публикуются в журнале Мъра, а затем выходят в трех томах Сочинений (1994-1996).

В целом они оказываются направленными как на осмысление (по горячим следам) завершившейся эпохи советского тоталитаризма, так и на размышление о судьбе России, оказавшейся вдруг между Сциллой свободы и Харибдой произвола (и в силу этого не менее, если даже не более трагической и запутанной относительно познания Добра и Зла, смысла жизни – «Пока тоталитарный режим».. (2, 267, *Зона*).

Крах коммунистической идеологии, вместе с ее мертворожденным детищем «Эпохой развитого социализма», отнюдь не спровоцировал ее недавнего отщепенца и заложника на какое-либо чрезмерное выражение своего праведного гнева к ее деяниям. Личный прошлый конфликт с нею он, следуя своим философским, христианским убеждениям, включает в более общую проблему осмысления сложных, и скорее всего

неразрешимых противоречий человеческого бытия. Да и вообще присущее Василию Чернышеву стремление к всеобщему единению, гармонии и любви не оставляет какого-либо места для злокозненного духа мстительности, проистекающего из фанатизма тех или иных идей. «Слушая неумолчный, сливающийся из множества ударов и всплесков ропот прибора, сочувствую ему и растворяюсь в нем, сожалея о своем жалком ропоте, разделенном на слова» (Заметки редактора).

Острее всего стоит в этих писаниях проблема России конца 20-го века, России сегодняшней. Автор не принимает весьма призывно звучащих сейчас и давно уже по сути дела знакомых деклараций о любви к ней как таковой, вне соотнесенности с уроками истории. Испытавший эти уроки на себе, автор дополняет такие призывы существенной поправкой.. «Любите Россию! – склоняют платные пропагандисты и агитаторы, и сердце мое начинает кровоточить.» (Записки отщепенца).

Целью любви может быть только человек, а не идея и фикция, не государственный Левиафан. Великий и светлый Национальный Дух, и нечеловеческий, злокозненный Демон Государственности неразделимы, к сожалению, в историческом теле России, на котором, в частности, позор семидесятилетнего «сожительства с тиранами», «миллионы истуканов, расставленных по городам и весям» при разрушенных и оскверненных храмах. Россия, «предавшая свою веру, своих поэтов и пророков!..» («Я – русский!») – такая Россия нуждается не в возвеличении и поклонении, а в покаянии, тем более, что в ней так и остались, по большому счету, не разделенными палачи и жертвы (сами нередко рекрутировавшиеся из палачей).

Путь России к исцелению и Возрождению, по мысли автора, только один – через Преображение в Духе и прежде всего «преображение» самого русского человека в «новую личность, вырастающую из духовной свободы и воплощающую... мистическую глубину, возвышенную любовь и полноту национальной культуры и судьбы..» («Я – русский»)

Публиковавшиеся в Мере и включенные в оба тома сочинений стихи Чернышева представляют собой исключительно чистую лирику, без какого-либо даже намека на эпос или сатиру. О первородности в своих творческих побуждениях именно этой основы свидетельствует и сам автор: "Я не пишу ни философское, ни социологическое исследование и ... отталкиваюсь от того, что чувствую сам, и о других сужу по себе.». Говорят, правда, что «по себе не судите» – но поэт, в отличие от социолога, прежде всего всматривается в свою душу» («Я – русский!»)

Обращаясь к лирике Чернышева, нельзя не задуматься над тем, что высокая поэзия псалмов, легшая в основу христианской литургии, и эротическая лирика древнего языческого мира – обе восходят к нам из неизмеримых океанских глубин духовности – как два цветка на общем стебле, название которому *Любовь*. Стихи его потому и производят счастливое впечатление единства, что сквозь всю толщу их довольно традиционной поэтической материи прорастает этот самый вселенский стебель. Читая их, погружаешься в непрерывно струящийся поток признаний в любви то к Всевышнему, то к андрогинному гению поэтического творчества, а точнее ко всем высочайшим предметам разом. Завидная цельность авторского мироощущения! Да и в самом человеческом существе так ли уж разделены восторг перед непреходяще-вечной сущностью бытия и мгновенно промелькнувшим милым обликом земной жизни, любовь к возвышенной и любовь к чувственной красоте, разделены ли непреодолимой гранью верхний и нижний планы бытия в их созвучности или конфликтности с человеческой душой?

Не в том ли вся беда,

Что и небесное болит в нас по земному?!

– вопрошает испытующе поэт, сам, впрочем, хорошо зная, что не беда, а как раз наоборот, большая в этом для поэзии перспектива – слезы и радость, горе и счастье – разбираться в тончайших переходах от небес к земле, от мрака к свету, от созерцания милых картин родной природы к видениям апокалипсиса и остывших призраков такой еще недавно живой и теплой, горячащей кровь любви.

В философской лирике Чернышева явно преобладает стремление освободиться от уз земной тяжести, включая и саму природу. Словно бы под воздействием неких более высоких планов бытия, некоего духовного контекста, все образы как бы умяются в своей косной (хотя, разумеется, и красочной) материальности и как бы выцветают и блекнут:

Все меньше красок дня в сухих руках осин.

И даже при описании весны поэт подмечает только «тусклый», уносимый «праздничной» водой снег.

Каким бы ни был традиционно близким и родным этот материальный мир, душа поэта в нем не задерживается. Стоит хотя бы обратить внимание на то, как взмывает она от него, возносясь в преодолении все утончающихся материальных структур в беспредельность.

В осинник, выплаканный листьями,

Осенний дым и сумрак млечный.

Еще меньшей самоценностью наделяет поэт вещный мир докучной обыденности (за исключением разве что стаканов и чайника). Не случайно этот мир проступает здесь исключительно только в контексте иронии, да еще горечи и печали, которым предается обескрылившая в свой падший час душа. При своем же подъеме она от кабинетного стола и скатерти (конечный удел которых «истлеть») неизменно устремляется в свою идеальную платоновскую прародину или не в менее таинственный мир земной любви, треволнениям и перипетиям которой поэт отдает в своей лирике самую щедрую дань.

Вернемся однако к начатому уже разговору о последней книге Василия Чернышева «Боль и Любовь» (вот этой самой, которую читатель, надеюсь, уже держит в своей руке.)

Ее, возможно, могло бы и не быть, не случись с автором рокового (впрочем, такого привычного в наше время) Происшествия. Он разорился, погорел, как издатель. Дорогое издание «Радзивиловской летописи» осталось не распроданным. Зная малую платежеспособность нынешних граждан России, Чернышев на реализацию книги с этой стороны собственно и не рассчитывал. Возмещение издательских расходов на нее предвиделось ему из другого, более реального источника. Предполагалось, что весь тираж будет закуплен правительством, о чем были даны достаточно авторитетные заверения – но члены правительства изнашивались и менялись быстрее перчаток, да и были они пустобрехами.

Для Чернышева началась новая полоса мытарств и скитаний, исполненная не меньшего предельного напряжения жизненных сил, чем в период отщепенства и карательных акций против него тоталитарного режима. Таскание по судам, отчаянные усилия выбраться из долговой ямы, изматывание последних сил в погоне за хоть какими-то средствами к жизни, полуголодное существование, наконец, болезнь, больница, осознание себя на краю гибели, предчувствие приближающегося конца перед ничего хорошего не обещающей операцией, только чудом оказавшейся успешной..

Все это с достаточной основательностью и не без иронии изложено автором в дневниковой части своей книги.. Возможно, потому и удалось автору (он же главный герой) выжить, что нужно было во что бы то ни стало ее написать, для чего и были ему отпущены особые сокровенные силы, когда никаких других уже не оставалось. Отпущены только для этого, и ни для чего более.

Чтобы наиболее полно и драматично представить судьбу героя на фоне судьбы советской и посттоталитарной России, настоящая книга составлена по четко продуманному плану. Структурно она

представляет хотя и разножанровое, но органическое единство входящих в нее как бы отдельными частями и дополняющих друг друга романа, повести и дневника, скрепленных единым героем, прообразом которого выступает, как уже говорилось, сам автор.

Давший название всей книге роман «Боль и Любовь» включает в себя жизнь героя от деревенского детства (живые картины сибирской природы, крестьянского быта и характеров (ликов) народной России составляют самую поэтическую часть книги) до расправы над ним в застенках Большого Дома, узилище карательного учреждения. Жизнь эта раскрывается не сама по себе, а в ее противостояниях страшной советской действительности (отсюда неизменный мотив мученической и пророческой судьбы героя), в нерасторжимом единстве с крестьянским путем страны, с нескончаемой чередой гибельных ее состояний, концлагеря и тюрьмы, война, окончательное разорение деревни, жестокий идеологический пресс, подавление прав личности.

Произведение устрашает кошмарными видениями гугаговской действительности, оно проникнуто философскими размышлениями о смысле не только трагической русской истории, но и человеческого бытия вообще. Его тон (как, впрочем, и всей книги), заражает своим эмоциональным напором.

Роману чужд плоский реализм. С незаурядным мастерством автор переключает сцены реального бытового плана в мир прошлого и всевозможных фантазмагорий: из застенков Большого Дома герой попадает то в детство, то в средневековую Францию эпохи Жанны Д'Арк, образ которой предстает здесь в концептуальной функции, трагической в своем одиночестве жертвы, никак не способствующей исправлению и спасению мира, а лишь выступающей бесконечным укором для дурной повторяемости царящего в нем зла. Или, скажем, в суде над героем проступает образ судилища над Христом, да и сам герой – чистейший аналог Христа как бы на крестном пути России без какой либо надежды на Воскресение.

Еще одна часть книги представлена повестью «Гордая Лара», являющейся осколком той же самой жизни, которой посвящен роман. Здесь крупным планом зафиксирован и высвечен эпизод, относящийся к противостоянию героя режиму и «обществу» в его бытность старшеклассником, а также к трагической судьбе жертв Гулага. Это все та же самая Боль и Любовь, начавшие преследовать его уже с детских, школьных лет.

«Металогика» – это и подведение итогов развития той исторической действительности, которая нашла свое отражение в романе «Боль и Любовь». Итоги эти неутешительны и

свидетельствуют только об одном: и ныне в России «покоя нет». В беспокойстве, в незамирности и прежних, и новых антагонистических сил влывает она в свое второе тысячелетие.

Не останется незамеченным со стороны читателя и сугубо авторская трактовка нынешнего идейно политического состояния в России. Актуально-исторический аспект в ней не обойти, он заявлен достаточно принципиально и весомо..

Завершился, кажется, в нашей литературе период однонаправленно ретроспективного взгляда на историю России XX-го века, той России, от которой нас отделяет теперь уже доброе десятилетие, то есть, по сути дела, не России, а Советского Союза, тоталитарного государства. Понятно, что являлся он, этот взгляд, всецело негативно оценочным... Другим он, разумеется, и не мог быть у литературы, окончательно освобожденной от тюрем и концлагерей, а также от цензуры, с неизбежной в связи с этим необходимостью творить подпольно, писать в стол. Об истории текущих дней или далеком, и даже близком будущем писатели не очень-то спешили рассуждать, тем более прогнозировать. Пока еще только наблюдали и накапливали информацию для новых «досок судьбы» своей много-страдальной страны.

Но вот уже к самому концу истекшего столетия, или с началом нового, наши художники-мыслители разрушили стену молчания, возвышающуюся между ними и столь близким за нею будущим.

Разрушили потому, что завершение века потребовало теперь более масштабного взгляда на Россию как периода пятилеток и концлагерей, так и последнего «демократического» десятилетия. Вывод оказался неутешительным. Семидесятилетнее господство коммунистов под лицемерной геральдикой серпа и молота (символов созидания матерьяльных благ), делавшими на самом деле, однако, ставку лишь на всемерное развитие военно-промышленной машины, необходимой им для возможной всемирной экспансии казарменного социализма и «самого передового в мире учения», привело их идеологию к краху, а несчастную страну ввергло в пучину разорения, материальной, моральной и политической нестабильности. Свершившаяся с русским народом столь динамическая метаморфоза к радости не располагала. Чему радоваться? Тому, что мы попали из огня да в полымя?

В создававшейся под печатью зла предшествующего коммунистического тоталитаризма книге немалое место уделено и осмыслению нынешних невзгод России. В самом деле, стоит ли так уж радоваться освобождению нынешней литературы от партийной цензуры, когда и при наступивших «свободах» писатель

не так уж волен в издании своих произведений, на которое опять чего-то не хватает – тогда не хватало разрешения нищих духом властей, теперь – денег. Ведь ни на государство, ни на «новых русских магнатов» рассчитывать ему не приходится. Он, как и всё, что когда-то в подлинной России ценилось и опекалось, разделяет судьбу всеобщего заброса.

Только в результате невероятных усилий, отчаянных метаний между полной безнадежностью и слабыми проблесками надежды удалось найти автору необходимую для издания своей книги сумму (встретив редкого в наше время доброго человека).

Не признает Чернышев за ведущейся нашим правительством войной в Чечне права называться справедливой, считая ее имперской экспансией, набегом на свободолюбивый край. Этому известному отвлеченному гуманизму давно казалось бы изжитому, хотелось бы возразить. Мне кажется, что интеллигентское благородство не в состоянии помочь в разрешении разразившейся на юге России трагедии. Уже сейчас взрывы оттуда доносятся и до кварталов и площадей российских городов. И что может случиться, если сдать боевые укрепления потомкам Измаила (который уже в древние времена был *«между людьми как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него»!*)! Тогда уж точно *кровоаво-красный скакун из Карабаха*, пылая злобой сатанинской мести, пойдет беспрепятственно гулять по незащитной русской земле, угрожая спокойному сну, какой ни какой, но мирной жизни наших стариков, женщин и детей.

И поэтому довести войну до полного победного конца – иного выхода нам нет! Это хорошо понимали еще во времена гениев отечественной литературы – Пушкина, Лермонтова, Толстого, и прежде всего сами наши гении...

Известным скепсисом отмечено и отношение автора книги к возрождению православия и восстановлению «пережженной на уголь», по выражению известного поэта середины двадцатого века, русской церкви. Убеждение это находит довольно значительное распространение в среде интеллигенции, достаточно оппозиционно настроенной по отношению к политике нынешней власти. Оно восходит к печальным временам насильственного обручения отечественной церкви с религией большевистского государства, заключающейся в беспощадно-идольском самоутверждении воинствующего атеизма, эпохи первых пятилеток, гонения на православие и крестьянство, эпохи тюрем и концлагерей.

Да, это верно! Тогда православная церковь, чтобы окончательно не погибнуть, став жертвой коварного плана «живоцерковников», призывавших будто бы к ее некоторому обновлению, пошла на известный компромисс (даже в лице самого преподобномученика Тихона). Но все же она существует,

тогда как сатанинского атеистического государства уже нет. Нынешнее государство не может не учитывать этот чреватый гибелью отступнический и святотатственный опыт. Да и, наоборот, история самого национального государства свидетельствует о благоприятных для него условиях лишь под знаком единения мирского, политического и хозяйственного, с небесным, представленным на земле церковью. Надежда на возрождение России, все же присутствующая в книге Чернышева, должна, думается, в следующих творениях его исключить столь значительный скепсис в отношении к этому благотворному знаку.

В целом же в книге со всей определенностью выражен отказ от каких либо очередных проектов «исправления мира» (таких привычных и традиционных для русского утопического сознания). Вместо этого, то есть над всем сонмищем всевозможных проектов, утопий, «учений» взмывает здесь единственно нужный для автора путь к цели – Книга!

Книга, в которой всю эту сумбурную явь, которая называется русской историей и русской действительностью, можно запечатлеть, чтобы затем над нею, запечатленной, без насилия над ее душой и телом (как это делали всевозможные утописты и проектанты) можно было бы поразмышлять и погадать над ее абсолютно непредсказуемым будущим.

Но кто же в конце концов виноват в прошлых и нынешних неудачах и бедах России? При постановке этого вопроса в книге Василия Чернышева достается всем – и собственно автору, и его антагонистам, и даже Господу Богу (не говоря уж о самом «богоносном» русском народе). Возможно, именно потому она и получилась. Этого могло бы не быть, не соединись в ней и «Боль» и «Любовь», и «Металогика» и «Откровение» – на основе жизни и судьбы самого автора.

СОДЕРЖАНИЕ

БОЛЬ И ЛЮБОВЬ

Часть первая – <i>Истоки</i>	5
Часть вторая – <i>Крестный путь</i>	145
Часть третья – <i>Ночь на Воскресение</i>	215
А. И. Михайлов – Путь Василия Чернышева к книге его жизни	306

Василий Иванович Чернышев

Метафизика Любви

книга 3

Боль и Любовь

роман

Текст книги размещен на сайте
spb-pisатели.ru

Подписано в печать 7 мая 2018
Формат 60x90 1/16 20 п. л., 320 стр.

Печать по требованию

Издательство «NAPISANO PEROM».
Санкт–Петербург, 16-я линия

Санкт–Петербург
2018